

ISSN 0130-7673

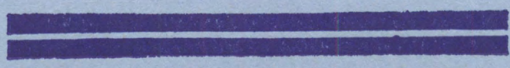
ЖО В Ъ И У
М И Р

10

ЖО В Ъ И У
М И Р

1984

10



1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РЕНАТ ХАРИС — Узлы, стихи. Перевел с татарского Вадим Кузнецов	3
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ — Из цикла «Мифы», стихи	5
С. ОБРАЗЦОВ — По ступенькам памяти	7
РОДНИК — Уйгуи, Джуманияз Джаббаров, Мирмухсин, стихи. Перевел с узбекского Сергей Северцев	85
АТА-ВАТАН — Бердыназар Худайназаров, Аллаберды Хацдов, стихи. Перевели с туркменского Вл. Савельев. Александр Наумов	88
НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН — Век наивности, рассказ	90
АНАТОЛ ИМЕРМАНИС — Латвия, стихи. Перевела с латышского Наталия Бабицкая	105
ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН — Три рассказа	106
ВИКТОР МЕНЬШИКОВ — Два стихотворения	121
ГЕОРГИЙ БАЛЛ — Тетя Шура, старый актер и остальные, повесть	122
ВИКТОР ЯКОВЕНКО — Родство, стихи	156

ПУБЛИЦИСТИКА

АНАТОЛИЙ ГРОМЫКО, ВЛАДИМИР ЛОМЕЙКО — Сон разума рождает чудовищ	158
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЛЕОНИД РЕЗНИКОВ — Кризис аскетизма	183
------------------------------------	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

О. НАРОВЧАТОВА — «Иных случайностей размер...»	201
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ХМАРА — Люди живут на земле. Современная проза о деревне	214
АЛЛА МАРЧЕНКО — Перечитывая «Маскарад». К 170-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова	228
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
	243
Г. Ломидзе. Печерк писателя.	
Сергей Чупринин. Труд вдохновения.	
А. Кондратович. На стыке культур.	
Виктор Кочетков. Книга об Алексее Кольцове.	
<i>Политика и наука</i>	
	255
В. Харьковский. Власть земли.	
Рита Шик. Страна, устремленная в будущее.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Алексей Бархатов. — Михаил Годенко. Избранные произведения в 2-х тт. ♦	
Б. Сарнов. — Юрий Хазанов. Мой марафон. Рассказы и повесть. ♦	
Александра Баженова. — Витауте Жилинскяйте. Вариации на тему. Юморески и иронические рассказы. ♦	
Александр Носов. — В мире Лескова. Сборник статей. ♦	
Н. Гайдукова. — А. Мигунов. Судьба поэта. Литературно-критический очерк о жизни и творчестве С. В. Смирнова. ♦	
В. Немцев. — Лидия Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. ♦	
Г. Федоров. — Александр Тихомиров. Белый свет. Книга стихотворений. ♦	
А. Белорусец. — Владимир Жуков. Избранное. Стихотворения, поэмы. ♦	
Наталья Булгакова. — Из поэзии Нидерландов XVII века. ♦	
Э. Чепоров. — Владимир Ларин. Лондонский дневник. ♦	
Анатолий Мазаев. — Ким Бакши. Судьба и камень. ♦	
В. Сухнев. — Олег Мороз. Свидание с кометой	261
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

И, сбросив усталость с натруженных плеч,
с трудом разгибая коленки,
попелся он вниз, совершенствуя речь,
что бросит богам в их бесстыжие зенки.
Он небом поклялся убраться с горы,
избавясь от мук ненавистного плена...
Присел он на камень.
И с этой поры
возник как «Мыслитель» Родена!

Сроки

Под гром восторженных трибун
она семь лет летела птицей,
но вышел срок, и кобылица
была отправлена в табун...
Его прыжками бредил мир,
но в тридцать шесть покинув сцену,
он скромно стал готовить смену —
Спартак, Ромео, Принц, кумир!..
Дымились речи, словно трут,
молчал поэт в притихшем зале.
Его «на отдых» провожали,
а он лишь начал главный труд...

Узлы

Завязываю узел на луне,
чтоб вечерами помнилось о дне,
когда с землей, засыпанной снегами,
придется навсегда расстаться мне.
Завязываю узел на звезде,
чтоб и ночами всюду и везде
не забывать, что без меня однажды
утонет шмель в пахучей резеде.
Завязываю узел каждый день
на солнце, покотившемся в межень,
чтоб не забыть горячих рук любимой,
ломающих кипящую сирень...
Разглядываю узел на платке,
ищу ответа на тугом витке:
о чем я позабыть вчера боялся,
витая думой в дальнем далеке?..

Перевел ВАДИМ КУЗНЕЦОВ.



ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ



ИЗ ЦИКЛА «МИФЫ»

Данте

Говорили на рынке
среди яблок дородных и дичи,
на ночных маскарадах
и за стаканом вина,
что у мрачного Данте,
тоскующего по Беатриче,
есть простая, однако ж,
заботливая
жена,
та, что мясо варила
и пуговицы пришивала,
кружевные рубахи,
кряхтя,
опускала в крахмал...
Странно думать,
что Данте,
спагетти поев до отвала,
развалившийся в кресле,
дремал.

И стоял где-то образ
необычной девицы
в изголовье его,
далеко, далеко
в вышине...
Вот она восседает,
поводья держа,
в колеснице
выше нашего мира
и с богом самим наравне!..
Нет, не зря Беатриче
над ним своим нимбом сияла,
с неземною улыбкой своей
на прекрасном лице!
Но жена ему ноги
укутала в одеяло
и пошла потихоньку к себе
со свечой и в чепце...

Диоген

В одежде грязной,
грязен телом,
Диоген вошел в огромный зал,
где Платон среди роз
в наряде белом
на пиру
роскошном
возлежал.
Сумрачный философ и скиталец,
у дверей на пол
улегся он.
— Презираю я, — и поднял палец, —
гордость,
что в перстнях твоих,
Платон. —
И мудрец, высокий лоб морщина,
поднял чашу, влагу расплещая...
— Диоген, сквозит твоя гордыня
через дыры
твоего плаща.

Одиссей

Чествовали шумно Одиссея!
 Он, плющом и розами обвит,
 от вина фалернского
 кося,
 был, однако ж,
 грустноват на вид.
 На пиру
 средь песен
 и средь трепа,
 мед вкушая от людских щедрот,
 все он видел:
 где-то Пенелопа
 пряжу бесполезную
 прядет...
 И, порозовевшая от танца,
 в благовонном царственном дыму,
 — Ну чего задумался?
 Останься!—
 говорит красавица
 ему.—
 Мы поем и пляшем до рассвета!..—
 Одиссей ответил:
 — Мне нужна
 лишь одна,
 та, что за морем где-то,
 с горя постаревшая
 жена...

Платон

И был Платон
 врагом поэтов,
 учил он: «Лириков гони!..»
 Не слушались его советов —
 и вон их сколько,
 вот они!..
 Щит потеряв, бежав из боя,
 бренчит на лире Архилох.
 Он славит небо голубое,
 хотя как воин был он плох...
 Платон, Платон,
 прости поэта,
 прими как друга, не врага,
 ведь небо голубого цвета,
 а жизнь и вправду дорога!..
 Иль все же, нет,
 взглянувший в бездну,
 ты понял там во мраке лет,
 что кровью собственной
 за песню
 обязан заплатить
 поэт?..

С. ОБРАЗЦОВ

★

ПО СТУПЕНЬКАМ ПАМЯТИ

Сперва краткие анкетные данные автора.

Образцов Сергей Владимирович, 1901 года рождения, русский, беспартийный, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Женат. Двое детей. Три внука. Два правнука.

Пишу не для сверстников, тем более что их не так уж и много. Пишу для молодежи, для тех, в чьей памяти куда меньше ступенек, и по моим они не ходили.

Прожил большую жизнь вместе со страной, в которой родился. Все вокруг меня менялось, менялся и я. Моя психология и мои взгляды. Это диалектика жизни.

Каждую ступеньку память сохранила такой, какой она была, и я стараюсь честно рассказать про нее; никому не нужно, если стану врать. Поэтому, прочтя, как я молился богу, не думайте, что я и сейчас ему молюсь. Сейчас я не только в бога, а даже в парапсихологию и летающие тарелки не верю.

Прочтя о том, что я считал Керенского «великим полководцем», не думайте, что я и сейчас так считаю. Я ведь довольно скоро понял, что это просто адвокат-выскочка, пузырек в кипятке истории.

Только в диалектике могут быть интересны мои очень личные ступеньки.

Вот и все, о чем я должен был вас предупредить.

Теперь можете читать.

Буду рад, если вам покажется это интересным.

Наконец-то

Вокруг меня что-то очень светло-зеленое. Ветки. Листья. Я забрался в кусты, чтобы не видели взрослые. Сколько мне лет? Не знаю. Может, года три. Может, больше.

Очень хочется научиться свистеть. Как другие мальчики. А не выходит.

Как ни вытягиваю губы — не выходит. Сип какой-то.

Еще сильнее жму губы. Еще сильнее. И вдруг слабый свист. Настоящий.

Бегу искать маму. Сквозь листья. Сквозь ветки. Мама в чем-то белом, и волосы у нее светятся.

«Мама, я умею свистеть. Смотри». Вытягиваю губы трубочкой, жму-жму. Не получается. Еще жму. Все равно не получается. И опять так же неожиданно тонкий свист. Мама говорит: «Очень хорошо».

Значит, я уже взрослый. Как другие мальчики. Взрослый. Я умею свистеть.

Летаю

Мне четыре года. Мы живем в Грохольском переулке, против Ботанического сада — это в Москве. В зеленом двухэтажном деревянном доме, на втором этаже.

В передней у нас темно-красные обои и белая блестящая голландская печка. Утром дворник приносит охапку холодных дров. Они такие мороженые, что даже звенят, когда он их кидает на пол. В печке дрова трещат. Прямо-таки стреляют и горят ярко, как пожар. А когда прогорают, надо проверять, хорошо ли прогорели.

Няня Груша позволяет мне ворошить кочергой красные угли. Я ворошу и смотрю, не вспыхивают ли синие огоньки, чтобы мама с папой не угорели. Папа говорит, что от угара можно умереть.

В углу висит икона с лампадкой, а на противоположной стене ке-росиновая лампа с круглым, как шар, розовым абажуром.

У соседской девочки, с которой я дружу, в квартире появилось электричество. Ее мама поворачивает на стене какую-то штучку — и под потолком загорается лампа. Такая яркая, что надо щуриться. Моя мама говорит, что у нас никогда не будет электричества. Что это мертвый свет.

Ночью я летал. Высоко, под потолком передней. Кружился от розовой лампы к иконе, и назад к лампе, и опять к иконе. Замечательно летал. Утром решил опять полетать — и не получилось. Разбегался, подпрыгивал, а взлететь не мог. Няня Груша смеется, говорит, что это мне приснилось. Зачем она так говорит? Я же знаю, что я летал под самым потолком, а она не верит.

Вот мама поверила. У мамы очень мягкие руки. Только мокрые. Наверное, от моих слез. Почему няня не верит? Я же летал.

Партия кадетов очень разозлилась

Девятьсот пятый год.

Мы с соседской девочкой перевернули мою кровать с сеткой и посадили за нее кошку. Это баррикады. Папа рассказывал маме, что рабочие загородили улицы ящиками, бочками и мешками, чтобы казаки не могли проехать. Казаки злые и бьют людей нагайками.

Кошка старается вылезти, не понимает, что это опасно. Казаки могут ее убить. Глухая.

Мама наняла двух извозчиков. Я сел с мамой, а няня Груша с Борей. Это мой брат. Он совсем маленький. Мы едем в Потапово. Имя моей крестной матери — Бабы Капы. В четырех верстах от маленькой станции Расторгуево по Павелецкой железной дороге.

На 1-й Мещанской за нами побежали какие-то люди. Кричали, грозили кулаками. Когда проехали Сухаревскую башню, остановились, и извозчики подняли кожаные крышки над нашими головами. Как от дождя. Теперь нас не видно, и мы видим только вперед.

Проехали какие-то Нижние Котлы (там никаких котлов нету, а просто дома) и остановились в деревне. Извозчики насыпали в мешки овес и привязали к мордам лошадей по самые глаза. Лошади стали трясти мордами и есть овес, а мы вошли в избу. Там мама выпила квасу, а мне не дала. Сказала — вредно. Почему же ей не вредно? Мне и Боре дали молока.

В избе сидели старая бабушка, большая девочка и мальчик поменьше. Расспрашивали маму: «Скажите, барыня, что там, в Москве, делается?» Слушали, а сами набивали папиросы. Клали на какие-то штучки желтый табак, потом вставляли их в пустые папиросы, что-то нажимали — и тогда эти папиросы соскакивали, аккуратно набитые. Очень интересно. Только от табака щиплет в носу.

Проехали еще сколько-то верст и остановились в трактире. Пили чай с баранками. На трактирном прилавке огромный золотой самовар.

Весь сверкает и на нем медали, медали, медали. А сзади вся стена в полках, а на полках чайники, чайники, чайники. Не знаю сколько. Может, сто.

Приехали к Бабе Капе. Я ее очень люблю. Как маму. К вечеру приехал папа. Что-то рассказывал. Когда кончил, сказал: «И так далее», а сам быстро-быстро постучал пальцем вдоль стола. Я потом пробовал говорить «и так далее» и стучать пальцем, но у меня не получалось, как у папы. Непонятно, почему не получалось.

Нас с Борей уложили спать. Я через стену слышал, как папа сказал, что его уволили с Александровской железной дороги за то, что он устраивал какую-то бесплатную столовую для рабочих.

Я решил, что у папы не будет денег покупать газеты и я, значит, сам буду писать ему газеты.

На следующее утро написал. У мамы долго хранился клочок бумаги, на котором написано печатными буквами: «ПАРТИЯ КАДЕТОВ ОЧЕНЬ РАЗОЗЛИЛАСЬ».

События

Мне шесть лет. Мы живем в Банковском переулке. Он выходит на Мясницкую, теперешнюю улицу Кирова.

Событие. На Мясницкой против магазина «Лев Пло» положили вместо булыжника асфальт. Очень гладко. Колеса извозчиков совсем не стучат.

И еще событие. Я выстирал в умывальнике кусочек очень грязной кухонной тряпки, и оказалось, что на ней какие-то розовые цветы и желтые листики.

Значит, из тряпки можно делать материю, и никто этого не знает. А я узнал. Побежал на кухню. Показал няне Груше. А она смеется. Почему она всегда смеется? Вечером придет мама, покажу ей.

И еще два события. Во-первых, у нас в квартире электричество и я могу залезть на стул и повернуть черненькую штучку. Тогда сразу становится очень светло в детской. Во-вторых, у нас телефон. Желтый ящичек с ручкой. Мама и папа крутят ручку и говорят с кем-нибудь, кто живет совсем на другой улице. Я тоже говорил. (Мама мне накрутила.) С моей знакомой девочкой Женей. Она очень смелая. Покатилась на перилах и упала вниз прямо на каменный пол. И не разбилась. Ее принесли домой, а она прыгала на кровати.

Сейчас Евгении Исидоровне Линде столько же лет, сколько мне. Она врач в той поликлинике, в которой я лечусь. Вот она меня и лечит от всяких болезней.

Бибабо

И еще событие. Вообще-то говоря, маленькое. Это потом выяснилось, что было оно самое большое. На всю жизнь событие.

Мама повезла меня в японский магазин на Кузнецком мосту, Маленький магазин. Кажется мне, что тот самый, в котором сейчас аквариумных рыб да канареек и волнистых попугайчиков продают.

А тогда продавались там японские игрушки. Мама купила мне бумажный мячик, который можно было надувать и подбрасывать, маленькие, кругленькие, тоненькие деревянные лепешечки, которые надо было кидать в воду, и тогда от края каждой лепешечки отделялся узенький лепесток, раскрывался и превращался в цветок, или лодочку, или птичку. Но самая интересная игрушка была кукла. По-настоящему говоря, куклы-то и не было, а были только маленькая целлулоидная головка и халатик.

Халатик надо было надеть на три пальца руки, а сверху на указательный палец надеть головку — и сразу получалась кукла. Живая. Пошевелишь пальцами — и она шевелится. Раздвинешь пальцы — она радуется, сожмешь их в щепотку — плачет, подопрешь большим паль-

цем подбородок — она задумывается. Совсем живая. Боря даже сначала ее немножко боялся. Ну ведь он маленький.

Звали куклу Бибабо. Знаете, как я ее полюбил! Больше, чем плюшевую собачку Бишку, больше, чем голыша с крылышками, которого звали Пупсик.

И мама, и папа, и няня Груша полюбил Бибабошку. И Боря перестал его бояться и смеялся, если Бибабошка целовал его в щеку.

Бибабошка все умел делать. И книжку перелистывать, и на пианино «Чижика» играть: е-дет-Чижик-в-ло-до-чке-в-ге-не-раль-ском-чи-не-не-вы-пить-ли-во-до-чки-по-э-той-при-чи-не.

Бибабой я и гулять с собой брал на Чистопрудный бульвар.

У Мясницких ворот прямо перед бульваром стоял дом, в котором был сладкий магазин Эйнема. В нем продавались конфеты, шоколад и шоколадные бомбы с сюрпризом.

В окне магазина был изображен горящий дом и около него пожарные. Двое пожарных качали насос. Смешно качали. У одного пожарного оторвалась от пола нога, и он дрыгал этой ногой как живой.

Нам с Бибабошкой очень нравилось.

Поem

Вечером папа пришел с работы. Мы поужинали и все вчетвером — мама, папа, Боря и я — поем. Это почти что каждый вечер так. И когда мне пять лет, и когда восемь, и когда десять. Всегда так.

Тихо поем. Нас никто не слушает. Мама совсем тихо поет, да и папа негромко. Красиво они поют. Мама первым голосом, а папа вторым. Интересно. Совсем другое поет. Слова те же, а мотив другой. А все вместе очень красиво. Непонятно, почему так.

Русские песни поем, украинские колядки, цыганские романсы. Я до сих пор все помню. Все-все. И украинские... «Світэ тыхый краю мылий, моя Украйна, за що тэбэ сплюндроваль, за що марно гинэш», «Ой на горі та й жэнці жнуть, ой на горі та й жэнці жнуть, а по-під горою, по-під зеленою казаки идуть».

И цыганские: «Ночи безумные, ночи бессонные, взоры усталые, речи бессвязные», «Если б, сердце, ты лежало на руках моих, все качала б да качала я тебя на них». Это мама поет. Очень грустная песня. «Словно мать дитя родное с тихою мольбой, и заснуло б, ретивое, ты передо мной». Значит, эта женщина, про которую мама поет, хочет умереть.

И самые первые мои детские песни помню: «Сидит кошечка на окошечке. Пришел кот. Стал он кошку спрашивать, переспрашивать: «О чем, кошка, плачешь? О чем слезы ронишь?» «Как же мне не плакать, слезы не ронять. Повар съел печенку, а сказал на кошку. Хотят кошку наказать, ушки ей надрать»...»

Никак не могу понять. Раз уже известно, кто съел, неужели нельзя сделать так, чтобы не наказывать кошку? Очень ее жалко. Ведь несправедливо же это. Она не ела. Повар съел печенку.

И еще одну помню: «Вот идет Петруша — черный трубочист. Он хоть телом черен, да душою чист. Нечего бояться его черноты. Надо опасаться женской красоты. Красота-злодейка нас в огонь влечет. А его метелочка от огня спасет».

Трубочистов я знаю, они ходят по улицам. Лица и руки запачканы сажей, а в руках метелочка и смотанная веревка с гирькой. Эту гирю они в трубу опускают.

А вот что это за женщина такая красота-злодейка бегаёт по улицам и поджигает дома? Непонятно. Очень опасная женщина, а трубочист хороший.

Леплю зверей

Я заболел скарлатиной. Борю куда-то увезли, чтоб не заразился, а меня поят чаем с лимоном. Очень вкусно. Только у меня большой жар и мне все время хочется спать. Доктор говорит, что будет кризис и потом все пройдет.

Я проснулся. Жужжала муха и билась под потолком. Сквозь шторы — солнце. Голова совсем не болит, и почему-то очень весело.

Няня Груша приложила руку к моему лбу и говорит: «Вот и хорошо, вот и хорошо». Я очень люблю няню Грушу.

После скарлатины надо долго поправляться и зачем-то есть в день двенадцать сырых яиц. Я сам сбиваю в стакане гоголь-моголь. И еще леплю из глины всяких собак, кошек, птиц.

Мама кладет мне на колени доску, на которой я раскатываю и разминаю серую глину. И леплю. А когда все, что я налепил, высохнет, раскрашиваю акварельными красками.

В гости приехал незнакомый человек с незнакомой женщиной. Потом я узнал, что это был знаменитый Савва Мамонтов с певицей Большого театра Чалеевой. Приехавшему гостю очень понравились мои собаки и кошки, и он попросил маму прислать ему все, что я налеплю. Он поместит их в какую-то печку, и тогда они станут твердыми, как горшки или чашки. Мама почему-то постеснялась послать.

А жаль, были бы у меня сейчас все эти собаки и кошки, обожженные в той самой печи, в которой обжигались скульптуры Врубеля. Морда врубелевского льва висела на воротах гимназии Страхова, в которой я потом учился. Это на Садовой-Спасской.

В опере

Мама с папой взяли меня в театр. Он называется Большой. Ехали туда на извозчике. Я у мамы на коленях. Это недалеко. По Мясницкой улице, через Лубянскую площадь. Там по кругу ходят электрические конки (так мы называли трамвай). Как это люди не боятся переходить эту площадь? Очень много электрических конок, и все звонят. Когда я вырасту, никогда не буду переходить эту площадь.

Ехали вдоль стены, у которой памятник. Стоит на черном комодке черный человек и держит в руке черную книгу. Подъехали к театру. Я его, оказывается, раньше знал. Он рядом с Мюр-Мерилизом (теперь это ЦУМ называется). Мы там с мамой два раза были. А за Мюр-Мерилизом Пассаж и в нем магазин со смешным названием «Сосипатр Сидоров». Там мама купила простыни.

В театре мы сидим в ложе, так этот кусок балкона называют. Перила бархатные, красные, а внизу много людей. Все шевелятся, и очень много лысых. Впереди раскрашенная стена. Потом погас свет. Перед стеной из ямы поднялся человек и начал махать палочкой. И эта палочка стала очень громко играть. Непонятно, как может играть палочка?

Потом стена поднялась — и за ней оказались люди в разных красивых платьях, и тогда все, кто сидел в театре, стали, как маленькие, хлопать в ладоши. И мама с папой тоже стали хлопать в ладоши. Никогда я не думал, что мама с папой будут так делать. Я спросил маму, зачем они хлопают, и она сказала, что в театре всегда так делают, если что-нибудь нравится. Тогда и я стал тоже хлопать в ладоши.

Толстая дама с голыми плечами стала глядеть на человека с палочкой, сильно открывать рот колечком и очень громко петь. Голос у нее дрожал. Очень сильно дрожал. Особенно в конце, когда она прямо-таки закричала. И тогда все стали быстро бить в ладоши.

Мама спросила: «Тебе нравится?» Я сказал — очень нравится. А внизу какой-то мужчина закричал «браво», и еще женщина закричала тоже «браво». Значит, вот как надо петь, а не так, как мы с мамой и папой поем после ужина.

После оперы

Я забрался в кусты Бабы Капиного сада. В акацию. И там долго учился петь, как в Большом театре. Чтобы голос дрожал. Не очень получалось, но все-таки похоже. Бабе Капе надо показать. Вот она удивится.

Жила Баба Капа на втором этаже. В мансарде. Я сел на верхнюю ступеньку деревянной лестницы, под самой дверью Бабы Капы и запел: «У-у-у за-а-ари-и-и у-у-у зо-о-оре-ньки». Баба Капа открыла дверь и сказала: «Что это с тобой, Сережа? Почему ты так противно поешь?»

Это было мое первое актерское выступление с расчетом на то, чтобы поразить слушателей, и первый мой актерский провал. Я заплакал и побежал по лестнице. Выскочил из дома и спрятался под балконом, где и просидел до самого ужина в темном углу. На зашедших под балкон цыплят рассердился и прогнал их комочками земли. Зачем они пищат?

Назавтра решил прополоть огурцы. Мою грядку. Сам посадил. Баба Капа сказала — надо полоть.

Полю, полю. Трудно. Какие-то длинные шершавые плети. Никак не выдергиваются. Пришла Баба Капа. Удивилась: «Что ты делаешь? Ты же все огуречные плети повыдергал, а сорняк оставил».

Я заревел, а она говорит: «Не плачь. Вырастешь — научишься огурцы полоть. Ты же еще маленький». А я говорю: «Не хочу вырастать. Хочу всегда быть маленьким. Тетя Надя сказала, хорошо быть маленьким, золотое детство». А Баба Капа говорит: «Глупости сказала тетя Надя, а ты повторяешь. Хорошо быть взрослым, а не маленьким. Взрослый что хочет, то и делает, а маленький только то, что мама позволила либо папа. Вот ты все хочешь на Огоньке верхом кататься, как дядя Петя. А тебе говорят: нельзя. А вырастешь — куда хочешь на Огоньке поедешь. Хочешь — в Суханово, хочешь — в Домодедово».

Очень хороший был Огонек. Добрый. Я его с ладошки посоленным черным хлебом кормил. Губы мягкие, с тоненькими волосиками.

Вот сейчас я вспоминаю Бабу Капу и думаю, как она мне правильно по носу дала и за хвастовство оперным пением и за глупое кокетство: «Хочу быть маленьким». Очень важно в детстве вовремя получать по носу.

Синематограф

Удивительное дело. На белой простыне живые люди бегали. Серые, как на фотографии, а живые. Это мы с папой в синематограф ходили. Папа тоже удивлялся.

Синематограф этот был в гостинице «Метрополь». Мы туда от Банковского переулка по Мясницкой пешком дошли. Погода хорошая. Папа говорит: зачем на извозчике по булыжникам трястись? А я люблю на извозчике, но все равно сказал: зачем трястись?

Мы быстро дошли, весело. Папа мне по дороге про троянского коня рассказывал. Хитрые эти греки.

Очень красивый дом «Метрополь». И под самой крышей разноцветные картины прямо на стене нарисованы. Папа говорит, что это не нарисовано, а глиняными обожженными плитками выложено и что придумал эти картины художник Врубель. Знаменитый художник, он в Третьяковской галерее висит.

Вот я сейчас пишу про это, а уверен, что на тысячу москвичей, наверное, только один знает, что майоликовые панно на стенах «Метрополя» сделаны по эскизам Врубеля и что изображает главное панно принцессу Грезу.

Вошли мы в дверь, купили билеты и уселись в четвертом ряду очень маленького зала.

Прямо перед нами натянута большая белая простыня, а под ней человек сидит за роялем. Погас свет, заиграл рояль, и вдруг по этой простыне пошел поезд. Прямо на нас паровозом. Остановился, и из вагонов стали выскакивать люди. Такие же серые, как и поезд. Быстро-быстро. И все время мелькали какие-то искры. Прямо сыпались, как дождь. А дождя нет, все без зонтиков. Как-то странно дергаются и очень быстро бегут. Здорово интересно. Как это сделано, непонятно.

Когда домой вернулись, я маме и няне синемаграф показывал. Быстро бегал перед ними по комнате и все время дергался, как припадочный, мелкой дрожью. Они очень смеялись. У няни от смеха даже слезы закапали.

Кто этот синемаграф придумал? Папа говорит, что какой-то француз. Называется Люмьер. Фамилия у него такая. Хитрый он, значит. Вроде греков. Троянских.

Пожар

Мне восемь лет. Мы живем в Сокольниках, в 4-м Полевом переулке, опять в деревянном двухэтажном доме и тоже во втором этаже, только дом не зеленый, а коричневый. Ночью нас с братом разбудила няня. Вся комната освещена волнами красного света. В окне виден огонь. Горит соседний, такой же деревянный, дом.

На нас прямо поверх ночных рубашек няня быстро надела шубы, а голые ноги всунула в валенки. Выбежали на улицу. Горящий дом трещит и рушится, а огонь длинными языками взлетает до облаков, розовых от света.

Мы бежим по переулку. Навстречу нам бегут два парикмахера в белых халатах и хохочут. Им нравится, как горит дом. Значит, это еще не ночь, а черный зимний вечер. Как они могут хохотать, как им не стыдно?

Мама с папой где-то в гостях. Нет, не в гостях. Они поехали к Яру слушать какую-то Варю Панину. Никогда раньше по вечерам никуда не уходили, а вот тут как раз ушли.

Весь переулок освещен. Все дома розовые. Очень страшно. Навстречу бегут еще какие-то люди и кричат. Веселье. Как они могут радоваться, ведь нам же страшно. Мы бежим. Валенки свалился с одной ноги. Няня опять засовывает в него мою ногу, а я дрожу — мелко-мелко.

Прибежали в мамину гимназию. Она прямо против каланчи. Маленькая гимназия, только начальные классы. В нижнем этаже такого же двухэтажного деревянного дома. На нем вывеска: «Женская гимназия А. И. Образцовой».

Сторожиха открыла. Нас уложили на полу на медвежью шкуру. Боря плачет, а я только дрожу. И вдруг вспомнил. У меня в детской на подоконнике в стеклянной банке мышонок. Я его под столом поймал. Смешной, серый, а лапки розовые. Он ими кусочек сыра держал. Как человек пальцами.

Если загорится наш дом, мышонок сгорит, и я буду виноват. За чем посадил в банку? И бог меня накажет. Я боюсь бога. Он висит у няни над кроватью. Черный, с большими глазами. И куда ни зайдешь, он все равно на меня смотрит. Глаза поворачивает.

Я становлюсь на колени и молюсь, молюсь. Господи, спаси мышонка. Господи, спаси мышонка. Когда же придет мама? Господи, спаси мышонка. Так и не дождался мамы. Заснул.

Дом наш не загорелся, а соседский сгорел совсем. Утром только дымилось то место, где стоял дом, и какой-то человек все бегал около него и что-то кричал. Няня сказала, что он сошел с ума, потому что у него сгорело пять тысяч книг. Разве бывает столько книг у одного человека?

А мышонка я выпустил в кухне под шкаф.

В божьем храме

Мне десять лет... У меня на шее довольно тяжелая запечатанная кружка. Сверху щелка, куда надо кидать денежки. На кружке наклеена бумажка с надписью: «На построение божьего храма».

Я очень горжусь порученной мне обязанностью. Останавливаю людей на тротуаре. Всяких. И мужчин и женщин, даже военных. Говорю: «Пожертвуйте на построение божьего храма». Не все кидают денежки, но многие все-таки кидают. Кто три копейки, кто пять. А бывает даже, что и двадцать копеек.

Я могу бесплатно влезть в трамвай, в шестой номер или двадцать девятый, которые идут от сокольнического круга, или в четвертый, или десятый, которые идут от Преображенской заставы. Проеду две остановки, обойду вагон и еду обратно. А то до Каланчевской площади доеду. Загляну на Николаевский вокзал, или Ярославский, или деревянный Казанский. Очень горжусь. Трясу кружку, в ней звенят денежки.

Стоит этот храм сейчас около сокольнического круга. Думаю, что там в стене храма не меньше двух кирпичей моих лежат. А может, и три.

А тогда храма этого, естественно, не было, а стояла неподалеку деревянная церковь и служил в ней священник Кедров. Отец Иоанн. Он у мамы в гимназии закон божий преподавал. Удивительный священник. Ростом маленький. Волосы черные. Глаза большие. Прямотаки очень большие и тоже черные. Носил на груди не золотой крест, а деревянный. А служил как-то по-особенному. Тихо.

На заутрени, когда в конце службы вдруг отворяются царские врата, в них уже стоит отец Иоанн. Поднимает этот самый деревянный крест и не громко, не торжественно, а тихо-тихо говорит, вроде как какую-то тайну открывает: «Христос воскрес». И тут все падают на колени и, будто их научил кто, сразу, как вздох, говорят: «Воистину воскрес» — и у многих, особенно у женщин, слезы.

А потом сразу далекий гул. Это Иван Великий ударил в колокол. И тут все церкви, все сорок сороков, начинают бить звонко, радостно. И пошли вокруг церкви хоругви. Кольшутся на ходу, блестят от свечек. Крестный ход. Певчие красиво поют: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

На нашей улице в Сокольниках актер какой-то живет. В театре служит и поет в церкви. У него тенор. Позвал меня на пасхальную заутреню пойти с ним в церковь на хоры. Там, где они поют. Говорит, там очень красиво. Сверху всю церковь видно, даже что за алтарем делается, а если устанешь, можно посидеть. Есть лавочка.

Я пошел. И правда очень красиво, только все как-то нехорошо кончилось. Какой-то певчий нагнулся, чтобы поправить башмак, и толкнул соседа. А тот выругал его очень нехорошим словом. Тогда и этот, который толкнул, тоже так же выругался, и тут они сразу запели: «Господи, помилуй, господи, помилуй». А еще двое в перерыве между пением рассказывали нехорошие анекдоты и давились от смеха.

А когда все кончилось и все двинулись, чтобы идти вокруг церкви крестным ходом, мужчины и женщины, которые в хоре пели, стали на ходу христосоваться и целоваться. Двое очень нехорошо целовались. Неприлично даже. Разве можно так целоваться? И еще двое то же самое.

Я пришел домой. Дома красиво. Куличи, бабы, пасха, яйца крашенные. Мы их сами красили. Тряпочками, луковыми перьями, разноцветными бумажками. Бабушка из Николаева прислала две кутьи: пшеничную с маком и рисовую на миндальном молоке. Обедение. Да еще окорок, запеченный в тесте. Теплый.

Из нижней квартиры пришла девочка с мамой. Стали христосоваться. Я три раза поцеловал девочку в щеки, вспомнил, как хористы целовались, и мне стало противно.

Хорошо, что папа запел украинскую колядку. И мама подхватила, и я запел: «Ирод-царь за Христом гонявси, вин за ним дуженко гонявси, на седельци не сдержавси, середь шляху обирвавси тай упав на шлях».

Петрушка

В 4-м Полевом переулке, в доме, что стоял напротив того, в котором мы жили, были хорошие мальчишки. Мы дружили. В бабки да в чижика играли. Не пойму, почему сейчас в эти игры мальчишки не играют. Научить, что ли? Чижик — это такая палочка покорооче и потолще карандаша. С двух сторон остро заточена. На земле чертится квадрат. Двор не асфальтированный, а земляной. В этот квадрат кладется дощечка вроде подставки, а поперек нее чижик. Один конец в землю упирается, а другой вверх торчит. Вот теперь нужно битой, это палка такая, ударить по носу чижика. От такого удара он, крутясь, взлетает вверх. Тут надо его на лету со всего размаху хлопнуть битой. Тогда, если ловко ударишь, улетит черт те знает куда. А если ударишь плохо — на три шага. Тут другой играющий должен с того места, куда упал чижик, бросить его с таким расчетом, чтобы он попал в тот квадрат, из которого вылетел.

За три шага попасть легко, а вот за тридцать — поди попробуй.

Наигрался я в чижика и побежал через улицу домой. Воды попить. Возвращаюсь и вижу — идут по улице два бородатых мужика. Один несет через плечо на ремне шарманку, а другой, тоже на ремне, несет какой-то не очень толстый прямоугольный предмет, затянутый раскрашенной мешковиной. И что совершенно удивительно, в прямоугольном предмете кто-то пищит очень тонким, нечеловеческим голосом и даже вроде что-то говорит. А мужик как хлопнет по мешковине. Замолчал. Мужик что-то сказал другому мужику, а писк опять возник. И непонятно где. Вроде под мешковиной, потому что мужик опять шлепнул по ней рукой, и писк опять оборвался. Прямо-таки удивительно, что у него там такое?

Я зашагал рядом с мужиками, а они вошли в тот двор, в котором мы только что играли в чижика.

Мужик как-то так ловко разложил прямоугольный предмет, что он сразу же превратился в ширму. А шарманщик подпер шарманку палкой и очень звонко, со всякими переборами, весело заиграл «Разлуку»: «Ах пташки, канарейки так жалобно поют и нам с тобой, друг милый, разлуку придают». Только слов, конечно, не было, одна музыка, но все равно хорошо.

Двор ожил. Откуда ни возьмись — люди. Открылись два окна в одном доме да три в другом. А в окнах — жильцы. Барыня какая-то с завязанной головой. У нее, наверное, мигрень. Мама всегда так голову завязывает, когда у нее мигрень. Дядька в очках, с газетой, толстая тетка в вязаном платке, с мопсом на руках. Нет теперь почему-то таких собак. И еще разные люди. Не вспомню какие.

Из подъезда выскочила целая стайка презираемых нами девчонков. Одна Нинка чего стоит, фря белобрысая. Думает, что красавица. Прибежали еще два парикмахера для дам.

Над ширмой появилось то самое, что пищало. Петрушка. Я вижу его первый раз в жизни. Смешной. Непонятный. Большой нос крючком, большущие открытые глаза, растянутый рот, красный колпак, на спине какой-то горб не горб и деревянные, плоские, как лопатки, руки. Очень смешной. Появился и сразу запел тем же нечеловеческим писклявым голосом: «Вдоль по Пи-итерско-ой, по Тверско-ой-Ямско-ой едет Пе-етенька-а с колокольчиком».

Долго петь Петрушке не удалось. Появился курносый капрал. Хотел Петрушку обучить военному артикулу, да тот его побил палкой. Здорово колотил. С треском. (Петрушкина палка расщеплена, и потому получается такой шикарный треск.)

Потом черный-пречерный цыган продавал лошадь, у которой смешно мотались ноги. Лошадь была Петрушку задом, и он падал, громко ударяясь своей деревянной головой о край ширмы. Оправившись, Петрушка побил своей дубинкой цыгана и неизвестно за что «доктора-лекаря, из-под каменного моста аптекаря». Потом решил жепиться на краснощечной барышне с вытаращенными голубыми глазами. Танцевал с ней под шарманку польку-бабочку и очень неприлично обнимался, на что сильно смеялись парикмахеры и хихикали девчонки. Дуры.

Потом Петрушка ни с того ни с сего побил той же дубинкой свою невесту, и тогда появилась огромная собачья морда. Схватила Петрушку и унесла. Наверное, съела.

Из-за ширмы вышел мужик, тот, что показывал представление. Снял фуражку и стал собирать деньги, а шарманщик заиграл вальс «Дунайские волны». Только мало денег они заработали. До обидности. Зрители-то и смеялись, и радовались, и даже визжали от удовольствия, а как платить — так нетушки. Парикмахеры тут же ушли. С нас да с девчонок что возьмешь? Только чья-то горничная в белом кружевном фартучке вышла из подъезда и что-то положила в фуражку да из форточки кто-то выкинул бумажный комочек. Он упал на землю, и из него выскочил и покатился пяточок. Мужик вынул из фуражки какую-то денежку, поднял с земли пяточок, аккуратно положил их в кошелек, сунул кошелек в карман, надел фуражку, сложил ширму, сказал: «Идем» — и оба мужика вскинули на плечи свои ноши.

Теперь-то я знаю, сколько весит шарманка. Тридцать килограммов. Потаскай-ка ее на плече по московским крутым улицам с Трубной на Сретенку, с Театральной на Лубянку. А вес кукольной ширмы мое плечо хорошо знает.

Мужики двинулись в соседний двор, и мы все за ними. И мальчишки и девчонки. Так всю улицу по дворам и обошли. Уж очень здорово Петрушка всех лупит палкой и разговаривает с шарманщиком как живой.

Мне очень понравился Петрушка. но если бы кто-нибудь из мальчишек, ну хотя бы Колька Дубинин, сказал мне, что это моя будущая профессия, я б его поколотил. Хотя вряд ли. Он лучше меня дрался.

Голубята

Недалеко от переулка, в котором мы живем, стали разбирать дом Прямо около трамвайного круга, где оборачиваются шестой и двадцать девятый. Говорят, что на этом месте будут строить какой-то кафешантан. Что это значит, я не знаю, но дело-то не в том, что будут строить а в том, что мы в воскресенье залезли с Борисом на чердак этого дома и увидели, что железо с крыши отодрано, а на полу около балок голубиные гнезда с голубятами. У них уже кисточки перьев торчат. Наверное, недели три им еще нужно до того, как полетят. Может, и больше того, только завтра их просто выкинут на улицу и они сдохнут Жалко.

Ну, мы, естественно, всех голубят — их восемнадцать штук было — в корзину положили и принесли домой. Сена в картонные коробки насовали. Поместили в эти коробки голубят и стали кормить изо рта жеваным белым хлебом. Сперва противно было, а потом привыкли. И голубята привыкли. Подходишь к ним, а они уже пищат и головками вертят. Возьмешь голубенка, поднесешь к лицу, а он уже сам по щекам торопится клювом мой рот найти.

Ну, через неделю или две они сами просо клевать начали, а там и полетели по комнате. Настоящими голубьями стали. Все восемнадцать. Окошко мы им открыли. Они вылетели. Дня два-три прилетали к окну по очереди, а потом и перестали прилетать.

Хорошие у меня родители. Хоть и грязь от голубей была и запах, ничего они не говорили. Понимали, что мы доброе дело делаем. Восемнадцать жизней спасаем.

А вот у Кольки плохая мама. Очень плохая. Злая.

Дворник Семен — голубятник, у него около дворницкой хорошая голубятня сделана — подарил Кольке (он с ним дружит) двух красных монахов — голубя и голубку. Красивые, с хохолками. Колька поместил их на веранде. Гнездо им устроил. Они яйца положили. И тут вдруг Колькина мать взбеленилась. Яйца в помойное ведро, раму веранды открыла, голубей полотенцем выгнала и раму гвоздем заколотила. Колька ревет. Я креплюсь. Говорю: «Вера Николавна, вы бы подождали, пока они голубят высидят». Ничего она слушать не хочет. Говорит: «Ты еще меня будешь учить».

Целую неделю монахи в стекло веранды бились, а Колька на них смотрел и ревел целую неделю.

Нет! У меня настоящие мама с папой.

Дружок

Воскресенье, сентябрь, осень. Я мчусь на велосипеде по 4-му просеку в Сокольниках. Он специально для велосипедистов. Кленовый просек. Весь сейчас красно-золотой.

Вчера были в гостях, и там какой-то усатый дядя пел под гитару: «Густолиственных кленов аллея, для меня ты значенья полна».

Мчусь без рук, люблю очень без рук, и во весь голос ору: «Густолиственных кленов аллея, для меня ты значенья полна». По правде сказать, сейчас аллея уже не очень густая. Пятипалые листья, качаясь, летят и летят на дорожку. Вся она тоже красно-золотая и шуршит. Подле левой ноги мчится рядом Дружок. Беспородная рыжая собака, похожая на маленького сеттера, только хвост крючком. Я очень его люблю. И он меня тоже. Мы вместе по грибы ходим. Вместе купаемся. Только он не любит, когда я ныряю и долго под водой плыву. Мой брат говорит, что Дружок тогда визжит. кидается в воду, ищет.

Вот мы мчимся по кленовому просеку, и вдруг с левой стороны две огромные овчарки, связанные гремющей цепью, прямо на Дружка. Дружок в сторону. Они за ним. Догнали. Он страшно завизжал, вырвался и в кусты. Они туда же, только цепь им, наверное, помешала, и я увидел, как Дружок несется куда-то направо, а собаки следом с ужасным лаем. Наверное, нагнали и загрызли. Я реву, вытираю кулаками щеки налетаю на дерево и ломаю руку пониже плеча. Больно. Рука висит.

Зареванный, правя одной рукой, возвращаюсь домой. Дружка нет. Наложили мне на руку шину, я уже и в реальное хожу, а Дружка все нет. Значит, как я и думал, загрызли его собаки. И вдруг буквально приполз на кухню. Как по лестнице взобрался, непонятно. Весь израненный, а целый.

Через неделю поправился и опять пропал. День нет, другой нет. Надо искать. Ведь если его собачники поймали, то только три дня будут держать. Коли за три дня хозяин не объявится — пропала собака. Ее либо на опыты сдают, либо просто убивают. Закон такой.

После уроков поехал туда, где пойманных собак держат. Где-то около боен. Поздно приехал. Сарай с этими собаками уже заперт. Еле еле упросил сторожа меня пустить. Только посмотреть. Есть там мой Дружок или нет. Открывает сторож здоровенный висячий замок и впускает меня. Что тут поднялось! Лай, визг, треск железных сеток, по которым несчастные собаки-смертники лапами скребут. Разные — и кудлатые, и гладкие, и большие, и маленькие. Больше беспородных. Хотя и породистые есть. Мраморный дог, такса, шпиц. Жалко их всех.

Взял бы да и выпустил. Черную, маленькую, беспородную собаку с одним глазом особенно жалко.

Иду от клетки к клетке и вдруг — Дружок. Увидел меня. Кинулся на решетку, визжит, а взять я его не могу. Нужно, оказывается, штраф заплатить: Три рубля, а откуда у меня три рубля? Ведь это какие деньги.

Сторож сочувствует. Говорит, приходи завтра, я до вечера твоего не отдам. Запер он тем же замком ворота молящего о помощи, лающего, стонущего, визжащего сарая, а я, не смея при стороже реветь — стыдно, — уехал домой.

На завтра мама дала мне три рубля и тридцать копеек на извозчика. Порядок. Можно ехать за Дружком.

Открылись те же ворота, и я уже ни на кого не смотрел. Скорее к клетке, к Дружку. Вез его через всю Москву на извозчике. Он сперва дрожал всем телом, а потом вроде успокоился. Но когда очутился в кухне, вдруг стал бегать как бешеный. Обежал все комнаты, вскакивал на кровати, на стулья, на столы, возвращался ко мне, опять убегал. Потом долго пил и наконец повалился у моих ног.

Царь

Мне двенадцать лет. Я стою на угловом балконе углового дома на Тверской, теперешней улице Горького. С левой стороны бульвар, и на нем стоит Пушкин с фонарями, а с правой — красные кирпичные стены Страстного монастыря. Мы с мамой туда ходили. Мама отдавала монашкам стегать одеяло. Теперь монастыря нет. Снесли. На его месте сквер, фонтан и Пушкин, прямо с фонарями его на салазках перетаскивали. Я видел, как тащили. Дождь шел, и какие-то старушки плакали. Не нравилось им, что Пушкина на новое место перетаскивают.

Так вот, стою я на балконе и смотрю. Прямо передо мной стрелой уходит Тверская, и вдоль по ней справа и слева — городовые в белых перчатках и здорово начищенных сапогах. Прямо сверкают. Сапоги, сапоги, сплошные сапоги.

Плотно стоят городовые. Вроде как две стенки из городских получилось. А за стенками и справа и слева люди. Много людей. Мужчины, женщины, дети. Маленькие на закорках у отцов. Все смотрят через головы городских вдоль улицы. Ждут. И мы на балкончике ждем.

Сейчас здесь должен проехать царь. Николай II. С царицей.

Балкончик этот, на котором мы стоим, и сейчас на том же месте. Выход на него из Дома Актеров ВТО, Всероссийского театрального общества. А тогда здесь помещалось управление Александровской железной дороги. Сейчас она Белорусской называется. Папа на ней тогда уже не работал. Его уволили за девятьсот пятый год. Но дружба с сослуживцами осталась. Вот он вместе с ними меня и устроил смотреть царя.

Ждем, ждем — никого нет. И вдруг в глубине улицы несется черная точка. Ближе, ближе. Собака. Маленькая черная собака. В страшном испуге. Свернуть некуда. Везде сапоги. А сзади топот лошадей. Уши у собачонки мотаются, как тряпки, от каждого скака, а мчится она отчаянно. Жалко ее.

Вдогон собачонке — пара гнедых рысаков. запряженных в ландо, открытую карету. На козлах кучер в синем. Руки навывтяжку, как две палки. Вожжи натянуты.

Сзади кучера, стоя спиной к нему, высокий мужчина в треуголке, как у Наполеона. Кто-то из железнодорожников сказал, что это министр. Так задом и едет. Лицом к царю. Царь-то где-то сзади. За этим министром в таком же ландо, с таким же толстым кучером, на таких же гнедых рысаках еще один дядька в треуголке. И тоже задом едет. За ним третий.

Из толпы кто-то в черном прорвался сквозь сапоги, кинулся чуть не на середину улицы, встал на колени и протянул руку с какой-то бумагой.

Мне объяснили, что это прошение на высочайшее имя. Его должен непременно прочитать сам царь, а не царский секретарь.

Я вспомнил, как мне рассказывал папа, что какой-то купец Семибрюхов просил царя поменять ему фамилию, а царь наложил резолюцию — сбавить ему два брюха. И стал купец Пятибрюховым.

Проезжавший министр, или кто он там, не знаю, встал одной ногой на подножку ландо и на ходу взял бумагу.

Я уж не помню, сколько таких министров в треуголках проехало — может, пять, может, шесть.

И наконец — царь. Царь с царицей. Какая она была с виду, царица, не помню. Кажется, в шляпе. Большой шляпе с пером. А царь похож. Такой, как на портрете в парикмахерской, в которой меня на лето стригли под машинку. Похож. Только лицо пошире и не розовое, как на портрете.

Как только ландо с царем и царицей на площадь въехало, так те, что стояли сзади городских, стали кричать: ура-ура-ура! Очень громко кричали и махали руками. И дети тоже махали. А как проехал царь, тут все стали расходиться в разные стороны. Кто по бульвару, кто вдоль монастырской стены.

И мы тоже ушли с балкона.

Все сейчас мне с трудом пришлось вызывать из памяти. Все, кроме несчастной собачонки. И я понял, почему она на всю жизнь врезалась в память.

Потому что была она единственная искренняя, единственная настоящая среди всего, что происходило вокруг.

Первая мировая

Гимн, гимн, гимн. Это разные люди кричат и в партере и прямо против нас в ложах.

Мы всей семьей — мама, папа, я и Боря — сидим в нашей ложе во втором ярусе слева. У нас абонемент. Пришли на оперу «Жизнь за царя» Глинки.

Дирижер появился на своем месте, и еще сильнее все закричали: гимн, гимн, гимн! Особенно громко кричат офицеры. Их много. Потому что война.

Дирижер взмахнул палочкой, и оркестр заиграл «Боже, царя храни». Все встали. И внизу, в партере, и в ложах. До самой галерки. И мы встали.

Кончился гимн, и все сели. С шумом даже. Только не совсем все. Офицеры остались стоять. Особенно в партере это видно. Стоят столбиками около своих голоплечих женщин.

Я спросил папу, почему они не садятся. Оказывается, потому, что неизвестно, не видно каждому, кто из них старше чином — кто поручик, кто полковник, а кто, может, и генерал. Они ведь по всему театру стоят. Не разглядишь, кто кто. А младший чином не может сидеть при старшем. Вот и стоят, как суслики в степи.

Погас свет, и они сели. В темноте можно.

Очень красивая опера. Сусанин хорошо басом пел «Ты взойди, моя заря. Последняя заря».

Когда вернулись домой, я сказал папе, что один семиклассник рассказывал во время большой перемены анекдот, что трагедия Сусанина в том, что он действительно заблудился. Папа совсем не засмеялся, а сказал, что это плохой анекдот. Сусанин спасал не царя, а Россию, родину. Смеяться тут нечего. Это прекрасный образ человека, жертвующего собой ради родины.

Мне стало стыдно, что я рассказал папе этот анекдот. Только почему папа говорит, что Сусанин — это образ? Образ — ведь это икона. Вот у мамы в спальне висит образ моего святого Сергия Радонежского. Разве Сусанин святой и есть икона Сусанина?

Идет война с немцами. На нас напал Вильгельм. Почему напал, не знаю. Про нашего учителя немецкого мы в классе поем: «Немец-перец, колбаса, купил лошадь без хвоста».

Наш знакомый художник Виктор Богданович Аден на войне летает на аэроплане и сверху срисовывает немецкие окопы, а немцы ничего сделать не могут. Разве дотуда дострельнешь?

Он говорит, что немцы очень злые. С аэропланов прямо из ящиков сыплют толстые железные гвозди без шляпок на наших солдат. И гвозди эти насквозь через человека проходят. Он показывал мне такой гвоздь. Разве так можно?

За решеткой Бахрушинской больницы много раненых в серых халатах. Есть на костылях, есть без ноги, без руки или голова перевязана. Они там свободно ходят или на лавочках сидят, а кажется, будто в тюрьме. Это из-за решетки. Прохожие дают им хлеб, колбасу, махорку или деньги.

На прошлой неделе в синемаатографе перед картиной показывали кинохронику. Очень красиво называлось. Я запомнил: «Торжественное молебствие в Успенском соборе о ниспослании победы русскому воинству». Очень здорово — «о ниспослании победы русскому воинству». Красиво.

А вчера вечером у нас был в гостях морской офицер Бошняк. В форме, с красивым маленьким кортиком на боку. Зачем он ему? Он же не воюет. У него покалечена рука. Ничего ею взять не может. Пальцы худые и скрючены. Он воевал с японцами на «Варяге». Вот про которого поют: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает».

Бошняк говорил папе, что мы опять войну проиграем, как с японцами. Он говорит, что у нас плохие генералы. Из-за этого очень много солдат погибло в каких-то Мазурских болотах, и виноват в этом какой-то генерал.

Я на ночь смотрел «Сатирикон». Там очень смешно нарисован Вильгельм в каске и с усами вверх. И толсторожий Гинденбург нарисован. Голова здоровенная, а сам маленький.

А в «Огоньке» написано про казака Кузьму Крючкова. Он один своей пикой очень много немцев проткнул. Я его уже на конфетной коробке видел, у него из-под казацкой фуражки курчавые волосы. Целый клок торчит.

А на последней странице напечатано, что продается средство «для увеличения бюста», и два рисунка женщины: одна обыкновенная, а у другой здоровенная грудь. Обе в больших прическах. Нарисованы сбоку, а лица повернуты прямо и улыбаются.

Не знаю, зачем нужно такую грудь выращивать.

А что же это с войной будет? Неужели немцы победят, как японцы? Папа думает, что не победят, а Бошняк говорит — победят. Вдруг он прав, этот офицер.

Коленки

Мне тринадцать. Я перешел в четвертый класс. Учитель русского дал домашнее задание на лето. Прочитать «Обрыв» Гончарова и написать изложение. Прочитал. Изложение написал и получил четыре с плюсом.

Все про любовь. Интересно, только длинно очень. Но по правде-то, я не все понял. Например, у бабушки тоже что-то в прошлом было не очень приличное, как у Веры, а что было, не написано. Наверное, в той же беседке все это было на обрыве. Жаль, что снесли. Наверно, красивая была.

И еще совсем непонятно про Марфиньку. Она такая хорошая и честная, что, когда сидит рядом с Райским, который в нее влюблен, совсем даже не замечает, что прикасается своей коленкой к коленке

Райского. А что тут замечать? Непонятно. Разве коленка — это неприличное место? Никогда про это не знал.

И теперь, когда играем в испорченный телефон и рядом сидит девочка, всегда думаю, прикасается моя коленка к ее коленке или нет.

Мне Вера Голинская нравится. Она старше. В пятом классе женской гимназии. Сильная какая. Если с ней бороться, обязательно повалит. Говорит, что я ни попрошу — все сделает. При всех сказала. Я говорю: «Расплети косу». Она взяла и расплела. У нее по пояс волосы. Все захохотали. Глупо это.

После обеда из пустыни брянцевские девки мимо забора шли (Брянцево — это село такое). Со здоровенной собакой шли. Дружок залаял, а брянцевская собака в калитку вскочила и на Дружка. Прямо в шею вцепилась. Дружок визжит, а Вера схватила собаку за хряпку и за кожу у хвоста и подняла в воздух. Такую огромную собаку. Дружок убежал. Вера отпустила собаку. Девки ее позвали, и она за ними побежала.

Молодец Вера. Сильная какая! И храбрая.

А коленки у нее толще моих. Вообще у девочек коленки толще, чем у мальчиков. Это, когда мы в испорченный телефон играем, очень даже видно.

Вчера играли. Я рядом с Верой последним сидел. Мы на длинном бревне всегда сидим, когда в этот телефон играем. Интересно. Первым сидел Верин брат, Жоржик Голинский. Он кадет. Сейчас-то, как все, в коротких штанах да в рубашке, а из Москвы в форме приехал. Красиво — черная форма, красные погоны и красный околыш на фуражке. А Вася Костомаров — гимназист. У него светло-серая форма и на ремне серебряная бляха. Я реалист, у меня темно-зеленая форма и медная бляха. На ней буквы выдавлены «Р. У.» — реальное училище. Гимназисты нас, реалистов, дразнят «рваные уши».

Зимой гимназисты и реалисты часто дерутся. Прямо класс на класс. Ремнями. Этими самыми бляхами. Здорово больно. Бывает, и в кровь.

Ну а летом-то мы, конечно, не в форме. Все голоногие, в коротких штанах. Мальчишки, конечно. А девчонки в юбках, но тоже голоногие.

Сидим на бревне. Жоржик первое слово придумал и в ухо Ленке сказал, та засмеялась и в ухо Васе. Тоже шепотом, чтобы другие не слышали. Когда слово до меня дошло, его мне Вера в ухо надышала. Чудное какое-то слово. Даже вроде два — «пальцы в акции». Я, как полагается, сказал его громко. Все засмеялись. Оказывается, первое-то слово было «фальсификация». Это Жоржик придумал. Я такого слова и не знал никогда. А Вера, оказывается, знала. Говорит, это значит обман. И опять ее коленка об мою стукнулась. Никогда я до этого самого «Обрыва» на такое внимания не обращал.

Ступеньку эту я написал только сейчас, когда мне уже давно за восемьдесят. Писать старался так, как тогда думал и чувствовал, и уверен, что не только меня одного в детстве тревожили в книгах, написанных разными писателями, события или мысли, рассчитанные на взрослых, на их жизненный опыт, а совсем не на детскую неопытность. Раньше времени тревожили.

Уверен, что литературу нельзя преподавать как науку. Это искусство. Причем из всех искусств, пожалуй, самое сильное. Осторожно с ним надо обращаться и пользоваться не для обучения, а для воспитания, иначе дров наломаешь кучу. Исковеркаешь детям душу. Недавно в книге комментариев Лотмана к «Евгению Онегину»

прочел строчки, не вошедшие в окончательный печатный текст романа:

Нас пыл сердечный рано мучит,
Очаровательный обман,
Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заранее,
Мы узнаем ее в романе.
Мы все узнали, между тем
Не насладились мы ничем.
Природы глас предупреждая,
Мы только счастию вредим,
И поздно, поздно вслед за ним
Летит горячность молодая.

Оказывается, не только я против раннего чтения взрослых книг, а Пушкин тоже.

Теперь в спорах об этом с учителями буду их пушкинскими строчками как козырным тузом бить.

Гениальные наброски

Все детство я рисую. Наверное, лет с четырех или пяти. Людей, дома, небо, лошадей, собак, слонов, разбойников, индейцев, ангелов, чертей, кошек.

У меня сохранился альбом. Много там всего нарисовано.

В гости пришла девчонка. Старше меня. Она уже в подготовительном классе. Раскрыла мой альбом. Ей все нравилось, но она серьезная (я же говорил, что старше меня). Взяла чернильный карандаш и на всех рисунках отметки поставила. Прямо через лист. Шикарно очень. 5+, 4—, 5+, 5+, 5+. Все картинки испортила. А я гордился. Все-таки пять с плюсом.

Эта девчонка, Галина ее звали, в учительницу играла. Так ей учительница в школе по диктанту да по домашней работе баллы ставила.

Товарищи учительницы! Вы же требуете от ваших учеников опрятных тетрадей, даже в обертке, чистых страниц, без клякс, со старательным почерком. Так уважайте ученическую тетрадку. Не ставьте отметки начальническим росчерком. Это вы виноваты в том, что мне Галка все рисунки замарала. Это она вам подражала.

Когда мне исполнилось лет десять, я начал учиться рисовать по-настоящему. Группа ребят образовалась. Родители сложились. Наняли учителя. Фамилия была у него Окороков.

Стали рисовать углем, писать акварелью и маслом. Масляные краски мы с мамой покупали у Досекина на Сретенке.

Каждое воскресенье занимались. Замечательно интересно было.

И вот как-то повела меня мама на посмертную выставку Валентина Серова.

Там я впервые увидел и девочку с персиками, и огромное похищение Европы, и худущую Иду Рубинштейн.

Но поразили меня не румянец на щеках девочки с персиками, не белые барашки на волнах, по которым плыл рыжий бык с веселой девушкой, и ее почему-то звали Европой (разве это имя для девушки?).

Поразили меня маленькие наброски к басням Крылова. Совсем маленькие. Просто листочки. И нарисовано вроде как наспех. Кое-как. Просто. Карандашом. Даже не раскрашено.

И чуть не под каждым таким наброском надпись: «Приобретено Третьяковской галереей».

Я раньше думал, что картина — это когда красками и в раме. А тут выходит, что даже набросок тоже вроде картина. Сама Третьяковская галерея купила. Это там, где Куликовская битва, где Иван

Грозный убил сына так, что даже кровь течет. Неужели там будет на стене этот карандашный набросок волка висеть?

Ну сколько его рисовал Серов? Ну десять минут, ну пятнадцать. Что же тут рисовать-то? «Приобретено Третьяковской галереей». Удивительно.

И подпись под наброском: «В. Серов». Значит, художник это тоже за картину считал.

И я стал делать быстрые наброски и каждый подписывать: «С. Образцов».

На мое счастье, к Бабе Капе приехал в гости на один день только какой-то молодой художник. Худой, длинный, в сером костюме.

Баба Капа сказала: «Сережа, покажи свои рисунки», — а художник посмотрел мой альбом, а потом сказал: «А ну нарисуй меня» — и сел ко мне боком. Минут, наверно, пять всего я рисовал, не больше, чуть заштриховал штаны и расписался: «С. Образцов». Как Серов.

Художник взял рисунок и сказал: «Что же это ты так? Смотри». Достал спичку и стал ее прикладывать к рисунку. «Нога от бедра до колена вдвое длиннее, чем от колена до пятки. Живота у меня, оказывается, вовсе нет. Где живот? Ноги прямо из груди растут».

Все это было, во-первых, правда, а во-вторых, объяснено с полным ко мне презрением.

Я обиделся. Не плакал, а обиделся. Уж очень обидно он со мной разговаривал. И все-таки податься было некуда. Я понял и то, что я очень плохо нарисовал, и, самое главное, понял свое зазнайство. Да еще подписывался. Стыдно.

Очень я благодарен этому неизвестному мне художнику. Дал он мне по носу. Вовремя. Спасибо.

Недавно ко мне пришла в театр группа ребят из кружка художников столицы одной республики. Осматривали музей. Делали наброски. Преподаватель сказал: «Покажите, ребята, Сергею Владимировичу свои наброски».

Показали. Сплошное зазнайство. Плохо. Никуда не годно нарисовано, зато шикарно. И везде подписи.

Бить нужно учителя, а ребят выставить, чтоб расстроились, чтобы на всю жизнь шикарить разучились.

Голая женщина

Мне пятнадцать лет. Я ученик частного реального училища Воскресенского. Оно на углу Введенского и Десятинного. Слезть надо с трамвая № 29 у Машкова переулка на Покровке.

Там хороший учитель рисования. Я даже по воскресеньям прихожу писать маслом портрет старушки в синем платке. У нее розовое лицо и розовые руки.

Поступил в платную школу Хотулева у Мясницких ворот. Каждый вечер хожу. Вместе со всеми углем рисую портреты. Поступил в понедельник, а в субботу будет обнаженная натура. Жду этой субботы с испугом. В первый раз буду видеть голую женщину. Что-то неприличное, стыдное. Целое событие произойдет в моей жизни. Голая женщина.

Наступила суббота. Я приготовил стул. Раскрыл альбом (будут пятиминутные наброски). Наточил карандаш «Кохинор-ЗБ», приготовил резинку «слоник». Жду. Господи, что-то будет.

Пришла натурщица. Немолодая. Лег, наверное, сорок. Может, больше. Зашла за ширму. Ширма на ножках. Внизу видно, как сняла туфли. Чулки. Голые ноги. Над ширмой взвилась юбка и повисла. На нее выкинута кофта.

Вышла из-за ширмы, закутанная платком. А ноги по колени го-

лые. Белые. Прошлепала босиком до невысокого станочка. Вскочила на него и скинула на табуретку платок. Голая, совсем голая.

И никакого события. Я прямо-таки испугался. Как же так? Вот передо мной голая женщина, а я и сам ничего не испытываю, и за нее не стыдно. Может, потому, что она не голая, а «обнаженная»? Наверно, голой женщина бывает только в определенных обстоятельствах. И не от нее эта голость зависит, а от того, кто на нее смотрит. В бинокль или в щелку. А тут какие же обстоятельства? Простые. Рисовать надо. Чтобы похоже было. Чтобы пропорции были верные. Чтобы стояла, а не падала. Да к тому же быстро надо. Пять минут поза.

На полустанке

Лето семнадцатого года. Мне шестнадцать. Полустанок Машук около Пятигорска. Дачники из Москвы, Петрограда, Киева. Вместе с маминой подругой мы тоже снимаем дачу.

У маминой подруги — дочка Ляля, ей тоже шестнадцать. У нее черные глаза, черные брови и очень много черных волос. Я не говорю ей, что я в нее влюблен, но когда она уезжает в Пятигорск, сижу в саду и тихо пою: «Где ты, голубка родная, вспомнишь ли ты обо мне, так же ль, как я, изнывая, плачешь в ночной тишине?»

У Ляли двоюродный брат, то ли Вова, то ли Паша, сейчас не помню, ну пусть Вова. Это, в общем, все равно. Ему тоже шестнадцать.

Мы — охрана общественного порядка. Каждый вечер нам дают по берданке, и мы идем на станцию проверять документы у дачников. Делаем это гордо и сурово. Дачники документы дают, но над нами смеются. В документах мы ничего не понимаем, смотрим на них, возвращаем обратно, поправляем на плечах ремни берданок и ждем следующего поезда.

Ночь темная, трещат цикады.

В стране неспокойно. Так хорошо прошла революция, а сейчас, говорят, все мутят большевики. Зовут солдат с фронта уходить. Так можно и войну с проклятыми немцами проиграть. Слава богу, есть Керенский. Вокруг меня все в него влюблены. И в «Русском слове», и в «Русских ведомостях» его фотографии — френч, галифе, волосы бобриком. Ляля говорит, что он душка. Замечательный оратор. Призывает биться с немцами до последней капли. После Учредительного собрания, когда решат, какой будет строй — конституционная монархия или республика, — надо поставить Керенскому памятник. Он спасает Россию.

На летней эстрадной площадке самодеятельный концерт. Выступают дачники. Кто что может. Худой прыщавый студент читает стихи: «Садитесь, я вам рад, и можете держать себя свободно».

Я эти стихи знаю, они напечатаны в «Чтеце-декламаторе». Потом он прочел Бальмонта: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать. Хочу упиться роскошным телом». Смешно, я только вчера видел Бальмонта в Пятигорске в трамвае. Маленький, рыжий, с длинными волосами, вроде карикатуры на Христа. Как это он может одежды срывать? Кто это дастся?

Потом довольно толстая девица очень низким, прямо-таки мужским голосом пела цыганский романс. Каждый куплет кончался: «Черт с тобой, черт с тобой». Ей хлопали больше, чем студенту.

Кончился концерт, и все стали расходиться по домам. Мы с Вовой, или Пашей, пошли в сад, в темноте ощупью нарвали черешен, съели и легли спать.

Самое главное, что есть Керенский. Только вот опять Ляля куда-то к подруге уехала. «Где ты, голубка родная, вспомнишь ли ты обо мне?..»

Дворянская шпага

Я всегда думал, что если человек долго живет в одном городе, то, значит, у него полно друзей-знакомых и город он, конечно, знает наизусть. Так ничего подобного. Все как раз наоборот. Я родился в Москве. Больше восьмидесяти лет в ней живу. Так вы думаете, что я знаю город наизусть? Совсем не знаю. В детстве знал, когда в нем было не восемь миллионов, а восемьсот тысяч жителей и завершился город, в общем, заставами: Преображенской, Дорогомилловской, Рогожской, Калужской. А Царицыно, Бибирево, Вишняки были дачные местности. Закинь меня сейчас на парашюте в какое-нибудь Бирюлево — вы думаете, я догадаюсь, что это Москва? Внутри Садового кольца хожу как по своему городу, а чуть дальше — ничего не понимаю. Где я, куда идти? И с людьми так же.

Это, конечно, хорошо говорить: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». Красиво, да грустно. Племя-то это — все мои дети да мои внуки. А мое племя где? Нету. Вымерли. Те, с кем я жизнь прожил, дружил, спорил. Где мои учителя? Архипов, Фаворский, Немирович, Станиславский. Где мои старшие товарищи, друзья? Москвин, Качалов, Михозл, Эренбург. Где мои сверстники, мои товарищи по ВХУТЕМАСу, Музыкальной студии, Второму МХАТу? Где теперь художники? Гончаров, Вильямс, Пименов, Дейнека. Где актеры — Берсенев, Бирман, Гиацинтова, Дурасова? Где? Умерли.

Непонятное это слово «умер». Вот родился — понятно. Не было человека — и появился. Этому предшествовала девятимесячная беременность, роды. Вот он еще маленький. Все как у настоящего человека — и уши и ногти. А еще не совсем человек. Еще будет расти. Нет, появление человека понятно. А вот смерть? Никогда не соглашусь ни с чьей смертью. И со своей тоже. Как это может быть, что нет моего отца, что нет Качалова? Почему я живу на улице Немировича-Данченко? Ведь он же меня в театр принимал. Почему я хожу по улице Москвина? Ведь мы же с ним по Неве катались.

Конечно, у меня сейчас много новых друзей. Да и детей, и внуков, и правнуков своих я люблю. Но мне не хватает старых друзей. Людей моей жизни, моего поколения. Ни один человек не может заменить другого. И часто, очень часто я бываю одинок, хоть и окружен людьми, которые ко мне хорошо относятся, любят меня.

Я только что звонил сыну. Но как непостижимо, как непонятно, что я не могу позвонить отцу, поехать на улицу, которая теперь носит его имя, и поцеловать мать. Спросить их о чем-то, что было со мной. Они помнят, обязательно помнят. И брату позвонить не могу. У него память куда лучше, чем у меня. Нет брата. Давно нет, хоть он и моложе меня был.

А нужно бы его спросить, потому что я хочу рассказать о том, как мы с ним папину дворянскую шпагу с испугу уничтожили.

Когда это было? Вот и не помню. Думаю, что осенью семнадцатого года. Значит, мне шестнадцать, а брату четырнадцать с половиной.

Мама с папой на работе. Мы одни с братом в квартире.

Прибегает какой-то человек и говорит, что по всей Бахрушинской обыски идут. «До вашего дома только два дома осталось». Мы тогда на Большой Бахрушинской жили, теперь она называется Большая Остроумовская. В деревянном доме. На втором этаже.

Что делать? Сейчас к нам придут большевики. Вдруг что-нибудь найдут. А что? Вроде бы у нас ничего такого нет. Нет есть. Да еще какое! Оружие. Папина дворянская шпага. Папа не дворянин. Разночинец. Сын купца третьей гильдии и малограмотной хозяйки шляпной мастерской, гильдия самая маленькая, да и отца своего папа не помнит. Он умер, когда папе было шесть лет. Так при чем же шпага?

А вот при чем. Все люди, окончившие высшее учебное заведение, вне зависимости от сословия, к которому принадлежали, получали звание личного дворянина, не потомственного, а личного, то есть по наследству не передаваемого.

Отец мой был директором среднего строительного училища и по должности должен был представляться высшему начальству в вицмундире. А к мундиру полагалась шпага. Дворянская шпага. Красивая. В тоненьких ножнах.

Ну что с ней делать? Найдут шпагу, подумают, что мы буржуи или белогвардейцы. Расстреляют или в тюрьму посадят папу, а то и всех. Что делать? Уничтожить. Как можно скорее уничтожить.

Схватили шпагу, побежали во двор. Туда, где сараи. Отопление-то у нас дровяное. Голландские печи. Значит, у каждой квартиры свой сарай. Достали два полена и колун. Вынули шпагу из ножен, положили на раздвинутые поленья. И со всей силой колуном. Шпага взвизгнула и взвилась в синее небо, продолжая как-то удивительно звучать. Упала. Три раза со звоном подпрыгнула и лежит. Целая. Ни царапинки, ни вмятины. Еще раз ударили. Опять со стоном взлетела и опять лежит целехонькая и блестит на солнце. Ну что делать? Еще выйдет кто-нибудь во двор: «Что вы тут, ребята, со шпагой творите, а?» Как быть? Бог ты мой, как же это мы сразу не догадались? В колодец ее, в колодец. Кто ее там найдет?

Бросили в колодец, прибежали в квартиру, а папа с мамой уже вернулись. Рассказали папе. Он говорит: «Зря вы это. Ну да все равно, никому эта глупая шпага не нужна».

Тут и с обыском пришли. Рылись, рылись. Даже в супницу ложкой лазили. Ничего не нашли.

А мама говорит: «Господа, не хотите ли чаю?» Как это она сказала «господа»? Большевикам-то надо говорить «товарищи». Мы с Борисом замерли, а пришедшие говорят: «Не откажемся, гражданочка. Устали очень». Сели чай пить. Мама печенье дала. Разговорились.

Пришедшие, их было двое, стали папу расспрашивать. Что он делает. А он им очень интересно рассказал, что надо в Москве делать глубокий ввод. Это была его мечта, чтобы поезда могли сквозь город под землей проходить. И не надо тогда будет тем, кто на дачном поезде по Ярославке едет, на Каланчевке сходить и на трамвай пересаживаться, а доедет он хоть до центра, хоть дальше. А может этот же поезд и по Павелецкой помчаться.

Очень интересно папа рассказывал. Наверно, час, а может, и больше новые гости сидели. Когда прощались, мама сказала: «До свидания, господа».

Тайга

Затеял эту рекогносцировочную экспедицию еще до революции Павел Рябушинский. Его контора была в большом доме в Китайгороде, на Ильинке. Начальником экспедиции он пригласил моего отца. Революция устранила только Рябушинского, а затею его оставила в силе, потому что сама затея была толковая — проложить железную дорогу из Усть-Сысольска (теперь этот город называется Сыктывкар) через тайгу на Усть-Ухту, для того чтобы начать добычу нефти. Она там прямо из земли сама течет.

Экспедиционная группа маленькая. Кроме моего отца, еще два инженера, проводник с ружьем и собакой, и трое рабочих. Разбились на две группы. Головная двинулась напрямик на Усть-Ухту. Отец, проводник — швед Оскар Мартыныч Клаус — с собакой Вилюжкой, рабочий Семен Вишеракин (он из села, стоящего на реке Вишере, там во всех избах живут только Вишеракины) и я, меня отец взял за рабочего. Мне уже семнадцать, и хоть роста я среднего, но крепкий.

Все это мне пришлось так подробно описать потому, что дальнейшее совсем было бы непонятно.

Жаль мне людей, которые в тайге не были. Живая сказка: «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей...» Все правда, все слова — правда. Зайцы пробили на водопой целые тракты. Бежит заяц, свистнешь — он остановится и сидит столбиком. Шок у него от свиста. Можешь даже осечку дать, а он все сидит, пока шок не пройдет.

Семья рябчиков на елке. Стреляй в нижнего, верхние не улетят. Не боятся они выстрела. Не знают его.

Пихты, лиственницы в два-три обхвата. Керки — охотничьи избушки — пустые. Охотники позже придут. Затопи печку, дым над головой белым матрасом лежит и в дырку под потолком в стене уходит. По-черному. Сперва глаза щиплет, а потом ничего. А недалеко от керки избушка на курьих ножках, без окон, без дверей. В нее промысловики-охотники по зиме будут дичь складывать. На четырех столбах стоит или на срубленных пнях. Тогда корни и впрямь на куриные лапы похожи.

Медведь может и окно и дверь лапой выбить. Поэтому и нет ни окон, ни дверей. Половицу выдвинешь и влезай на здоровье. Я там спал. Хорошо, смолисто. Понятно, почему у бабы-яги нос в потолок, там выпрямиться нельзя. Только сидя голову поднять можно.

Почему она яга, и без объяснений понятно. Белый мох в сосновом бору называется ягель, а бор сосновый — яг. Знахарки какие-то, вероятно, отшельницами в таком лесу жили.

А что касается нефти, так она жирной струей прямо в речку ползет, целые поляны залила, застыла, как резиновое озеро, а из него уши торчат, заячьи, лисьи. Завязали, значит, вот их и затянуло.

Сперва мы по Вычегде триста километров против течения на лодке гребли. Много дней. По ночам на берегу в спальных мешках спали.

Осень. Ночью морозы. Заснули как-то на песчаной отмели, а проснулись как мюнхгаузены. Все белым инеем покрыто — и песок, на котором заснули, и мы все в наших мешках.

А вокруг медвежьи следы. Выходит, медведь приходил, каждого обнюхивал, выясняя, что мы за звери такие. А потом к реке спустился. До самой воды следы идут. Значит, уплыл он на другую сторону, не стал с нами связываться.

Хорошо, что никто не проснулся. Заорал бы с испугу, а тогда медведь и рассердиться мог.

После Вычегды километров двести по Вишере гребли, по мелководной Нившере шестом толкались, потом сто километров пешком по тайге.

Болот много. Идешь и в руках две срубленные сосенки тащишь. Как болото встретится, одну сосенку вперед бросишь, по ней переступаешь, а другой сосенкой подпираешься. Дойдешь до конца, вторую сосенку вперед бросишь, а первой подпираешься. Бывало, целый час на километр уходит.

И проваливаешься, конечно. Вечером мокрые сапоги стащишь, утром они как ледышки. Если ударить о дерево, ломаются. Отогреешь их на костре, сухую портянку наматываешь — и порядок.

Так вот что удивительно! Ни кашля, ни насморка. Потому, наверное, что насморк-то болезнь инфекционная, а в тайге какая же инфекция?

Пока реками на лодке шли, на деревенских полях себе картошку рыли. И за воровство не считали, не обеднеет хозяин, если мы десять картофелин выроем, а, кроме нас, тут воровать некому.

В лесу рыжиков нарвем. Семен в котле их с картошкой сварит, воду сольет, руками разомнет, ложкой разотрет, ложку тщательно

языком вылижет, торжественно мне ее протянет и говорит: «Ешь, Сергей, сердитым будешь».

А как по тайге пошли, Оскар Мартыныч нас по ходу, никуда не отбиваясь, снабжает и рябчиками, и тетерками, и зайцами. С собой у нас только сухари у каждого за спиной.

Очень Оскар Мартыныч хотел научить меня стрелять. Что это за мужчина, если он стрелять не умеет? Я и сам понимал мою в этом смысле неполноценность.

Ну, естественно, влет ни в утку, ни в тетерку не попаду, ну а в белку или летягу, если она на ветке сидит, попасть легче.

Замечательный зверек летяга. Серая белочка с мехом, похожим на мех шиншиллы. Между передними и задними лапами у нее перепонки, тоже все в меху. Прыгнет летяга, расставит лапки и летит с одного дерева на другое, как меховой квадратик с пушистым рулем сзади.

Вот перепрыгнула летяга с елки на пихту, уселась на ветке и смотрит, как над ней утки летят. Оскар Мартыныч говорит: «Стреляй, Сергей», объясняет, как прицеливаться надо. Я все сделал, как он мне объяснил. Навел летягу на мушку и выстрелил. Прикладом здорово мне в плечо ударило, а летяга, задевая ветки, долго на землю падала.

Я подбежал, схватил ее. Она у меня в руке зашевелилась, потом сразу выпрямилась и обвисла.

До чего мне стало противно и стыдно. Невозможно стыдно, за что же это я ее. Ведь вот только что она на уток смотрела.

Как жить?

Я написал папе письмо: «Папа, что мне делать? Я не верю в бога. Его нет».

Папа говорил со мной. Успокоил. Говорит, что он тоже не верит в бога, но его это совсем не огорчает. Надо не о боге думать, коли его нет, а о людях. Людей жалеть.

Хорошо ему так говорить. А как жалеть? Как надо жить? Что хорошо, что плохо?

Пойду к Черткову. Он был другом Толстого. Толстой — великий писатель. У него целое учение. Правда, он вроде бы верил в бога. Но в какого-то не такого. А священников не любил. Я священникам тоже не верю, и монахам не верю, и всем, кто говорит, что верит в бога, не верю. Нельзя знать все, что мы знаем про землю, про вселенную, про происхождение человека, и верить в бога. Это либо слепота, либо вранье.

Ну а как же все-таки жить?

Чертков сидел в каком-то рыжем верблюжьем армяке вроде халата. Дал мне много всякой литературы.

Я дома все честно прочел. Совсем не понял. Наивно как-то. По-детски и сентиментально. Не понравилось. Все отнес обратно.

Опять Чертков сидел в халате, и при нем какой-то толстовец. Молодой, голубоглазый. Похож на инока. Только без длинных волос. Чертков называл его Алеша.

Как же все-таки быть? Решил писать дневник и записывать в нем все дурные мысли и дурные поступки.

Писал несколько вечеров подряд, а получилось еще хуже.

Все дурные поступки, и особенно мысли, при записывании как бы вновь думались и переживались.

Кроме вреда, ничего.

Как же быть?

Да еще всякие сны снятся.

Придумал. Буду спать на досках. Положил две чертежные доски, постелил простыни. Лег спать. Конечно, жестко, но самое глав-

ное — холодно. Сколько ни клади одеял. Даже шубу положил. Все равно холодно. Снизу, от досок.

Три дня так проспал, вернее промучился, и постелил солдатское серое одеяло. Можно спать.

Так и спал целых пять лет. Очень хорошо. Всем советую.

А все-таки, как же жить? Пойду на философский факультет. Тем более что для поступления никаких документов не надо. Иди кто хочет, философия научит. На то она и философия.

Университет

В доме по Большой Бахрушинской в нижней квартире живут Хлыновы. Мы с Борисом с ними подружились. Хорошие люди. По вечерам чуть не каждый день в гости ходим. Поем, дурачась: «Ночью и днем все об одном, все о четвертой квартире». Живет с Хлыновыми девушка, родственница. Сестра жены. Очень у нее чудное имя — Анемаиса. Постарше меня. Но, я думаю, ненамного. Замечательный человек. Замечательная девушка. Она тоже вместе со мной на философский поступила. Вот мы с ней и топаем в университет и обратно. Туда часа полтора-два да оттуда столько же. Туда вечером. Оттуда ночью. Идем, о жизни разговариваем. Обсуждаем лекции. Происходят они в богословской аудитории, в старом здании университета на Моховой.

Студенты разные. Не поймешь, кто кто и зачем пришел учиться. Большинство, как я, по ошибке.

Лекции читают Шпет, Цирес, Фохт. О субстанции, о вещи в себе. Ничего не понятно. Никто из нас не готов это слушать. Профессор на лекции по логике говорит о силлогизмах. Спрашивает: «Все куры есть птицы, значит, все птицы есть куры?» Что тут неверно? Студент отвечает — это самое «есть» все путает. Выкинуть это слово надо.

Худая-худая девушка все время кашляет. Куртка серая, валенки серые и лицо серое. Показывает свою тетрадку. Запись лекций. Идет-идет фраза, и вдруг хвостик вниз. Это она пишет и засыпает. Рука соскальзывает. Клонет головой, очнется и опять пишет. И опять рука срывается. И снова пишет. Усталые мы все, да еще голодные.

Кончилась лекция. Все встали. Пошли из амфитеатра вниз. А наверху студент остался. Заснул от усталости. Кто-то на него показал. Все засмеялись. Он проснулся, испугался и заметался по верхнему ряду. И тогда мы все сами испугались и замолчали. Тишина, а он все мечется. Очень страшно. Потом остановился, вернулся за своей тетрадкой, взял ее и пошел.

Слава богу, а то я подумал, не сошел ли он с ума.

Разочаровался я в философии. Жить она не учит, а я ведь за этим туда пошел. Перестали мы с Нисой в университет ходить.

А недавно я получил письмо от ее родственников. Анемаиса Николаевна умерла, и было ей девяносто два года, значит, на целых десять лет была она старше меня. Не казалось мне тогда так.

Замуж она не вышла, а воспитывала своих двоюродных внуков.

Только не думайте, что у нас с ней роман был. Мне это даже в голову не приходило, но очень хочется, чтобы вы запомнили имя Анемаиса Николаевна и знали, что это был очень, очень хороший человек. Чистый, добрый. Редкий человек.

Запомните — Анемаиса Николаевна. Пусть она живет в моей книжке столько, сколько книжка жить будет.

ВХУТЕМАС

Я поступил во ВХУТЕМАС, как только окончил реальное училище. Весной семнадцатого года. А учиться начал осенью. Никаких

экзаменов. Показал свои рисунки Архипову. Он сказал: «Ничего». Летом мне исполнилось семнадцать.

ВХУТЕМАС — это бывшая Школа Живописи, Ваяния и Зодчества и расшифровывается так: Высшие художественно-технические мастерские. Каждый студент учится у своего мастера, а теоретический курс у всех один.

Мастера — это Архипов, Осьмеркин, Машков, Келин, Бакшеев, Коненков, Ефимов.

Мастерская Машкова рядом с архиповской. У Машкова учится какой-то мальчишка, Андрей Гончаров. Шумный, черноглазый, в клетчатых штанах, сшитых матерью из пледа. Застегиваются они не стесняясь прямо видными здоровенными пуговицами. Вскрывает на табуретку и кричит: «Кто там шагает правой?левой, левой, левой».

С тех пор и до самой его смерти мы дружили. Замечательный из него получился график и не менее замечательный живописец.

В мастерских трещат буржуйки. Мы все в полушубках, ватниках, фуфайках, а натурщицы голые у самых печурок. Даже с одной стороны поддумываются.

Машковская мастерская самая организованная. Из окна видно, как машковцы всей ватагой впряглись в связанный из березовых стволов квадрат, идут по Мясницкой и волокут большие сани-розвальни, нагруженные березами, прямо как белый пароход. Это они где-то за Сокольниками напилели. Вот и везут.

Приезжал Василий Каменский. Громко читал «Паровозную литургию»: «Шпалы, шпалы, шпалы, шпалы, шпалы, шпалы мы».

В Политехническом музее Вересаев ведет вечера поэтов. Шершеневич читает: «А пока я не умер, простудясь у окошечка, все смотря, не пройдет ли по Арбату Христос, мне бы только любви немножечко да десятка два папирос. Мне бы только любви, хоть вот столечко, без истерик, без клятв, без тревог, чтобы мог как-то просто какую-то Олечку обсосать с головы до ног». До сих пор помню.

Потом какой-то молодой рыжеволосый парень по фамилии Есенин прочитал: «Я нарочно хожу нечесаный, с головой, как керосиновая лампа на плечах». Серdito прочитал. Будто мы в этом виноваты.

А потом девушка, поэтесса, не помню фамилии, прочла о соленом вкусе поцелуя. Не понимаю, как она при всех это говорит.

В той же большой аудитории Политехнического музея Художественный театр «Дядю Ваню» играет. Я пошел. На следующий день Архипов спрашивает: «Почему вчера на набросках не были?» «А я, Александр Абрамыч, «Дядю Ваню» смотрел». «Тут обнаженная натура стоит, а вы на какого-то дядю Ваню ходите».

Мне стыдно. Прав он. Настоящий художник. Вся жизнь его в этом. Действительно, ну какое отношение имеет какой-то дядя Ваня к углю, сангине, к движению обнаженного корпуса, к живописи, к тому, что возникает, если соединить охру с кобальтом, и как загорается киноварь, если рядом положить изумрудную зелень или перманент? Ну при чем тут дядя Ваня?

Смотрел в Камерном «Саломею». Вот здорово! Как возникает трагическое, так красный задник закрывается черным.

А еще интереснее — Саломея говорит: «Я люблю твои волосы, Иоканаан. Они как черные змеи», а парик-то у Иоканаана ярко-красный. Вот как смело.

Борис Шаляпин, сын настоящего Шаляпина, тоже в мастерской Архипова. Наши мольберты рядом стоят. Он говорит, что его сестра повела отца в Камерный, кажется, на Фямиру Кифаред. В антракте спрашивает: «Ну как, папа?» — а он говорит: «Беда». Жалко, что ему не понравилось.

У Мейерхольда «Лес». До сих пор помню, как Ильинский в несуществующей реке несуществующую рыбу ловил. Она у него с не-

существующего крючка сорвалась, и он ее уже на земле схватил. Удивительный актер.

И еще помню, как Петр гармошкой загрустившую Аксинью разве-сел. Сыграл сперва грустно, а потом невозможно весело старин-ный вальс. До слез.

Потом этот вальс в песню превратился — в «Кирпичики». Кто-то слова сочинил: «На окраине где-то города я в рабочей семье ро-дилась, лет шестнадцати, горе мыкая, на кирпичный завод наня-лась». Дога эту песню пели.

Все, что я сейчас рассказал, может, в разные годы было, но для меня все это объединено одним прекрасным словом «ВХУТЕМАС».

В истории советского искусства ВХУТЕМАС останется навсегда. Подумать только, в Школе Живописи, Ваяния и Зодчества учились Архипов, Серов, Левитан, Врубель, Нестеров, Куинджи, а когда Школа Живописи превратилась во ВХУТЕМАС, то воспитал он Гон-чарова, Дейнеку, Вильямса, Пименова, Кукрыниксов.

Как я счастлив, что жил со всеми ними одним сердцем.

Будет

Итак, я студент ВХУТЕМАСа.

Живем в том же доме на Большой Бахрушинской, в котором мы с братом шпагу уничтожали. Холодно. Спим не раздеваясь. Руки красные и в цыпках. Никаких дров не продают. Голландки топить нечем. В комнатах железные печурки-буржуйки. От них под потол-ком самоварные трубы. Одна в другую, одна в другую и прямо в дырки в дощечках, которыми заделаны форточки. На стыках труб подвешены баночки, чтобы смола не капала. «Обзавелись печурка-ми и топят их окурками, бумажками, и спичками, и прочими ве-щичками». Это песенка была такая.

«Прочих вещичек» не хватает. Жильцам нашей улицы отвели старый дом на 3-й Мещанской. Деревянный. Для разборки на дро-ва. Папа, дядя Коля и я взяли двуручную пилу, топор, детские са-ночки и отправились на Мещанскую. Пешком, конечно. Ведь извоз-чиков уже нет. Сдохших на улице лошадей едят собаки. Трамваев нет. Иногда ходят грузовые. Редко очень. Удастся вскочить на плат-форму — твое счастье. Редко удается, а таких слов, как «троллей-бус», «автобус», «такси», не существует.

Пришли к обреченному дому. Выпилили замечательную толстую сосновую балку. Положили на саночки и привезли домой. Долго, распиленная и расколотая, она горела в печурках горячим огнем.

Папа — профессор. Читает лекции в МВТУ. Это на Коровьем Броде. И в московском Институте инженеров транспорта. Это около Марьиной Рощи, на Бахметьевской, теперешней улице Образцова. От Сокольников и то и другое не меньше десяти километров, коли не больше. А между ними тоже километров десять — пятнадцать. Зна-чит, в день пешком двадцать — тридцать километров. А на ногах лапти либо башмаки на овальной деревянной подметке. Как пресс-папье.

Да еще часто с мешком за плечами. Паек. Мороженая картошка, чечевица, конина, жмыхи. Не очень-то легко с мешком идти. Он назад оттягивает. А тротуары — как белые овраги со снежными хребтами по сторонам. Вечером темно. Совсем темно.

Говорят, будто на улицах прыгунчики. Бандиты в белых балахо-нах, а ноги на пружинах. Прыгают в темноте, пугают и грабят тех, кто в обморок падает.

Но мне эти прыгунчики что-то ни разу не попадались. Да и зна-комым моим тоже. А вот то, что папа и я в день по многу километ-ров в любую погоду по всей Москве шагали, так это факт.

Был папа толстый, а стал худой. Потерял три пуда. Зато печень совсем болеть перестала.

Страна окружена врагами. Всякими. Белыми, зелеными, заграничными. Все железные дороги упираются в фронт. На западе белополяки. В Архангельске — Чайковский, в Казани — Колчак. На юге — Врангель да Махно.

А в квартире у нас на полу папа разложил проекты железно-дорожных путей и сортировочных станций. До самого Владивостока, до Одессы, до Архангельска. Он уверен в том, что так будет. Он за советскую власть. Упрекают его за это разные знакомые. Ну и пусть упрекают. Слепые они.

В анкете тогдашней был вопрос: «Сочувствуете ли вы советской власти?» — так один написал: «Очень сочувствую, но помочь ничем не могу». Характерная позиция многих в то время: бороться с вами не буду, но и помогать не хочу. А на обложке театрального журнала был помещен портрет актера и подпись: «Артист Малого театра Михаил Францевич Ленин. Просьба не смешивать». Умер-то Михаил Францевич в звании народного артиста, да еще с орденом Ленина.

Вот она, диалектика жизни.

И я за советскую власть. Да что я — и Блок, и Вересаев, и Мейерхольд, и Маяковский, и Чуковский, и даже Станиславский с Немировичем.

Вечером очень вкусно ужинаем. Вареная мороженая картошка с кусочками конины или чечевичная каша с зеленым конопляным маслом. Пьем желудевый кофе. Благо желудей в Сокольническом парке сколько угодно. А из кофейной, вернее желудевой, гущи печем лепешки на касторовом масле.

Счастлирое событие: «Слава богу, кошка пшено облила». Почему «слава богу»? Да потому, что пшено можно обдать кипятком и спасти. А если бы она муку облила?

За ужином рассказываем о происшествиях дня. Я про ВХУТЕМАС. В общежитие приезжал Ленин. Говорил: «Славные вы ребята, а живопись ваша мне не нравится. Вы по этому поводу с Луначарским поговорите. Он лучше меня понимает».

Я, конечно, неточные слова Ленина привожу. Я их не слышал. А смысл точный. Ручаюсь.

Папа рассказывает о встречах с Кржижановским, о проекте ГОЭЛРО, об электрификации, о слиянии управлений железных дорог. Это его мечта.

А наговорившись, по-прежнему поем песни: «Попереду Сагайдачный. Попереду Сагайдачный. Що променяв жинку на тютюн та люльку необачный».

Сидим в шубах да в валенках и поем. Что же это такое? Трудно, голодно, холодно — и все нипочем.

Да потому что время такое горячее, такое оптимистичное, что при чем тут мороз?

Лозунг времени — слово «будет».

Удивительной силы это слово. Вот если человек ложится на диван отдыхать и вспоминает свою жизнь, он старый человек, а если мечтает — он молодой. Годы тут ни при чем. И страны так. Есть которые гордятся прошлым. Вспоминают. Старые страны. И есть которые взволнованы, одержимы будущим. Мечтают. Молодые страны.

Рождается новая страна. «Кто тут шагает правой?левой, левой, левой». Какое значение имеет голод и холод?

Будет. Все будет. И Владивосток будет советским, и Архангельск, и Харьков, и Одесса, и Кавказ.

Пусть рельсы сейчас на кальке в папином кабинете на полу лежат — все равно дойдут они и до Черного моря, и до Северного, и до Тихого океана.

Пусть сейчас в квартире нет электричества, а горят маленькие коптилки. Будет сплошная электрификация во всей стране. Будет. Будет. Будет все, о чем мечтаем. Будет.

Молодость, прекрасная молодость страны. Разве об этом расскажешь? Жалко мне вас, читатели, что вы в то время не жили.

Рождение негра

Среди студентов Архиповской мастерской были две девушки. Светлая Маруся Артюхова и черная Таня Мартынова. Очень славные были девушки.

Все мы так или иначе пробовали как-то зарабатывать: чертили какие-то диаграммы, клеили макеты. Скучно, в общем, было это.

Я вспомнил про моего Бибабошку и предложил девушкам делать на продажу таких веселых кукол. Даже название придумал для нашей «артели» из трех человек — «Стожары», созвездие такое есть. Очень нам нравилось это светящееся слово «Стожары». Мордочки делали из чулка, ну а платья, естественно, из тряпок. Мартынова сделала какую-то фиолетовую даму, а Артюхова двух старушек, которые умели забавно креститься. Я из черного детского чулка и кусочка драного каракуля от бывшего форменного папиного воротника сделал негритенка. Очень здорово у него блестели глаза. Это я пришил две пуговицы от моих детских башмаков. В детстве моем башмаки застегивались на пуговицы металлическим крючком. До сих пор помню, как этот крючок надо было продеть в петельку, ухватить пуговицу, протащить ее сквозь петлю и потом высвободить крючок.

Ничего из этих «Стожаров» не получилось. Никто не купил наших кукол. Да и слава богу. Они сделали куда большее дело, чем выручка за продажу.

В дальнейшем Артюхова в течение многих лет делала куклы для Евгения Сергеевича Деммени, руководителя Ленинградского кукольного театра, а негритенок определил судьбу всей моей жизни. Только для этого ему оказалось необходимым встретиться с системой Станиславского.

Произошла эта встреча в частной музыкальной школе. На вывеске было написано: «Консерватория А. Г. Шор» — и висела эта вывеска на одном из домов Мясницкой улицы.

Про то, что мы всей семьей по вечерам пели, я уже рассказывал. А когда человек хоть как-нибудь поет, всегда находятся люди, которые говорят: «У вас голос, вам надо учиться». «У тебя голос. Учись, непременно учись». Люди верят этому, учатся, и, как правило, зря. Годы на это тратят. Время упускают, а может, из такого недопевца врач бы хороший вышел или архитектор. Не надо доброжелательным знакомым верить.

Ну вот и я тоже поверил, пошел учиться, хоть настоящего оперного голоса у меня никогда не было.

Пришел к Александру Германовичу Шору. Он ткнул в клавиш. Я спел: а-а-а-а. Он в другой клавиш, я опять: а-а-а-а, только уже не соль, а си-бемоль.

Все. Экзамен закончен. Принят. Зачислен в консерваторию.

Занимаюсь два раза в неделю у очень хорошей учительницы Барковой. Пою «Дивный терем стоит, и хором много в нем» и еще «Средь шумного бала случайно...».

Но, оказывается, так просто петь нельзя. Надо по системе. Для этого в консерватории Шора есть специальная преподавательница, которая учит петь по системе Станиславского.

Сперва нужно сосредоточиться, потом вспомнить какую-нибудь девушку, которая меня бросила, или я ее бросил, и снова в нее

влюбился, потом вспомнить какой-нибудь шумный бал, вообразить себя на нем и осторожно дать знать аккомпаниаторше, что она может начать играть вступление, поскольку она не в силах сама догадаться, дошел я уже или не дошел.

Все это очень трудно и стыдновато.

Как-то я был на сеансе гипнотизера. Он убеждал меня, что я ем шоколад, и спрашивал: «Вкусно?» Другие подопытные ждали, когда наконец я это почувствую. Мне было очень стыдно так долго заставлять их ждать, и я, просидев минуту или две, сказал: «Чувствую». Гипнотизер опять спросил: «Вкусно?» И я сказал: «Очень вкусно. С орехами». Подопытные загудели. Гипнотизер был очень доволен.

Вот и тут — стою, стою у рояля. Добываю в памяти девушку. Только я ведь еще никого не бросал и меня никто не бросал. Где же ее, эту девушку, найдешь? А уж что касается шумного бала, то в двадцатом году хоть по всей Москве ищи — ни одного шумного бала не сыщешь. А когда они были, эти самые шумные балы, так я на них не был. Мал еще был.

Ну, стою, стою. Все замерли, ждут. Пианистка руки на клавиши положила, на меня смотрит. Пора все-таки ей знак давать, а то уж очень долго получается.

Самое невероятное, что преподавательница меня хвалила. Неизвестно за что. Я и без системы на уроке пения точно так же пел.

Пришел домой, надел на руку негритенка и попробовал с ним. Пусть он поет по системе.

На следующем уроке говорю преподавательнице: «Вот у меня по системе не очень получается, а у негра получается». «Ну покажите». Я высунул негра из-за спинки стула. Негр долго стоит, подперев ручкой подбородок, а потом тихонько машет этой ручкой пианистке. Рассмеялись все. И ученики и сама преподавательница.

А дальше негр ложился, засыпал, плакал, утирая слезы своей черной лапкой, вообще изображал все, что полагалось по коротенькому сценарию этого романса.

Я вылез из-за стула прямо-таки осыпанный и смехом и аплодисментами, не зная, не ведая, что это событие, настоящее событие в моей жизни. Начало длинного пути.

Засовываю куклу за пазуху, иду в архиповскую мастерскую. Тем более ВХУТЕМАС рядом. А там, высунув негра из-за холста, на котором написана обнаженная натурщица Розанова, показываю «Средь шумного бала...» моим товарищам. Очень хохочут все, особенно Борис Шаляпин. Он чуть не повалил свой подрамник с той же голой Розановой.

И негр становится актером. Поет романсы, рассказывает какую-то чушь о том, как он застрелил слона и запихал его в сумку.

Я показываю негра и дома, и в архиповской мастерской, и в университете. Я дую. Теперь это называется хобби, а тогда называлось дурь.

«Улей»

Детский дом «Улей» у Преображенской заставы. Как перейдешь мост через Яузу, сразу же на левой стороне. Еще дореволюционный сиротский дом. Дети — круглые сироты. И они и большинство учителей-воспитателей тоже дореволюционные. Две учительницы безусловно хорошие. Одну зовут Софья Семеновна, ей лет двадцать с чем-то. Другую не помню, как зовут. Ей, наверное, лет сорок. Третья учительница плохая. Детей не любит. Ей лет пятьдесят, если не больше. Старая дева и зовут ее Олимпиада Анемподистовна. Еще есть учитель пения. Брюзга, циник, холостяк. И еще руководитель драматического кружка, молодой, черненький, хорошенький. Может, и еще что был. Сейчас уже не помню. Все учителя, они же

воспитатели. Все живут в этом же доме. Я преподаватель рисования, мне восемнадцать лет. Я приходящий, но функции воспитателя тоже частично выполняю. Дежурю ночью. Хожу по детским спальням и бужу детей. Тех, кого надо будить. Иначе они нальют в постель, хоть им уже и десять и двенадцать лет. Врачи говорят, что с возрастом это пройдет. Жалко смотреть, как они заспанные, в длинных ночных рубашках, босиком быстро-быстро шлепают по коридору. И назад так же быстро. Прямо в подушку носом и уже спят. Детский дом смешанный. И девочки и мальчики. До удивительности разные.

Вот теперь модное слово пошло — «личность». Кто-то личность, а кто-то не личность. Не знаю, как это можно так взрослых отличать, а вот уж детей и вовсе нельзя. Все они личности. Все сорок ребят в детском доме личности. Разные, очень разные, а личности.

Озорной и нахальный Мартынов. Если что натворит, всегда признается. Олимпиада Анемподистовна спрашивает: «Кто стекло разбил?» Мартынов встает и говорит: «Я». — «Останешься без обеда. Понял?» — «Понял». — «Кто стол чернилами вымазал?» — «Я». — «Вымоешь, Мартынов, пол в передней. Понял?» — «Понял».

А один раз я увидел, как Семенов, не вытерев ноги, прямо с улицы по кухне прошел. Анемподистовна спрашивает: «Кто на кухне так безобразно наследил?» Мартынов поднимается из-за парты и говорит: «Я». «Волшебный фонарь смотреть сегодня не будешь. Понял?» — «Понял».

Вот и я тут все понял. Ненавидел он эту Анемподистовну. Она и вправду дрянь была. Ненавидел, и хотелось ему свою ненависть презрением к ней выразить: пусть наказывает меня, а не того, кто виноват, пусть, я ее не боюсь, ненавижу.

Ну что, личность Мартынов или не личность? По-моему, так личность.

Многому научился я в этом «Улье».

Руководитель драмкружка (кажется, его Иван Николаевич звали), как я уже говорил, черненький, хорошенький, решил поставить какую-то андерсеновскую сказку. Ну, раз сказка, так, значит, там есть и принцесса и шут.

Выбрал он для принцессы Злату, фамилию не помню, а для шу-та Шлепова. Тут я имени не помню, кажется, Федя.

Злате лет двенадцать. Красивая. Глаза серые, а брови прямо-таки крыльями размахнуты, и губы как-то по-особенному розовые. А Шлепову лет десять. Маленький, толстенький и очень смешной.

Только Златину-то красоту ни девчонки, ни мальчишки не видят. Это мы, взрослые, видим, а для ребят она Златка и Златка, веселая и драться умеет.

Из простынь закололи на Злате платье. Завили волосы. Из золотой бумаги корону надели. Намазали свеклой щеки, подвели углем глаза и без того прекрасные брови.

Как вышла Злата на сцену, так и увидели все мальчишки, что Злата-то, оказывается, красавица. Целое событие в детском доме. Злата не просто Злата, а красавица. Кончился спектакль. Умылась Злата, поужинали. Легли спать, а на следующее утро как вошла Злата в класс, так все мальчишки к ней головы повернули и увидели, что она и сейчас красавица. Злата покраснела, села за парту, но красавицей осталась. Прямо беда. И день проходит, и два, и неделя, а Злата так в красавицах и ходит. Что делать? Надо спасти Злату. Ведь она уже какая-то отдельная получается, не как все. Вернуть ее надо к своим, как-то эту ее исключительность убрать. И я стал, обращаясь к Злате, говорить: «Подойди к доске, красавица. Нарисуй зайца», «Садись, красавица. Что ж ты, красавица, к обеду опоздала?» И мальчишки стали ее, смеясь, красавицей называть. Противно это Злате. Не красавица она уже, раз ее так насмешливо обзывают. И постепенно все успокоилось. Перестала Злата для мальчишек быть

красавицей. Вернулась назад в Златку. Златка и Златка. Веселая и дерется лучше мальчишек.

А маленькому смешному Шлепову Иван Николаевич дал роль шута. Здорово он эту роль сыграл. Намазали ему нос той же свеклой. Колпак на голову с кисточкой. Подымает Шлепов кверху указательный палец и пищит: и-и-и-и. Очень смешно.

Смешно-то смешно, только на следующее утро стал Шлепов шутом. Знаете вы, что такое шут в коллективе? Очень плохо. Какое-то сознательное самоуничижение. Лишь бы смешно. А ну-ка, Шлепов, покажи. А ну-ка, Шлепов, как ты это хихикаешь? И на уроках и в спальне Шлепов то и дело подымает палец: и-и-и-и. Шут. Беда. Надо лечить. Пропадет мальчишка. Упоенный успехом, совсем шутом станет. Жалко ведь. Мальчишка, безусловно, талантливый. Очень даже талантливый. У взрослых-то от такого шутования и то талант пропадает. Спасать надо. «Не смешно, Шлепов», «Не смешно, Шлепов», «Ну, чего кривляешься? Не смешно, Шлепов».

Вылечился, перестал шутовать и в следующем спектакле очень здорово сапожника сыграл. Так ловко изобразил, как подметки гвоздями к сапогу прибивают, что даже Станиславский сказал бы: «Верю».

Не знаю, где сейчас Шлепов. Ему было лет десять. Всего на восемь лет моложе меня. Значит, если он жив, то ему уже за семьдесят. Жив ли? Как через военные годы прошел?

А от Златы недавно письмо получил. Она уже бабушка. Ей-то уже под восемьдесят. Значит, и замуж когда-то вышла. Ревную я немножко: кто же это такую красавицу в жены получил?

Женился

На лето «Улей» выезжал в лагерь. В Рузу. Это двенадцать километров от станции Дорохово по Александровской, теперь Белорусской, дороге. Разместился в большом помещицком доме на крутом берегу Рузы. Теперь на этом месте стоит огромное здание желудочного санатория. Недалеко от «Улья» тоже в больших помещицких домах и дачах разместились другие детские дома — «Раннее утро», «Звездочка», «Ручеек», еще какие-то. Теперь там дома отдыха ВТО, Союза писателей, Союза композиторов, а тогда только дети.

Замечательные места. Слияние Рузы с Москвой-рекой. Луга, лес, солнце, а дали такие, что глаз не достает.

В пять утра я иду в деревню. Нанялся к крестьянину косить. Всей деревней косим. Трудновато, хоть Баба Капа и научила меня этому делу, но все-таки я кошу не так лихо, как сын моего хозяина. В общем, хозяин мной доволен, и перед косью мы все едим огромную яичницу с луком и хлебом и пьем молоко. Это плата за косьбу.

Осенью надо отправляться в Москву. Маленькие дети на подводах, а постарше пешком двенадцать километров до Дорохова. Идем часа четыре с двумя веселыми привалами. На поезд — и в Москву.

Приехали на Александровский вокзал уже поздно. Придется заночевать на вокзале, а утром отправляться пешком в наш зимний дом на Преображенку. Разлеглись по лавкам. Все спят. Я дежурю. Счастлив я. Во-первых, чувствую себя ответственным. Все время обхожу ряды спящих. Вещи сложены кучей в углу. Смотрю, чтобы не своровали. Каждый обход завершается около скамейки, на которой сидит Софья Семеновна. В драной кроличьей черной курточке. Свернулась калачиком. Рукой ухватилась за воротник. Я очень люблю эту руку без всякого маникюра. Маленькая, смуглая, а мизинец чуть-чуть кривой. Мизинец этот мне особенно нравится. Трогательный какой-то.

Каждый раз я останавливаюсь и целую Сонину голову. Спит. Не знаю, слышит или нет. Я счастлив. Она согласилась выйти за

меня замуж. А ведь я-то думал, что она в этого красивенького руководителя драмкружка влюблена.

Через неделю мы пошли в загс. Мама подарила нам на свадьбу две толстые селедки из папиного пайка.

Прямо-таки царский подарок.

Двадцать один лет

Это будет довольно длинный рассказ, потому что в нем много действующих лиц, без которых не обойдешься.

Мы живем на Новой Басманной, занимая половину одноэтажного флигеля.

Три комнаты. Столовая. В ней низкой стенкой отгорожен закуток в виде кишки с окном. В закутке мы с Соней. Папин кабинет, в котором книжными шкапами отгорожен закуток для Бориса. И небольшая спальня папы с мамой. Терраса выходит в сад. Большой проходной двор и в нем еще два флигеля, а фасадом на улицу выходит трехэтажное здание рабфака, где деканом папа.

По двору коноводом мальчишек бегают Глеб Бакланов. Очень красивый и очень озорной. Хороший мальчишка.

В другом флигеле, окно в окно с моим закутком, живет с мамой и мужем его сестра Наталья Владимировна Бакланова — скрипачка Художественного театра, сестра Ольги Владимировны Баклановой, артистки того же театра и примадонны Музыкальной студии, которую Немирович-Данченко организовал в здании Художественного театра.

Видите, сколько имен написано, а сюжет еще не развернулся. И не развернется, если я не скажу, что продолжаю неизвестно зачем учиться петь у той же самой преподавательницы, которая была в консерватории Шора.

Пою романс Чайковского «Любовь мертвеца»: «Пускай холодной землей засыпан я, но знай всегда, везде с тобой душа моя, всегда, везде с тобой». Мрачный романс. Вся первая фраза на одной ноте, и только буква «ы» в слове «засыпан» — другая нота, но «пан я» уже опять первая нота. Не знаю, почему Раисе Михайловне (так Баркову зовут) этот романс нравится.

Вот я пою, пою — и вдруг стук в дверь кухни. Открываю — Наталья Владимировна. Очень молодая, очень скромная, стесняющаяся. Мы с ней мало знакомы, но во дворе все-таки встречаемся иногда. Пришла она, оказывается, для того, чтобы сказать, что в Художественном театре объявлен конкурс актеров в Музыкальную студию. Семь вакантных мест. Пойдите, может, вас примут.

Вот наконец начинается сюжет. С нуля начинается. Что это за Музыкальная студия такая? Наталья Владимировна говорит, что это очень интересный новый музыкальный театр, что в нем с огромным успехом идет «Дочь мадам Анго» Лекока и что если я туда поступлю, то это очень хорошо.

И я пошел на конкурс. Непонятно, зачем пошел. Никогда не собирался быть актером. В голову не приходило.

Пришел в театр. В знаменитый Художественный театр. В коридоре, подковой охватывающем партер, столики, у которых записывают пришедших. Записался.

Жду. Народу много. Профессионалы пришли. У стенок полощут горло, перелистывают ноты. Откашливаются в нос. А я кашляю нормально.

Вызвали. Сидит за столом комиссия. За роялем черный человек с синими щеками. Потом я узнал, что это главный дирижер Бакалейников. Спрашивает, какой у меня голос. Я говорю — кажется, тенор. «Что такое «кажется»? Пойте». Спел два романса: «Дивный

терем стоит, и хором много в нем» и «Я из дома бедных Азров, полюбив, мы умираем».

Сказали спасибо, и я ушел. А что значит это спасибо — неизвестно. До меня пел какой-то баритон «Перед воеводой молча он стоит». Я издали слышал. Ему тоже сказали спасибо.

Вернулся домой. Пьем чай всей семьей. Меня спрашивают, а мне и рассказывать-то нечего. Конечно, не примут. Да я и не волнуясь. Зачем мне надо быть актером?

Через два дня приходит Наталья Владимировна и говорит, что я допущен ко второму туру и мне надо завтра идти на этот самый второй тур.

Вот теперь мне уже хочется, чтобы приняли. Теперь я волнуясь. Да еще на втором туре надо прочитать стихотворение. А какое? Я же на людях никаких стихотворений не читал. Ни в какой самодеятельности не участвовал. Какое же прочитать? Решил Бальмонта «Больной» — трагическое стихотворение. Знаю наизусть. Прочту Бальмонта.

Пришел. Вызвали. Так же как и в первый раз, приемная комиссия сидит за столом в фойе. Только сейчас в центре стола Немирович-Данченко. Я догадался, что это он. И совсем испугался. Спел те же два романса, но в конце предпоследней фразы последнего романса на слове «Азров» пускаю петуха. Бакалейников говорит: «Пршлый раз вы взяли это фа-диез хорошо».

В полном испуге говорю стихи. Немирович сощурился, почесывает бородку и спрашивает: «Сколько вам годов?» Иронический вопрос понятен. По сравнению с остальными я щенок. Безусловно моложе всех, да еще блондин, да еще небольшого роста, да еще худой, да еще ноги в черных обмотках, да какая-то синяя куртка с поясом вроде толстовки. Костюма у меня вообще нет.

«Сколько вам годов?» Я в испуге отвечаю: «Мне двадцать один лет». Вся комиссия смеется, а Немирович говорит: «Почему вы смаетесь? Он правильно ответил. Я ему сказал «годов», а он говорит «лет», он меня поправил».

На следующий день я сам пошел в театр и увидел себя в списке принятых.

Вот так фунт. Что же из всего этого получится?

Назавтра мы, все принятые, сидим на стульях в том самом фойе, в котором нас прослушивали. Семь незнакомых друг другу человек, как птички на семи стульях.

Ровно в десять входит Немирович. Мы встаем. Он подходит к каждому, жмет руку и говорит: «Здравствуйте, Нина Петровна, здравствуйте, Григорий Васильевич, здравствуйте, Ольга Николаевна, здравствуйте, Сергей Владимирович...»

Меня, мальчишку, назвал Сергеем Владимировичем. Наверное, перед тем как войти, он всех нас наизусть выучил.

Здорово. Здесь уважают людей. Здесь я равный. Здесь я Сергей Владимирович. В какой же замечательный театр я поступил. Ведь и не мечтал об этом никогда.

Новичок

Я в театре. Все тут не так, как во ВХУТЕМАСе. Там у наших женщин руки вымазаны красками, халаты тоже вымазаны, простые чулки, губы свои, глаза свои и никто запачканных рук не целует, а просто жмут их, когда здороваются.

Тут.. Тут у женщин глаза подкрашены, губы подкрашены, ногти накрашены. И утром, когда все собираются на репетицию и здороваются, мужчины целуют у женщин руки. И мне, значит, надо, а я не умею.

Все они профессионалы, с какой-то вокальной школой. Кто-то даже консерваторию окончил. Умеют читать ноты. А я, хоть у меня хороший слух, нот читать не умею.

Разучиваем хоры в «Периколе». Занимается с нами актер Крынкин, сын бывшего хозяина знаменитого трактира Крынкина на Воробьевых горах. Вся московская знать там рассвет встречала да вишневым садом любовалась.

Меня посадили среди вторых теноров. Я держу в руках ноты, гляжу в них и пою. Пою верно, но мог бы в ноты и не глядеть. Я не ноты читаю, а соседа слышу.

Собираются меня ввести в малюсенькую бессловесную роль писца. Я, пытаюсь изобразить профессионала, говорю одному из актеров: «Что мне делать? Я даже авансцен не знаю». Он поправляет: «Мизансцен». Я говорю: «Это все равно». Стыд, позор.

На первый спектакль, в котором я этого писца играю, пришли и мама с папой и Соня.

Меня загримировали. Очень получился красивый. Только глаза торчат. Они у меня светлые, а лицо покрасили темно-коричневым (я же испанец). Ресницы черные, брови черные, волосы черные. Вот глаза и торчат.

Я все на сцене сделал правильно, но когда подошла ко мне Бакланова — Перикола, получилось не очень хорошо. Она посмотрела на меня, улыбнулась и тихо сказала: «У нас новый писец», а я разволновался и, передавая перо, ткнул ее этим пером прямо в глаз.

Мама, папа и Соня сказали, что я им очень понравился.

На следующий день был какой-то вечер в фойе нашего театра. Я старательно целовал дамам руки. Подошел к Яблочкиной, актрисе Малого театра, почтительно склонился, взял ее мягкую руку, поднес к губам и, когда поднял голову, ударил Александру Александровну затылком по подбородку. Я же не знал, что, когда молодой человек целует руку пожилой женщине, она в это время целует его в макушку.

Неожиданный реферат

Тот дом, на месте которого сейчас дом творчества писателей, назывался «Раннее утро».

Так вот, в этом самом «Раннем утре» преподавал рисование Андрей Гончаров. За лето мы с ним очень подружились, и он меня уговорил перейти на графический факультет к Владимиру Андреевичу Фаворскому.

Этого не надо было делать потому, что, как мне кажется, если из меня и получился бы художник (Архипов меня хвалил), то, во всяком случае, не график.

Ученики у Фаворского были очень сильные. Саша Дейнека, по существу, уже тогда был вполне законченным художником; Юра Пименов, Петя Вильямс, Андрей Гончаров — все талантливые, и хоть Андрей очень молодой, просто мальчик, но и тогда было ясно, что художник; Жоржик Ечеистов. Клаша Козлова и я. Все трое слабее, а я, как мне кажется, самый слабый.

Дело еще для меня осложнялось тем, что я, поступив в театр, не мог много времени отдавать учебе. Помню, как пошел сдавать Дюрера профессору Фабриканту и ну ничего, до стыдного ничего ответить не мог. Несчастный профессор сам как-то застеснялся. За меня ему, наверно, было стыдно. Сказал: «Вот выберите себе тему по Дюреру, я вам несколько тем предложу, и подготовьте реферат». Я с радостью согласился. Надо же выходить из стыдного положения!

Выбрал «Цвет в деревянных гравюрах Дюрера». Потому и выбрал, что вопрос какой-то заковыристый. Какой же цвет, коли они все черно-белые?

Ушел домой и неожиданно заболел. Это мне повезло, потому что можно было писать и писать. Времени сколько угодно. Исписал две тетради и послал через Гончарова Фабриканту.

Выздоровел. Пришел во ВХУТЕМАС, а меня уже ждут. Оказывается, в Академии художественных наук (была такая академия) у профессора Сидорова (знаменитый знаток Дюрера) назначен мой доклад «Цвет в деревянных гравюрах Дюрера».

Пришел в академию. Народу немного. Сидоров меня представляет: «Наш уважаемый коллега Сергей Владимирович Образцов».

Я читаю доклад, две мои тетрадки. Довольно сложный анализ, в котором, как мне кажется, я убедительно доказываю, что Дюрер никогда не изображал цвет волос (блондин, брюнет или шатен), или цвета штанов и башмаков. Он пользовался оттенками серого и черного только для изображения формы или пространства.

Все слушали очень хорошо, но в конце Сидоров, показав мне лошадь на гравюре Дюрера, спросил: «Но неужели вы не видите, уважаемый коввега, что эта вошадь буваная?» Он не выговаривал букву «л».

Сейчас я понимаю, как был тогда потрясюще самонадеян и невежлив. «Конечно, Александр Александрович, вы очень хорошо знаете Дюрера, но вы совсем не знаете лошадей. Если бы она была буланая, у нее должна была бы быть темная грива, темный хвост и темная полоса вдоль спины. Может быть, эта лошадь серая, может быть, рыжая, но что она не буланая, я ручаюсь».

Я был прав, но отвечать так было все-таки нельзя. Нахально очень. До сих пор жалею об этом.

Хороший человек был Сидоров!

И профессор хороший.

Сын

Двадцать восьмое декабря двадцать второго года. У меня родился сын Алексей. В Бахрушинской больнице. Жена вышла из больницы похудевшая, восковая и какая-то смущенная. Будто она в чем-то виновата. Нянечка дала мне в руки что-то завернутое в одеяло. Лица не видно. Ничего не видно, и молчит. С испугом беру в руки. Едем в трамвае. Приезжаем домой. Жена сняла шубу. Я положил принесенный мною сверток на кровать. Жена распеленывает. Что-то очень некрасивое. Фиолетово-розовое. Сжимает и разжимает пальцы. Морщится, будто хочет что-то разглядеть или понять. Мучается.

Какое это имеет отношение ко мне? Почему это голое некрасивое существо мой сын?

Сестра жены замужем за дьяконом. Настоящий дьякон с громовым голосом. Как возгласит «вооннем» — вся церковь гудит. Вера, это так сестру жены зовут, очень просит, чтобы крестили. Жена знает, что я ни в какого бога не верю, а все-таки, видимо, и ей хочется крестить. Полагается так.

Ну что ж, крестить так крестить. Пошел в соседнюю церковь. Она рядом, на той же Новой Басманной. У моста через железную дорогу. Разыскал во дворе дом священника. Сговорился.

Пришел священник. Принесли из церкви купель. Искал, искал священник глазами угол с иконами. Не нашел, но ничего не сказал. В одном углу гипсовая Диана стоит. В другом — этюд обнаженной натурщицы. Нет ориентира.

Начал священник крестить. Прочитал молитвы и все нам объясняет, что и почему происходит. Стал подошвы и ладошки рук миром мазать. Кисточкой. И приговаривает: «Во имя отца, и сына, и святого духа, ему щекотно, вот он и пищит...»

Окунули в святую воду, вытерли, запеленали. Слава богу, кон-

чилось крещение. Священник чайку попил. На количество папиных книг поудивлялся и ушел.

А на следующий день сын заболел. Жар. Врач пришел. Воспаление легких. Вероятно, при крещении простудился. Хотя вода в купели теплая была.

Испугался я. Неужели умрет? Две недели у его кровати сидел, а когда пошел он на поправку, я его уже любил. Очень любил. И стал он моим сыном. Совсем родным. Будто я сам его родил.

Терапот

Мне дали роль. Вся умещается на листочке бумаги. Четыре фразы в одной картине и одна фраза в другой. Терапот — церемониймейстер при дворе Вице-короля в спектакле «Перикола». Интриган. Насъживает придворных дам на новую фаворитку короля. На Перикола.

Выучил все фразы наизусть, а что с ними дальше делать — непонятно. Надо кого-то изображать, а это почему-то стыдно. Ведь на меня зрители в это время глядеть будут.

Приготовить со мной этот ввод Немирович поручил Ксении Ивановне Котлубай. Маленькая молодая женщина с большими глазами. Ученица Вахтангова. Соратник Завадского. Они вместе «Турандот» ставили. Послушала она, как я терапотовские фразы говорю, и сказала: «Не актер вы, а вот когда негритенка показывали, так это смешно получалось. Значит, в вас где-то актер сидит. Попробуйте сделать куклу Терапота, каким вы его представляете». Я сделал старика с бородой и длинными волосами. «Наденьте на руку и проверьте, подходят ему слова или нет». Я надел на руку и попробовал. Перестал стесняться. Не я говорю, он говорит. Мне какое дело. Он имеет право делать любое придыхание, любую паузу, любую хитрейшую интонацию — мне за него не стыдно.

Обсудили. Не меня, а куклу. Решили, что надо делать другую. Сделал. И на этой кукле текст, вернее образ, проверили и опять решили, что немножко не такой Терапот.

Третий Терапот был совсем страшный. Горбун, подбородок вперед и заплывший глаз, как у Филиппа II на портрете Веласкеса. Удивительно въедливый и противный старикашка. А слова ему так подошли, будто он сам их выдумал.

И тогда мне захотелось стать таким же. Что, если я горбатый? И я втянул голову в плечи. Значит, и руки должны быть длиннее. И ноги шире шагать будут, раз они тоже длиннее. А коли подбородок вперед, значит, и голос изменился. Другой резонатор.

И мне понравилось. Понравилось быть другим человеком. Чужой жизнью жить. Очень интересно. Втянув голову, хожу по улицам, считая себя горбатым. Сажусь в трамвай. Дома длинными руками ставлю самовар.

Роль, что называется, пошла. Несколько репетиций с придворными дамами. Им очень нравится. Назначено, что я буду играть в следующем спектакле. Прихожу задолго. Гримируюсь, леплю из гуммоза огромный нос, не менее огромный подбородок (как у Филиппа II), наплывы под бровями (тоже как у Филиппа II).

Портные перешли камзол, подбив на спину горб. Башмаки на здоровенных каблуках, чтобы ноги были длинные.

Перед выходом на сцену в маленьком женском фойе еще раз проигрываю всю роль с придворными дамами.

Сыграл, как мне кажется, вполне благополучно. В антракте жду Ксению Ивановну. Она перед спектаклем пожелала мне удачи и сказала, что будет смотреть.

Жду, жду, а ее нет. Гардеробщик на служебной вешалке сказал, что она давно ушла. Звоню по телефону. Сухой голос. Говорит, что

не смотрела, завтра поговорим. Все испорчено, почему, за что — непонятно. Спать ночью трудно. Скорее бы завтра.

Наконец завтра наступило. Встретились в театре. Ксения Ивановна говорит, что слышала, как я в полную силу репетировал с дамами. Явно хвастаясь, как у меня замечательно получается. «Мне стало противно ваше хвастливое «играние» перед тем самым моментом, когда нужно было через две минуты играть уже по-настоящему. Это было настолько возмутительно, что смотреть вас на сцене я уже не могла».

На следующий спектакль Ксения Ивановна уже пришла и потом делала нормальные замечания и давала нормальные советы, а я навсегда понял, что «играть», то есть партнерствовать со зрителем, им заражаться, его ощущать, можно только на спектакле. Без зрителя надо готовить себя к этому. А начнешь без зрителя «играть» — все заштампуешь.

Злой, но замечательный урок дала мне Ксения Ивановна.

«Необыкновенная ночь»

Музыкальная студия вместе с Первой студией устраивает грандиозный ночной капустник «Необыкновенная ночь». Весь расчет на богатых нэпманов. Сбор с концерта пойдет в помощь малооплачиваемым актерам.

Очень много сенсационно интересного придумали. Концерт на сцене, на котором конферировать будет сам Михаил Чехов. Необыкновенно талантливый и остроумный актер. Будет исполнена комическая опера Ильи Саца «Битва русских с кабардинцами», потом какая-то пьеса на сплошной абракадабре, потом Владимир Попов, изобретатель мхатовских шумов, будет показывать все эти шумы: бить в железо — изображая гром, катать горох — изображая град, крутить барабан под материей — изображая ветер; потом за деньги зрители будут кататься на вертящемся круге сцены. В верхнем фойе будет ресторан Крынкина, такой, какой был на Воробьевых горах, и сын Крынкина будет дирижировать русским хором. Будут цыгане, будут гадалки. А раз все, так сказать, под «ушедшую Россию», значит, мне предложили показать русского Петрушку.

Предложили потому, что я показал моих двух обезьянок, которые поют Вертинского, и старика со старухой с романсом «Я помню день, да, это было счастье». Но они ведь не в стиле «Необыкновенной ночи», а русский Петрушка как раз в стиле. Это здорово, это очень интересно. Только бы успеть все сделать.

Достал сытинское издание текста народного Петрушки. Сделал «доктора-лекаря, из-под каменного моста аптекаря», цыгана и самого Петрушку.

Нужно другую ширму. Моя очень громоздка. Пошел к Николаю Дмитриевичу Бартраму. Он замечательный директор замечательного Музея игрушки. Он все про Петрушку знает. Николай Дмитриевич дал адрес настоящего народного петрушечника Ивана Афиногеновича Зайцева.

Тот объяснил мне, как сделать складную ширму, и показал, как говорит его Петрушка. Положил в рот какой-то маленький металлический предмет — пищик называется — и вдруг заговорил высоким-высоким голосом. Невозможно смешно.

За неделю до «Необыкновенной ночи» была генеральная репетиция. У меня все было готово. И куклы и ширма. И сытинский текст я выучил. Был абсолютно уверен в успехе и с блеском провалился. То, что для Зайцева было органично, то, что для него было правдой, для меня стало только подражанием, интеллигентской стилизацией, неправдой. Полной глупой неправдой.

И с программы меня сняли.

На «Необыкновенную ночь» я все-таки пошел. Замечательно спел смешную партию казака Белостоцкий. Великолепный голос.

Владимир Попов очень смешно показывал пародию на фокусника, а певцы Крынкина до слез здорово пели русские песни. Это не была стилизация, это не было подражание. Крынкин предельно знал и любил русскую песню.

Я ходил по коридорам, по фойе, пил вино, пил водку. И последнее, что помню: сижу на скамейке в раздевалке артистического подъезда и плачу. Навзрыд рыдаю. Меня утешает Ксения Ивановна Котлубай. У нее маленькие, добрые руки. А я говорю: «Никто меня не понимает, никто меня не понимает». А что не понимают и что должны понимать, не знаю. Не понимают, и все тут.

Нечего понимать, кроме одного. В искусстве врать нельзя, и подражать нельзя, и быть уверенным в успехе тоже нельзя. Стыдно. Свое надо делать. Свое, а не чужое. На всю жизнь урок.

«Пожар Вишневого сада»

Событие. Огромное театральное событие в здании Художественного театра. На его сцене. Всемосковское, всесоюзное, мировое. И я участник этого события. Маленький, но все-таки участник. Немирович поставил в Музыкальной студии «Лизистрату» Аристофана. Я раньше не читал эту удивительную пьесу. Сюжет весь держится на сексуальном влечении мужчин к женщинам. Можно считать, скабресный сюжет. А на самом деле тема настоящая, большая. За мир.

Удивительную прозорливость и смелость проявил Немирович, взяв к постановке эту пьесу и превратив спектакль буквально в гимн человеческому счастью. Подумать только: старейший деятель театра, а самый молодой.

На чтении пьесы, представляя нам художника Исаака Рабиновича, сказал: это восходящая звезда в театре.

Замечательный художник. Горячий и абсолютно сегодняшний.

Все в этом спектакле — как революционный взрыв в театральном искусстве. Буквально все. Описать его я не в силах. Плохое описывать легче, а прекрасное очень трудно. Попробую.

Никаких писаных декораций нет. Есть колонны, лестница, портики Греции. Только не под мрамор с плющом и пятнами мха, как сделал бы это Симов, а дощатые конструкции сплошь сверкающе белые, на фоне синего кубового задника.

Невыносимо красиво. Как говорится, «гром аплодисментов».

И вдруг вся эта великолепная белая колоннада двинулась. Завертелся тот театральный круг, который до этого вертелся только при закрытом занавесе. Нормальные зрители и не знали о нем ничего, тут он впервые стал пластически действующим лицом.

По ходу вертящейся колоннады в неистовом беге несутся греческие юноши в красных плащах, и бег их становится красным шквалом. И уже не бурными, а действительно шквальными аплодисментами отвечает на это зрительный зал. А воины, старики в шлемах и кирасах, идут навстречу движению круга, и тогда их старческий ход становится медленным, потому что по отношению к зрителям они толкуются на одном месте.

И уж совершенно неожиданно рушится четвертая стена. Та воображаемая стена, которую с таким трудом, таким старанием, таким теоретическим обоснованием построил старый Художественный театр.

Актер не имеет права посмотреть в зрительный зал и с монологом обращается не к зрителям, а к старому шкафу. Никаких контактов со зрителями. Даже аплодисменты считаются дурным тоном.

А тут сквозь эту четвертую стену афинянки сбрасывают прямо в зрительный зал стариков и сами спрыгивают за ними. И я среди этих стариков бегу по среднему проходу, и вижу восторженный испуг зрителей, и слышу глухие удары женских кулаков по моему папье-машевому панцирю.

«Пожар Вишневого сада» называлась восторженная рецензия Эмануила Бескина в журнале «Зрелища».

Умер Ленин

Умер Ленин. В Горках, бывшем имении московского генерал-губернатора Резвых недалеко от Москвы. Верст пять от усадьбы Бабы Капы.

На траурном поезде гроб с телом Ленина перевезли в Москву и установили в Колонном зале Дома союзов, бывшем Доме благородного собрания московских дворян.

Хорошо знаю этот зал. Там на рождество бывали елки и веселые развлечения для детей. Няня меня туда водила на представление каких-то немецких кукольников.

Сегодня синее небо. Солнце и невероятный мороз. Наверное, градусов тридцать. Папа и Борис пойдут в Колонный зал попрощаться с Лениным, а у меня воспаление легких и температура тридцать восемь и пять.

Все равно пойду. Ведь Ленин умер. Живым я его не видел, значит, нужно увидеть сейчас.

Мы с Борисом надели валенки, а у папы валенок нет. Идет в башмаках.

Живем мы на Новой Басманной, дом 20. Пошли вниз к Старой Басманной и растворились в целой реке медленно идущих людей. Очень холодно. И в валенках-то ноги мерзнут, а уж папе, наверно, совсем плохо.

На углах улиц костры. Дымы от мороза столбами идут в небо. Как белые полотенца. У костров греются красноармейцы и милиционеры.

Идем. Молчим. Каждый о чем-то думает, и, вероятно, все об одном и том же. Как же теперь без Ленина?

И я думаю — как же теперь без Ленина? Ведь второго Ленина нет, да и быть не может. Кто будет Председателем Совнаркома?

Река людей остановилась. Это пять минут молчания. Во всей Москве. Молчат многокилометровые реки людей.

Двинулись дальше. Прошли Старую Басманную (теперь это улица Карла Маркса), Покровку (теперь это улица Богдана Хмельницкого), Ильинку (теперь это улица Куйбышева), вышли на Красную площадь и через Иверские ворота на Вознесенскую (теперешнюю площадь Революции), к «Лоскутной» гостинице (теперь на ее месте площадь 50-летия Октября). Идем уже куда больше часа. Ноги совсем онемели.

Наконец Охотный ряд. Лабазы закрыты. Прямо против церкви, ее тоже нет теперь, — дверь в Дом союзов. Страшно входить. Сейчас увижу Ленина...

Вот он, гроб, на постаменте. Вокруг венки, венки, венки.

Ленин. Совсем другой. Совсем не такой, как на портретах.

Ленин.

На вид просто человек. Обыкновенный человек в пиджаке, в галстуке. Глаза закрыты. Можно подумать, что спит. Спит человек. А на самом деле его сравнить-то не с кем.

Единственный на всем земном шаре. Нет страны, нет народа, который не знал бы его, не слышал о нем.

Совершил революцию в огромной стране. Спас ее от войны, вывел на новую дорогу.

Когда же это я понял? Только сегодня? Нет, давно. Очень давно. И сейчас нет дорожке, нет больше имени для меня, чем имя Ленина. Потому и горе так велико.

Когда же это мы все ленинцами стали? Не было такого дня, в который мы вдруг «прозрели». Само все образовалось. Само все произошло. Да и не могло не произойти.

Бежали от советской власти те, кто все потерял, у кого жизнь поломалась. Заводчики, фабриканты, купцы, банкиры, владельцы фирм и магазинов, держатели акций. Революция для них была жизненной катастрофой.

А у нас-то никаких богатств не было. Ни заводов, ни земельных участков, ни магазинов, ни акций. Мы ничего не потеряли. Ничего у нас революция не отняла. А дала. Дала очень много.

Реконструкция всего транспортного хозяйства страны, которая была рождена революцией, захватила все мысли моего отца. Он был счастлив ежедневно. Рождение рабфаков, а он был одним из инициаторов создания новой интеллигенции,— это опять целый кусок творческого счастья.

Мы медленно прошли мимо гроба, вышли из Дома союзов и уже быстрым шагом прошли через Театральную площадь на Лубяnsкую потом по Мясницкой к Красным воротам и дальше по Новой Басманной домой.

Ефимовы

Во ВХУТЕМАСе были не только живописные мастерские, а и архитектурные и скульптурные.

Одну из скульптурных мастерских вел Коненков, другую — Ефимов. Были ли еще какие-то, я не помню. Однажды к нам, архиповцам, пришел Ефимов и предложил посмотреть кукольный спектакль в театре, в котором всего два актера — Нина Яковлевна Симанович-Ефимова и он, ее муж, Иван Семенович Ефимов. Иногда им помогает их сын.

Они сделали всех кукол и все декорации.

Ну, мы, конечно, с радостью побежали в театр во главе с самим Иваном Семеновичем.

Было это в ясный, солнечный зимний день. Бежали почему-то очень быстро и весело по бульварам — по Сретенскому, Петровскому, Страстному, мимо Страстного монастыря. Свернули на Тверскую-Ямскую, а потом в Мамоновский переулок. Оказалось, что ефимовский кукольный театр играет в здании Педагогического театра.

Здорово играют. Очень интересно. На сцене стоит маленький ситцевый театрик с занавесом, кулисами, задником. Все честь по чести. Играли басни Крылова. Ефимов объявлял. Вроде конференсье. Очень эффектный. С бородой. Высокий. И голос красивый. Прямотаки актер. Потом он же говорит за дедушку Крылова. Тоже хорошо. И за волка. И за журавля. Смешной журавль. Долговязый, с длинным клювом. И волк и журавль в чиновничьих одеждах. Это правильно. Ведь басня же!

Потом «Принцессу на горошине» играли, смешно очень. Перину на перину клали, а она все горошину чувствует. Очень была хороша басня про мышей. Мыши огромные. Условно сделаны. Только головы и матерчатые балахоны.

Очень-очень интересно, но самому мне не хотелось бы превращаться в театр. Мне нравится, что я один, что у меня такая портативная ширма, как у Зайцева, что мне никто не помогает.

И все-таки хорошо бы мне с Ефимовым поближе познакомиться. После спектакля подошел к Ивану Семеновичу и попросился прийти к ним домой, но так получилось, что пришел только летом.

Живут они в большом доме Афремова около Красных ворот. Рядом с домом Орлика, на каком-то высоком этаже. Позвонил. Ефимов открыл дверь. Стоит передо мной голый. В одних трусиках. Оказывается, нарочно, чтобы показать, как загорел. И что интересно — обычно голые с бородой как-то не монтируются, а у него все складно. Может, потому, что голова классически красивая и сложен замечательно. Прямо-таки скульптура. Даром что скульптор.

На мансарде Пронина

В Петрограде (а может быть, это уже в Ленинграде) были полу-клубы-полукабаре, полукультурные-полузачные, но безусловно очень интересные заведения: «Бродячая собака», «Привал комедиантов». Так сказать, родственники балиевской «Летучей мыши». И к ним ко всем приложил руку Борис Пронин.

Интереснейший человек. Если хотите, его можно было считать авантюристом, потому что он постоянно выдумывал какие-то фантастические зрелища. То концерты, то театрики, то что-то вроде клубов. Всегда кого-то открывал и старался непременно показать это открытие своим друзьям — Москвину, Качалову, Алексею Толстому. А друзья его искренно любили, потому что никогда нельзя было заподозрить авантюризм Пронина в том, что он построен на какой бы то ни было материальной заинтересованности.

Вот так Пронин открыл меня, за что я ему бесконечно благодарен. Разве без него я оказался бы равным на его мансарде!.. На удивительной мансарде Пронина.

Помещалась она в Москве на последнем этаже одного из домов на Большой Молчановке. Годы нэпа. Какой-то повар-китаец готовил пельмени, и нэпманы со своими дамами в «моделях от Пакена» платили за вход очень дорого. О том, как одевались тогда дамы, очень подробно пела Иза Кремер: «Сначала модель от Пакена, потом пышных юбок волна, потом кружева словно пена, потом, потом она».

А вот актеры, писатели, поэты, художники, певцы ничего не платили. Прекрасные там были вечера, и хоть всегда было вино, пьяных я не помню. Но зато помню, как читал Блока и Есенина Качалов, как «Паровозную обедню» читал Василий Каменский, а Москвин с Тархановым играли «Хирургию», как пела народные негритянские песни Коретти Арле Тиц, высокая, черно-коричневая, с большими глазами, похожими на эйнемовский шоколад, а аккомпанировал ей ее муж Тиц, маленький, белый, с голубыми глазами, как у ангела.

Пела внучка Толстого — и цыганские песни и свой романс, очень хороший, до сих пор его помню: «Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть». Замечательно пел под гитару артист Второго МХАТа Китаев. Старый цыганский романс «Наглядитесь, очи ясны, про запас». И меня научил. Я его недавно по телевидению спел.

Самые прекрасные у меня воспоминания о прониной мансарде и огромная Пронину благодарность. За то, что я с таким большим количеством талантливых людей встретился, и за то, что подавал он меня как свое открытие.

Я часто показывал там моих кукол, а один вечер был целиком посвящен куклам, причем первая часть вечера была отдана Ефимовым, а вторая — мне.

После этого в «Огоньке» на мое выступление появилась очень хорошая рецензия Сухотина.

Первая в моей жизни рецензия.

Все в первый раз

Осень двадцать пятого года. Музыкальная студия едет на трехмесячные гастроли в Германию и Чехословакию. Меня тоже берут. Сразу после гастролей в Ленинграде морем на Бремерхафен.

Соня с Алешей и мама с папой приехали в Ленинград. Меня провозжат. Все-таки три месяца. Соня говорит: «У вас там молодые актрисы, если с тобой что-нибудь случится, ты уж не очень убивайся». Удивительный она человек. Взяла и вот так просто выдала индульгенцию. Я говорю: «Не бойся, ничего не случится».

Плывем на двух маленьких полугрузовых парходиках. Шторм. Сперва три балла. Потом пять, а потом одиннадцать.

Волны перекатываются через палубу. Матросы перебегают, хватаясь за протянутые канаты. Их окатывает с ног до головы.

Странное дело. Ни польку, ни вальс я танцевать не могу, голова так кружится, что просто падаю, а тут хоть бы что.

Наши почти все в каюте. Рвота. Глаза, как у кроликов, от лопнувших сосудов, а я в порядке. Только в каюту спускаться не надо. Там плохо. Там тебя насильно качает.

А на капитанском мостике сознательно качаешься. В этом «ся» все дело. Я участвую в этой качке активно. Интересно, просто даже увлекательно смотреть, как ныряет наш пароход с какой-то невероятной крутизны в морскую бездну. Накрывает его волна, окатывает бурной пеной, и опять он взбирается на самый гребень. Если в этом участвуешь, тогда все замечательно.

Берлин. Все не по-нашему. Надо покупать фетровую шляпу. Первый раз в жизни. Белье, шелковое кашне, черные тонкие носки, черные туфли, галстук. Вы подумайте только — галстук. Такое ощущение, будто я предаю всю советскую власть и все свои демократические принципы.

У Вертхейма (это магазин такой, он и до сих пор существует) купил духи «Роз Жакомино». Первый раз в жизни от меня пахнет духами.

В магазине с этажа на этаж движутся лестницы. Стоишь на ступеньке, а она тебя везет. Ну до чего ловко придумано. Я еду и, как дурак, смеюсь. Немцы, наверное, думают — сумасшедший едет.

Живем на Фазаненштрассе в Шарлоттенбурге, в пансионате. Очень вкусно едим и пьем пиво.

Дурачусь на бульваре с белокрысыми немецкими ребятами. Высовываю из-за пазухи моего негртенка. Они хохочут и что-то мне объясняют на своем немецком языке. Смешные ребята и уж очень хорошо одеты. В красненькое, зелененькое, желтенькое. А сами бело-розовые.

Играем в Берлинер-театре (его теперь нет). «Дочь мадам Анго», «Лизистрата», «Карменсита и солдат». Успех большой. Замечательные рецензии. Даже меня похвалили за моего Терапота: «Wie ein blonder Rigoletto» — как беловолосый Риголетто.

Едем на поезде в Чехословакию. Не отрываясь стою у окна. Интересно. Две чужие страны. Чужие жизни. Чужие судьбы. Чужой быт.

Едем вдоль реки. На другой стороне бежит поезд, похож на игрушечный. В вагонах, наверное, полно людей. Каждый куда-то по своим делам едет. Убежал поезд. Скрылся за поворотом. По шоссе старушка на велосипеде. В платке, совсем наша. Только наши старушки на велосипедах не ездят. Собака бежит. Ну, собака наша и гуси и голуби наши на не нашей крыше. А лошадь в телегу впряжена не по-нашему. Без дуги.

Кто-то из купе кричит: «Товарищи, закройте окно, дует!» А тенор Белостоцкий отвечает: «Кончились товарищи». Неожиданно это. Потом вы узнаете, какой трагедией обернулась ему эта фраза.

В Праге

В первый же день как приехали в Прагу, обежал полгорода. Злата Прага — золотая Прага, недаром все чехи в нее влюблены. Удивительный город. В первый раз вижу такой. Все удивительно — и дома, и храмы, и решетки, и памятники. Ходи и излучай архитектурные стили — романский, готический, барокко, рококо, бидермейер, фахверк.

На башне ратуши окошечко, и каждый час в нем проходят двенадцать маленьких деревянных апостолов. Вроде кукольного театра.

А в пражском кремле Градчанах прямо-таки кукольная улица. Злата улочка, или улица Алхимиков. Узенькая. Вдоль крепостной стены прижались домики. Такие маленькие, что до крыши рукой достать, а обыкновенная кошка на ней кажется тигром.

Через Карлов мост вернулся из Градчан в город и заблудился. Адрес помню: на Виноградах, отель «Беранек», — а найти не могу.

Брожу, смотрю по сторонам. Читаю вывески. «В ржиши лоутек». Догадался — «В царстве кукол». Окошечко кассы. Там девушка. Вынул из кармана мою куклу-обезьянку, надел на руку и сунул в окошечко. Девушка засмеялась, выскочила из кассы, схватила меня за руку и потащила в дверь.

В театре идет спектакль «Двенадцатая ночь». Играют куклы на нитках. Замечательно играют. Сэр Тоби от хохота упал на ступеньки лестницы и очень здорово трясся всем телом.

Подумать только! Настоящий профессиональный театр. С большим зрительным залом, заполненным и ребятами и взрослыми, с оборудованной сценой, с фойе. Театр. Настоящий театр. У нас таких нет.

У меня неожиданно много появилось чешских друзей. Актеры «царства кукол». Они познакомили меня с редактором журнала «Луткарш» («Кукольник») профессором Весели. Он подарил экземпляры журнала. В нем портрет Йозефа Скупы. Говорят, он замечательный кукольник, выдумавший знаменитую куклу Спейбла. Фотография этой куклы напечатана в журнале. Очень смешная лупоглазая кукла. Все для меня неожиданно и очень интересно.

А спектакли наши идут каждый день. Каждый день с большим успехом. И «Дочь мадам Анго», и «Перикола», и «Лизистрата», и «Карменсита». В «Периколе» я по-прежнему играю Терапота, в «Лизистрате» — предводителя стариков, а в двух других спектаклях — в толпе.

В антракте за кулисы приходят русские. Эмигранты. Офицеры в полной царской офицерской форме и разнообразные штатские. Один преподаватель математики реального училища, в котором я учился, другой — мой товарищ по этому училищу из параллельного класса. Они уверены в своем будущем. В том, что советская власть долго не удержится и они вернуться.

Удивительно. Мы ощущаем себя как реальность, а их как нечто нереальное. Они наоборот. Смотрят на нас как на обреченных. Как на что-то абсолютно временное.

Впрочем, и среди некоторых наших актеров есть такие, для которых, по-видимому, слово «товарищ» ушло навсегда. По их ощущениям это сейчас они в реальном мире, а уехали из выдуманного временного нереального.

Плывем в Америку

Пустынный плоский снежный берег. Мелкая пурга. На берегу много людей. Прямо перед ними огромный пароход. Окна, окна, окна. Как дом. Многоэтажный, тяжелый, длинный, большой дом.

Мы на палубе океанского лайнера «Колумбус». Люди под ним как козявки. Волнуются, обнимаются, крестят друг друга, целуют.

Старые, молодые, дети. Не сразу поймешь, кто уезжает, кто провожает. Но для многих, вероятно, это серьезное расставание. Надолго. Может, навсегда. Какая-то старушка схватила на руки маленькую девочку. Совсем уж козьявку. Целует, целует. Плачет. Замахала руками, куда-то пошла. Вернулась. Обнимает молодую женщину. Наверно, свою дочь и мать девочки.

По трапам идут и идут пассажиры. Похоже на похороны. Долгий, долгий, тяжелый, толстый гудок. Заторопились люди на трапах.

Около нашего парохода маленькие пароходики тоже загудели, двинулись, стали выволакивать нас из гавани. Сами мы развернуться не можем.

Закричали, замахали руками люди на пристани. Каждый, наверное, что-то важное кричит. Но разве на крышу семизэтажного дома докричишься?

Бегут двое с чемоданчиком. Машут руками. Опоздали. Опоздали на пароход в Америку. Остановилась женщина. Села на чемодан и обхватила голову руками.

Что поделаешь. На каждый поезд, на каждый пароход кто-то должен опоздать. На две тысячи пассажиров — только двое. Это совсем пустяк, только этим-то двоим от этого не легче, опоздали на пароход в Америку.

Балтийское море по сравнению с Атлантическим океаном лужица, прудик — это я так раньше думал. А оказалось наоборот. Балтийское море огромное. На горизонте проплывают острова, качаются, ныряют пароходы, крейсера. Волны вдвое-втрое больше, выше нашего пароходика. Балтийское море — это стихия. Романтическая трагедия.

Атлантический океан, по которому мы плывем, — это блюдце с водой. Да мы и не плывем. Ведь плыть — это значит двигаться мимо чего-то. А тут мимо чего мы движемся? Берегов нет. Островов нет. Ни встречных, ни попутных пароходов тоже нет. По всему кругу горизонт, а мы в середине. Только цвет этого блюдца меняется. От солнца это зависит. А солнце утром вылезет из-за желтого горизонта, идет дугой по синему небу и опускается в красный горизонт, напоследок сверкнув зеленым огоньком. Дни все одинаковые. Как один день. И так шесть дней подряд без всяких перемен. Только раз было десятиминутное происшествие. Откуда-то прилетела желтогрудая птица. Остров, что ли, был где-то за горизонтом? Посидела-посидела на перилах, даже что-то произнесла на своем птичьем языке и улетела. Ночью и море черное и небо черное. Очень много звезд. Больше, чем на суше. От луны дорожка блестящая прямо на нас.

Постояли-постояли в морской воде неполную неделю — и вдруг утром сразу статуя Свободы. Прибыли, значит.

Америка.

Эр, два о, эм — рум

Наши вещи свалены в вестибюле какой-то гостиницы.

Помощник режиссера Протасевич собрал всех и сказал: «Получите первую зарплату за неделю. По сорок долларов, сами снимете себе комнаты и вернетесь за вещами. Заблудиться в Нью-Йорке невозможно. Все улицы вдоль города называются авеню. Все под номерами. Их двенадцать. Все улицы поперек города называются стриты. Их очень много. Наверное, штук двести. Они тоже под номерами. Мы с вами сейчас на Сороковой. Наискосок через все улицы идет Бродвей. На нем комнат не ищите. Ходите по ближайшим стритам и смотрите по сторонам. На двери или на окне какого-нибудь дома непременно увидите прилепленную бумажку. На ней написано эр,

два о, эм. По-английски читается рум — комната. Дома эти так и называются — руминг-хаузы, комнатные. Звоните в подъезд и стоваривайтесь с хозяином. Цена за неделю с двумя кроватями дороже. С одной — дешевле. В комнате должна быть электроплитка. Если не будет, спросите китченнетт. И посуду вам должны дать. Будете готовить себе сами. В ресторанах дорого. Может, найдете домашние обеды. Это дешевле. Завтра в десять утра все должны быть в театре на Бродвее. Адрес знаете. Будьте осторожны. Деньги прячьте в карманы подальше. Тут и воров много и бандиты есть. Гудбай».

Все это он правильно объяснил. На стритах в основном стоят узкие, четырехэтажные, кирпичные, серо-рыжие дома с подъездами посередине. Гляжу на бумажки, читаю «рум» и звоню в подъезд. Пять подъездов обошел. Везде одинаково. Деревянная лестница посередине и на каждой площадке этажа — три-четыре комнаты. Хозяева живут внизу и топят котел.

Не повезло сперва. Очень дорого. Десять — пятнадцать долларов в неделю. В шестом подъезде повезло. Хозяин хоть и плохо, но все-таки говорит по-русски. Его отец родом из Одессы. Значит, объясниться легче. Правда, комната очень маленькая, постельное белье и одеяло так себе, но хозяин дал китченнеттку, посуду и сказал, что покрасит радиатор в серебряный цвет. Все это будет стоить семь долларов в неделю. И еще он сказал, что в соседнем подъезде дают домашние обеды за доллар. Первое, второе, третье и чай.

В общем, все подходяще. Семь долларов комната, семь долларов обед, семь долларов на завтрак, ужин и мелкие расходы. Итого двадцать один доллар. Десять долларов буду посылать жене. Получается тридцать один. От сорока останется в неделю девять долларов. Но ведь недель в пяти месяцах много.

Пошел в соседний подъезд обедать. Маленькая комната. Четыре квадратных стола. За одним сидит очень крупный человек.

Пришла хозяйка. Что-то меня спрашивает на своем квакающем языке, а я не понимаю. И, вероятно, потому, как я ковыряюсь с языком, пытаюсь что-то объяснить, этот неизвестный американец говорит на чистейшем русском: «Ты откуда будешь?»

Познакомились. Иван Поддубный. Знаменитейший русский борец. Знаменитее нет. Оказывается, в Нью-Йорке объявлено о предстоящей борьбе на звание чемпиона мира. Поддубный — Збышко Цыганевич, тоже сверхзнаменитый борец, поляк. В газете напечатаны фотографии. Правда, не борцов, а их менеджеров. Все равно лестно.

На следующее утро мы все собрались в фойе театра на Бродвее.

Сенсация! У Протасевича бандит с револьвером отнял кошелек в тамбуре подъезда.

Премьера на Бродвее

На сцену вышел наш менеджер Морис Гест. В пальто и шляпе. Размахивая тросточкой, стал говорить, как я понял, о том, что когда-то он привозил в Америку Айседору Дункан, а вот теперь привез Немировича-Данченко. Тут он указал тросточкой на Владимира Ивановича, передавая тем самым ему слово.

Владимир Иванович поклонился и сказал: «Ай донт спик инглиш» — я не говорю по-английски, — «пермете муа парле франсе» — разрешите мне говорить по-французски. Все, что он говорил дальше, я не понял, кроме последнего слова «мерси».

Но и среди зрителей мало кто что понял, потому что американцы, как правило, никакого чужого языка не знают.

Играли «Лизистрату». Успех хороший. В «Нью-Йорк таймс» напечатали: «„Лизистратой“ нужно наслаждаться, как технически совер-

шенным достижением». Целую неделю шла «Лизистрата». Потом неделю играли «Дочь мадам Анго», потом «Периколау» и наконец «Карменситу и солдата».

Вот это был успех так успех. Тем более что на премьере смерть Кармен выглядела особенно эффектно. Актер, певший Хосе, забыл перед финальной картиной взять нож, в котором лезвие входило в рукоятку, а казалось, будто в тело героини. Пришло время убивать, а ножа нет, и тогда Хосе — Остроумов перегрыз Карменсите — Баклановой горло, вызвав восторг зрительного зала и удивление самой Баклановой.

Но, конечно, не это определило успех спектакля, а вся действительно великолепная постановка Немировича.

Переводчик нам, актерам, прочитал статью в «Нью-Йорк таймс» «Триумф русских в музыкальной драме». Сверхвосторженная и умная статья. «Дейли ньюс» тоже в очень хорошей статье написала: «„Карменсита“ — самая большая удача русских».

Это было в январе двадцать шестого года. Сейчас, когда я пишу эти строки, апрель восемьдесят третьего. Передо мной книжка Фрейдкиной «Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко». Ищу двадцать шестой год и в первом же разделе января нахожу слова Немировича из его записной книжки: «Как это восхитительно, когда такой полный, единодушный, триумфальный, горячий, экспансивный успех! Это действительно мировая победа, редчайшее признание! Счастливый вечер!»

Это я прочел сегодня, а тогда результатом успеха было то, что на фасаде театра появилась большая рекламная вывеска «Карменсита и солдат» и играть мы стали девять раз в неделю только ее.

Дни пошли одинаковые, один как другой, с ежевечерним бурным успехом, да еще в субботу и воскресенье утренники. С таким же успехом. Ну а пять раз в неделю дневные часы свободны. Значит, стал раскрываться Нью-Йорк.

Ай си

Каждый день в моей голове к вечеру отстаиваются какие-то звукосочетания. Назвать их словами нельзя, потому что я не знаю, состоят ли эти сочетания звуков из одного слова или двух, а может, даже и трех.

Вот, например, чтобы купить сосиски, я должен, войдя в продовольственный магазин, произнести «хотдогс, плиз». Плиз — это значит пожалуйста, а хотдогс — сосиски. Так только через неделю или две я узнал, что «хотдогс» не одно слово, а два. Хот значит горячие, а догс — собаки. «Горячие собаки» — вот, оказывается, как в Америке называются сосиски.

Слова входили в мои уши, как входят в уши годовалого ребенка. Смысловые звукосочетания. Пробовал было я их записывать, так это уж совсем невозможно. Слово «нож» по-английски найф, а пишется книфе. Почти все гласные произносятся не по-нашему: «а» как «эй», «е» как «и», «и» как «ай».

Рассказали мне анекдот. Приехал немец в Америку и написал на двери свою фамилию — Абель. Его встречали: «А, мистер Эйбл, мистер Эйбл!» Он написал — Ейбл. Ему говорили: «А, мистер Ибл, мистер Ибл!» Он написал — Ибл, тогда его стали называть Айбл. Он спросил: «Как же я должен писать, чтобы меня называли Абель?» Ему сказали: «Вы должны писать Юбл».

Говорят, будто Шоу завещал большую сумму денег, чтобы ученые разработали новую английскую орфографию. Не знаю, так ли

это, но, по-видимому, никто менять английское правописание не собирается.

Так или иначе, но слова попадали в мою голову без всякой орфографии, причем входили в нее очень быстро и целыми пачками. Да это и естественно, ведь вне театра все встречные и поперечные говорили со мной звуками, а не буквами. Мне понравилась эта коллегия понятий. Интересно было жонглировать или переставлять туда-сюда, чтоб тот, с кем я говорю, наконец-таки меня понял.

В общем, это так или иначе у меня получалось. А вот в обратную сторону выходило плохо. Задать вопрос я мог, а понять ответ было просто невозможно.

Смущаешься. Делаешь вид, что понял, и прибегаешь к спасительному ай си. В переводе на русский это что-то вроде «ага», «понятно», «так», «угу». Едешь в вагоне сабвея (в Германии это называется унтерgrundбан — подземная дорога. Сокращенно убан). Так вот, едешь в сабвее, висишь, держась за ручку, а напротив какой-то парень тоже висит и весело говорит мне что-то, по-видимому, о том, что очень тесно. Я киваю: «Ай си». Он, обрадовавшись тому, что наши взгляды совпадают, опять мне что-то. Я ему опять: «Ай си». Так можно десять остановок разговаривать до самого Бронкса (это верхняя часть Нью-Йорка), и он сойдет, вполне уверенный в том, что мы очень хорошо поговорили и что наши взгляды во всем сходятся.

Наглотавшись за месяц английских слов, я стал другим человеком. Не глухонемым, а говорящим, значит, вполне контактным. Спокойно хожу по улице, спокойно захожу в магазин. Спрашиваю, отвечаю. Разговариваю.

А что плохо говорю, так это даже хорошо. Мною сейчас же заинтересовывается случайный собеседник. «Вы немец?» — «Нет». — «Француз?» — «Нет». — «Поляк?» — «Нет». — «Кто же вы?» — «Русский». — «Рил рашн?» (Настоящий русский?) — «Рил». — «Фром Москов?» — «Фром Москов» (Из Москвы). — «Импоссибл» (Невозможно). — «Давно в Нью-Йорке?» — «Два месяца». — «Будете здесь жить?» — «Нет, в мае назад». — «Куда?» — «В Москву». — «Импоссибл». Идем по Центральному парку, болтаем, и я приглашаю его в театр, а после спектакля иду к нему в гости.

Удивленная жена и еще более удивленные дети. Мальчишка и девчонка. В первый раз они видят живого русского коммуниста. И оказывается, что я не коммунист, а беспартийный и все-таки за советскую власть. Импоссибл. У меня на пальце обручальное кольцо. Разве русским можно носить золотые кольца? Вандерфул! (Удивительно!)

Домой они меня провожают всем семейством и в субботу хотят показать даун таун. Нижнюю часть города.

Гуляем по набережной, а потом поднимаемся на пятьдесят девятый этаж самого высокого в мире дома Вулворта. Пятьдесят девять этажей, тут уж я говорю — импоссибл. Ведь у нас в Москве самые высокие дома — это Афремова у Красных ворот да Орлика на углу Орликова переулка. Так они по восемь этажей. Значит, в семь раз меньше.

Заходим в паноптикум на Шестой авеню. Там безрукая женщина пальцами ног печатает за десять центов фамилию всякого желающего. Человек во фраке, из жилетки торчит другой маленький человек тоже во фраке. Он головой врос в своего близнеца; а в отдельной комнате за отдельную плату показывают дрессированных блох. Они крутят карусель, возят маленькие пушечки и по приказу прыгают в кольцо. Вандерфул!

Воскресенье. Идем в зоопарк. Очень большой, замечательный. Таких у нас, к сожалению, нет.

В павильоне человекообразных обезьян огромные клетки цели-

ком застеклены. Чтобы в них был постоянный микроклимат. Страшно вато смотреть на орангутангов, шимпанзе, горилл. Уж очень они похожи на нас, людей. Будто они не в клетке, а в тюрьме.

Над одной из клеток надпись: «Самое жестокое животное в мире, которое может уничтожить все живое, что и стремится сделать». В клетке никого нет, только в самой глубине поблескивает зеркало. Всматриваешься и видишь самого себя. Человек. Мой новый знакомый говорит: «Датс райт» (это правда).

Кип смайл

Кип смайл — держи улыбку, улыбайся. Замечательный американский императив.

Если в немецком трамвае или вагоне убана кто-нибудь будет громко хохотать, пассажиры недовольно обернутся — что это за невежливость. Может быть, у кого-то из едущих какие-то заботы или даже горе, и неуместный этот публичный хохот просто оскорбителен. Это неуважение к людям, окружающим невежу.

Если среди группы людей в Америке кто-то сидит с постной физиономией, не участвует в общем разговоре, если он явно чем-то озабочен, а то и просто грустен, то по неписаным бытовым американским законам этот человек ведет себя невежливо, неприлично. Нельзя навязывать плохое настроение другим. Улыбайся — кип смайл.

У нашего молодого американского администратора умерла жена. Мы узнали об этом только через две недели. И то случайно. Все время он был, что называется, в форме. Ни с кем не делился своим горем. Кип смайл.

Как жаль, что это, в общем-то, очень простое правило не живет в нашем быту.

Садится, например, у нас семья обедать. Пришла бабушка и молчит. «Что с вами, бабушка?» «Не обращайтесь на меня внимания, у меня плохое настроение». У нее плохое настроение, а у всех обед испорчен. Завтра в плохом настроении окажется отец семейства, и опять обед испорчен. А ведь обед — это не ерунда. Это очень важный отрезок времени, когда вся семья в сборе.

Кип смайл. Замечательное правило. Одна из характеристик американского быта. Сколько бы раз на дню американцы ни встречались друг с другом, каждый раз обязательно «хелло». Даже через улицу с тротуара на тротуар, а уж если это праздник, такой, например, как Новый год, то «хелло», «хелло», «хелло» летит, как серпантин, через всю площадь Колумба Коламбус Сёркль. Шутихи, трещотки, пляски, песни чуть не всю ночь.

Мы шестером — три актера и три актрисы — вместе со всеми крутим трещотки, пляшем, а потом идем к одному из актеров в такую же маленькую комнату, как моя, ставим пластинки, пьем самогон. В стране сухой закон. Вина нет. Шампанского тем более, а самогона сколько угодно. Танцуем фокстрот и танго. Очень весело и опасно. Мои коленки стучаются о коленки партнерши. Она красивая, да еще подкрашена, да еще веселая. Очень нравится. Кажется, и я ей нравлюсь. Глаза сощурила.

Что это? Неужели Соня окажется права и надо считать, что она разрешила? Нехорошо как-то. Слава богу, все прощаются и собираются домой. До завтра. Гудбай.

Через шумные улицы веселого города пришел к себе. Буду каждый вечер писать Соне о том, что было за день. Каждый вечер. Обязательно каждый. Ничего, ничего, кип смайл.

Жоржик

Нью-Йорк. Ночь. Вернее, вечер. Иду к себе по Бродвею. Прошел Таймс-сквер. Это где Бродвей пересекает Шестую авеню. На доме,

выходящем на площадь утюгом, сверкает сумасшедшая реклама кока-колы. Сколько, интересно, все эти рекламы денег стоят? Вон напротив из огромной опрокинутой чашки что-то сверкающее капает, а рядом розовая физиономия курит и изо рта дым пускает, а там мало того что крутится, так еще и трещит. В ночь небось десятки тысяч долларов горят, а в год, наверное, миллионы.

Неужели без этих невероятных реклам люди перестанут пить коку и курить кэпти?

Проститутки на углу стоят. Да не женщины, а покрашенные мужчины — педерасты. У некоторых груди подбиты. Страшноватая профессия.

Приду домой, буду есть «горячих собак», хот догс. Сварю кофе. Напишу письмо жене.

Навстречу идет какой-то человек. Остановился и смотрит в упор. Очень на кого-то похож. Очень похож. На кого? На кого? На кого?

— Ой! Жоржик Голинский?!

— Сережа? Откуда ты тут?

— Я со спектакля Музыкальной студии!

— Смотрел?

— Нет, играл.

— Ты актер?

— Да. А ты откуда?

— С концерта хора донских казаков.

— Слушал?

— Нет, пел.

— Разве ты казак?

— Казак.

— Куда идешь?

— К себе, я с другом живу на Сорок третьей.

— А я один на Сорок второй. Пойдем ко мне, поговорим. Я сосисками угощу и кофею.

— Идем, у меня самогон есть.

— Где же это?

— За пазухой.

— Как за пазухой?

— Очень просто. Смотри! Тут закон-то сухой, а специальные фляжечки для самогона везде продаются...

— Здорово! Пошли.

— Только, во-первых, здравствуй.

— Правильно. Поздороваться не успели. Здравствуй. Сколько же лет мы не виделись?

— Наверное, лет десять. С Потапова.

— Правильно, с Потапова. Когда в испорченный телефон играли.

Пришли ко мне. Сварили сосиски. Съели. Выпили, наверное, рюмки по две самогонки. Больше в этой погнутой стеклянной фляжке вряд ли было.

Пьем кофе, разговариваем. И понять друг друга не можем. Смешно и грустно. Жоржик говорит:

— Поздравь меня, я получил повышение. С сегодняшнего дня полковник.

— Какой же армии?

— Как какой? Русской.

— Где же эта армия?

— Российский общевойсковой союз в Париже. Я оттуда и депешу получил. Сам великий князь подписал.

— Какой великий князь?

— Как какой? Николай Николаевич. Главнокомандующий русской армией.

— Так ведь нет ее, этой армии.

— Будет. Ты что, Сережа, думаешь, так и будут Россией всегда большевики править?

— Думаю, что так и будут.

— Не может этого быть. Разработан план десанта. Сразу в Одессу и в Петербург.

— Ничего из этого десанта получиться не может. Ты лучше скажи, где Вера.

— Где-то под Москвой живет. Кажется, замуж вышла. Не знаю. Не пишет.

Расстались мы с Жоржиком не врагами и не друзьями, а так, будто каждый живет в каком-то собственном пространстве. Он ушел вроде как озадаченный, и было мне его просто жалко.

Вспомнил я, что, когда в испорченный телефон играли, он тогда непонятное мне слово «фальсификация» придумал. Так вот сейчас иначе как фальсификацией его положение и назвать нельзя. Полковник несуществующей армии, баритон в хоре донских казаков. Временный, «ситуационный» успех у этого хора в Америке. Пока еще и Чехословакия, в которой мы были, и Америка не установили с нами дипломатических отношений. Только в Германии есть наш посол. Но ведь скоро, очень скоро дипломатические отношения установятся и с Америкой. Это видно и по успеху наших спектаклей, и по рецензиям на них, и по буквально всеамериканскому интересу к советским людям. К советской России.

С прототипами Жоржика Голинского я встретился потом на спектакле «Дни Турбиных» во МХАТе. Там тоже белогвардейцы и тоже, в общем, хорошие люди. Хорошие-то хорошие, да жизнью выброшенные. Не тому верили, не за то боролись.

Фальсификация.

По стране

Из Нью-Йорка отправились на гастроли по стране. Цинциннати, Кливленд, Бостон, Детройт, Чикаго. Интересно, конечно, да уж слишком долго. Невыносимо хочется домой. Полгода ездим.

В Чикаго въезжаем на поезде в сплошном смоге. Это слово англичане выдумали. В Англии в каждом доме камины. Значит, в небо со всех крыш подымается дым, дым по-английски фог. В Англии частые туманы, а туманы по-английски смог. Вот и обозвали англичане угольный дым, растворенный в тумане, смогом.

Чикаго весь в дыму от бесчисленных заводов и фабрик. Трубы, трубы, трубы и есть ли туман, нет ли тумана — все равно сплошной смог.

Утром надел белую рубашку, а вечером, если идешь в гости, меняй. воротник черный, манжеты черные. И мойся. Ноздри черные, уши черные. Ну да ладно, все-таки Москва приближается. Впереди меньше, чем сзади.

И вдруг как гром средь ясного неба. Театр приглашен на гастроли в Лондон. То ли на месяц, то ли на два.

Конечно, Лондон — это интересно, но черт с ним, с этим Лондоном. В Москву, скорее в Москву. Только не мы, актеры, это решаем, а Немирович.

Значит, придется ехать в Лондон.

Ура! Скоро Москва

Вернулись в Нью-Йорк. Я снял комнату в апартментхаузе (квартирном доме). На втором этаже. Дом большой и напротив тоже большой. Окно мое смотрит в чужой дом, и чтобы узнать, какая погода, и увидеть небо, надо лечь на пол и заглядывать в окно снизу. Лампочка в комнате горит постоянно, иначе не найдешь ни кровати, ни шкафа.

Хозяйка — очень милая старушка, но предупредила: «Если к вам придет женщина, откройте дверь в коридор». Это у них, у американцев, такое правило, такая нравственность. Даже в гостинице, если вы живете в номере один и к вам в гости пришла женщина, откройте дверь в коридор.

Прямо удивительно. Таймс-сквер. Полно проституток (и женщин и мужчин), а в гостинице ханжеская нравственность.

Ну да ладно. Это их дело, а вот в Лондон-то мы, оказывается, не едем. В Англии всеобщая забастовка угольщиков. Слава богу. Молодцы угольщики — вовремя забастовали. Значит, скоро Москва.

Беда. Лучше бы поехали в Лондон. Идут последние спектакли. Уже письма перестали писать. Все равно приедем раньше, чем придет письмо. Уже ясно, когда будем в Москве.

Будем-то будем, да только уже не актерами Музыкальной студии. Немирович ее закрыл.

Плывем назад на том же самом пароходе «Колумбус».

Нужно было сохранить все юридические позиции коллектива театра, и прежде всего внести профсоюзные взносы. Я, как председатель месткома, послал деньги переводом прямо с парохода и получил телеграмму: «Океан Колумбус Образцову Деньги получены».

Немирович плывет вместе с нами, да не домой, а отдыхать во Францию. Мы ходили к нему в каюту обсуждать, кто из едущих какие роли будет играть. Абамелик — Карменситу, Белякова — Лизи-страту.

Он говорит: «Если Кемарская и Белякова с вами — я спокоен».

Вечером после ужина в салоне парохода прощаемся с Владимиром Ивановичем. Поем ему хором русские песни, он их любит.

Поем: «Эх в Таганроге, да эх в Таганроге. В Таганроге случилась беда. Эх там убили, да эх там убили, там убили молодого казака...» Разноязычные пассажиры в восторге. Просят сказать, про что песня. Мы кое-как переводим на английский. Они в полном недоумении — почему такая трагическая ситуация так весело поется?

Ну, значит, театр не окончательно закрыт. Еще живем. Нужно только в Москве искать помещение, где репетировать и играть.

Дома

Май, солнце, море. Мы уже в Европе. На маленьком пароходе плывем в Ригу. Море северное, а погода южная.

Настроение, в общем, хорошее, очень хорошее. Правда, не знаем, где будем репетировать, где играть. Во МХАТе-то «старики» запретили. Надо, значит, еще найти пристанище, театр какой-то, какое-то здание, но в сознании все это отодвигается. Домой едем. Домой. Вошли в Балтийское море. Все то же солнце, только сквозь какую-то светлую мглу. Туман. Кисейными волнами наш пароход встречает. Все гуще и гуще. Долго плывем в тумане. Как это нас лоцман в этом молоке ведет, непонятно.

И вдруг запах травы и горьких листьев. Зяблик запел по правому борту. И по левому зяблик. И еще один. Значит, мы вошли в реку. В Даугаву. Скоро Рига.

В сверкающем от солнца тумане заливаются зяблики. Конечно, это еще не наши зяблики, латышские, а ощущение такое, что наши, что мы к дому, к Москве приближаемся, что кончается наша восьмимесячная поездка.

Гудок не такой густой, как колумбусский, но все-таки хороший, торжественный гудок. Пристань. Рига.

Сутки в Риге ждем поезда в Москву. Вагон третьего класса. Деревянные полки. Ну да ничего. Москва скоро.

Граница. Проверка паспортов, и уже по советской земле едем. На станциях, как всегда, спуют, толкаются люди. Кричат, разговаривают. По-русски разговаривают. Неожиданно как-то. Мы привыкли, что люди вокруг нас не по-нашему говорят. А тут по-нашему.

Чем ближе к Москве, тем больше волнуюсь. И непонятно почему. Ведь только радоваться нужно. А волнение такое, что не знаешь, куда деться.

Совсем близко Москва. Платформа Покровское-Стрешнево. Стоим, стоим. Высунулся из окна. Красный семафор. Чего нас не пускают? Такое волнение, хоть выскакивай и беги.

Наконец-то поехали. Платформа Виндавский (теперь Рижский) вокзал. Люди в окна заглядывают, ищут своих. Выхожу с двумя чемоданами. Уже наших встречают. На шею кидаются, целуются, плачут.

А где же мои-то? Иду по платформе и вижу — навстречу Соня идет с Алешей на руках. От неожиданности остановился, а она идет. Подошла и тоже остановилась, не дойдя два шага. Молчит, улыбается, и по щекам слезы текут. Не знаю, что сказать. Спасибо Алеша выручил. Вдруг закричал: папа! Как это он меня через восемь месяцев узнал? Да еще в шляпе. Соня засмеялась. Я поставил чемоданы. Взял Алешу на руки. Соня ткнулась головой в мое плечо, и я поцеловал ее в голову. Так, как когда-то на Александровском вокзале поцеловал.

Ну вот и вернулся. Значит, дома.

Свой театр в Москве

Ура! У нас свой дом, свой театр на Большой Дмитровке. Это целиком заслуга Баратова. Невероятно энергичный человек.

Свой-то свой, да не совсем. Пополам с оперной студией Станиславского. День мы, день они, день мы, день они. Не очень это хорошо, но лучше, чем бездомность, тем более что театр хороший. Со зрительным залом, хорошей сценой, уборными. С фойе, в которое прямо от дверей ведет шикарная лестница.

Началось вхождение в новый дом с детектива. Во время ремонта рабочие на чердаке обнаружили клад. Какие-то драгоценности, будто даже бриллианты. Стали делить и подрались. Вызвали милицию. Милиция усмирила дравшихся, а бриллианты отобрала. Это событие номер один.

Событие номер два: идет репетиция оркестра Оперной студии Станиславского — и вдруг прямо над дирижером проваливается потолок, разбивает дирижерский пульт и скрипку первого скрипача, а над головой дирижера повисли чьи-то судорожно мечущиеся ноги.

Рабочий шел по чердаку, спрыгнул с балки, провалился и висит на локтях. Побежали его вытаскивать, а боятся близко подойти, вдруг и спасатель провалится.

Провалившийся умоляет спасти поскорее. Локти затекли, вот-вот оборвется. Слава богу, вытащили его кое-как.

А в общем, жизнь в новом здании налаживается. Актеров не хватает. Объявили конкурс. Я сижу в жюри. Просматриваем, прослушиваем. Приняли очень хорошего баритона Канделаки. Молодой, краси-

вый, горячий. И сам и голос. Приняли сопрано — тоже молодую, хо-рошенькую, стройную. И поет неплохо. Любовь Орлова. Очень хороша.

В июне получили письмо от Владимира Ивановича. Пишет: «Не бросайте меня из памяти, поберегите те дорогие чувства, которые вы мне оказали».

А мы и не думаем бросать. Понимаем — без Немировича нет теат-ра. Только бы он не бросал нас из памяти.

Восстановили весь репертуар. Очень хорошая рецензия на «Ли-зистрату». Я там играл предводителя стариков в очередь с Каплун-ским. Он где-то в Италии изучает бельканто. Играю, значит, я один. Похвалить-то меня похвалили, да фамилию написали Каплунский. Так в старой программке было. Огорчительно, конечно. Ну да не в этом счастье. Хотя почему не в этом? Я ведь очень люблю эту роль и играю, по-моему, лучше Каплунского.

Белостоцкий в Америке, значит, у Ягодкина нет дублера в роли Помпоне. Ввели меня. Трудная для меня партия. Голос-то у меня ко-роткий, а первая же певческая фраза начинается с верхнего фа. Глу-пая фраза: «Я готов и вполне», так вот это «тов» как раз фа. Беру с ис-пугу. Соня смотрела меня. Ей понравилось. Говорит, я был красивый, а красивым-то и не надо было быть. Помпоне простак, а не герой. Так себе я эту роль сыграл.

Баратов поставил «Соломенную шляпку». Я играю слугу Феликса, а служанку Жоржетту — Люба Орлова. У нас глупейший дуэт:

- Феликс, я прошу вас, не надо.
- Жоржетточка, я вас молю.
- Оставьте, ах, что за досада.
- Жоржетта, но я вас люблю.

Камерницкий получил письмо от Немировича из Лос-Анджелеса: «Об одном мечтаю, чтоб тот пафос, то содружество, та мужествен-ность, с которой студийцы провели эти пять месяцев, не рассылились, не растаяли от второстепенных взаимоотношений. Чтоб все вы закали-лись в содружестве так, как это было в Художественном театре».

А мы и действительно «закалились в содружестве», иначе погиб-ли бы.

27 января 1928 года торжественный симфонический концерт на сцене театра в честь возвращения Немировича. В зрительном зале знатные люди, члены правительства. На сцене выстроилась вся наша труппа. Вышел встреченный, как говорится, шквалом аплодисментов Владимир Иванович и, обратившись к сидящему в первом ряду Ену-кидзе, сказал, что римский народ становился на колени перед импера-тором, но когда император был виноват, он становился на колени пе-ред народом. «Разрешите мне встать на колени перед моим народом». И он опустился на одно колено. Тут, конечно, все кинулись его под-нимать. Дальше я цитирую по стенограмме: «Я числился по американ-скому кино, но все самое лучшее в моей душе, мои лучшие мысли, мечты и планы были отданы Художественному театру и вот этому близкому моему сердцу коллективу. Без колебания скажу, что тво-рить можно только в России; мы должны творить, творить, творить».

Значит, будем творить под руководством Немировича. Значит, театр спасен.

Мы его спасли и благодарить в первую очередь должны двух лю-дей: заведующего костюмами Горюнова, который в Нью-Йорке первый сказал: «Давайте не закрывать театр» — и Леонида Васильевича Бара-това, без энергии, организаторских способностей которого ничего бы у нас не вышло.

Гала-представление

В Нью-Йорке я познакомился и подружился с буквально одержи-мым кукольником Ремо Буфано.

Он встретил меня, сидя на табуретке, в компании двух кукол с него ростом, сидящих впереди на таких же табуретках и бьющих в барабаны. Сам Буфано отчаянно играл на гармошке и не менее отчаянно нажимал на педали, приводящие в движение его партнеров.

Приехав в Москву, я решил сделать похожих кукол и сделал двух негров. Они тоже сидели на табуретках и тоже приводились в движение педалями. Один бил в барабан, а другой в тарелки.

Николай Дмитриевич Бартрам устроил в Музее игрушки выставку театральных кукол, и мои негры имели там большой успех. Особенно у ребят, которые все время просили их «завести».

А тут еще мне предложили участвовать в невероятном цирковом гала-представлении, сенсационная суть которого состояла в том, что все актеры, причем актеры известные, знаменитые, должны были заниматься не своим делом, вернее выступать в неожиданных ситуациях. Кто сидя на слоне, кто скача на лошади, а Качалов, например, должен был читать Блока под куполом цирка.

Вот и мне по сценарию моего выступления нужно было сперва проделать номер, который был объявлен как «арапский выезд»: в небольшой полók запрягли толстого-претолстого осла. На полке укрепили моих негров, с которыми я должен был сделать круг по арене. Управлять ослом не надо, он сам умеет этот круг делать, и я могу целиком заняться управлением моими неграми, чтобы они могли производить «арапский шум».

Потом, сидя на том же осле, но уже распряженном, я должен сделать второй круг по арене и спеть колыбельную песню Мусоргского с Тяпой на руке.

По окончании второго ослиного круга я должен поставить в центре арены свою ширму и спеть романс Гречанинова «С тобою мне побыть хотелось».

Ну так вот что из этого вышло.

Выезжаю я на арену. Нажимаю на педали. Негры ударяют в барабан и тарелки. Осел пугается и несется как бешеный. Негры подпрыгивают и на ходу разваливаются. Но так как все их отдельные части соединены с педалями веревочками, то и головы и руки волокутся сзади таратайки, а осел, честно сделав полный круг, с шиком вывозит меня с арены и решительно отказывается везти снова на своей спине.

Осла не переспоришь. Значит, номер с Тяпой отпадает. Беру ширму, иду в центр арены, и так как зрители оказываются у меня и спереди и сзади, то, расставив ширму, завешиваю ее заднюю сторону специально заготовленной занавеской.

Все в порядке. Приоткрываю щелочку в занавеске, делаю знак пианисту, что он может начинать, и пою первые слова романса: «С тобою мне побыть хотелось...» (кот и кошка прыжками несутся по кромке ширмы) «...часок-другой наедине». Страшный хохот сзади. В чем дело? Оказывается, упала моя занавеска и зрителям видно, как я кручусь.

Ну что поделаешь. Пою дальше. «Но ты куда-то торопилась, я занята, сказала мне». Под самый конец кошка фыркает, исчезает и высовывает голову в маленькое круглое окошечко в середине ширмы. И тут происходит совсем уж неожиданное. Голова отрывается и падает по песку арены.

Зрители, конечно, в восторге. А мне какво?

Счастье

25 июня 1928 года Музыкальная студия на гастролях в Ленинграде. Мне предложили показать кукол актерам ленинградского Театра юного зрителя, того самого, которым руководит лидер детских теат-

ров Александр Александрович Брянцев, того самого, при котором находится кукольный театр Евгения Деммени.

Опасно им показывать кукол. Они ведь все хорошо знают, что такое профессиональный кукольный театр, знают, что такое куклы, и мое любительское выступление вряд ли им понравится. Во всяком случае большого впечатления не произведет. Такого впечатления, которое производит на людей, которые впервые видят кукольное представление.

А все-таки показать хочется. Согласился. Показывать буду после их праздничного закрытия сезона, и многие, по-видимому ничего интересного от меня не ждавшие, при мне же стали расходиться домой.

Совсем я разволновался. Ну а уж отказываться-то поздно. Расставил ширму. Расселись зрители. Началось музыкальное вступление — «Минуточка» Вертинского. Появилась обезьянка. Обычно по публике проходит шорох, а тут никакого шороха. Так и есть. Знатоки сидят. Что им до того, что кукла двигается. Появилась вторая обезьянка. Опять никакой реакции. Ну только бы не растеряться, а то совсем провалюсь.

Первая обезьянка протянула лапку и осторожно погладила вторую обезьянку, и вдруг прямо-таки волна прокатилась по моим зрителям. Порядок. Полный порядок.

Я живой. Я могу петь. Могу играть моими обезьянками. Я вместе со зрителями. Вместе. Слава богу.

Когда после «Минуточки» вышел перед ширмой, мои зрители — актеры брянцевского театра — так кричали, что я не знал, куда деваться от счастья, и потом пел и показывал все, что у меня было, а они подарили мне цветы. Огромный букет. И не заранее приготовленный, а тут же побежали на Невский, купили и принесли.

Первый мой актерский букет, первый мой настоящий, незабываемый актерский успех. Спасибо брянцевским актерам. А через два дня — 27 июня 1928 года — я получил из Москвы телеграмму: «Поздравляю дочерью Мама».

Рождение Наталки

«Поздравляю дочерью Мама», Значит, Соня родила на месяц раньше. Товарищи говорят — это не страшно.

Прямо со спектакля на поезд. В Москве с Ленинградского вокзала на Белорусский. Дачный поезд. В Перхушково. Со станции бегом в перхушковскую сельскую больницу.

Деревянный корпус родильного отделения. В коридоре стол. На столе три спеленатых ребенка. Двое краснолицых, толстощеких. Наверное, мальчишки. Только-только белый свет увидели, а уже ясно, что и пахали и сеяли. Рядом маленькая смуглая интеллигентка. Случайно в деревне родилась. Моя. Явно моя. И вот что удивительно. Я ее уже люблю. Непонятно за что, может быть, за то, что у нее мизинец чуть кривой, как у Сони, у ее мамы. Нет, конечно, моя, тут никаких сомнений нет. Моя дочь. Дочь.

Соня лежит в палате, улыбается. Побледнела очень. Пошаливает сердце. Ей вообще врачи запрещали рожать. Из-за сердца. А она очень хотела второго. Ну слава богу, обошлось. Спасибо главному врачу Андрею Федоровичу, мужу Бабы-Капиной дочери, тети Нади. Это он предложил снять комнату на лето около его больницы, чтобы было близко рожать. Спасибо, спасибо ему. Завтра на поезд и опять в Ленинград. Послезавтра «Перикола». Мне играть Терапота.

Смерть Сони

Опять после спектакля не успел разгримироваться — телеграмма: «Соня очень больна приезжай Мама». Опять в поезд. С вокзала на вокзал. Снова перхушковская больница. Соня в той же кровати. Только рядом койка пустая. А лежала старушка. Вчера умерла. Соня говорит: «Вот и меня так же унесут». Просит, чтобы я пришел с Алешей и Наташей. Так девочку назвали.

На руках спеленатая Наташа, а за руку привел Алешу. Ему шесть лет. Он не понимает, что происходит. Соня на них глядит и смеется. Веселая.

На следующий день без сознания. Я пробую с ней заговорить. Не слышит. На ее покрытый капельками пота лоб села муха. Спокойно подняла руку и согнала муху. Почему же моего голоса не слышит?

Пошел в докторскую. Там злая, неприветливая сестра. Как будто нарочно громко говорит: «Сепсис сердечной сумки». Иначе говоря — заражение крови. Курит. Я не курю, но попросил папиросу.

На следующий день поехал в Москву в Наркомздрав. К Семашко. Он нарком, может, даст какое-нибудь лекарство. Наркомздрав в Рахмановском переулке. Старое большое здание. Сажу, жду приема. Лето. Солнце, счастливая веселая погода. А Соня умирает. Как все бессмысленно.

Семашко прописал какие-то уколы. Не помогли они.

Мы с Леночкой Крафт, маленькой дочкой врача, идем по шоссе. Она очень испугана всем происходящим и, наверное, хочет чем-то мне помочь. Вот и сказала: «Давайте немного пройдемся».

Невозможно. Невозможно понять. Вот шоссе. Вот переезд через железную дорогу. Поле. Васильки внутри пшеницы. За полем лес. И среди всего этого еще живет Соня. Она еще здесь. Здесь. Неужели все это скоро будет без нее? Все без Сони?

Ночью приснились мне две моих обезьянки. Живые. Показывали на меня руками и говорили: «Пусть он увидит, пусть он увидит».

Утром я пришел к Соне. Ее уже не было. Умерла. Лежала на кровати с закрытыми глазами. Руки выпростаны на одеяло. И не дышит. Умерла.

Вера, Сониная сестра, просит, чтобы было отпевание. Ну что ж, может, и Соне так хотелось бы, ведь она дочь дьячка и просвирни. Хоть ни разу со мной в церковь не ходила и не молилась, а все-таки, может, права Вера, пусть будет отпевание.

Соня лежит в гробу в маленькой мертвецкой. Деревянной избушке на коротких столбах, без фундамента. Пришел священник с дьяконом и дьячком, вошли в избушку, стали петь, кадить кадилом. А под полом погрызлись собаки. Громко лаяли, визжали.

В математике есть несоизмеримые величины, а в жизни человеческой часто, слишком часто возникают несоизмеримые явления. Бессмысленная панихида, отвратительная, нелепая грызня собак и единственная реальность — мертвая Соня. Очень страшно.

Кончилась панихида, я попросил всех уйти. Закрыл дверь. Хотелось побыть с Соней вдвоем, насмотреться на лицо, руки.

Папа стучит в дверь, чтобы я выходил. Бойтся за меня. А чего бояться? Я же ничего с собой не сделаю.

Гроб несем через большое поле на кладбище. Четыре человека держат под углы. На одном углу я. Синее небо. Поют наперебой два жаворонка. И все время над головой ласточка. Быстро-быстро пролетает и возвращается и опять над нами. Всю дорогу так.

Вера подошла и говорит: «Это Сониная душа тебя провожает». Я ни во что не верю. Ни в бога, ни в приметы. Ни во что. А ласточка все дует и летает,

Пришли на кладбище. Там уже вырыта могила и стоят два старика с лопатами. На веревках опустили гроб. Сказали, что я должен первый бросить в могилу землю. Я поднял кусок мокрой глины и бросил. Он стукнул о деревянную крышку, и тогда старики стали быстро кидать лопатами рыжую глинистую землю. Она сперва стучала о гроб, а потом перестала стучать. Яма заполнилась землей, и образовался холмик. Его обровняли и обхлопали лопатами.

Назад идем тем же пшеничным полем. Те же васильки в пшенице.

Тетя Надя устроила поминки, накрыла на стол. Я ее не виню. Хотела как лучше, как полагается, а мне это трудно. Зачем надо есть, если человек умер?

Досидел до конца и ушел по тому же шоссе, через переезд. Вот оно, то же самое поле, тот же дальний лес, и все это без Сони. Навсегда без Сони. Непонятно, зачем же тогда здесь я? Есть Алеша, есть маленькая Наталочка. Но зачем они, если нет Сони?

На кумысе

Моя мама, бабушка родившейся Наталочки, взяла ее в Москву и достает где-то женское молоко. Что же поделать, надо выращивать без матери. И матерью фактически становится бабушка.

Мне быть в той же комнате, где мы жили с Соней, трудно. Даже обои на стенах невозможно видеть. И шкаф и ширму у кровати. Все, все нужно куда-то деть и переселиться в другую комнату. Мама обещает мне все переставить и переделать.

А мне надо куда-нибудь уехать. Все равно куда. Возьму Алешу и уеду в Башкирию, где в какой-то деревне живет жена моего брата со своей матерью. Она там лечится.

Ксения Ивановна купила нам с Алешей билеты и пришла провожать. Сидит с нами в купе. Второй звонок, а она все сидит и не прощается. «Ксения Ивановна, вы же так не успеете выйти». «А я еду с вами, у меня тоже билет». Удивительный она человек, удивительный друг.

Живем мы с ней и с Алешей в крестьянской избе в одной комнате. Две кровати и посередине стол. Так могут жить муж с женой или любовники. А такие мысли даже в голову не приходят. Я курю, курю. Поверх одеяла положил Сонин полосатый шерстяной платок и говорю, что никогда никого не буду любить и никогда не смогу быть счастливым.

А Ксения Ивановна мудрым голосом объясняет мне, что это неправда, что я еще смогу кого-то полюбить и смогу быть счастливым. Только это не значит, что я забуду Соню. Изменю ее любви. Мое горе всегда будет со мной, даже тогда, когда я буду счастливым.

С тех пор прошло больше полувека. Давно умерла Ксения Ивановна, а я всегда вспоминаю ее слова, потому что они были правдой. Пророческой правдой.

Удивительный человек была Ксения Ивановна.

С легкой руки Менделевича

Конец двадцать восьмого года. Зима. Известный конференсье Александр Абрамович Менделевич рекомендовал меня для участия в программе мюзик-холла с 1 декабря на целый месяц. Выступать надо ежедневно в первом сборном отделении. Второе — целиком джаз Утесова. Я, конечно, боюсь. Зал огромный, куклы маленькие, и все-таки согласился. Уж очень заманчиво, да и почетно.

Волновался зря. Не знаю уж почему, может, потому, что куклы для взрослых на эстраде — это все-таки новость. В Москве никто еще такого не делал. В Ленинграде выступает с куклами Деммени, но он показывает танцы и чеховскую «Хирургию». Здорово показывает, но на меня не похоже. Так что мы с ним не конкурируем.

В общем, у меня успех. Без биса я не уйду, и в результате из Ленинграда приезжает какой-то дядька и заключает со мной баснословно выгодный договор на летние гастроли в концертной программе Сада отдыха. И не я эти условия ему поставил, а он сам предложил, я только ахнул и испугался, что приеду и со стыдом провалюсь, никак не оправдав такого гонорара. А когда приехал, ахнул еще сильнее. Едем мы с Наташей (женой моего брата и моей аккомпаниаторшей) с Московского вокзала (и сейчас он Московским называется) на извозчике, в ландо (это более удобная широкая извозчичья пролетка), едем в «Европейскую» гостиницу, мимо Сада отдыха (это сад летнего Аничкова дворца) и видим — от решетки сада через весь Невский натянута широкая лента и на ней аршинными буквами написано «ОБРАЗОВ».

Мало этого. На самой решетке прибиты вырезанные из фанеры огромные изображения моих кукол: старик с гитарой и старуха.

Что же будет, если все это не понравится? Освистают, и все тут. Беда.

Встретили меня зрители хорошо. Ну это, наверное, из-за рекламы. А проводили просто отлично. Бисировал и бисировал. Это уже не из-за рекламы. Значит, понравилось. Слава богу.

Номер в «Европейской» гостинице очень хороший. Окна смотрят на Филармонию. Внизу длинные «линкольны» с серебряными собаками на фюзеляжах и лихачи на дутиках.

Вечером пошли с Наташей в ресторан. Заказали рислинг, севрюгу, котлеты по-киевски и кофе гляссе. Плачу, конечно, за все я. И каждый вечер буду платить. Она тоже деньги за аккомпанемент получает, но я богаче.

На эстраде поет певица: «Ах, эти черные глаза меня пленили». У самой глаза голубые. Всем она улыбается, а никто ее не слушает. И мне стыдно. Она ведь такая же актриса, как и мы с Наташей, и числится работающей в том же ГОМЭЦе, что и мы (ГОМЭЦ — это Государственное объединение музыки, эстрады и цирка), только она в штате, а мы совместители.

Композитор Богословский называет таких певиц ГОМЭЦо-сопрано. Он совсем молодой. Ему, наверное, лет семнадцать, а может, и того меньше. Остроумный каламбур, только смеяться-то не над чем. Страшно вот так петь. На людях — в пустоту. Лучше уж чтоб она совсем не пела.

В общем, пора спать.

Четыре черта

Музыкальная студия явно повернула в сторону оперы. Жаль. Мне надо уходить. Какой же у меня тенор, коли я фа-диез с трудом беру, а уж о соль и мечтать нечего. Говорили, тембр красивый, так на одном тембре в опере далеко не уедешь.

Решено. Конечно, жалковато с товарищами расставаться. С Митей Камерницким, Семеном Рахмановым, Любой Орловой, Надей Кермарской, Володей Канделаки — это все настоящие друзья, ни с одним из них ни разу не поссорился.

Ну что ж поделаешь. Раз решил, значит, надо целоваться и уходить из родного театра.

Это все происходит в Пятигорске. Там театр заканчивает гастроли и возвращается в Москву, а я лечу в Ростов-на-Дону. Сговорился

целый месяц выступать с куклами на эстраде летнего сада на хороших условиях. Красной строкой.

Настоящего аэродрома нет. Так, лужайка. На лужайке самолет. На вид фанерный, с одним винтом. На волах привезли бензин. Залили в бак. Крутанули руками деревянный пропеллер. Он затрещал, завертелся. Я сижу в открытой кабине как птичка. Сзади чемодан с куклами.

Побежали, запрыгали по кочкам. Полетели. Здорово. Я в первый раз. Очень здорово! Внизу географическую карту показывают, живую, раскрашенную. Между облаками летим. Довольно сильно мотает и потряхивает, но ничего. Все равно интересно.

Прилетели. Побежали по полю. Остановились. Брат встретил.

Вечером концерт. Я последним номером. Красная строка, ничего не поделаешь. Пою «Минуточку» Вертинского, «С тобою мне побыть хотелось...» Гречанинова с двумя кошками, «Про дьяка» Корчмарева. Успех очень большой. Какие-то девчонки с бумажками просят автографы, да и взрослые тоже. Значит, началась моя новая жизнь. Я уже не артист театра — я эстражник.

Подошел какой-то мускулистый юноша, поздоровался. Я сказал ему свою фамилию — Образцов, а он, пожимая руку, ответил: «Четыре черта». Я не сразу понял, а потом додумался. Он акробат. Участник знаменитого циркового номера «Четыре черта», и мою фамилию он тоже воспринимает не как фамилию, а как известный эстрадный номер «Образцов». Ну что же, это профессиональное признание. Спасибо ему.

А впереди месяц ежедневных выступлений на садовой эстраде.

Опять в театре

Недолго я прожил без театра. Не выдержал. Эстрада — это сумма эгоцентриков. И винить ее в этом нельзя. Настоящий эстражник всегда единствен. Эстрадником можно стать, но нельзя выучиться быть эстрадником.

Такого, как Хенкин, нет и быть не может. Такой, как Русланова, нет. И нет второго Качалова. Эстрада не коллектив, а сумма единственных. Общих проблем у них в искусстве нет. Даже материальные проблемы, по существу, разные.

Эстрада — это очень интересно, это очень страстно, азартно, очень социально значимо, но очень трудно и одиноко.

Хочу в театр. Не получилось в Музыкальном — может, получится в драматическом.

Есть в Москве хороший драматический театр — МХАТ Второй. Бывшая Первая студия Художественного театра. В нем работает моя троюродная тетка Марья Александровна Дурасова, или просто Маня. Но Маня Маней, а и другие актеры там тоже очень хорошие, просто один к одному: Берсенева, Чебан, Готовцев, Бирман, Владимир Попов, Гиацинтова, Готовцев, Азарин. Жаль, что Михаил Чехов в Америку уехал. Невероятно талантливый был актер. Так, как он играл Хлестакова, никто не играл. Курносый, шепелявый нуль. Только страх мог увидеть в нем ревизора. Так ведь про это и написал Гоголь.

И спектакли во Втором МХАТе идут прекрасные. «Смерть Ивана Грозного» с Чебаном — Грозным и Берсеневиным — Годуновым. «Блоха» с Азаринным — Левшой и прозвучавший большим общественным событием «Чудак». Одним словом, очень хороший театр. Один из лучших в Москве. Пойду к Берсеневу.

Неожиданно Иван Николаевич даже обрадовался моему приходу, тут же предложил подать заявление, попросил, чтобы с сегодняшнего

дня меня на концертах объявляли артистом Второго МХАТа, и спросил, не хочу ли я дублировать Азарина в роли беспризорника Коти в спектакле «Светите, звезды». Ну вот, состоялось. Я опять актер театра. Надо бежать к Ксении Ивановне. Она в больнице.

Учитель

Уверен, что каждый человек, сколько бы ему ни было лет, должен иметь учителя. Раз бога нет, надо что-то выдумывать. На собственную совесть никакой надежды нет. Она вроде отдела технического контроля на заводе. Зачем придирчиво браковать продукцию, если сам в результате не получишь премию из-за не выполненного заводом плана.

Собственная совесть занимается только успокаиванием носителя этой совести: да ну не волнуйся, другие хуже поступают и то ничего. Вспомните, как совесть успокаивала Нехлюдова, когда он так мерзко поступил с Катюшей Масловой: «Не ты один, все так, все так».

Нет, на собственную совесть надежды мало, а вот если ты в чужую совесть веришь, это другое дело. Если ты знаешь человека (все равно кого — отца, друга или знакомого) с настоящей совестью, ты всегда можешь себя спросить: хотел бы ты, чтобы этот человек знал, что ты сделал? Если не хотел бы, значит, ты сделал плохо, значит, ты сделал гадость. И тут уж податься некуда. Исправляй, если можешь. Не можешь? Так и живи с пятном на совести. А если можешь сказать? Не боишься? Значит, все в порядке. Живи спокойно.

Вот так и стала Ксения Ивановна Котлубай для меня на всю жизнь учителем и в искусстве и в жизни. Значит, к ней мне и надо идти советоваться. Я ведь без ее спроса во Второй МХАТ поступил. Кстати, покажу ей шарики на голых руках.

Я придумал так показывать Маяковского «Отношение к барышне». Что она скажет? Да и вообще надо ее видеть. Страшно за нее. Она в больнице.

Пришел в больницу. Ксения Ивановна в отдельной палате. Очень, очень похудела. Глаза еще больше стали. Улыбается. Какая она замечательная. Только улыбается как-то будто издалека. Оттуда, от болезни своей. А я здоровый. И поэтому мы разные. Это очень трудно. Мне трудно.

А она легко смотрит. Выпростала из-под одеяла маленькие худые руки и положила на белую, какую-то неживую простыню. Какие у нее добрые, любящие, нежные глаза. Веселые. «Ну рассказывайте, Сергей, рассказывайте». Я достал из кармана деревянные шарики, надел их на указательные пальцы и без ширмы, прямо в воздухе разыграл стихотворение «Этот вечер решал. Не в любовники выйти ль нам. Темно. Никто не увидит нас. Я склонился действительно...»

Ксении Ивановне понравилось. Она сказала, что условность приема очень совпадает с Маяковским, что преображение рук и пальцев просто удивительно, что вообще это открытие. Я был счастлив.

А про то, что мне предстоит встреча с актерами МХАТа Второго на репетиции (вроде экзамена), одним словом, про то, что меня больше всего волнует, она сказала очень важные слова. Я их, конечно, могу сейчас только по смыслу передать. Я же не записывал.

«Когда начнете репетировать с партнерами, не смейте думать об экзамене. Пусть им покажется, что вы не обладаете ни мастерством, ни темпераментом. Репетируйте так, как вам самому необходимо. Осторожно, бережно к образу, к чувствам. Совсем выкиньте из головы, что кто-то может на репетиции составить о вас какое-то мнение. Думать об этом недостойно и мелко. Самое важное — это роль, будущий спектакль. Все остальное меньше, а значит, только повредит вам.

Да и на спектакле, если только будете думать, что он для вас экзамен, провалите роль».

Если бы не этот совет Ксении Ивановны, я бы, наверное, совсем по-другому репетировал и, может быть, не сумел бы сыграть моего Котю, но увидеть меня на сцене в этой роли она уже не могла. Ее уже не было в живых.

Я не знал тогда, что вижу ее в последний раз, но учителем моим она осталась навсегда.

С того светлого, с того страшного дня прошло больше полувека. Тогда мне было тридцать лет, а сейчас больше восьмидесяти. Но все равно ее меркой правды и в искусстве и в жизни я мерю свои поступки. Все равно.

Девять концертов

Страстная суббота. Во всех московских клубах, во всех концертных залах, во всех крупных учреждениях бесплатные для публики сборные концерты. Тут и оперные певцы, и жонглеры, и классический балет, и акробаты, и чтецы, и скетчи, и ансамбли, и фокусники. Денег эстрадные организации не жалеют, среди исполнителей и солисты оперы и звезды эстрады.

Цель — отвлечь людей от церкви, от всенощной, от заутрени. Цель антирелигиозная, но в репертуаре ничего антирелигиозного нет.

Концертов так много, что хороших знаменитых актеров не хватает, и поэтому у многих из них по несколько концертов. Ведь номер каждого длится три—пять минут для балетных или акробатов; восемь—десять, максимум пятнадцать — для певцов, скрипачей, пианистов, чтецов, фельетонистов.

Я актер театра, но я и эстражник. Признанный, так сказать, прожженный эстражник. Значит, я неизбежно сверхзанят в этот вечер.

Задолго, за неделю, за две, — телефонные звонки со всех концов, и задолго до страстной в моем календаре стоит на этот вечер запись концертов с адресами и временем выступления. Вот он сейчас передо мной, этот список: первых два выступления в семь и семь тридцать в Краснознаменном и Малом залах Дома Красной Армии, а последний — в час тридцать ночи в Доме печати; между ними — и Колонный зал, и клуб в Деловом дворе, и клуб Кухмистерова, и еще, и еще. В общем, девять точек. Как это все успеть?

Такси зафрахтовано. Миша. Замечательный помощник. Таскает мою ширму. Я плачу по счетчику и еще отдельно ему. Мы с ним друзья. Он раньше Хенкина возил, а теперь вот меня. Со мной, как всегда, моя пианистка, жена моего брата, — Наташа Александрова.

В Доме Красной Армии конференсье Гаркави. Большой, толстый, очень собою довольный. Объявляет актеров в обоих залах. Ему помогает какой-то неизвестный мне молодой человек. Это в том случае, если в двух залах одновременно надо объявить двух актеров.

В Краснознаменном уже играет молодой скрипач со смешной фамилией. Пугающая какая-то фамилия — Ойстрах. Давид Ойстрах. А играет хорошо. Чего он фамилию не переменит? Хотя, может, привыкнут. Ведь вот к Козловскому привыкли, а тоже не очень-то для тенора фамилия подходящая. Прямо-таки издевательская — Козел. А привыкли. Никто об этом и не думает. Вот еще виолончелистка Козолупова появилась. Да и дирижер Самосуд не очень-то удачно.

За Ойстрахом пойдет Качалов. Потом я.

Василий Иванович курит и, смеясь, рассказывает, чуть заикаясь (на сцене-то он не заикается): «Я в с-санатории «С-сосны» отдыхал. Красиво. Ели с-стоят, с-снегом опущенные. Вижу, м-мужичонка хворост в-везет. А дорожка узкая. Я хотел дать п-проехать, да оступися

и в-взмахнул палочкой. Лошаденка испугалась и в с-сторону, а м-мужичонка говорит: «Н-но, н-но, к-какого еще д-дерьма испугалась» — и п-поехал».

«Выступает Василий Иванович Качалов!»

Это голос Гаркави и грохот аплодисментов в зрительном зале.

Мильоны вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы.
 Попробуйте сразитесь с нами.
 Да, скифы мы, да, азиаты мы
 С раскосыми и жадными очами.

А это распевный голос Качалова. Зал затих как замороженный. Приехали Редель с Хрусталевым. Нюша и Миша. Танцевально-акробатическая пара. Мало того что танцуют замечательно, еще и красивы до невозможности. Разминаются. Уже успели где-то выступить. Вероятно, Гаркави их выпустит, разделив меня и Качалова.

Как бомба влетает Русланова со своим гармонистом Комлевым. Прямо к Гаркави. Большая, розовощекая, белозубая, в сером каракулевом пальто и русском платке. Не говорит, а хрипит одними согласными: «Нмгу пть, блт грло, ндо ехть к врчу». «Что вы, Лидия Андревна, тут половина зрителей из-за вас пришли, ну хоть две песни». «Хрщ, тлк две».

«Лидия Андреевна Русланова!» Зал раскололся от восторга. Зазвенели звоночки саратовской гармошки, и чистый, свежий, неповторимый руслановский голос понесся над зрительным залом:

Лодка тонет и не тонет,
 Потихонечку плывет.
 Мидый любит и не любит,
 Только времечко ведет.

«Сергей Владимирович, вас Гаркави объявил в Малом зале». — «Бегу».

Меня знают, встречают аплодисментами и веселыми улыбками.

Расставляю ширму. Наташа садится за рояль. Пою «Минуточку» Вертинского с обезьянками, «Я помню день...» Борисова (старик со старухой), «Мы только знакомы...» (с двумя болонками), «Про дьяка Корчмарева».

Ухожу со сцены, а меня уже ждет гаркавевский помощник: «Скорее в Краснознаменный, кончает Рина Зеленая, следующий вы». «Иду, иду».

Пою то же самое. Успех тот же. Жаловаться грех. Скорее в Дом союзов.

Приехал в Колонный зал Дома союзов. Хенкин обогнал меня на лестнице. Ему легко, он без ширмы. За ним бегут Ленская с Лентовским, тоже танцевально-акробатическая пара и тоже очень хорошая.

С Леночкой Ленской мы дружим. Удивительно славная и очень наивная женщина. Спросила Хенкина: «Володя, Тула — это Тверь?»

На сцене хриплым голосом кричит свой фельетон Смирнов-Сокольский. В черной бархатной блузе с белым бантом. Я не люблю его за самонадеянность, грубость, да и фельетоны его мне не все нравятся. А за другое уважаю. Деньги он получает большие и все тратит на книги. Недавно за огромные тысячи купил чуть ли не единственный сохранившийся экземпляр первого издания «Ябеда» Капниста. Не знаю, читает ли он книги, но понимает в них здорово. Нет цены его библиотеке.

Ведет концерт Менделевич. Встретил меня словами: «Знаем мы вашего брата». Он недавно познакомился с моим братом, придумал эту остроту и сам всегда над ней хохочет.

Но выступать мне нельзя. Разве дождешься? Уже ждут два очень смешных скетча — Рудин и Корф и Петкер с Межинским, — да опереточная Новикова, да красноармейский хор Александрова. Меня пустят только во втором отделении. Успею проехать в Деловой двор на Варварской площади. «Миша, берите ширму. Поехали».

Рядом с клубом церковь, а там идет служба. Огромные двери открыты, слышен хор: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Стучим в дверь клуба. «Кто там?» — «Образцов». Отворяют.

На Кубе, где под сводом лазурных небес
Всюду нега, покой,
Там прелестная дева, цветов королева,
Блестит красотой...

Это поет актриса Оперной студии Станиславского Горшунова. Значит, уже кончается выступление. Ее всегда просят на бис «Кубу» петь. Без «На Кубе...» она уйти не может.

После нее фокусник Дик Читашвили и потом я.

Стучат в дверь с улицы. «Кто?» — «Пустите». — «Кто?» — «Ага, в церковь загоняете». Пьяный. «Так и будем знать. В церковь загоняете». Ушел.

Опять стук. «Кто?» Снова мужской голос, трезвый: «Русланова, откройте». Это руслановский гармонист. «Лидия Андревна, пожалуйста». Опять шепотом одними согласными: «Нмгу пть, блт грл, еду к Фелдмну». «Лидия Андревна, что вы! Ну хоть две песни». «Хрщ, тлк две».

Конферансье Алексеев. Стройный, элегантный, в пенсне. «Товарищи, пропустите Лидию Андревну». Я молчу. Дик говорит: «Раз такое дело. Конечно, пусть идет». И опять звенят колокольчики гармошки, и опять над залом летит поразительный голос, такой ясный, такой чистый, такой русский. Ну нет второго такого.

Лодка тонет и не тонет,
Потихонечку плывет...

Иду после Дика и возвращаюсь в Колонный зал. Там антракт. И ни одного актера. Когда они успели выступить? Выступаю первым второго отделения. Не люблю это место в концерте. Непременно кто-то из публики протискивается на свое место будет, дожевывая бутерброд. Ну что поделаешь? Пою. Менделевич просит потянуть. Никто не приехал. После «Дьяка» показываю «Кошек» — «С тобою мне побыть хотелось» Гречанинова. Клапяюсь. Менделевич появился, шепчет: «Можете кончать, Михайлов приехал». Ухожу с эстрады, хотя еще кто-то кричит «бис».

Менделевич объявляет: «Максим Дормидонтович Михайлов!» Замечательный у Михайлова бас, и очень он хороший человек. Мы его зовем До-ре-ми-донтович.

Надо ехать к Кухмистерову, потом в клуб Каляева, потом еще куда-то.

На последний концерт в Дом печати опоздал. Должен был приехать в час тридцать, а приехал в третьем часу. Нет, не опоздал. Концерт еще идет. Поет Барсова, за ней пойдет Гольденвейзер, потом Русланова, потом я.

Русланова сидит спокойная. «Христос воскрес, Сергей Владимирович». — «Воистину воскрес, Лидия Андревна». — «Давайте поцелуемся». — «Давайте». Веселая. Уступила очередь Гольденвейзеру. Говорит, что никуда не спешит. Рассказывает, что купила на прошлой неделе в Ленинграде портрет какого-то молодого человека Брюллова. Замечательный портрет и недорогой, у старушки на чердаке лежал. Я говорю,

что Хенкин купил Репина, эскиз головы какого-то старика. «Фальшак». — «Почему фальшак? Говорят, знаток смотрел и подтвердил, что Репин». — «Все равно фальшак. Хенкину везет, он все время фальшаки покупает».

Вернулись домой в три часа утра. Ни одного концерта не сорвали. Девять штук. Шутка ли. Проголодались. Мама встала. Сварила кофе. На столе присланные из Николаева кутья, кулич и запеченный в соседней булочной окорок с корочкой теста. Очень вкусно.

Вынул из-за пазухи деньги. Их много. Ведь на каждом концерте платили. Отдал Наташе ее часть, папа смотрел, как я считаю, и явно огорчился. Не нравится это папе. Он никогда так деньги не зарабатывал. Прав он. Ну что поделаешь?

Надо ложиться спать. Завтра, вернее сегодня, в двенадцать часов дня утренник «Светите, звезды». Мне играть. Очередь-то Азарина, да он меня просил сыграть за него. К кому-то на дачу едет. «Мама, разбуди меня в десять».

Татарское нашествие

У моей мамы сестра. Тетя Лена. У нее на подбородке какие-то складочки. Вроде шрамов. Это оттого, что когда она была совсем маленькая, подошла к печке, хотела дрова щепкой подправить, и платье на ней загорелось. Сразу все вспыхнуло. Она во двор выскочила, стала в снегу кататься. Кучер ее армяком накрыл и погасил. Она потом долго лежала в больнице, и врачи говорили: «Молите бога, чтобы скорее умерла, потому что она от боли на крик кричит».

А она не умерла, а выздоровела, и поместили ее, так же как мою маму, в дворянский институт, только не в тот, что у Красных ворот, а в Екатерининский, это где сейчас Дом Советской Армии.

Поместить-то поместили, да ничего из учения не вышло. Не хотела она учиться и даже два раза из института убежала. Прямо в никуда. Куда глаза глядят. Ее, конечно, каждый раз находили и назад в институт приводили, а она опять убежала. В конце концов махнули на нее рукой. Не хочет учиться — пусть не учится.

А девочка она была хорошая. Очень добрая, очень веселая и ловкая. Бегала здорово, кувыркалась, на голове стояла. Выросла и стала детей учить веселой игровой гимнастике. С мячиком, со скакалкой. Профессия у нее такая получилась.

И познакомилась она (это уже когда девушкой стала) с таким же преподавателем игровой гимнастики. Звали его Абдула Ибрагимович Девишев. Татарин он. И жил в Москве на Большой Татарской в старом маленьком деревянном доме.

Познакомились они. И влюбились, конечно. Не мудрено. Оба гимнасты.

Влюбиться-то влюбились, а пожениться не могут. Из-за того, что религии у них разные. А брак должен заключаться в церкви, иначе он не считается.

Ну что тут делать? Надо кому-нибудь религию менять. Он не хочет. Говорит: меня все татары московские проклянут, если я в христианскую веру перейду. А тете Лене все равно. В магометанство так в магометанство. Ни в какого бога она не верит. Лишь бы этот самый Абдула мужем считался. Ведь у них уже двое детей народилось: чернотазый Алим и голубоглазая Тамара.

Только вот беда. По церковным законам тетю Лену могут хоть в католическую веру, хоть в лютеранскую перевести, но только в христианскую, а в магометанскую или там в буддийскую нельзя. Святейший синод не разрешает.

Ну что ты тут будешь делать? Ведь не расходиться же им, коли у них уже и дети есть. Беда. Выручила моя мама. Вспомнила она, что

девичья фамилия ее матери (это, значит, моей бабушки) Мансурова. Дворянская фамилия. Да не простая она дворянка, а столбовая. Это значит в столбовой дворянской книге вся ее родословная записана.

Мансурова. А Мансур-то имя татарское. Отправилась моя мама в какой-то дворянский архив и по столбовой книге дворян Мансуровых выяснила, что идет этот род от хана Золотой Орды Мансура, который триста лет назад перешел в православие.

А вот это совсем другое дело. По тем же законам святейшего синода, оказывается, хоть и через триста лет можно вернуться в свою веру.

И подала тетя Лена в этот самый святейший синод просьбу, чтобы разрешили ей вернуться в свою веру. В магометанство.

Но так сразу святейший синод дать на это согласие не мог, а назначил он священника, чтобы тот уговорил ее от Христа не отступаться... Священник был человек умный, понимал, что бог тут ни при чем, а семью надо как-никак узаконить, и сказал: «Приходи через две недели, напишу, что не уговорил, и отлучу тебя от церкви». И отлучил.

Теперь надо было вступить в магометанство и сдавать новый закон божий московскому мулле.

Сдала тетя Лена коран и из Елены Ивановны стала Лейла-ханым, получив от мุลлы маленькую бисерную татарскую шапочку.

На Большой Татарской была свадьба. Даже две. По татарскому обычаю: один день только для мужчин, другой день только для женщин. Приходить могли кто хочет. Лишь бы с подарками. Пусть хоть одну конфетку, но обязательно подарок.

Вот и устроилась тети Ленина семейная жизнь. Детей народилось порядочно: Алим, Тамара, Рустем, Исмаил, Софья и Мансур.

Тетя Лена прибегает иногда к нам поесть ветчинки. Татарам-то свинину есть нельзя. А иногда вся семья в гости приходит. Это у нас называется татарское нашествие.

Рубеж

Весна тридцать первого года. Утро, я иду по Тверской. Липы еще не распустились, и не потому, что им еще рано распускаться, а потому, что их нет. Не посадили еще липы. Их потом посадят и улицу потом расширят. И дома перевезут. А сейчас она еще сравнительно узкая и по ней ходит трамвай.

Иду мимо Глазной больницы. Она еще стоит фасадом на улице. Я даже и не подозреваю, что ее со всеми врачами и больными вывезут на середину улицы, развернут на девяносто градусов и увезут в собственный сад в Мамоновский переулочек (теперь он называется переулочек Садовских).

Но будет это потом, в невидимом будущем. А сейчас я заворачиваю за угол Глазной больницы и вхожу в здание, находящееся как раз против того самого сада, в который ее привезут.

Здание называется ЦДХВД. Центральный дом художественного воспитания детей. Кто-то в насмешку над деятельностью ученых-педологов расшифровал ЦДХВД как «целую, дети, Христос воскрес, дети».

На лестничной клетке висит большой плакат. В нем призыв не петь песню «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...», потому что она написана в ритме фокстрота. Потом эта песня станет гимном советской авиации, но это потом, а сейчас это «не наша песенка», бяка, так решили музыковеды-педологи. Нет, не зря их дразнят «целую, дети, Христос воскрес, дети».

В Центральном доме художественного воспитания детей много разных научных кабинетов, касающихся этого воспитания. И по музыке, и по изобразительному искусству, и по театру, и по игрушке.

Да кроме того, ему подчинен и находящийся в этом же здании Театр юного зрителя.

Так вот, помимо драматического детского театра дирекция Дома решила организовать еще и театр кукол и поручить мне руководство этим театром.

Обо всем этом мне рассказал девичий голос по телефону и просил прийти для переговоров к директору.

Шел я беззаботно, не очень-то уверенный, что из этого что-нибудь получится, и уж совсем не думал, что в это веселое весеннее утро решится судьба всей моей жизни и что этот девичий голос обернется женщиной, с которой я не расстанусь до самой ее смерти, что женщина эта станет заведующей литературной частью того самого театра, который все-таки, окажется, через несколько месяцев откроется в том самом здании, в которое я сейчас вхожу, что женщина эта выйдет замуж за актера того самого театра, который она сейчас пытается создать, родит детей, а дети — внуков, что станет она членом президиума, а я президентом Международной организации деятелей театра кукол УНИМА, и заседать мы будем то в Берлине, то в Вашингтоне, то в Париже, то в Лондоне... И что дружить мы будем с ней всю жизнь.

Но все это б у д е т, а пока...

— Здравствуйте, Сергей Владимирович. Меня зовут Ленора Густавовна, я заведующая театральным сектором. Фамилия моя Шпет.

— Здравствуйте, Леонора Густавовна.

— Не Леонора, а Ленора.

— Простите, здравствуйте, Ленора Густавовна...

— Сергей Владимирович, вы знаете, что мы хотим просить вас организовать при нашем Доме детский кукольный театр?

— Да, вы мне сказали об этом по телефону.

— Ну и что вы по этому поводу думаете?

— Не знаю. И соглашаться страшно и отказываться не хочется.

А где этот театр будет играть?

— Да по школам, по пионердомам и, конечно, в этом зале.

Мы стоим на балконе зрительного зала. Занавес закрыт. Внизу ряды театральных кресел. Неужели может наступить такой день, когда откроется вот этот занавес, на сцене будут играть куклы, а в зале сидеть, и смотреть, и смеяться, и радоваться дети?

И это будет спектакль, который я сам поставил?

Неужели так может быть?

— Не знаю, Ленора Густавовна, не знаю.

— Тогда пойдемте к директору.

— Пойдемте к директору.

Женился на Оле Шагановой

Второй МХАТ поехал на гастроли в Донбасс. Двумя группами. В обе группы включен спектакль «Чудак» Афиногенова. Мне предложили дублировать Попова в роли Волгина. Для этого нужна собака. Так поставлен спектакль. Я купил рыжего сеттера и назвал его Май. В другой группе Волгина замечательно играет Азарин, и там тоже собака и зовут ее Майк.

В репертуаре нашей группы «Хижина дяди Тома». Там по ходу пьесы тоже есть собака. Серая дожиха Муза. Она в спектакле со страшным лаем прыгает из окна в погоне за неграми. Роль у нее злодейская, а на самом деле она ласковая и добрая.

Хозяйка этой собаки — молодая актриса Шаганова. Красивая, может, потому, что бабушка у нее цыганка. В Москве она замечательно играет Дею в «Человеке, который смеется». Как ее зовут, не знаю, потому что только что поступил в театр.

Ездим из города в город. Живем когда в гостиницах, когда на частных квартирах. С Шагановой встречаюсь только на спектаклях.

И вдруг в Макеевке все куда-то расселились, а ни мне, ни Шагановой жить негде. Ни в гостиницу, ни в частные дома с собаками не пускают.

Вечер. Сидим на лавочке в каком-то сквере, говорим на разные темы, узнаем что-то друг о друге, а собаки веселятся. Друг за другом гоняются.

Приходит администратор и говорит: «Никуда я вас устроить не могу. Только вот, если хотите, в парикмахерской в цирке. Он сейчас не работает. Я там приказал пол вымыть. Ковер постелим. Вы, Ольга Александровна, в том отделении, где салфетки готовят, а Сергей Владимирович в том, где стригут. Вам придется через его комнату проходить».

Ну что же поделаешь. Где-то жить надо.

Когда с гастролей в Москву в поезде ехали, Шаганова заснула. Собаки на полу лежат. Языки высунули, а я смотрю на спящую женщину и думаю: неужели вот эта красавица — моя жена? Быть не может.

Может или не может, а с тех пор мы вот уже больше полувека вместе.

Медовый месяц

Я подписал контракт с Евпаторией на месяц. Выступать в сборной программе. Дали комнату мне с женой (она же мой аккомпаниатор) и моим девятилетним сыном Алешей. Это наш медовый месяц.

Приехали поздно вечером. Оля и Алеша устали и легли спать, а я вышел на общую веранду. Сидит какой-то длинный мужчина, спрашивает: «Ваша жена плавает?» Я отвечаю: «Не знаю, я с ней еще мало знаком». Мужчина запомнил этот ответ навсегда и дразнил меня этим «я с ней еще мало знаком» в течение многих лет. А оказался он Анатолием Мариенгофом, известным в свое время поэтом, другом Есенина, женатым на Анне Никритиной, ленинградской актрисе.

Подружились мы и с Толей и с Нюшей навсегда до самой его, а потом и ее смерти. Были они замечательной, всю жизнь влюбленной друг в друга парой и удивительно хорошими людьми.

В программе концерта был бас Большого театра Содомов. Хороший, очень хороший бас. Я кончал программу. Как-то он остался до конца посмотреть и послушать меня. Я спросил его: «Ну как?» Он сказал, немного заикаясь (когда пел, он не заикался): «В-вот к-колыбельная оч-чень понравилась, а Гречанинов с к-кошками совсем не понравился».

На следующее утро он увидел меня на пляже, стал махать мне полотенцем, подбежал и неожиданно сказал: «В-вот я вчера с-сказал, ч-что Гречанинов м-мне н-не понравился, а н-ночью до меня вдруг дошло. Я всю ж-жизнь пел этот романс как романтический, а он же действительно к-кошачий, сатирический».

Пришло время уезжать. Закончились гастролы. Надо везти Олю домой и, значит, говорить сыну, что она не аккомпаниатор, а жена. Страшно. Как-то он это воспримет...

Пошел с ним в глубь сада. Сели на лавочку под яблоню. «Алеша, я хочу жениться». — «На ком?» — «На тете Оле». — «А она согласится?» — «А ты бы был доволен?» — «Еще бы!..» — «Она согласилась».

Алеша вскочил и два раза перекувырнулся.

Порядок. Семейная регистрация произошла. Она куда важнее ЗАГСа.

Первый блин

Свершилось. 16 сентября тридцать первого года директором Центрального дома художественного воспитания детей Владимиром Давыдовичем Зельдовичем был подписан приказ о назначении меня художественным руководителем вновь открытого театра, и на двери одной из комнат Дома повисла синяя стеклянная дощечка с надписью «Госу-

дарственный центральный театр кукол», очень испугавшая меня своей, так сказать, нахальностью. Ведь весь театр в этой самой комнате и помещался. Это только потом в нем будет работать 350 человек и займет он четыре этажа огромного здания, а тогда весь штат вместе с директором, актерами и рабочими сцены — 12 человек.

Директор, он же и актер, опытный кукольник, уже немолодой и удивительно славный человек Сергей Сергеевич Шошин, собрал знакомых ему актеров, и среди них Евгения Сперанского, Екатерину Успенскую, Константина Ревазова.

Художник — совсем молодая девушка, лет, наверное, двадцати. Татьяна Александрова. Пианист — мой товарищ по реальному училищу, в будущем известный композитор Юрий Милютин.

Вот мы встретились все в нашем «театре», и я должен что-то сказать, а ничего толкового придумать не могу, кроме того, что, с моей точки зрения, куклы не должны играть то, что могут хорошо сыграть люди.

Это, в общем, правильно и не так уж глупо, но недостаточно определить, чего они не должны играть, важно определить, что они могут и должны играть, а никаких позитивных формул у меня в голове нет. Нет, и все тут.

Как же в таком случае репертуар строить? Раз «человеческие» пьесы не подходят! Где «нечеловеческие» искать? И по каким признакам? Несостоятельный я руководитель.

Выручил Сперанский. Принес пьесу. Безусловно, кукольная. Главный герой Петрушка. Актуальная. Называется «День рождения». Это у Петрушки день рождения. Ему ровно четырнадцать лет. А потом выясняется, что это четырнадцатилетие советской власти, о чем заявляют пионер и пионерка (они тоже куклы) и говорят, что нечего личными делами-делишками заниматься, а надо государственными, и призывают зрителей участвовать в соревновании.

Петрушка говорит раешными стихами, а пионер, пионерка и мужчина с женщиной говорят нормально. Еще есть грудной ребенок. Он говорит только «уа»...

Начали репетировать. Я из МХАТа. Надо это как-то использовать, Применить систему Станиславского. Зерно образа. Сквозное действие. Сверхзадача... Ничего не выходит. Чем дальше, тем хуже, тем глупее. Чем правдивее, тем фальшивее.

Плохая пьеса. Это потом Сперанский напишет нам замечательные пьесы: «Король-олень» по Гоцци, «Ночь перед рождеством» по Гоголю, «Под шорох твоих ресниц». Это потом он станет настоящим крупным драматургом, а этот «День рождения» — плохая пьеса. А я плохой режиссер. Очень плохой. Это потом я научусь отличать хорошие пьесы от плохих, научусь работать с актерами. Все это будет потом, а сейчас «день рождения» Петрушки, а значит, и день рождения театра придется отложить. Не знаю, сейчас не знаю, на сколько — на время или навсегда. Не знаю.

Обманули

Всей семьей мы живем на Бахметьевской. Папа, мама, мой брат с женой и сыном, я с женой, двое детей и няня. Захватили даже папин кабинет. Он не протестует. А все-таки это не дело. Так нельзя. Надо доставать свое жилье.

Все лето в Ленинграде на открытых площадках выступал. Накопил денег и дал объявление в газету — куплю пай в жилищном кооперативе.

Позвонили из МОСПС (Московский союз потребительских союзов). Там, оказывается, есть жилищное строительство. Пришел приятный курчавый молодой человек. Сказал, что дом на Каляевской уже закан-

чивается строительством, если я хочу получить трехкомнатную квартиру, то нужно принести уполномоченному по постройке в МОСПС паспорт, справку из домоуправления о составе семьи и две с половиной тысячи. Когда приду, спросить в сто двенадцатой комнате Бузикова. Это фамилия пришедшего.

Я все приготовил и на следующий день пошел в МОСПС. Это, оказывается, на Мясницкой, в здании бывшего реального училища Воскресенского, в котором я учился. Я все коридоры там знаю.

Пришел. Разыскал Бузикова. Вернее, он сам меня нашел и повел к уполномоченному по постройке.

Он сидел в глубине комнаты за столом и говорил с кем-то по телефону. Бузиков попросил меня подождать и подошел к уполномоченному. Он положил трубку и вышел ко мне. Мы сели с ним в коридоре на стулья. Он проверил документы, взял паспорт и пошел в плановую часть. Я остался за дверью, а он вошел и довольно скоро вышел. Сказал, что надо не две с половиной тысячи, а две тысячи четыреста. Пересчитал мои деньги. Вернул сто рублей и еще десять. Оказывается, у меня в одной стопке было одиннадцать десятков.

Отправился в кассу. Вернее, в бухгалтерию. Уполномоченный просит меня подождать в коридоре. Бухгалтерия как раз в той комнате, где был четвертый «б» класс, в котором я учился.

Жду, хожу по коридору. Он заворачивает по перпендикуляру туда, где была учительская. Хожу от бывшего четвертого «б» до учительской и от учительской к четвертому «б». Что-то не идет мой уполномоченный.

Вхожу в четвертый «б», то есть в бухгалтерию. Говорю: «Тут ваш товарищ вносил деньги за квартиру».

«Никто не вносил деньги. У нас нет жилищного строительства». Странно. Бегу в плановый отдел. Вхожу, а это тамбур, где можно постоять-постоять да и выйти. Подозрения у меня уже накапливаются.

Бегу в комнату, где уполномоченный по постройке по телефону за столом в центре комнаты говорил, а вокруг сидели разные слушающие.

Прибежал. За столом никого нет. «Где товарищ, который за столом сидит?»—«А тут никто не сидит, это общий телефон». Ну ладно, спрошу в комнате номер сто двенадцать. Вхожу. Спрашиваю: «Где товарищ Бузиков?» «Кто-кто?»—«Бузиков».—«У нас нет таких».

Все ясно. Надо заявлять в милицию. Она где-то тут же на Мясницкой.

Пришел. Рассказал. Они заинтересовались: «Чьи были деньги?» Не симулирую ли я ограбление казенных денег. Когда я сказал, что деньги совсем не казенные, а мои собственные, начальник милиции потерял ко мне всякий интерес.

На следующий день пошел в уголовный розыск. Начальник товарищ Вульф. Очень весело встретил и дал рассматривать множество альбомов с портретами преступников в фас и в профиль.

Смотрю. Лица все довольно приличные. Никак на жуликов не похожи. Да это и понятно, с преступным лицом аферистом быть невозможно.

Вспомнил, как у Тургенева написано: «Вошел молодой человек с благородным лицом шулера».

Вот и тут так же. Все разные, конечно, но преступность на лице не написана.

«Может, этот?» — «Что вы! Это домушник». — «А этот?» — «Это медвежатник, профессия редкая, по вскрытию сейфов специалист». — «А этот?» — «Это кукольник». — «Как кукольник?» — «Очень просто. Он вместо пачки денег куклу делает. Сверху ассигнации, снизу ассигнации, а в середине бумажки. Кукла».

Последние альбомы. Никого не ища, просто перелистываю. Все равно найти невозможно.

Через месяц звонок из уголовного розыска: «Вы паспорт потеряли?» «Не терял, а отдал». «Приходите завтра к десяти».

Пришел. Сидят три следователя. «Расскажите, как было». Рассказал. «Введите уполномоченного по постройке». Ввели человека в кепке. Следователи с ним на ты и он с ними на ты. Только я, как дурак, всем вы говорю.

«Ты кого-нибудь тут знаешь?» — «Никого не знаю». — «Сергей Владимирович, это он?» — «Да, будто, он, только он тогда был без кепки и в очках». — «Сними кепку. На очки. Надень. Ну что? Он?» — «Не знаю». — «А ты мне где деньги давал?» — «В МОСПС». — «В МОСПС я деньги брал. А ты когда давал?» — «Десятого августа». — «В августе я еще с Ванькой не работал, в августе я еще служил». «Ну, может, по выходным?» — это следователь спрашивает. «Чего ты глупости говоришь, по выходным все учреждения закрыты». — «Уведите его. Приведите из тринадцатой камеры Бузиков, он же Образцов». — «Как Образцов?» — «А он по вашему паспорту сидит».

Привели. Он. Только тогда он был сосредоточенный и серьезный, а сейчас какой-то раскрепощенный. Явно никого не играет.

«Ты кого-нибудь здесь знаешь?» — «Никого не знаю». — «Ну как же так не знаете? Вы у меня дома были, я вас папиросами угощал». — «Эх, Сергей Владимирович, Сергей Владимирович! Это, конечно, когда меня уже взяли да вам показывают. Так вы узнали. А сколько раз мы в трамвае встречались. Смотрю, нет, не узнает меня товарищ Образцов». — «Знаете что? Вы очень хороший актер. Играете прямо-таки по Станиславскому. Ни разу себя не выдали. Когда отсидите срок, приходите к нам в театр. Мы вас примем». — «Да нет, товарищ Образцов, в мои годы менять профессию уже поздно».

А деньги? Денег, конечно, ни у того, ни у другого уже нет. Пришел домой. Жена говорит: «Бог с ними, с деньгами. Хорошо хоть не убили».

А убить они не могли. Это другая профессия.

Роды

17 апреля тридцать второго года, ровно через год после того как мы с Ленорой Густавовной стояли на балконе зрительного зала Театра юного зрителя и я, смотря на закрытый занавес, на пустые кресла партера, думал о том, что неужели когда-нибудь в этом зале будет играть поставленный мною спектакль, — через год, ровно через год это произошло.

Как чудо. Как сбывшийся сон. Я стоял на том же самом балконе, только один, без Леноры Густавовны. Подо мной был тот же самый партер, только не пустой, а весь до отказа набитый свершшумными (прямо-таки как галчата) детьми. Вертятся, хохочут, едят конфеты, переговариваются... Разные. В основном школьники первого, второго классов. А есть и маленькие с мамами. И девочки и мальчики. И стриженные, и с косами, и лохматые, и с бантами, и белобрысые, и рыжие, и черные, и даже два негритенка. Прозвенел звонок, и еще один, и третий, и началась музыка. Хорошая музыка. Это молодой композитор Кочетов написал. Медленно пошел занавес. Начался спектакль. Премьера «Джим и Доллар» Андрея Глобы. Моя постановка. Первая в моей жизни постановка.

Господи, что же будет? Затихли ребята. Что же будет?

Вышло. Замечательно вышло. Все вышло. Ребята и смеялись там, где надо. И слезы кулаками вытирали там, где надо. Одна рыжеволосая девочка косу все время то расплетала, то заплетала, а белобрысый мальчишка то и дело вскакивал и оборачивался к другому мальчишке, который сидел сзади него, проверяя, как он там смот-

рит... Другой мальчик, тоже вроде меня белобрысый, смешно, как солдатик, подымался, и большая девочка-соседка, наверное сестра, очень делово его рукой осаживала.

А то вдруг зал замирал, и становилось так тихо, будто в зале никого нет. Такая тишина дорогого стоит.

Самое удивительное, что не только зрителям, но и мне все нравится. Ну буквально все. И как ловко меняется место действия. Никакого занавеса нет. Только щиты передвигаются. Это мы с художницей Александровой так придумали, чтоб в любом зале можно было показывать. Молодец, Татьяна Борисовна!

Замечательно играет негритенка Джима Сперанский. Трогательно, искренно, одновременно и по-кукольному, без «психологизмов», и по Станиславскому — все по правде. Всею верю. А Михайлов просто удивительно играет Доллара. Доллар — это собака, друг Джима. Слов нет. Только лаять может, подвывать, когда тоскливо, подвизгивать, когда весело. Подымать настороженно уши. Вот и все. Что значит все? Оказывается, это очень много. Дети и смеются, и радуются, и плачут вместе с Джимом.

Ну вот и состоялись роды. Родился театр, и я родился как режиссер. Мог бы и не родиться. Ведь режиссер и актер — это совсем разные профессии.

Была очень хорошая пресса, были хорошие гастролы. Пятьсот раз сыграли мы «Джима и Доллара».

«Поросенок...»

В тридцать третьем году мы поставили спектакль Сперанского с этим названием. Все в нем было ново, и все интересно, и все неожиданно. Рожден он был, во-первых, вынужденными обстоятельствами, во-вторых, велением времени, в-третьих, талантом Сперанского, в-четвертых, постановочными выдумками и, наконец, ошибкой наборщика. Начну по порядку.

Вынужденные обстоятельства — отсутствие стационара, то есть постоянной сцены, и, значит, необходимость очень портативных декораций и легкости перестановок картин, — эти обстоятельства заставляли изощряться. И в каждом спектакле именно из-за этого мы придумывали много остроумного в чисто конструктивных, а значит, и художественных решениях.

Веление времени: смена бытовой морали, уход мещанства, а значит, остатки всяческого мещанства — вот это и решил высмеять Сперанский, найдя удивительно остроумный прием. На сцене стоял фасад дома в три этажа, с четырьмя квартирами, чердаком, крышей и забором перед домом. Забор в рост человека. Это уже ширма, за которой как бы по тротуару могут ходить куклы — жители дома. В заборе калитка. В масштабе человека. Человек этот — дворник этого дома. Он же ведущий. Дворник рассказывает про жильцов. Он, как всякий дворник, все про них знает. А потом он снимает стенки квартир, и мы видим все, что в каждой происходит.

Несмотря на то, что дворник — человек, а жильцы — куклы, они разговаривают друг с другом, и это получается так же остро и так же интересно, как получалось, когда Петрушка всерьез разговаривал с человеком-шарманщиком.

Обыгрывались куклами не только все этажи, но и чердак, откуда вылезала кошка, и крыша, куда прилетала ворона. Это была, так сказать, картина по вертикали. Очень живая и убедительная картина. Но самое удивительное произошло чуть ли не накануне премьеры. Называлась пьеса «Поросенок Ваня». Принесли из типографии полный комплект свежееотпечатанных афиш для расклейки по городу. Тысяча штук. Мы стали читать и ахнули. Наборщик не разобрал текст и напечатал «Поросенок в ванне». Ну что делать? Кто за это должен расплачиваться? Директор? Наборщик? Ни у одного **никакой**

зарплаты не хватит. Стали просить Сперанского: «Евгений Вениаминович, напишите, пожалуйста, еще сцену. Будто этого поросенка в ванне держат. Это даже на тему. Неопрятные у поросенка хозяева». Сперанский написал. Очень хороший получился эпизод, и хрюкал поросенок замечательно.

«Двенадцатая ночь»

Иван Николаевич Берсенев ставит «Двенадцатую ночь» Шекспира. Готовцев играет сэра Тоби, замечательно репетирует Азарий Михайлович Азарин Мальволио, но мне немножко мешает то, что я видел в этой роли Чехова и память о нем еще жива, а восторгаться у Азарина есть чему. Дурасова Мария Александровна, для меня просто Маня Дурасова, удивительна. Ведь немолодая уже, а стройна, подвижна, ну девушка, и все тут. И Гиацинтова как чудо. Я ведь хорошо помню сверхзаразительный смех ее Марии. Ну невозможно было самому не засмеяться. Сколько лет с тех пор прошло, а смех такой же молодой, такой же заразительный.

И, конечно, самое для меня удивительное это то, что я когда-то на них еще щенком из зрительного зала смотрел, а теперь буду на равных с ними на сцене играть. Мне Берсенев предложил роль шута.

Художник спектакля Владимир Андреевич Фаворский — мой учитель графики. Не понимаю, как он догадался сделать такие декорации, но они просто великолепны. По кругу стоят арки с тонкими колоннами. Завешены материей в складках. Шелковистой материей, на которой написаны архитектурные пейзажи. Дома, улицы по сравнению с нами, актерами, гораздо меньшего масштаба. От этого мы кажемся большими. С одной стороны, мы как бы среди домов, а с другой — эти занавески можно сдвигать, раздвигать, откидывать. Очень получается удобно и очень выразительно.

Шут. А чем шутовать? Эти классические шуты, как правило, не очень-то смешные. Думаю, что при Шекспире они импровизировали на какие-то современные темы, а тут что я буду делать? Остричь по поводу метро? Турандот получится. Просто глупо. Надо к чему-то придаться. Пошел к Фаворскому. «Владимир Андреевич, дайте моему шуту в руки что-нибудь узнаваемое, но такое, чтобы и для Шекспира и для нашего времени одинаково узнаваемо было». Он говорит: «Вот при Шекспире когда в шутов посвящали, то зашивали их в телячью шкуру. Возьмите шкуру тельенка, куда уж узнаваемее-то». Достали мне шкуру тельенка. Стал я с ней репетировать. Сразу роль пошла. Если сложить шкуру вдвое, четыре ноги повисают. На тельенка можно верхом сесть и скакать. Когда мы с сэром Тоби и с Эгчиком в кабачке пьем из больших кружек, я тельенка пою, и он напивается допьяна. Даже шатается. Целоваться с ним можно. Вообще шутовать как угодно. А спать захочешь — расстели его, как ковер, и спи на здоровье.

Конечно, не только на тельенке роль выстроилась, но помог он мне здорово. Спасибо Фаворскому.

Зайцев

Как только был организован наш театр, я пошел по знакомому мне адресу и предложил Ивану Афиногеновичу Зайцеву и Анне Дмитриевне Тригановой присоединиться к труппе нашего театра. Именно присоединиться, а не слиться с нами.

Играть роли внутри наших спектаклей они, во-первых, не смогли бы, а во-вторых, это было бы просто расточительство.

То, что они играли и как играли, прекрасно именно потому, что органично в своей традиционности. Никакими другими куклами не мог бы играть Иван Афиногенович, кроме тех, которых в унаследованных им традициях он сам вырезал из дерева, а Анна Дмитриев-

на, опять-таки в тех же традициях, сшила одежду и украсила стеклярусом.

И никакого другого текста не мог бы произносить Иван Афиногенович, кроме того канонического, который он знал с детства.

Чем дальше я знакомился с Зайцевым, тем больше росло мое к нему уважение. Рядом с ним я сам себе казался любителем, а он — настоящим профессионалом в своей удивительной, на глазах уходящей от нас профессии.

От застенчивости и скромности он мало про себя рассказывал, и все-таки постепенно перед нами раскрывалась вся его жизнь.

Был он сыном циркового наездника. Дебютировал в цирке Гинне на Воздвиженке, когда ему было семь лет. Плясал под гармошку камаринскую. Понравился. Публика кидала ему апельсины и деньги.

Потом был клишником и каучуковым мальчиком — не поймешь, где руки, где ноги.

Три года выступал у Гинне, потом перешел в акробатический балаган Тарвита, потом... потом... невозможно все пересказать.

Был он, например, шпагоглотателем. Заглатывал одновременно толстую двенадцативершковую шпагу и шесть тонких шпаг, да еще сверху клали пудовый чугунный шар.

Однажды эфес шпаги сломался, и шпага опустилась в пищевод. Хозяева цирка испугались. Усадили Зайцева на извозчика и с Девичьего поля повезли в Первую градскую больницу.

От тряски по булыжной мостовой шпага опускалась все ниже и ниже. Привезли, подвесили за ноги и стали поколачивать по груди и животу. (Все это Зайцев очень весело рассказывал.) Наконец шпага вышла, и «крови вылилось стаканов пять».

Ну, сделали новую шпагу, и Зайцев продолжал ее заглатывать.

Был он еще «диким человеком с острова Цейлона». Сидел в клетке весь вымазанный йодом, в набедренной повязке из перьев. Вращал глазами. Рычал. Перегрызал горло живой курице (вечером из нее варили суп) и молился на луну. Абсолютную абракадабру молитвы он помнил наизусть и нам ее говорил, никогда не ошибаясь. Относился он к этому серьезно, как к роли, а не как к надувательству.

Зайцев играл на гармошке, на балалайке. Замечательно показывал фокусы, наизусть знал сценарии балаганных пантомим «Взятие Плевны», «Сдача Османа-паши» и тексты механических театров «Въезд шаха персидского», «Похороны папы римского» и «Русско-турецкая война на суше и на море». Он знал еще народную пьесу «Путешествие купца Сидорыча в рай и ад», по сюжету очень похожую на гётевского «Фауста». Известно ведь, что Гёте взял «Фауста» у кукол. Они его играли еще в XIV веке.

В своих выступлениях как артист нашего театра Зайцев показывал фокусы, чревоouchание с двумя куклами на коленях (эти куклы у профессионалов-балаганщиков назывались Андрюшки), верховых кукол (каких мы называем Петрушками, или куклами на пальцах) и, наконец, вместе с Тригановой — цирковое представление куклами на нитках (акробаты, фокусники, жонглеры, танцоры).

Представление Зайцева длилось часа полтора и пользовалось у ребят огромным успехом.

Иван Афиногенович был удивительно цельным человеком во всем — и как профессиональный кукольник и как личность.

Я не встречал ни одного человека, до такой степени слитного в своей цельности, до такой степени заверщенного, будто его кто-то сделал. Во всем, во всем. Был он старообрядцем. Верующим старообрядцем и, следовательно, не пил и не курил.

В чем-то он себя считал грешным. В чем, не знаю, так как уверен в его абсолютной безгрешности. Чтобы искупить свой грех, он ежедневно крестился пудовой гирей, и это ежедневное крестное зна-

мение превратилось в ежедневную гимнастику. И если бы я захотел с ним побороться, то из этого, кроме конфуза для меня, ничего бы не вышло. Хоть ему было семьдесят, а мне тридцать и был я не слабый, но через минуту лежал бы на обеих лопатках.

Как мне кажется, понял я и почему Иван Афиногенович называл свою жену всегда не Аня и не Ньюша, а Анна Дмитривна. Всегда по имени-отчеству. Оказывается, где-то в деревне у него была законная жена и взрослые дети, с которыми он не виделся много лет. Цирковая балаганная жизнь свела его с такой же балаганной актрисой Анной Дмитривной Тригановой, с которой они жили долгие годы.

Может быть, это он и считал своим грехом и ежедневно замаливал тяжелым крестным знаменем? Может быть, но я редко встречал более дружную, более благородную, более чистую семейную пару. Не прощения надо за это просить у господ, а благодарить его ежедневно.

Наш театр обратился к правительству с просьбой присвоить Ивану Афиногеновичу звание заслуженного артиста республики.

Было это в тридцать третьем году, во второй год жизни театра. Тогда в стране уже были известные кукольники. И Евгений Деммени в Ленинграде и Нина Симанович-Ефимова в Москве, но никто из кукольников почетных званий не имел, а уж я-то и думать об этом не мог.

И вот первым из всех кукольников заслуженным артистом республики стал Иван Афиногенович Зайцев. Это прекрасно. Это просто чудо. Подумать только! Шарманщиков и петрушечников в царское время не пускали в городские дворы. Рядом с надписью «Свободен от постоя» висели таблички: «Вход мусорщикам, татарам и шарманщикам запрещается». Кукольник и шарманщик — это были профессии, равные профессии нищего.

В книге, регистрирующей похороненных на одном из кладбищ Чехословакии, есть запись: «Матей Копецкий — нищий», а сейчас Матей Копецкого знают, чтут и любят не только кукольники Чехословакии, но и кукольники всей Европы. Вот так и Зайцев умер бы нищим, кабы не Октябрьская революция. Кукольник — заслуженный артист, равный заслуженным артистам драмы, балета, оперы. Разве не чудо?

Для Зайцева «заслуженный» звучало особенно точно. Он заслужил это всей своей благородной жизнью, всем своим невероятным трудом, всеми сотнями верст, которые он исходил по улицам и переулкам городов и проселочным дорогам, неся отточенное, великолепное искусство народу, и прежде всего рабочим и крестьянам, во дворах, на площадях и ярмарках.

Узнал о получении звания Иван Афиногенович, уже лежа в больнице, где и умер. Его шарманка, его куклы у нас в музее. Там же портрет, написанный Ниной Симанович-Ефимовой. Вы все это можете увидеть, если придете к нам в театр.

Слава и вечная память Ивану Афиногеновичу Зайцеву!

Эстафета находок

Как-то ходил со мной Владимир Иванович Немирович-Данченко по коридору вокруг зрительного зала и говорил: «Не думайте, Сергей Владимирович, что у нас все спектакли, которые мы за четверть века поставили, хорошие были. Может, только процентов сорок хорошие. Остальные не удались. А публика только хорошие помнит. Хорошие нашу славу создали, а плохие, или, вернее, неудавшиеся, просто забыты».

Я всегда вспоминаю то, что мне тогда сказал Владимир Иванович, да и вообще все, что он говорил, всегда помню.

Мудрый он был человек, по-настоящему взрослый.

Себя с ним сравнивать не собираюсь, а вспомнил сейчас о нем потому, что и в нашем театре и в моей работе очень много было неудачных спектаклей, но целиком списывать их со счетов нельзя.

Несправедливо это будет. Потому что внутри неудачных спектаклей бывало много находок. Неожиданных находок, которые потом в других спектаклях пригодились.

Вот в тридцать третьем году поставили мы, в общем, не очень-то удачный, хоть и эффектный спектакль «Братья Монгольфье». Громоздкий, тяжелый, псевдоисторический. Не сказка, не правда. И прошел-то он всего сорок семь раз. Но был там один замечательный момент.

Скакали эти самые братья Монгольфье на лошадях. Лихо скакали. Долго. Ну как можно долго скакать в кукольном театре? Пространство-то маленькое. А они скакали.

Знаете как? Сзади них дерево вертелось в обратную сторону. Только одно дерево. А эффект был просто поразительный. И лошадей и дерево Николай Федорович Солнцев придумал.

Ну так вот. Не будь этих самых лошадей, не выдумали бы мы с Ревазовым декораций к пьесе Матвеева «Пузан», которую готовили в том же году.

Там по сюжету медведь, сбежавший из цирка, по городу ходит. На этом весь сюжет построен.

Мы сделали ширму круглой. Посредине поставили стержень, а на него, так сказать, «повесили» весь город. Он из трех ящиков-домов состоял.

Медведь переваливается с ноги на ногу на одном месте, а город мимо него проходит. Сзади крутится. Как то дерево. Только медленно. То магазин, то сад, то церковь.

Да еще сделали так, что эти ящики трансформироваться могли. Мало этого, решили добиться того, чтобы все куклы были как бы одноусловны. Это очень, очень важно. Сделали все головы из деревянных шариков, а носы, да усы, да рты, да уши разные. Очень здорово получилось.

Спектакль этот я вспоминаю без особой радости. Средний спектакль, а то, что мы впервые круглую ширму сделали и впервые единородность кукол утвердили, вспоминаю с великою благодарностью этому спектаклю.

И все это оказалось предельно нужным в спектакле, который был поставлен в тридцать шестом году, — «По щучьему велению». Там мужик Емеля и на русской печке ездит, во дворец спешит царевну Несмеяну смешить и в лес по дрова его сани без лошади везут. Там все время движение.

И придумали мы, чтобы сама ширма, вернее, обод на этой ширме вертелся, а на нем можно деревья крепить.

В центре поставили солнце. Оно двумя золотыми руками голубое небо держит, а если повернется, то теми же руками держит кулич. Выезжают золотые троны, и получают палаты царские.

Все это мы с художницей Верой Тереховой придумали, а Вадим Кочетов написал замечательную музыку.

С тех пор прошло более сорока лет, а я и сейчас считаю «По щучьему велению» лучшим спектаклем нашего театра. Так он ясен, весел и прост. А эстафету движения получил он от «Братьев Монгольфье» и «Пузана».

Когда исполнилось нашей «Щуке» тридцать лет, я вышел на просцениум и спросил: «Есть ли тут среди зрителей такие мамы, которые сами в детстве этот спектакль видели, а сейчас своих детей привели?» Семь мам встали и подняли руки, а их дети на них с удивлением глядели.

Я был счастлив. Значит, скольким же детям за тридцать-то лет этот спектакль в сердце вошел! Расшевелил в них доброе. Ведь спектакль-то добрый, очень добрый. А искусство — вещь сильная, сильнее, чем мы думаем.

«Мольба о жизни»

Откуда-то пошли слухи, что Второму МХАТу предлагают переехать в помещение кинотеатра «Колизей», для того чтобы в помещении МХАТа Второго открылся Центральный детский театр, и что будто бы «старики» — это, значит, Берсенев, Чабан, Бирман, Гиацинтова, Дурасова — отказались переезжать в «Колизей».

Слухи замерли, да они были настолько нелепы и неожиданны, что то, что они рассосались, было вполне естественно.

Но через некоторое время пошли слухи еще более нелепые: будто Второму МХАТу предложено переехать то ли в Ростов-на-Дону, то ли в Харьков. И будто бы «старики» от этого тоже отказались.

Да и опять, естественно, с чего бы это ни с того ни с сего всему театру со всеми чадами и домочадцами уезжать в Харьков. И добро бы еще театр плохой, а то спектакли идут с аншлагами один лучше другого. При чем же тут Харьков? Слухи опять вроде рассосались, и поехали мы на гастроли в Ленинград.

И возвращаясь, в поезде по радио слышим, а потом в газете читаем, что «так называемый МХАТ Второй» закрывается, а актеры его труппы распределяются по разным московским театрам для укрепления их актерского состава.

Играем последний спектакль. Это Девала «Мольба о жизни». Я занят только в самой последней картине. Я врач, профессор-консультант, на консилиуме определивший неизбежную смерть героини, которую играет Гиацинтова. Я констатирую это профессиональным понятием «летальный исход», запивая эти слова чашечкой кофе и заедаю явно вкусным печеньем.

Это последняя роль в моей жизни и, как мне кажется, больше всех мне удавшаяся.

Занавес закрывается и на аплодисменты не открывается. Берсенев запретил. Зритель прямо неистовствует, кричит: «Занавес, занавес, занавес!»

Вернулись в свои уборные. Молча разгримировались. Я разгримировался навсегда.

По дворам

Не все московские ребята уезжают из Москвы с папами и мамами на дачи. Совсем не все. И не все московские ребята уезжают в пионерлагеря, а те, кто уезжает, так не на все лето, а на месяц. Значит, остальные три, три с половиной они где? В городе. Во дворе. На улице. Ну некоторые, конечно, на стадионе, на спортивных площадках. Только это уж совсем небольшой процент.

И вот двум райисполкомам — Сокольническому и Бауманскому — пришла в голову замечательная идея нанять наш театр (нанять — в смысле оплачивать труд) для того, чтобы мы показывали наши спектакли во дворах этих районов.

Нам это очень понравилось. И не потому, что театру за это деньги будут платить (мы бы все равно их могли получать, поехав на гастроли), а потому, что сама идея очень интересна. Так сказать, по следам старого Петрушки.

Нам дали грузовик. Мы соорудили на нем фургон, раскрасили его и сделали две сцены для игры кукол.

Если открыть боковую стенку, получается сцена для кукол на **нитках**.

Если открыть двери задней стенки и опустить раму с прибитой к ней материей, то получается кукольная ширма и актеры, стоя на земле, могут играть куклами на пальцах, теми куклами, которых обычно называют петрушками, а мы называем перчаточными.

Напечатали веселый плакат: «Едем, едем к вам во двор! Будем! Ждите!» — и пустое место на нем оставили, чтобы можно было написать месяц, число и время.

Плакат этот наш администратор или наш педагог заранее приносил во двор, в который мы собирались приехать, договаривался с домоуправом или домовым комитетом о времени и наклеивал этот плакат на забор, на ворота или на стену дома. В общем, туда, где виднее.

Приезжаем. Как правило, «зрительный зал» в полном порядке. Для маленьких на земле ковер положен. Расставлены стулья или скамейки, а сзади окна, крыши сараев — все ребятишками и взрослыми заполнено. Прямо как амфитеатр получается.

Один раз пришел целый детский сад. У них, по-видимому, стульчиков не хватило, и шли маленькие ребята рядами, как солдатики, серьезно неся табуреточки с круглыми дырочками. Но все были так заинтересованы предстоящим спектаклем, что никто на это не обратил внимания.

Играли мы разное. Куклами на нитках — «Наш цирк». Перчаточными — «Гусенка».

Успех всегда был замечательный. Начинали с фанфары. Кончали тоже фанфарой и, закрывая борта нашего фургона, ехали в следующую двор.

И вот тут происходило то, чего мы не предусмотрели. Зрители кидались бежать за машиной, и в следующем дворе получалось вдвое больше народа.

Пришлось перестроить географию расписания и ездить не в соседние дворы, а дальше.

Конечно, мальчишки (особенно мальчишки) норовили как-нибудь да заглянуть за ширму, чтобы понять секрет нашего производства, и один мальчик радостно сказал мне: «Я знаю, как вы нас охмуряете! Вы их за задние ноги держите!»

А в общем, эксперимент удался. За лето наших кукол посмотрело больше десяти тысяч ребят.

Получили театр на Маяковке

У театра нашего прямо-таки большой успех. Июнь тридцать седьмого года. Ездим по школам, по пионердомам, по клубам. Играем «По щучьему велению», «Кота в сапогах», «Джима и Доллара», «Каштанку».

Иногда на сцене детского театра играем.

Ребята смотрят замечательно, хохочут вовсю, а то замирают от интереса, и тогда тишина прямо-таки мертвая.

А вот живем мы плохо. В одной комнате «щедехода» не поместились. Дали вторую — тоже тесно. Стали репетировать в клубе папиросной фабрики, так там то можно, то нельзя. Раздобыли подвал на Поварской, теперь это улица Воровского, да и там тоже несладко. И тесно и темно.

Написал статью в «Известия», что у нашего театра много добрых глаз и нет добрых рук, чтобы нам помочь с помещением. Отнес статью в редакцию, когда напечатают, не знаю. Не говорят.

А тут звонок из Комитета по делам искусств, завтра я должен выступать в Георгиевском зале Кремля. Я не первый раз там выступаю и всегда боюсь. Это сборные концерты. Там бывает и хоровой ансамбль Красной Армии, все хористы в красноармейской форме, а

дирижирует ими Александров, тоже в форме. И Качалов читает Блока, и Козловский поет, и Уланова танцует. Не всегда одни и те же, конечно.

Выступать трудно. Весь зал уставлен столами, за ними масса людей. Это ужин с вином. Ярко горят люстры. С дальних столов не видно, что делается на сцене. Все стараются говорить тихо, но народу много и тихо не получается.

Совсем было бы невозможно кукол показывать, если бы прямо перед сценой сидящие не были предельно внимательны: Сталин, Ворошилов, Молотов, Каганович, Микоян. Пока пою за ширмой, трудно понять, смотрит кто-нибудь на моих кукол или нет, а выйду из-за ширмы кланяться, вижу веселые лица. Смеются и аплодируют.

Вернулся домой, а на следующее утро 22 июня в «Известиях» моя статья. И фраза моя в этой статье: «Много добрых глаз и нет добрых рук».

Через два дня звонок из Комитета по делам искусств: «Получайте театр на площади Маяковского».

Реалистический театр, бывшая Четвертая студия МХАТа. Труппу этого театра слили с труппой Камерного. Бегу в театр. Прибежал. Стал осматривать. Ну просто чудо, да и только. Охлопков, на наше счастье, уничтожил сцену. Ее выгорали каждый раз в новом месте. Значит, мы можем построить сцену так, как нам надо.

Все осмотрел, во все закоулки заглядывал. Открыл какую-то дверь, а там под душем две голые женщины. Завизжали, будто их режут.

Захлопнул дверь. Побежал смотреть балкон. Вернулся. Иду по фойе, а навстречу две девушки. Увидели меня, завизжали и понеслись вниз по лестнице. Значит, это они под душем были.

Свое гнездо

Не могу понять, как это умудрился крестьянский парень Сергей Есенин написать «...где-то стонет иволга, схоронясь в дупло». Стонать иволга не умеет и в дупле отроду не жила. Может, он ее с совой спутал или с горлицей, хотя горлица тоже, как и иволга, никакого отношения к дуплу не имеет.

А вот гнездо у иволги действительно интересное. Я на него еще в детстве удивлялся в Бабыкапином саду. Она его очень хитро в ветвях подвешивает. Соединяет тонкие ветки одну к другой, одну к другой и на этом сплетении гнездо вьет. Висит оно и качается.

Вот и нам пришлось одно с другим, одно с другим соединять, чтобы свое гнездо построить. Только зря я написал слово «пришлось». Это ведь было радостно очень.

До Реалистического театра (бывшей Четвертой студии МХАТа) в этом здании помещался кинематограф, а до кинематографа — два трактира с извозничьим двором между ними. Трактиры-то были вернее всего ямщицкие — недаром же улица Тверская-Ямская называлась.

В нижнем этаже переоборудованного под кино, а затем под театр дома разместились гардероб и служебные комнаты (бухгалтерия и директорский кабинет). Второй и третий этажи стали зрительным залом и сценой.

В нижнем этаже второго дома оборудовали актерские уборные, из второго и третьего этажей получилось высокое фойе, а двор между домами, соединив оба дома, стал курилкой.

Актерские уборные нам не нужны. Они превратились в мастерские. Балкон в зрительном зале тоже не нужен (оттуда будут видны головы актеров). Мы его закрыли и организовали там музей театральных кукол.

Без склада декораций и хоть какого-никакого служебного буфета не обойдешься — так мы под курилкой, то есть на месте бывшего двора, выкопали большой подвал. Жаль, что ни у кого из нас в ту пору дач не было. Сплошной конский навоз. Для дачного огорода просто клад.

Нужна сцена. Не вообще сцена, а для нас, для кукольного театра. Архитектор Котэ Топуридзе задаром спроектировал нам и сцену и очень интересный портал. А проект зрительного зала тоже задаром сделал мой сын, будущий архитектор Алексей Образцов.

Хорошо получилось. Похоже на испанский дворик. По боковым стенам деревянные балкончики для осветительной аппаратуры. И на задней стене тоже балкончик. Выход на него из музея. А из кровельного железа и дерева Алексей сочинил четыре люстры для потолка в зрительном зале.

В Ленинграде в комиссионных магазинах купили мы замечательную мебель. Диваны и стулья, кресла карельской березы, павловские «лопаты» и «корыта», английский чиппендейл.

Фойе покрасили в синий цвет, повесили елизаветинские фонари, а на потолке в фойе и над лестницами прикрепили прямо-таки великолепные бронзовые и хрустальные люстры.

Все это, конечно, мы не сразу сделали, но основное строительство гнезда закончили всего за два месяца. С 2 сентября по 3 ноября тридцать седьмого года.

Мало того, успели за это же время приготовить новый спектакль «Большой Иван».

Премьера. Я стою на балкончике зрительного зала и смотрю на сцену, как смотрел когда-то с балкона ТЮЗа. Только теперь это уже наша сцена, наш театр, собственный... Наше гнездо, нами построенное.

Погасли люстры, затихли дети. Поднялся красивый бархатный занавес. Начался спектакль. Новый спектакль в новом театре, в своем, своем, своем гнезде.

(Окончание следует)



РОДНИК



УЙГУН,

народный поэт Узбекистана

Гляжу на родник

Сквозь острый гравий пробиваясь ловко,
Бурлит упрямый маленький родник,
И на его упорство и сноровку
Гляжу как удивленный ученик.
Сверля песок, журча студеной влагой,
Ни днем ни ночью не стихает он,
Как незаметный, честный работяга,
Своим привычным делом увлечен.
А вздумай он прервать свой труд упорный,
Его бы живо занесло песком,
Но нет, неутомонный, непокорный,
Он с ленью и застоем не знаком.
Пусть и в твоей груди волнение бьется,
Упорство не стихает ни на миг,
Не то в песке бездушном захлебнется
Твой незаметный, но живой родник.

Кипарис

Красивый и свежий зимою и летом,
Он гордо стоит изваянем живым.
Недаром старинным восточным поэтам
Хотелось любимую сравнивать с ним.
Не раз вместе с розой, нарциссом, тюльпаном
Он звучный классический стих украшал.
«О ты, кипарису подобная станом!» —
Красавицу славя, поэт возглашал.
Волнует и ныне он сердце поэта,
Но, чтобы с эпохой быть наравне,
Его бы сравнил я с зеленой ракетой,
Готовой вот-вот устремиться к Луне.

Перевел с узбекского СЕРГЕЙ СЕВЕРЦЕВ.

ДЖУМАНИЯЗ ДЖАББАРОВ

Вечер в горах

В этом дальнем нагорном стане,
На скалистой груди Тянь-Шаня,
В белой юрте мы собрались,

А красавицы гор — киргизки
Нам кладут баранину в миски,
Подливают гостям кумыс.

В синей тьме, перед самым
входом,
Под полуночным звездным сводом
Рвутся ввысь языки костра,
И, широкому хору вторя,
Вместе с нами поют нагорья
«Подмосковные вечера».

Черноброва, стройна, румяна,
Будто прямо с холста Сарьяна,
Дочь Армении в бубен бьет,
А в прозрачных глазах эстонца
Отражаются брызги солнца
И синее балтийский лед.

В украинской певучей речи
То листва каштанов лепечет,
То протяжно поют кобзари...
Наша встреча — живая чаша,
Где сливается рокот Вахша
С плеском Дона и Сырдарьи.

На весенний веночек похожи
Лица радостной молодежи —
Наш веселый, наш братский
круг.

В белой юрте вблизи Нарына
В эту ночь сплелись воедино
Север, запад, восток и юг.

Мы танцуем под рокот бубна,
Мы беседуем дружелюбно,
Мы вступаем в горячий спор —
Так под звездами ночи южной
Мы проводим Неделю дружбы
У подножья Тянь-Шаньских гор.

Могут эти вершины рухнуть,
Могут эти звезды потухнуть,
Может стать холодной земля,
Но веночек сердец не увянет —
Лишь еще нерушимей станет
Наша дружеская семья.

Часы и сердце

Все стучит мое сердце,
Полно то огнем, то тоскою,
Все стучат и часы
У меня на рабочем столе.
Оба трудятся честно
И оба не знают покоя —
Оба меряют время,
Что прожито мною на земле.

Но сломались часы —
Отнести в мастерскую их можно,
А испортится сердце —
Бессилен любой часовщик.
И, однако, с часами
Всегда обхожусь осторожно,
А вот сердце свое
До сих пор я щадить не привык.

Перевел с узбекского СЕРГЕЙ СЕВЕРЦЕВ.

МИРМУХСИН,

народный поэт Узбекистана

Настоящая дружба

Настоящая дружба
Творится в трудах и невзгодах,
Средь лгунов и бездельников
Друга себе не найдешь.
Дружба — это не сделка,
Не мебель, сулящая отдых,
Тот, кто выгоды ищет,
Лишь с виду на друга похож.

Две холодных души
Вы и цепью не соедините,

Без тепла бескорыстного
Дружбе вовек не бывать:
Пусть от щедрого сердца
Живые протянутся нити —
То, что соткано сердцем,
Не сможет и смерть разорвать.

В осеннем саду

Отец мой, вы хрупкою старость назвали,
Сказали, что скоро наступит покой,
Вздохнули, садовые ножницы взяли
Усталой, морщинистой, мудрой рукой.
Взглянул я на сад, где гранаты и вишни,
И вдруг позавидовал вашей судьбе:
Здесь каждое дерево — памятник пышный,
Что честным трудом вы воздвигли себе.

Перевел с узбекского СЕРГЕЙ СЕВЕРЦЕВ.



АТА-ВАТАН¹



БЕРДЫНАЗАР ХУДАЙНАЗАРОВ

С туркменского

* * *

Аширу Назарову.

Где ты, сердечное «салам алейкум»?
Где ты, родное «алейкум салам»?
Где обо всем неспешные расспросы
И мудрая внимательность к словам?
Под стать вопросам были и ответы,
Тепло пронесшие через века.
Ну право же, приветствие ли это —
Рукою помахать издалека?
Я поздоровался традиционно
С тем, кто слегка кивнул при этом мне.
И я остался как с проступком грубым
С приветствием своим наедине.
А вот недавно встретил я соседа.
И тот сосед беседовал со мной
Так замороженно, так осторожно,
Так скупое, как с неверною женой.
Эй, где же вы, серьезность и сердечность?
Вы так под стать сегодняшним делам.
Вернись по праву к моему народу,
Наш добрый спутник — древний наш «салам»!

Утро Тихого океана

Взволнованные воды — под ногами,
Над головою — небо цвета вод.
Который час, как в исполинской чаше,
Качается наш белый теплоход!
Ночная темень спряталась под пеной.
Запел протяжный ветер на бегу.
В восточном направлении постепенно
Стал город проступать на берегу.
Еще Москва спокойно дремлет где-то
В полночной и неведомой дали,
А здесь лучи и сполохи рассвета
Над уссурийскою тайгой взошли.
Здесь океан — рабочая площадка
Или какой-то стройки котлован.

¹ Ата-ватан — отчизна-мать.

День трудовой свой сдержанно и мощно
Он начинает — Тихий океан.
Что ж, своего он имени достоин...
А веком многое открыто мне,
И всей планеты нашей беспокойство
Я ощущаю на крутой волне.
Я утро пью, как молоко густое,
Стихи слагаю, светом осиян:
«Да будет чистым небо над тобою,
Большой и тихий Тихий океан!»

Перевел ВЛ. САВЕЛЬЕВ.

АЛЛАБЕРДЫ ХАИДОВ

* * *

Скажи мне, как тебя назвать
и чем тебе воздам?
По-русски ты — отчизна-мать,
у нас — ата-ватан.
Не меркнут в чередѣ годин
святыя имена:
одна ведь мать, отец один
и Родина — одна.
Пускай твой край ветров и трав
ничем не знаменит —
его, однажды потеряв,
ничем не заменить.
Его признаньем дорожи,
отдай себя сполна.
Всего одна дана нам жизнь
и Родина — одна...

Перевел АЛЕКСАНДР НАУМОВ.



НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН



ВЕК НАИВНОСТИ

Рассказ

Старушка — очки в роговой оправе, зачесанные со лба редкие волосы, кружевной воротничок и белые манжеты — ворковала, точно младенца убаюкивала:

— Да вы не стесняйтесь... Как считаете, так и говорите... Мы, члены правления, люди опытные. Я сама персональный пенсионер. Говорите смело. Будто разговариваете со своей собственной совестью. Да, именно так — как с собственной совестью, как с собственной совестью...

Затем Виктора Николаевича провели в соседнюю комнату: десятка четырех сбитых в ряды стандартных стульев, четыре канцелярских стола, а на стенах — плакаты по противопожарной безопасности и щит с фотографиями активистов правления.

Виктор Николаевич сел в первом ряду, как раз напротив стола, за которым заняли места бабушка и два старичка. Старички были торжественны, как завезенные со знойного юга на невскую набережную сфинксы. И Виктор Николаевич ладонью прикрыл улыбку. Затем вынул из бокового кармана четверо сложенный листок стандартной бумаги — то письмо, которое привело его сюда.

«Дорогой друг! — Почерк был заваливающийся влево и угловатый, линии прерывающиеся, как у людей, перенесших тяжелое заболевание. — Может быть, я и не вправе называть Вас так. О тех давних событиях, которые некогда свели нас, Вы, естественно, не забыли, но, думаю, они немного стерлись в Вашей памяти, отошли на второй план. Между тем я читаю и о Вас и Ваши статьи. Мне приятно понимать, что вдруг помог Вам когда-то...»

...Что именно удивило Виктора Николаевича в письме, он и сам сказать бы не мог. Скорее всего — интонация. Ночью он долго не спал. Откуда фразы — «наше дело — пенсионное...», «понятно, что я уже начал отставать от чего-то, как зазевавшийся пассажир от поезда...»?

— Знаешь что, Леночка, — приподнялся на локте Виктор Николаевич. — Ты напрасно спишь. Поговори-ка со мной.

Леночка, которую все давным-давно величали Еленой Степановной, вздохнула, затем еще раз вздохнула, протяжно сказала: «Ой, за что мне?..» — но протянула руку и включила ночник. И как-то загадочно, десятками светящихся в полумраке змеиных глаз, засверкала люстра под потолком — гордость Елены Степановны.

— Все из-за письма?

— В общем, из-за него.

— Обычное старческое брюзжание. С людьми в возрасте случается.

— Возможно. Но я летаю туда.

Елена Степановна знала, что с мужем, если он что-то решил, спорить бесполезно, но в очередной раз попробовала. И напрасно...

Сейчас он с некоторым смущением вспоминал этот разговор, который закончился его ультимативным: «Дальше спорить бессмысленно. Я решил!»

И вот эта комната — старушка в очках, крашенный коричневой масляной краской пол. Почему коричневой? Но на такие вопросы никогда нельзя получить ответа.

Заходили разные люди. Молча садились. Все больше какие-то случайные.

Старушка пошелестела бумажками. И началось...

Их было двое. Один высокий, с развернутой грудью и фактурным подбородком. Уже седеющий, с гривой, которой позавидуют актеры на ролях патриархов. В общем, человек с парадной, чтобы не сказать — дворцовой, внешностью.

Звали высокого Андреем Юрьевичем. Сочетание убедительное. А вот с фамилией слегка не повезло. Но и ей пришлось сдаться под натиском благообразия высокого. Она стала звучать торжественно и звонко, будто ее читал вслух по слогам первоклассник: Ша-га-лов... Ша-га-лов... Ша-га-лов...

Шагалов в первый же час знакомства охотно рассказал о себе, даже с некоторой торопливостью, точно боялся, что его не так увидят и не так поймут. Сорок восемь лет. Работает ведущим конструктором по холодильному оборудованию. Вторым браком, в общем, доволен. Прилично играет в преферанс — лучше начинающих инженеров, но, разумеется, хуже опытных бухгалтеров. Любит экспромты Шопена и оперу «Риголетто». Вкусы несколько старомодные. Но что поделаешь, такие процветали во времена молодости Шагалова — в век наивности.

Лет двадцать пять назад Шагалов играл в волейбол и плавал на байдарке. С той поры у него сбереглись крутые плечи и походка человека, знающего, куда надо ставить ногу.

А второй... Ну что второй? И сказать-то о нем нечего. Стручок акации, да и только. Звали человечка Витей.

Сначала Шагалов и Витя переезжали из одного аэропорта в другой. Обоим нужно было поспеть на минский рейс.

— Подожди, я мигом! — сказал Шагалов Вите в вестибюле аэровокзала. И ушел.

А Витя сидел на чемоданах и близоруко улыбался, будто извиняясь за то, что он такой вот нелепый и неловкий. Через минуту перед Витей возник дежурный по вокзалу. Обычный дежурный в полномочной фуражке с околышем.

— Вещи в камеру! — сказал он. — Загромождаете!

— Хорошо, — пообещал Витя и опять смутился. — Я не могу четыре чемодана сразу.

— А как принес сюда? — Околыш почувствовал робость Виктора и мгновенно перешел на «ты».

— Сейчас вернется мой товарищ, перенесем.

И Виктор покраснел оттого, что назвал Шагалова своим товарищем. Но тот — спокойный, улыбающийся, уверенный — уже спешил Виктору на выручку. Шагалов с доброжелательным изумлением уставился на дежурного, и тот вдруг тоже начал краснеть и заикаться, как за минуту до этого краснел и заикался Виктор.

— Извините, граждане, — сказал дежурный. — Сами понимаете...

— Не понимаю! — отрезал Шагалов. — И никогда не понимал, где на вокзалах можно ставить вещи, а где нельзя.

— Да я что, сам придумал? — бубнил дежурный, сопровождая Шагалова и Виктора в камеру хранения. — Порядок есть порядок.

— Значит, не порядок для людей, а люди для порядка! Так все понимать?

— Да уж не знаю.

И чувствовалось, что дежурный готов развести руками и возвести: «Граждане пассажиры! Дорогие и желанные! Убедительно прошу: не стесняйтесь. Ведите себя естественно, ставьте чемоданы куда угодно. Ложитесь поперек вестибюля, если вам так нравится...»

Самолет на Минск уходил только утром. Пришлось устраиваться в комнате отдыха при аэровокзале. И опять все сделал Шагалов. Он поулыбался администраторше, и той пришлось раздобывать раскладушки, уговаривать других да к тому же еще делать вид, что злитесь на Шагалова, хотя злиться на него было все равно что ребенка обидеть.

Ужинали в ресторане. Шагалов долго читал меню, примеривался к разным блюдам, закрывал глаза и, видимо, вспоминал вкус антрекота, бараньей отбивной, языка под маринадом. Заказ он произносил так, что чувствовалось: ему приятно это делать. Расплачивались отдельно. Шагалов старательно искал по карманам мелочь, чтобы получить сдачу целыми рублями. Официантка терпеливо стояла рядом — склоненная набок голова, в руках блокнотик и карандаш, которые она не спешила спрятать в карман передника, будто хотела проверить счет еще раз. В ее позе сквозило уважение к Шагалову. Потом официантка дала сдачу целыми рублями, как того хотел Шагалов, и ушла, не забыв сказать дежурное «заходите еще» и одарив Шагалова совсем не дежурной улыбкой.

— Что теперь? — спросил Шагалов. Его взгляд, его бровь изобразили вопрос. — Выработаем совместную программу или каждый перейдет на индивидуальную?

— Я похожу немного.

— А я спать, — сказал Шагалов. — Устал.

Виктор купил в автомате свежие газеты и уселся в холле в красное аэрофлотское кресло. «В Ливане беспокойно» — прочитал он заголовки на четвертой странице. И вдруг почувствовал, что устал, и сознание споткнулось на этой фразе... «В Ливане беспокойно... В Ливане беспокойно...»

Он с трудом заставил себя прочитать заметку до конца и ощутил, что одержал хоть маленькую, но победу над собой. Но в это время в холле появилась администраторша и сделала Виктору выговор.

— Не желаете спать? Зачем место требовали? Вон сидят и ждут люди постарше вас. Развелось сейчас таких — не знают, чего хотят.

Виктор промолчал, а в голове снова застучало: «В Ливане беспокойно...»

И с грустью подумал о том, что он, видимо, из породы людей, которые притягивают к себе всяческие неприятности и которых каждому охота обидеть.

Но тут опять свершилось чудо. Следом за администраторшей пришел взъерошенный и уже успевший вздремнуть Шагалов.

— Ты чего? А ну пошли!

— Неохота. Жалко спать.

— Это почему?

— В прошлом году мы с товарищем целый день проторчали в одном аэропорту. Так и не встретились. Только из писем обо всем узнали. Вдруг и сейчас что-то прозеваю.

Шагалов пожал плечами, ушел, но через минуту вернулся.

— А ты кто такой? — спросил он. — Инженер?

— Почему инженер?

— Сейчас все инженеры.

— Педагог я.

— Учитель?

На щеках Шагалова лежали мягкие тени от света тусклых люстр,

горевших под потолком. Шагалов выглядел старше и как-то потертее. И видно было, что он устал и что поспать ему сейчас очень не грех. Но он и не собирался уходить. Он все допрашивал нетактично и профессионально, как врач-психиатр. Откуда летит Виктор? Где работает? Горск? Горск? Что-то он, Шагалов, слышал про этот городок. Ах да, там же работал его племянник. Рассказывал: три улицы, два перекрестка. Клуб есть, пивная. Кино привозят. Даже председатель исполкома наличествует. Так чем же там плохо было? Почему удрал? Ах, жениться летит? В Минск? Тоже хороший город. Много улиц и много перекрестков. Опера есть. Опера — это важно. Особенно если там ставят Верди. Верди — это самый главный композитор среди оперных. Просто еще не все понимают. Но ничего, поймут. И девушка, наверное, хорошая. Не хуже самого города Минска. Впрочем, что толку спрашивать у висельника о веревке. Не в том смысле, что женитьба — виселица. Семья — штука полезная, кто в ней толк понимает. Вот у него жена — человек! Отпустила на пять дней в Минск послушать певца Бабия. Слышал о Бабие? Зиновий Бабий... Отелло поет, и герцога Мантуанского, и Радамеса... Никому из них при жизни и не снилось, чтобы их так хорошо пели! Сейчас на пять дней туда. Недавно получил премию. Ничего себе премия. И на отдых и на Минск хватит.

Вдруг Шагалов подмигнул Виктору, приложил к губам длинный кривой палец, метнулся в другой конец зала, где заметил околыш дежурного. Околыш и шагаловская пижама о чем-то пошептались, и вскоре появилась бутылка «Алиготэ».

— Стаканов нет. Будем так. Да и в зале пить вино не следует — в свете необходимости укреплять и совершенствовать миропорядок и стиль человеческих взаимоотношений. Кефир — другое дело. Но совместное питье кефира дружбу как-то не скрепляет. Впрочем, во мне, наверное, заговорили пережитки века наивности, воспоминания о нем.

— Да я вовсе и не хочу! — слабо махнул рукой Виктор.

— Н-ничего! Попьешь, попьешь!

— А что за век наивности такой?

— О, объяснять долго. Век моей молодости и коммунальных квартир, совместных трапез с попутчиками в купе поезда и галантности. Удивительный век, золотой век. Во всяком случае, для меня. Но что воспоминания? Страсть к ним — признак приближающейся старости. Твое здоровье!

Они отпили полбутылки. Виктор почувствовал, что в Ливане стало еще спокойнее.

— Про девушку, про девушку-то расскажи.

— Про какую?

— Боже мой! — охнул Шагалов. — Ну известно про какую. Про ту, к которой летишь.

— Да не умею я.

— Плохо слышим друг друга, — заключил Шагалов. — И бутылка напоенной солнцем влаги не помогла. Не могу понять, почему пиво считается безалкогольным напитком, хотя хмелеешь от него тяжело, а радостное вино по чьему-то неразумению попало в разряд напитков дурманящих. Хорошо, что об этом уже не узнают древние греки, которые за такое отношение к их любимому напитку нас наверняка осудили бы. Ведь они запрещали даже разбавлять его. А римляне позднее почему-то возмущались, что некоторые их сограждане пристрастились пить вино, как греки, неразбавленным. Но римляне римлянами, а мы с тобой живем не тогда, а сегодня. Итак, что же девушка?

— Зачем вам знать об этом?

— Любопытный я, — вздохнул Шагалов. — И разговорчивый, как сорока. Всегда таким был. Вы с ней знакомы давно? Год? Ах, всего три месяца... Маловато. Сейчас времена непростые. Всеобщая грамот-

ность и система Станиславского помогают маскироваться, и весьма лихо, под кого хочешь и под кого удобнее — злодея или праведника, страстотерпца или же пройдоху. Ну, это я так, к слову. И конечно, не о твоей девушке. Фотография есть? Покажи. Да не стесняйся ты! Случайные попутчики. Завтра забудем о встрече. И потому можем быть предельно откровенны. К тому же мне, человеку из века наивности, свойственно думать, что фотографии любимых возят с собой. Итак, где же они? Ты ведь тоже немного из того века. Я это сразу понял. Показывай! Жду!.. Ага, вот в профиль... вот в фас... на санях... Очень даже ничего... Вполне... Вместе работали?

— Она у нас недолго была. Художница. А потом эту штатную единицу отменили. Интернат-то у нас сначала был опытным.

— Каким таким опытным?

— Ну это мы сами. Я ездил в министерство. Все у нас молодые подобрались. Даже воспитатели. В общем, понимаете, какое дело... У каждого человека есть какие-то способности, у каждого. Это обязательно. Недаром же ученые говорят: главное — найти эти способности, помочь их развить.

— У каждого! — повторил Шагалов. — Это уж точно.

— Вот вам и весь гвоздь педагогики. Найди эти способности. Отщипи их в человеке. Тогда, может быть, все вырастут учеными, писателями, художниками, инженерами. Но школьную программу для каждого отдельно строить не будешь. Послушайте, да вам, наверное, неинтересно?

— Было бы неинтересно, я бы уснул, — объяснил Шагалов. — Но, как видишь, не сплю.

И Виктор рассказал, как он ездил в министерство, где долго удивлялись, что на периферии водятся такие молодые директора. Может быть, от удивления перед этим неожиданным фактом его выслушали. В одном кабинете внимательно, в другом не очень. В одном понимали, что он говорит, в другом хотели понять, да не сумели. И как сказали в конце концов — идея хоть и не нова, но интересна. Но все пока надо делать собственными силами. Дотаций не будет. По крайней мере в ближайший год. И тогда он на свой страх и риск выписал из разных мест людей: настоящую художницу, настоящего инженера, который должен был вести в старших классах совершенно новый предмет — основные направления развития технологической мысли от Архимеда и до наших дней. Да и сами-то классы... Думали вместо них ввести потоки. Очень просто: если ты хорошо успеваешь по физике, но средне по истории, значит, будешь в седьмом потоке по физике и, допустим, в третьем по истории...

— Рассказывай дальше! — приказал Шагалов. — Только поспокойнее. Лена твоя что делала?

— Она задумала проверить у всех ребят ощущение цвета, графические способности. И каждого — в свой поток. Здорово могло выйти. В министерстве так и сказали: попробуйте. Если получится — цветы и фанфары, провалитесь — по выговору.

— И как — выговоры? Записали?

— Нет, до министерства не дошло. Все на месте решилось. В районе.

...Виктор вспомнил маленький кабинетик заведующего районным отделом образования Петра Васильевича Безнощенко. Все деревянное: стены, потолок, стулья, стол. И это дерево отмыто уборщицей до сияющей желтизны. И такое же сияющее желтизной лицо Петра Васильевича. Его желтые прокуренные пальцы. Петр Васильевич не пользовался пепельницами. Он докуривал сигарету почти до конца, потом аккуратно плевал на огонек и бросал ее в урну. А пепельница стояла на столе совершенно чистая.

Виктор долго не мог понять, для чего бы заведующему району плевать на окурки. Но однажды понял.

— Этого не будет! — сказал Петр Васильевич. — Этого не будет, пока я жив, здоров и хожу по земле. Какие могут быть поэты, художники? Это позднее, потом, когда-нибудь. Дай бог, чтобы после моей смерти. Знаю, что подумаешь: законник, сухарь, враг прогресса и друг регресса. Только не так все это. Я не злодей какой-то, а реалист. И нельзя на людях, да еще на самодеятельном уровне, экспериментировать. Вы мне подайте успеваемость. Успеваемость, пони-ма-ете? Нам здесь лесопильщики нужны, а не музыкальные ансамбли. И делать из интерната оперетку я не позволю. Можете не сомневаться. Слово у Петра Безнощенко твердое. Обещал через два дня уголь завезти — завезу. Все со смыслом надо делать. Для чего нам лесопильщики, которые играют на флейтах, как лауреаты международных конкурсов? Пусть играют понемножку, потихоньку, как и принято в нормальной самодеятельности. Но не более! Лесопильщик должен играть на пиле. Да так играть, чтоб сто пятьдесят процентов ежедневно. А на флейтах пусть в Москве и Ленинграде играют. Я за смысл, молодой человек. Смысл должен во всем быть. Вот стоит у меня на столе пепельница. Я могу тушить в ней окурки. Однако не буду. Смысла нет. Лучше погасить и бросить в урну. А пепельница назавтра остается чистой. И на послезавтра. И до того дня, когда я пойду на пенсию, а вы, может быть, сядете за этот стол. Понятно? Нет? Расскажу подробнее...

И плюнул на окурки.

Уезжая, Лена нарисовала на Петра Васильевича карикатуру — очень злую. Кому-то она случайно попала в руки. И вскоре Петр Васильевич позвонил Виктору:

— Видел, видел, как меня изобразили. Но не в обиде. А устраивать из интернатов оперетки все равно не позволю.

— И наоборот! — сказал в трубку Виктор.

— Что наоборот? Из опереток — интернаты? Этого бы тоже не разрешил, если б заведовал театрами. Работайте и поменьше фантазируйте.

...Шагалов удобно вытянул перед собой длинные ноги. Большие пальцы сцепленных на коленях рук делали обороты один вокруг другого. Сначала по часовой стрелке, затем против. Чем-то он очень напоминал восточного феодала, возмнившего, что жизнь бесконечна, а подданные его боготворят и готовы всю жизнь гнуть спину для блага господина и его права проводить дни в праздности. Было в эту минуту в Шагалове что-то удивительно раздражающее — не то плохое скрываемое высокомерие, не то и вовсе брезгливость по отношению к собеседнику, которого он соизволил заметить и одарить вниманием.

— Да так вам и надо, — сказал он, закрыв глаза. — Правильно, что этот Безнощенко вас потрепал, как щенков. Все равно натворили бы вы чепухи со своим интернатом.

— Это почему?

— Да потому что слабы. А слабый за серьезные дела браться не имеет права. Если человек то ли от природы, то ли благодаря воспитанию слаб, тосклив, робок, он для начала сам должен понять это и других за собой не тянуть... Погубленное дело — самое страшное, что может быть... Напрасно ты все это мне рассказал.

— Но ведь вы сами вынудили меня...

— О чем это ты?

— Вызвали на откровенность.

— А ты бы не вызывался. Если же пошел на нее, значит, хотел этого.

Виктор вскочил.

— Сядь! — сказал Шагалов. — И слушай.

Он наклонился к Виктору и, почти касаясь губами его уха, за-
пел:

— «Знойной мы степью идем, в воздухе дышит огнем; гибнут то конь, то верблюд — храбрые только идут! Храбрые только идут!» — И сам же объяснил: — Воинственная песнь Олоферна из оперы «Юдифь» Серова. Был когда-то такой композитор. Послушай когда-нибудь ее в исполнении Шаляпина или Бориса Гмыри. Есть записи.

— Да что вам от меня надо?

— Что надо? Сейчас подумаю и скажу. Что-то, видимо, надо, раз веду такие длинные беседы. У меня сын есть. Твоих лет. Тоже инженер. Придумал интересную штуку для определения уровня подземных вод. Для Крыма это как раз то, что нужно. В Крыму только на подземные воды и надежда. А какой-то там ведущий конструктор сделал прибор похуже. Казалось бы, дело ясное: отстаивай свой, кровь из носа, но докажи, что ты прав. А Сергей походил, сунулся в одну дверь, в другую. И рукой махнул. Я ему: нельзя так, вредитель ты, а не человек. Лоза у тебя гибкая вместо позвоночника. Кстати, девица у него есть, вместе работают. Остроносенькая такая, три миллиона слов в сутки. Она тоже все вертится около Сергея, кричит: «Правду надо отстаивать!» — и всякие другие высокие слова. Очень высокие. А речь о приборе идет. Прибор есть прибор. Не больше. Правда, и не меньше. Бывают приборы хорошие, бывают средние, бывают плохие. Плохие надо выбрасывать, средние делать хорошими, а хорошие выпускать. Все просто. Так на же, она о какой-то правде, о техническом прогрессе толкует. Еще бог знает о чем! Вредный человек. Слабый, а мнит себя сильным. Вот и вынуждена пыжиться и ногами топать. И тоже позвоночник из лозы гибкой. Она сама об этом догадывается, вот и кричит, чтобы себе самой доказать, какая она справедливая и смелая.

— А у вас позвоночник из гранита, что ли? — спросил Виктор.

— Зачем из гранита? Я же не памятник. Из доброкачественной кости. Хочешь постучать — проверить? Значит, ждет тебя девушка? Пишет?

— Раньше писала.

— А сейчас? Уже не пишет? Грустно, брат.

Вдруг лицо Шагалова снова стало спокойным, безмятежным и добрым. И это изменение было как фокус: только что сидел перед Виктором один человек, а теперь уже совсем иной.

— Пойду я, — сказал Шагалов. — Пойду подумаю. И ты подумай. Видно, время сейчас у тебя такое — переломное. Но это хорошо, что мы с тобой встретились. Вот увидишь. Чувствую я точно, без ошибок. Это думаю иногда, так сказать, с ошибками. Да ладно, о том в другой раз.

Поднялся и ушел, ловко переступая через вещи и ноги сидевших в креслах пассажиров.

А Виктор остался думать о себе, Петре Васильевиче, Шагалове и о Ливане, в котором так беспокойно, о Лене, минских новостях, выставках, концертах, в которых не то что на флейте — на всех инструментах играли. Играли на сто пятьдесят, а то на все сто восемьдесят процентов.

Затем вышел на перрон, где сейчас мирно спали аэродромные автопоезда. Над посадочной полосой висел туман, в котором едва различимы были сигнальные огни. Не было слышно рева и свиста самолетов. Хотелось увидеть звезды. Но их не было.

И стало Виктору удивительно одиноко и тоскливо: что за встреча? зачем она? обычная случайность? Так ведь не забудется, не смочет ее временем, как завтра сдует ветер с поля туман.

Уснул Виктор поздно. Шагалов давно уже посапывал, сделав из серого гостиничного одеяла уютный конвертик. И слышались засыпающему Виктору неизвестно кем произносимые слова: «В Ливане беспокойно... Очень беспокойно в Ливане...»

Через семь часов, уже вынырнув из темноты в утро, Витька прислушался: нет, никакие голоса ему больше ничего не говорили о Ливане. Голова была тяжелой, пустой и гулкой.

— Спице?

Шагалов не ответил. Тогда Виктор повернулся на левый бок и увидел, что койка соседа пуста, одеяло аккуратно заправлено и даже подушка по-хозяйски вмята по углам. На постели лежал лист оберточной бумаги, исписанный мелкими, бисерными буквами. Но почерк был очень четкий.

«Парень! — писал Шагалов. — Не летай в Минск. Не нужно тебе туда. Возвращайся-ка лучше в свой Горск да попробуй хоть раз в жизни довести что-нибудь до конца. Покажи этому начальнику района, что и у тебя хребет из кости. Он не стряхивает пепел в хрусталь, а ты стряхивай. Он пепельницу бережет, а ты доказывай, что пепельницы беречь не надо, что ими следует пользоваться по назначению. Понял? Вчера в ресторане ты раскрывал бумажник. И я заметил, что там негусто. Так ты не стесняйся, я тебе все равно оставлю деньги. Ты на перепутье. И хотя я не миллионер и не бродячий меценат, но сотню тебе оставлю. Посиди в какой-нибудь гостинице денька два-три, поразмысли о разном. При случае вернешь. Однажды мне вот так же деньги одолжили. Впрок пошло.

С Леной разберешься позднее. Она еще подождет. Ну а если не подождет, так тому и быть. Значит, тоже к лучшему.

Я говорил тебе о веке наивности. Сам понимаешь: никогда такого века не было и быть не могло. С другой стороны, он есть. Каждый человек его сам себе изобретает. Проснется утром и объявит сам себе: отныне я живу в веке наивности, как однажды попал в век наивности Александр Македонский. Тогда схватил он свой меч и разрубил знаменитый гордиев узел. Хитро этот узел вязали, долго трудились. Но Македонский был дерзок, нагл, но и умен. Одна беда — очень уж стремился повелевать всеми, кто ему на глаза попадался. Недаром его учитель Аристотель решил отравить своего самого способного ученика. Думаю, это тот случай, когда легенда правдива, как ребенок, только что научившийся говорить. На месте Аристотеля я и сам поступил бы так же.

Но после Македонского на землю приходили и люди мне более симпатичные. Например, Николай Коперник, наш Иван Федоров, да и многие-многие другие, которым удавалось подняться над бытовавшими в их времена слишком практичными и якобы чрезвычайно разумными, но сиюминутными представлениями о мироздании и миропорядке. И тогда к людям приходили настоящий успех и подлинная победа. А настоящий успех — это понимание, что ты не гость в мире, и человеком лишним тебя даже недоброежелатель не назовет. Но чтобы стать таким, надо научиться быть немного наивным. Правда, лишь самую малость...

Ну а Лену твою я вижу в белом платье и с косами, хотя быть такого не может: белые платья теперь носят только джинсовые, а о косах и вовсе позабыли. Хоть бы какая-нибудь девушка решила вернуться немного к веку наивности и обзавелась косами. Пришел бы всемирный успех, и принц Уэльсский застрелился бы от неразделенной любви и невозможности хотя бы расторгнуть брак с английской королевой и остаться холостяком, но с правом повесить на стену фотографию любимой.

Да, пусть Лена будет с косами. Во всяком случае, в моем воображении. Правда, на фотографии она другая. Но какое это имеет значение. К сему, как писали в старину, адрес. Напиши, когда захочется.

Андрей Шагалов».

Виктор спустил ноги на пол и еще раз перечитал письмо.

Вошел дежурный с красным околышем на фуражке.

— Вставайте быстрее!

— Здравствуйте! Вы еще дежурите?

— Я вас жду! — зло ответил дежурный. — Целых четыре часа как смена закончилась. Да просили не будить. Вставайте, вот билет. Через сорок минут самолет.

— Какой еще самолет? Где мой попутчик?

— Улетел человек. Билет вам купил. Да не тот, что вы пытаетесь отыскать в кармане. Другой. Я держу его в руках. А свой можете выбросить. Уже опоздали на рейс.

— Пойдите, пойдите! — Виктор зашлепал по натертому паркетному полу к дежурному. — Что происходит? Никуда я не полечу. Вернее, полечу туда, куда собирался. И тем рейсом, которым собирался.

Дежурный стоял и смотрел на Виктора совершенно белыми глазами. Потом сунул ему в руки билет и сказал:

— Берите билет и идите к самолету.

Настырный околыш все же усадил Виктора в самолет и отправил в Горск. Три дня Виктор сидел не в номере гостиницы, а в своей квартире, думал, курил и пил из горлышка вино, как в аэропорту с Шагаловым. Причем в мыслях называл это запоем, так как настоящих запоев никогда не выдывал. На четвертый дал телеграмму Лене в Минск.

Через месяц крупно поговорил с заведующим районом Петром Васильевичем Безнощенко. И стряхнул в его пепельницу пепел. Через два месяца схлопотал первый выговор. Еще через десять месяцев Безнощенко ушел на пенсию.

— А ты ничего! — сказал Безнощенко на прощание Виктору, и лицо заведующего стало по цвету куда интенсивнее, чем желтое дерево кабинета. — Пожалуй, посильнее меня. Не люблю слабаков. От них один развал и глупости. Буду рекомендовать на свое место. Без особой радости, да другой кандидатуры не вижу.

Заведующим районом Виктора все же не назначили. Нашли другого, постарше. Долг Шагалову был возвращен ровно через два месяца, и в ответ получено коротенькое письмо: «Рад, что ты раздумывать не стал и воспользовался билетом в Горск. Можно было, конечно, посидеть денька три в гостинице. Такой вариант тоже не исключался. Но раз решил так — считай себя правым. Привет из века наивности. Где Лена? Андрей Шагалов».

И жизнь шла, как ей и подобает, — то стремительно, то медленно, то выглядела неожиданно пестрой и непредсказуемой, то, напротив, казалась чрезмерно упорядоченной, кем-то точно спланированной на многие годы вперед.

Певец Зиновий Бабий, как сообщили газеты, ушел с оперной сцены и теперь занимался концертной деятельностью. Через тайгу к Горску прорвалась железная дорога. Где-то там, за многие тысячи километров от Горска, между Одессой и Варной, начал ходить самый большой в мире паром. Девушки вновь стали носить косы. А затем Виктора Николаевича перевели из Горска в другой город — крупнее и перспективнее. В этом городе был театр, а по улицам бегали троллейбусы.

Время от времени по новому адресу к праздникам прибывали испитанные шагаловским почерком открытки. В ответ шли другие. Это стало чем-то вроде обязательного ритуала.

Затем и их не стало. И внезапно — письмо, которое написано было скорее всего в минуту тоски и недовольства самим собой.

Елена Степановна провожала Виктора Николаевича. Она надела шубку из рыжего меха. Что это за мех такой, Виктор Николаевич не знал, а может быть, когда-то знал, да забыл. Ему показалось, что Елена Степановна отнеслась к своему туалету особенно тщательно. И выглядела хорошо. Ее замечали... Уж не ревновала ли она на этот

раз к Шагалову, вернее, к тем дням жизни Виктора Николаевича, которые ей были известны лишь по рассказам.

Когда объявили посадку, Елена Степановна приподнялась на цыпочках и чмокнула его в щеку — это было нечто давным-давно забытое.

Из окна автобуса он видел, как жена, все еще изящная и чем-то удивительно похожая на повязанную модным платочком лисичку-сестричку, махала ему рукой. А через десять минут самолет унес его к тучам.

Город, в котором ровно через пять часов лету оказался Виктор Николаевич, вырос в южной степи, на берегу не очень большой и какой-то внешне простенькой реки, но судоходной и способной крутить турбины пусть не самой большой в мире, но вполне приличной электростанции. Аэровокзал был выстроен на славу, за что архитектор получил заслуженную премию, — тут были бегущие резиновые пешеходные дорожки, эскалаторы, уносящие пассажиров с первого этажа на второй и третий. Если едешь на второй, надо было просто шагнуть влево на неподвижную платформу, а затем уже идти в кассовый зал.

Но Виктор Николаевич отправился сразу на третий, куда зазывали указатели желающих перекусить и выпить охлаждающие напитки. И вправду в стеклянном раю быстроглазые официантки разносили мороженое и гранатовый сок со льдом. А у огромных окон качали на ветру листьями традиционные пальмы в кадках. Прямо от аэровокзала стремился вдаль широченный проспект, застроенный четырнадцатизэтажными домами. Но вдали на холмах стояли дома и повыше — совсем почти небоскребы.

Запив бисквит двумя стаканами терпковатого, с четким «вкусовым эхо», столь ценным гурманами, гранатового сока, Виктор Николаевич расплатился, а заодно спросил у вежливой официантки, далеко ли до улицы Тупиковой.

— Да у нас тупиковых улиц и вовсе нет. Все сквозные.

— Адрес точный.

— Ну, может быть, какая-нибудь маленькая и старая. В гости?

— Скорее по делу.

— Значит, время дорого. Выпейте кофе, садитесь в такси и назовите адрес. Он обязан довести. Самое простое решение вопроса. Но сделаете это через десять минут. А сейчас — кофе. Он у нас лучший в мире. Подаем вместе с ключевой водой и сухофруктами. Никакого сахара. А воду возим за двадцать километров.

И тут Виктор Николаевич понял, что ко всему прочему этот город населен гордыми людьми. Да так обычно и бывает во всех новых городах, которые живут не воспоминаниями, а будущим. И не случайно, видимо, футбольная команда этого города однажды чуть было не завоевала Кубок страны, хотя вроде бы так дерзать полагалось более именитым.

Впрочем, кофе был отменный. Может, где-то далеко, за горами и морями, на каком-нибудь совсем восточном Востоке, и варили его не хуже, но это еще нужно было доказать. И вода была совсем без привкуса хлорки, судя по всему, вправду ключевая.

Машина помчала его по ровным улицам, и он заметил, что здесь не ездят, а «гоняются». И другого слова не подберешь: от перекрестка до перекрестка на скоростях, которые терпят разве что автострады. Но затем свернули с магистрали, дома стали пониже да и поскромнее. И Виктор Николаевич уверовал в то, что Тупиковую улицу они в конце концов найдут.

Шагалов говорил речь.

— Граждане судьи!

— Товарищи члены правления! — поправила его старушка в круглых очках.

— Хорошо, пусть будет так, — согласился Шагалов. — Я обращаюсь к вам с просьбой не спешить с выводами. Пожалейте и себя и меня. Не попадите в разряд грубо ошибившихся. Учтите, что один невинно покаранный — это опаснее, чем двое неотловленных преступников. Это педагогическая, а не юридическая истина. А педагогика важнее юриспруденции. Юриспруденция стала необходимой только потому, что педагогика, к сожалению, все еще несовершенна и не всемогуща. А хотелось бы, чтобы она была именно таковой. Вот смотрите. Эти три так любовно собственноручно переплетенных тома — рукопись моей работы по педагогике. А это четвертый том. Самый странный: отзывы виднейших специалистов... «Уважаемый Андрей Юрьевич... Дорогой Андрей Юрьевич...» Просто «товарищ Шагалов...» Все соглашаются, что работы мои представляют определенный интерес, но пока еще вряд ли применимы на практике.

— Вы опасный честолюбец! — крикнули с места.

— Да, я не без честолюбия! — спокойно ответил Шагалов. — А кто из вас без него? Позвольте воды. Спасибо. Итак, вернемся к моим идеям. Я исхожу из простой и банальной истины, что научить человека стать педагогом, воспитателем нельзя. Это талант. И, может быть, куда более редкий, чем, к примеру, талант актера. Причем — я это акцентирую — талант педагога должен включать в себя и артистический талант. К тому же педагог должен быть актером высшего класса, способным импровизировать по ходу, а не только заученно преподать истину с трибуны. А момент эмоционального воздействия — это очень важно. Вот здесь зафиксировано сто сорок семь опытов... Шестьдесят два удачных. Но это случаи, когда я имел возможность воздействовать на людей кратковременно. От одного до шести дней. Граждане члены правления! Граждане зрители и слушатели!

Один из старичков-сфинксов нахмурился.

— Попросим без острот!

— Да ведь я говорю по делу и вовсе не виноват, что дело мое несколько странного свойства. Изложить его сухо, в двух словах не только трудно, но просто невозможно. Я считаю, например, что педагогическая мысль в последние столетия слегка отошла от одной из центральных, одной из важнейших своих задач. Известно ли вам, в чем заключается суть итальянской школы пения? Педагог вслушивается в тембр голоса ученика, выявляет, в каком регистре голос звучит приятнее и оригинальнее. Остается главное — настоять на том, чтобы этот голос захотели слушать, чтобы признали его достоинства. Именно настоять! В конце концов, что такое талант? Наполеон Бонапарт не просто продумывал объективно лучшие планы построения армий перед сражениями. Объективно лучших планов не существует. Но Наполеон, я имею в виду молодого Бонапарта, он умел убедить всех, в том числе и противника, что его планы — лучшие. Толстой, Пушкин — все они умели прежде всего отстаивать свои взгляды. Сколько я видел в своей жизни людей — талантливых, добрых, по своему смелых, — которые жаловались на то, что их не поняли, что к ним не прислушивались, хотя они говорили дело. Это педагогический брак, граждане судьи. А кто сказал, что общество обязано прислушиваться к каждому прозвучавшему слову? Надо уметь настоять на своем. И те, кто не умеет, в общем-то, не индивидуальность, а индивид. Подождите, я еще не закончил. Я перехожу к самому главному. Педагогический брак был, есть и будет. Еще не пришли времена, когда все общество будет состоять из личностей с прописной буквы. Но чем больше их, тем сильнее, тем талантливее, тем жизнеспособнее все общество. Увеличить количество личностей

с прописной буквы — это резерв. И представьте себе, какими полезными были бы тайные летучие отряды педагогов.

— Это что за отряды такие? Кто будет ими командовать?

— Да их собственная совесть.

— А чего-нибудь понаивнее придумать нельзя?

— И понаивнее можно! — заявил Шагалов. — Почему же нет, если я сам из века наивности.

— Вы лучше скажите, на какие это средства такую дачу себе отгрохали?

— Во-первых, это не дача, а обычный садовый домик на столь же обычном садово-огородном участке. А во-вторых, и отвечаю прямо, не на пенсию. Ее бы не хватило. На деньги, которые прислали мне мои ученики.

— Какие ученики? И чему вы хоть кого-нибудь могли научить? Стяжательству?

— Какие? А вот глядите. Лауреаты Государственных премий, встаньте!

Поднялись четверо, смущенные, ничего не понимающие.

— Пришли четверо, а всего их у меня девять. Я не говорю, что целиком и полностью создал этих людей. Такое невозможно. Но где-то в чем-то каждому из них я помог. Помог как актер-педагог, действующий на манер партизана, вылетающего на опушку внезапно из засады, поступающий быстро и решительно. Лауреаты, можете сесть. Я заканчиваю, товарищи члены правления. Хочу только рассказать еще одну короткую историю. Всем вам знакомо имя молодого писателя Бабакова.

— Знаем, знаем, слышали: молодая поросль, подающая надежды, талант.

— А знаете ли вы, что еще четыре года назад эта молодая поросль сидела, уныло воткнув нос в какие-то бумажки, в конторе домоуправления. Не нашего домоуправления, а соседнего. Но бумажки, насколько я знаю, и тут и там одинаковые. И, видимо, плохо он в эти бумажки глядел, ибо ему все время выговоры объявляли и грозили выгнать, да по присущей всем нам доброте характера не выгоняли. Между тем у парня в столе валялось штук пять великолепных рассказов, прочитать которые было бы полезно каждому. Но их никто не читал и никто не прочитал бы по той простой причине, что парень, получив отказы из десятка редакций, и совсем перестал стучаться куда-либо. Короче, взял я шефство над нашим многоуважаемым Бабаковым. Писали мы вместе с ним в разные редакции, ездили к двум мэтрам. Один мэтр почитал рассказы и скривил нос, а другой совсем наоборот: в гроб сходя, благословил. И вот сейчас вы читаете книжки Бабакова. В предисловиях к этим книжкам ничего не сказано о человеке по фамилии Шагалов, о человеке, которого сейчас здесь клеймят чуть ли не за попрошайничество.

— А вам бы хотелось!

— Да вот уж не знаю, хотелось бы или нет, но тому, что имею отношение к Бабакову, рад.

— У него вы тоже брали деньги?

— Дорогие! — Шагалов поднял руку. — Вы все о деньгах да о деньгах. Поверьте, не в них счастье. Это еще в старину было выяснено. Да, действительно деньги мне присылали. Присылали добровольно. Лишь те, кому хотелось и для кого такое было не очень обременительно. А использовал я их на то, чтобы построить садовый домик и теплицы. И не для себя — для других.

— Почему это для других? Конечно, для себя. А раздаете саженьцы из теплиц, чтобы казаться человеком не от мира сего — белой вороной. А с нее какой спрос!

— Да не белая я ворона, а обычная, только изрядно поседевшая. Оттого и кажусь белой. Знаю, что соседи написали на меня письма,

будто живу не по средствам, занимаюсь вымогательством. Но, поверьте, чепуха все это. И нет на свете такого суда, который мог бы меня осудить. В оправдание мне многое, хотя бы синяя роза. Одной ее достаточно. Вспомните, как горько жаловался знаменитый Редьярд Киплинг. Читаю по памяти: «Целый ворох красных роз милой как-то я принес. Не взяла она и — в слезы: синие подай ей розы! Океан я пересек, чтоб найти такой цветок. И расспрашивал я всех, но в ответ мне — громкий смех». Живи Киплинг сегодня, мы послали бы ему черенки синей розы. Пусть посадил бы у себя в саду.

Вот тут-то и началось. Многие повскакивали со стульев, а кричали почти все. Друг на друга и уж конечно на Шагалова. Его обвинили в том, что он построил самые совершенные, какие можно только придумать, теплицы, с солнечными батареями, которые аккумулируют свет и тепло и затем в пасмурные дни отдают их пресловутым синим розам.

— Да, такие теплицы я построил. Но в чем нарушен закон? Доказать это вы не можете и никогда не сможете! Нашлись обыватели, шкурники, люди с душонками плоскими, как сковородки, написали заявления, а вы поспешили собраться на это неприличное заседание.

Старушка потеряла очки, член правления, похожий на сфинкса, теперь уже напоминал какое-то огромное насекомое — не то кузнечика, не то богомола. Он воздевал вверх голову, складывал на груди руки. И казалось — действительно призывал на помощь высшие силы.

У Шагалова спрашивали, зачем он рассылает в разные города черенки выведенных им синих роз.

— Чтобы они цвели везде!

— А кто вам разрешил навязывать всем свои вкусы?

— Но кто это может запретить?

— Хорошо, пусть вы вывели новый сорт роз. Согласны — успех. Но не для того ли, чтобы прославиться, обратить на себя внимание? Ведь на ваш участок уже чуть ли не экскурсии ходят.

— Решайте сами! — отрезал Шагалов. — Я одинок. Жена давно умерла. Сын уже сам дед. Живет в другом городе. А я не желаю чувствовать себя лишним и старым. Мне помогли оборудовать сад. А я вывел синие розы. И теперь они навсегда пришли в мир.

— Так что же — памятник вам поставить?

— О памятнике потом. Но докажите, что я бесполезен. Докажите, что мои партизанские педагогические действия не приносили пользы. Докажите, что безумна моя идея летучих отрядов педагогов. Докажите, что воспитание возможно только в школах, только в аудиториях и что улица, случайные знакомые и собеседники совсем не воспитывают человека. Докажите все это — и я сам проголосую за самый строгий приговор себе. И вообще должен вам сказать, товарищи члены правления, я даже заинтересован в том, чтобы наше сегодняшнее заседание получило бы огласку. Возможно, это привлечет бы внимание к тому делу, которому я себя посвятил. Итак, я намерен настоять на том, что оно бесполезно. Повторяю: намерен настоять. И настою! А памятник мне не нужен. Давайте пьедестал, сам буду стоять на нем ко всеобщему удовольствию по восемь часов в сутки, пока еще жив и в общих чертах здоров. Но вокруг пусть цветут синие розы. Люблю этот цвет. И вообще я — человек из века наивности. Это особый век. Кто в него никогда не попадал, тот никогда не догадается о его законах. Я сказал все.

В тот вечер правление не приняло никакого решения.

Они втроем стояли у стойки в магазине, состоявшем из гигантских стекол и цветного кафельного пола. За спиной шипела кофеварка, слышались шаркающие шаги — посетители с чашечками в руках медленно проплывали к мраморным столикам. В рюмках мягко поблескивал химическим цветом ликер. Казалось, он должен оставлять на

губах несмываемые чернильные пятна. Шагалов пил кофе, улыбался, хмурился, стучал ногтем по искусственному мрамору столика. Рядом, едва достигая верхушкой высокой меховой шапки плеча Шагалова, пил кофе один из лауреатов, прибывших по вызову Шагалова. Знакомая с Виктором Николаевичем, лауреат коротко буркнул: «Володя». А на вопрос о профессии очень уж неопределенно пояснил, что в последнее время занимается кое-какими кристаллами.

Лауреат отпил глоток кофе, неловко стукнул чашкой о блюдце, потом воровато огляделся, вытащил сигарету и, пряча ее в ладошках, прикурил. Вероятно, лауреат был руководителем большого отдела или целого института. Было заметно: он следил за тем, чтобы лицо не выдавало эмоций. Наверное, результат многолетней практики сидения в президиумах на совещаниях и заседаниях. Но рука лауреата дрожала, и он уже дважды набирал в легкие воздух, чтобы что-то сказать. Наконец решился:

— Я ни черта не смыслю в педагогике. Даже не понять, я сына воспитываю или сын меня. Я все больше по кристаллам. Синие розы — красиво. Здорово, что вы их вырастили. По-моему, они никому не вредят. Хорошо, что вы построили такой дом и такие теплицы. Если смогу еще чем-то помочь, обязательно помогу. В свое время вы мне здорово помогли. Устроили нервную встряску, которая пошла мне на пользу. С вашего разрешения, я был тогда элементарный обыватель. Как в полусне отправлялся на службу и на футбол, вел жизнь полубиологическую. Если я пошел в институт на меньшую зарплату, если в конце концов занялся делом, то не без вашей помощи. Определенно так! Более того, я хотел бы, чтобы мой сын встретился в жизни с таким, как вы сами себя назвали, партизаном-педагогом.

— Спасибо,— сказал Шагалов.— Но вы посмотрите туда. Скорее! — Он указал поднятой кофейной чашечкой за стекло.— Видите девушку в клетчатом пальто? Тоненькая, как рюмочка на высокой ножке. Обронила книжку. А парень поднял, протягивает. Он улыбнулся. Она улыбнулась. Посмотрели друг другу в глаза... Спасибо... Не за что... Все. Улыбки унес ветерок... Что вынес каждый из них из этой встречи? Что-нибудь обязательно вынес. Вот вам, ребята, прекрасная иллюстрация к тому, что век наивности всегда с нами. Сейчас он за этим окном.

— А с какой стати устроился этот непонятный суд?

— Пустое,— сказал Шагалов.— Кто-то написал, что живу не по средствам. В правлении садоводческого товарищества растерялись. Действительно что-то вроде не так. А на самом деле все так, все совершенно так, как надо. Вас я вызвал не от испуга. Пусть и им всем будет уроком. Как-никак педагогом себя считаю. Да посмотрите же вы за окно. Они стоят и разговаривают так, будто каждый с чудом столкнулся... Может, и вправду...

Виктор Николаевич сам себе виделся скучноватым и примитивно рациональным, как часы-ходики, что, впрочем, его самого никак не волновало. Но приходилось думать о том, какое впечатление производишь на окружающих. Потому, входя в купе поезда или втискиваясь в узкое аэрофлотское кресло, он не спешил завязывать знакомство с попутчиками. И на этот раз, поместившись с правого борта «Ила» рядом со спелой, интенсивно тонированной румянами и тушью дамой, он подумал, что Шагалов, наверное, сумел бы и непринужденно заговорить с соседкой, и навязать ей свое мнение, и заставить совершать поступки странные. Не исключено, что дама после встречи с Шагаловым внезапно посвятила бы остаток дней воспитанию стюардесс, в том числе наставила бы на путь истинный и эту сверкающую кольцами и парадными улыбками в разговоре с мужчинами и унылую, как лекцию о хорошем тоне, когда приходится отвечать женщинам...

— Вы из командировки? — спросила соседка. — Я вас где-то видела.

— Такое впечатление, что я вас тоже.

— А что вы везете в таком странном бумажном пакете?

— Синюю розу. Ту самую, какой вроде бы и на свете не должно быть.

— Пойдите, пойдите! Неужто и вы были там, где показал характер загадочный старичок?..

— Я хорошо знаю этого человека. Он действительно немолод. Значит, мы там с вами виделись. Что вас привело в комнату с коричневым полом?

— Я работаю в газете. И старичок мне понравился. Может получится забавный материал на нравственно-этическую тему. Только о каком веке наивности он все время толковал?

— Век наивности — это так просто. Если вы сейчас искренне улыбнетесь мне, а я вам — мы сразу же окажемся на подступах к этому веку...

— Лирика?

— Да нет, практика.

Синюю розу, выдержанную в растворе аспирина, Виктор Николаевич довез домой неувявшей. Жена, очень похожая на лукавую лисичку, подержала цветок в руке, укололась о шип и сказала:

— Да она злая! Но вообще — оригинально.

И забыла цветок на белом пластиковом кухонном столе.

Когда в спальне погас свет, Виктор Николаевич, стараясь не шуметь, налил в вазу теплой воды, опустил туда два пятака и аккуратно поставил розу. И верилось ему, что гостья из века наивности не завянет, продержится еще дня два. А лучше три.



АНАТОЛ ИМЕРМАНИС



ЛАТВИЯ

С латышского

Латвия! Не говори, что тебя забываю,
что лишь на звезды смотрю белым днем и в ночи.
Села твои, города, и поля, и ручьи
держат сильнее, чем совесть и разум. Я знаю,

не позабыть нам вовеки родного гнезда,
сколько бы в небе заботливым мы ни летали.
Море любя, покоряя далекие дали,
берег, взлелеявший нас, вспоминаем всегда.

Вместо напитка беру я с собою глоток
радости сладкой твоей и горчайшего горя.
В гуле Венеры услышу я шепоты моря.
В пустоши Марса увижу ржаной колосок.

Чем беспредельней дорога, чем дальше она
в синие бездны ведет от порога родного,
тем горячее твоя речь и отчетливее слово,
тем красота твоя; Латвия, резче видна.

* *
*

Когда б мы знали, что прекрасный миг
исчезнет вместе с легким дуновеньем
ночного ветра, хрупкое мгновенье
хранил бы каждый, кто пропущен в мир.

Как пчелы собирают желтый мед
в глубокие таинственные соты,
копили б мы лучи любви и солнца
в своих сердцах.
Чтоб годы напролет

сияла в небе яркая звезда.
Мы думаем, что до скончанья века
продлится миг, однако с шумом ветра
мгновенье улетает навсегда...

Перевела НАТАЛИЯ БАБИЦКАЯ.

ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН

★

ТРИ РАССКАЗА

Старые шрамы

Знойный летний день. На берегу реки, на золотом песке лежат двое. Взрослый и ребенок. Мальчик нерешительно трогает плечо дядьки.

— Что это у тебя?

— Шрамы, как видишь! Шрамы, Женька!

— Ух ты, шершавые! — удивляется тот, трогая шрамы. Их три. Кожа на них стянута. Они розовато-фиолетовыми длинными бороздками бегут по левому плечу вниз почти до самого локтя.

— Они у тебя навсегда?

— Должно быть, — отзывается дядька, огребая себя со всех сторон теплым песком.

Племянник тоже зарывается в песок. Он закупался. Подбородок посинел и подрагивает. Бока часто-часто ходят.

— А тебе не больно? — спрашивает он. Капли с подбородка падают на песок, оставляя лунки.

— Нет, старичок, не больно.

— Хы, — ухмыляется Женья.

Насмешник дядя Костик. То мать с отцом стариками зовет, то его. Но Женья не обижается. Он даже не против, если бы дядька у них на всю зиму остался или навсегда. Он бы ему свою кровать уступил и большую подушку. Только ведь дядька снова к себе на Донбасс уедет. Сейчас, когда дядя Костя с ним, Грищенков с Коржевским его стороной обходят, а потом опять задирать начнут.

Женья вздыхает и чешет глаз.

— Что, старик, война вспомнилась?

Он проводит по ребрам Жени, как по клавишам. Женья, закрыв глаза, хохочет.

— Ну вот же. Что тут смешного? Я с ним серьезно, как солдат с солдатом. Рядовой Синицын, оставь смешочки!

Но Женья заливается. Он и сам не знает, с чего его разобрало. Смешно и все.

Дядька садится, порывшись в песке, отыскивает гладыш и, прищурившись, пускает его по речке. Гладыш со свистом пролетает над лозняком и шлепается в воду.

— Не так! Не так!

Женья проворно вскакивает.

— Гляди.

Он размахивается и пускает гладыш по реке.

— Считай! Раз, два, три, четыре... Видал!

Гладыш в последний раз всплескивает у противоположного берега — желтого, отвесного, изрытого пещерками ласточек-береговушек.

— Вот это да! Это я понимаю,— восхищается дядька.— Тут уж ничего не скажешь. Наши парни не зря доверяли... Глаз никогда тебе не изменял. В этом уж мы с ребятами убедились на Лысой горе. Как ты там врагов колошматил!

— Ну хватит, дядя Костик..

— Что, забыл?

«Вот ведь какой выдумщик»,— думает Женя.

— Да, брат, было дело.

Дядька что-то насвистывает, ковыряя песок.

— Женька,— говорит вдруг он,— а не помнишь ли ты Васю из Таганрога? Вася-Василек? Ну что нас гитарой веселил. Хороший парень был. Как говорится, пухом ему земля. А Ваню Зайцева. Тоже не помнишь? Эх ты, солдат! Хотя времени, времени-то сколько прошло!

Женя пытается возразить, что он ни Васю-Василька из Таганрога, ни Ваню Зайцева не знает. Ему ведь только восемь. Даже отец его не воевал, не то что он.

Дядька смотрит на Женю как-то недоверчиво. Что ты, мол, сказки мне рассказываешь?

— Может, будешь убеждать, что не ты меня в медсанбат на себя тацил? — спрашивает он строго.

— Но ведь так не бывает,— протестует Женя.— Меня же тогда совсем еще не было.

— Все бывает, старичок. Просто наша память такой уж несовершенный инструмент. Забываешь порой, что говоришь, что делаешь. Разве не так?

«Это так»,— соглашается про себя Женя, все еще недоверчиво поглядывая на дядьку-насмешника. Вот его, к примеру, вызвали к доске стихотворение прочесть. Пять раз дома повторил, а вышел — забыл. Марина Ильинична двойку поставила, он сразу и вспомнил. Да там и запоминать-то нечего: «Вся степь — колхозный ток, скирды, скирды вокруг — на север, на восток, на запад и на юг. От неба до земли стоит железный гуд. И тракторы вдали, как танки бой ведут...» Это правда, что можно забыть, и совсем в неподходящий момент.

— А ты знаешь, Женька, что мы с тобой уже жили. Да! Ведь это враки, что умираем навсегда. Ты ведь не веришь в смерть, правда?

— Правда,— соглашается Женя.

Ему вдруг становится страшно. Ему всегда страшно, когда говорят о смерти.

— И я уже жил? — спрашивает Женя, и все в нем холодеет.

— Конечно. И ты, и я. И снова будем жить. Как вот это небо, как вот эти деревья. Понимаешь, ничто не исчезает навсегда, все повторяется. Только в ином качестве.

— Ух здорово! — говорит радостно Женя, чувствуя, как из живота разом уходит холод. Он никогда раньше не слышал об этом. Он думал, что умирают насовсем, как соседский Иван Иванович. Отвезли на кладбище, и больше не видать. Только фотокарточка на стене. В очках и с бородкой. Так, значит, и Иван Иванович снова еще будет? И Джульбарс, который под машину попал? А может, дядька просто смеется над ним?

Женя смотрит на дядьку, но глаза у того совсем серьезные.

— Да, брат. Так ты не удивляйся, что про войну забыл. Про нее тебе и не с кем вспомнить, как только со мной. Нога-то как твоя после ранения? — спрашивает неожиданно он и трогает колено.— Сильно ушибло тогда тебя!

— Когда? — спрашивает с тревогой Женя.

— Когда мы с тобой от сопки пробирались.

— От какой сопки?

— Известное дело: от Лысой! Под Кандалакшей была такая. У этой самой Лысой сопки, или там горы, и стоял наш с тобой минометный расчет. Я, ты (Женя при упоминании своего имени нетерпеливо

ерзает на песке), Ваня Заяц и Вася-Василек. В таком составе и лежали мы вокруг своего орудия. Васю и Ваню убило. Потом и меня шлепнуло. Но уже под Кенигсбергом.

— А меня? — спрашивает с тревогой Женя.

— Ну, тебя уже на другом фронте. Кажется, на Дунае. Кто-то из дружков мне даже написал тогда: так, мол, и так, твой дорогой племянник пал смертью храбрых.

Женя громко потянул носом воздух и сжал кулаки.

— А меня сразу убило?

— Вот этого, дорогой, не скажу.

Женя снова громко дернул носом.

— А мама не знала ничего?

— Может, и не знала. Как почта тогда работала! Бойца давно уже и в живых нет, а письма ему все идут и идут. Дело известное — война...

Дядька лег на спину, подложив ладони под голову. Женя тоже так лег. Животу стало хорошо. Женя смотрел на небо. Там плыли маленькие облака.

— Вот такая же тишь тогда стояла. Только с той разницей, что сейчас жара, а тогда мороз жег. За тридцать градусов. Слышно даже было, как звезды шуршат.

Дядька повернулся на бок, разгреб ладонями песок, обдул щечочку, найденную тут же.

— Вот здесь стоял наш расчет, — он чиркнул щечочкой раз, — а вот тут, — он дважды чиркнул щечочкой, — их линия. Впереди — поле, позади — сопка. Как начнут с утра, так до вечера: бьют и бьют. Все пугали нас. Ну а мы привыкли уже.

— А мы стреляли по ним?

— Еще как! Мы, брат, там столько понаделали делов!

— А тебя за войну наградили чем-нибудь?

— Ишь, спорый какой! — Дядька отряхнул со щепки налипший песок.

— Тебя там ранило, да?

— Там. Ты как раз куда-то отлучился, а меня той минутой и ранило и контузило сразу. Очнулся, зову — никого. И темень адская. Думаю: может, глаза потерял? И от страха еще сильнее ору.

— А я где был?

— А кто тебя знает. Может, к ребятам в соседний взвод за табачком бегал.

— Не, я не курю! — возражает Женя.

— Да не для себя. Для дядьки своего, может быть. Так вот, лежу и кричу на всю округу. А они на мой голос еще крепче заработали. Ну, думаю, все, крышка, братец. А тут как раз ты объявился. «Живой?» — кричишь. А у меня уж и сил нет ответить. Видишь ты такое дело — распорол свою гимнастерку, обмотал раненого бойца, взвалил на себя — и к своим. Ты, должен сказать, настоящим товарищем был. Друга в беде никогда не бросал...

Женя хотел было ответить, что он и сейчас такой, но тут над головой начал кружить овод.

Женя вскочил, замахал руками.

— Пошел отсюда. Ну!

Овод отпрянул в сторону и там, над кустарником, продолжал недовольно гудеть.

— Так вот, — продолжал дядька, когда племянник вернулся на свое место, — взвалил ты меня на спину и — к своим. До них и не так далеко, да плохо добираться. На виду все. Немцы, правда, «заботились» о нас: подсвечивали, боялись, как бы мы в темноте не заблудились. Я кричу тебе: «Брось меня, сам добирайся!» А тут как раз снаряд рядом угодил. И ты упал, обхватив ногу.

Овод снова подлетел и завис над ними.

— Ах ты, негодный, — закричал племянник, пытаясь сбить овода.

— Скажи, какой нахальный! — изумился дядька, поворачиваясь на бок, с любопытством следя за поединком.

— На тебе, на! — Женя размахивал над головой майкой. Он задел овода и тот глухо шлепнулся на песок, но не успел Женя набежать, чтобы растоптать его, как овод взлетел, резко уходя в сторону.

— Теперь не придет, — уверенно сказал дядька.

— Ух ты, — вздохнул облегченно Женя, садясь рядом с ним. — А когда меня в ногу ранило, я кричал или чего? — спросил Женька с замиранием сердца.

— Ты молчал, как и подобает настоящему мужчине. Губы закусил и молчал. Передохнули мы с тобой и дальше поползли. Как сейчас помню, говорю я тебе: «Оставь меня, Коля, оставь, дорогой!»

— Почему Коля? — удивился Женька.

— Ах да, — спохватился дядька, — но ведь тогда, до первой смерти, у нас другие имена были. Ты был Коля, а я — Степан.

— И фамилии у нас другие были, да?

— Нет, фамилии эти же самые. А то как бы мы нашли друг друга?

— Дядя, скажи, а ты Ваню Зайца и Васю-Василька так и не нашел, как их убили?

— Пока нет, — сознался дядька. — Во все адресные столы запросы сделал. Пока ни ответа, ни привета. Думаю еще через газету попробовать. Должен найти! Тебя вот же нашел. Сколько искал, а нашел. Кто хочет, тот, известное дело, всегда найдет. Было бы желание, старичок!

— А что я ответил, когда ты попросил бросить тебя? — вернул дядьку к прежнему рассказу племянник.

— Да ты и слушать не стал. «Молчи!» — говоришь, а сам ползешь, а они ракеты поразвесили, словно на карнавале. И то и дело пах да трах. Все стреляют по нас. Ну, мы с тобой дали им немножко потешиться и дальше потихоньку, помаленьку. Так до своих и добрались. А там меня перевязали, в брезентовую лодку уложили и на собаках дальше в медсанбат.

— А у миномета кто же остался, когда мы с тобой ушли? — заволокнулся Женя.

— А к миномету ты вернулся. Попробовали было тебя отговорить: нога ушиблена, мол, подлечить нужно, да ты ни в какую.

«Эх, услышал бы Грищенков с Коржевским, — подумал Женька, — сразу бы перестали задирать».

— Потом в газете я читал, как ты там сражался, да и ребята, что в госпитале рядом лежали, много о тебе говорили. А мне, представляешь, какая радость! Не так лекарство и доктора лечат, как добрые вести. Вскоре и я из госпиталя встал. Неудобно все же перед племянником. И пошел дальше воевать. Тут я тебя и потерял из вида. — Дядька вздохнул: — Ты ведь знаешь, каково без друга.

— Знаю, — соглашается племянник.

— Скажи, а медали у нас с тобой есть? — вдруг спохватывается он.

— Чего нет, старичок, того нет. Сам понимаешь: все бои да бои. В спешке, видать, и забыли про нас.

— А может, не успели вручить? — спрашивает с надеждой племянник.

— Тоже вполне может быть, — соглашается дядька, — потом, смотришь, в газете: «Спустя столько-то лет награда нашла героя». Бывает? Бывает! И еще сколько угодно.

Дядька хлопает Женьку по спине:

— Но если и не найдут нас с тобой медали — не больно огорчайся. Ради них разве воевали?.. Вот награда нам, — он широко обводит рукой небо, реку, поле. — Это все наше, братец! Во веки веков. О какой еще награде нам мечтать! А сейчас пойдем-ка, дорогой, купаться!

Дядька резко отжимает свое сильное, крепкое тело.

— Пойдем! — радостно кричит Женька.
Он тотчас вскакивает и, разбрасывая ногами песок, несется к реке, озираясь: как бы не обогнал его дядька!

Утренний разговор

Открыв глаза, я вижу, как в печке гудит ровный огонь и Федосья подсаживает к нему чугунок. Что-то шепчет, замороженная пламенем. У нее уже не осталось ни одного зуба, рот втянулся, подбородок выдался вперед. Стара, но зорек еще ум. И давно отжитое для нее, как для меня день вчерашний. Помнит, например, в какой жилетке выходил на крыльцо своего богатого дома киселевский барин. Помнит, на какой кобыле уезжал с родного двора на первую империалистическую ее отец Иван Хрисанович. Все чаще, все охотнее вспоминает она свое детство, свои молодые годы.

Я ворочаюсь в кровати, и Федосья, чуткая на ухо, заглядывает в горницу.

— Проснулся, милоч!

В глубоких глазницах высверкивают узкие карие глаза. Они не потеряли своего блеска и живости.

— Вставай. Я уж и оладушек напекла. А за селедочку тебе еще раз спасибошки. Я с Игнаткиной Настей поделилась. Вкуса еды не чувствует. Может, селедочка и наладит.

Еще рано. За окном трава в серебристой густой росе. Там холодно. Я успею, как и обещал, наколоть старухе дров. Но сейчас хочется дремать, слушать высокий гуд русской печки.

Баба разговаривает сама с собой. Она уже привыкла жить одна. Ее старые дети давно прикипели к другим местам. Изредка, чаще всего летом, наезжают в гости. Зовут к себе. Зовет и сын Алексей и дочь Анна. Но если бы и перебралась баба Федосья к кому, так это ко внуку Олегу, Алексею последышу. Моряк он, служит офицером на подводной лодке. Вот кому лихо так лихо, вот кому бы подсобила она с превеликой охотой. Да больно страшно трогаться в такую даль. А если умрешь! Хлопот-то сколько. Слышала, что землю там долбят. Все камень да камень. Долбят да костры жгут. Одно слово — Север.

Нет, куда не тронется из своей Киселевки баба Федосья. Крепко держит ее родная деревня, в которой-то и осталось с пяток дворов. Но и эти, видать, доживают свое. Те, кто помоложе, давно перебрались на центральную усадьбу в Глазовку. Там клуб, баня, магазин, там и фельдшер. Там наверняка будет лучше старому человеку. Все под рукой, опять же не так одиноко, среди людей. А тут завалит снегом, ни проехать, ни пройти. За буханкой хлеба сходить в сельмаг и то проблема.

Уж сколько раз говорил я бабе Федосье, нечего, мол, держаться за Киселевку. Хоть последние годы поживешь по-человечески, но она отмахивается от моих слов, как от пустого.

— А тут чем не жизнь? Чего мне тут не хватает? Сыта, обута, радио круглый день в стене поет.

— Так ведь скучно, бабушка, тут!

— И-и, милоч,— возражает баба Федосья,— коли одна жила бы я тут. А то ведь семеро нас.— И она загибает пальцы, в который уже раз перечисляя соседей: — Марусевы, Игнаткина Настя, Прокудины, Зинаида Соловьева да вот я. И потом, милоч, никак нельзя нам отселе уходить.

— Это почему же?

— А потому, милоч, нельзя,— словно сердясь на мою непонятливость, поясняет баба Федосья,— что покуда мы тут, так и земля наша живая. И деревня наша как-то значитя. А коли съедем отсель, будет голое место. Вон из Нагаевки съехали, так там чистое поле теперь,

овес сеют. Будто отродясь не было этой самой Нагаевки. И люди там никогдашеньки не рождались... Так что мы покуда обождем. Может, и другой приказ выйдет. Всем, кто откуда вышел, возвращаться по своим местам. Мы тут их и встренем. А может, и без приказа, по своей воле надумает вернуться человек. Сама вон сколько раз по радио слышала. Сейчас об этом частенько толкуют.

Ах, Федосья, ах, баба Федосья, как хочется верить тебе, что с твоим уходом, с уходом твоих товарок-соседок с этой земли не опустеет, не осиротит твоя Киселевка, что снова возродится в ней жизнь, будут кричать и озоровать пацаны, будут плакать и жаловаться на свою долю бабы, будут хорохориться, пить горькое вино и горланить отчаянные песни мужики... Как хочется мне, чтобы осталась услышанной эта твоя потаенная мольба!

С Федосей знаком я года три или четыре. Приезжали сюда всем институтом убирать картошку. И моему товарищу, любителю всяких бывальщин, поглянулась эта старуха. Он и затащил меня к ней. Теперь товарищ мой далеко. В командировке, в жаркой Африке. И там среди слонов и крокодилов, должно быть, и думать забыл про Федосью. А я нет-нет да и загляну к ней. Благо это недалеко от города — часа полтора езды автобусом да километров пять ходьбы проселком.

Я и сам не знаю, что тынет меня сюда? Быть может, эта нехитрая сельская картина: неторопливая, скорее даже медлительная речка Жижала, качающая вдоль берегов узкие густо-зеленые полосы осоки с редким гусиным пухом на остриях, гулкой мосток, по-местному лава, взгорье, и на нем за белыми, литыми телами берез те немногие, довольно еще добротные, но уже и начавшие понемногу дряхлеть дома Киселевки?

Или сама баба Федосья с ее умением радоваться каждому грядущему, каждому прожитому дню. Спокойно и как-то ладно на душе возле этой славной старухи. И невольно думаешь: но что же, что сеет в ее душу этот неубывающий свет любви, добра и сострадания?

Федосья заглядывает в горницу, сдвигает в сторону чистую, местами штопанную занавеску, говорит с тихой радостью:

— Ты полюбуйся, какой денек ноне!

Баба Федосья, как и все старухи, раноставка, и я знаю, что она утром уже смоталась в ближайший, прямо тут же за дворами, лесок за хворостом. Сквозь дрему я слышал, как она шуршала у крыльца сухими ветками, возбужденно о чем-то говорила. Я и знать не знал, что приключилось с ней в лесу нынешним утром.

— Я хотела еще давеча тебе рассказать,— вспоминает баба Федосья утреннее происшествие,— да жаль было тревожить, больно сладко спал.

— Что же там с тобой случилось? — спрашиваю я.

— А ты послушай только,— охотно отзывается баба Федосья.— Набрала я хворосту в лесу, вышла на дорогу и вижу — навстречу он. Да так важно, так красиво ступает, будто и не житель земной. Батюшки светы! Скинула я вязанку, перекрестилась.

Голос Федосьи торжествен. И я теряюсь в догадках, кого же встретила она там такой ранью.

— Идет посеред дороги,— продолжает Федосья свой рассказ,— будто ему одному она и принадлежит. Идет, головой качает, словно думу какую долгую думает. И так уж от меня, что и поздоровкаться можно. Я и говорю ему: здравствуй, красавец, далеко, мол, путь держишь? Он остановился и смотрит на меня своими глазницами. Тут слухов не было, чтобы он кого-либо трогал. Так чего мне его бояться. Я на роги его смотрю, а он их к земле клонит. Мне, старухе, поклон бьет. Это хорошо, говорю ему, коли не гордый. Господь гордым протыивается, смиренным же дает благодать. А он головой своей мохнатой трясет, стало быть, не совсем согласный. И опять на меня смотрит, будто ждет чего. Ну что тебе, батюшка, сказать? А он все ждет, до-

рогу мне заступив. Вон мой дом, говорю, за спинушкой твоей, коли хочешь, пойдем? Покормлю чем. А он опять головой потряхивает. Премного, мол, благодарен. Ну смотри, коли так. А если не в обиде, батюшка, то уступи-ка старухе дорогу. А он и не думает трогаться. Ну, коли, говорю, интересно со мной, давай постоим. Он-то ко мне голову свою посунул, молчаком обнюхал. Ну же, говорю, милый, не в канаву же мне, старухе, лезть, помоложе бы была. Подвинулся тогда он, на зелена переступил, путь мне высвободил. Вот спасибушки тебе за понятливость твою. А он опять голову клонит, да ушами шевелит, стало быть, прощается со мной. И пошли мы в разные стороны. Остановилась я вязанку перекинуть, гляжу, и он пристал, в мою сторону смотрит. Бывай, говорю, батюшка, храни тебя господь! Не знаю уж, слышал ли, нет ли, он меня. Да только почудился мне голос ответный. Да чистый, звонкий. Незнамо какой!

Глаза Федосьи становятся по-детски восторженными. Она в беспокойстве теребит широкую в оборках юбку, всплескивает руками.

Я представляю себе бабу Федосью на красной осенней дороге, посреди предзимних в инее полей, ее утренний разговор с лосем. И на душе становится отрадно и легко.

Помоги подняться

Нет, определенно Арсения Чуносова бес попутал. И сдалась ему эта Зиночка Вагреева. Да и вообще, если бы знал, что все так обернется, он бы эту Зиночку-Зинулю за три километра обходил. Несмотря на всю ее красу и прочие прелести. Но недаром говорится, кабы знать, где упасть. Теперь же факт остается фактом. Жена застала его с Зиной Вагреевой. Да где? В собственной двухкомнатной квартире.

Дело было так. В пятницу Арсений уходил с базы последним. Поставил к стенке свой «ЗИЛ» с красным флажком ударника на дверце. По привычке в диспетчерскую к Зиночке заглянул. Глядь — возле нее Юрка Трефелев. На столе пиво, таранка. Та, что Юрка из отпуска, с Азовского моря приволок. Арсений как вспомнил вкус той таранки, так слюна набежала.

— Может, смотаться еще за пивцом? — этак ненавязчиво, как бы между прочим, предложил Арсений. Кто знает, какие интересы Трефелев преследует. Зачем мешать человеку? Тем более холостому.

— Давай! Рискни,— согласился Трефелев.

Как ни странно, несмотря на предвыходной день, пиво он достал. Каких-нибудь полчаса назад его привезли в магазин напротив. Правда, пришлось малость постоять — мужики уже пронюхали про пиво и набежали.

— Смотри ж ты,— изумился Трефелев, завидев Арсения с пивом,— а я за ним к черту на кулички мотался.

— Так это ты,— заметил Арсений, победоносно взглянув на Юрку, примащиваясь к столу, поводя беспокойно шеей, словно бы высвобождаясь из тесного ворота рубашки, хотя он и был расстегнут. Волновала все же его Зиночка Вагреева! Да и его ли одного?

Выпили пиво. Юрке надо было встречать какого-то родственника, он и рванул на вокзал. Так что Чуносков оказался поневоле провожатым.

— Слушай, Арсений,— сказала Зиночка Вагреева за порогом автобазы,— а ты никак зажал новоселье? Ну и ну! Вот и хлопочи после за таких!

Зиночка была в месткоме, и Арсений от нее первой узнал о том, что ему дают квартиру. Он тогда на радостях чмокнул ее в щечку, собиравшись даже по этому поводу подарить коробку дорогих шоколадных конфет, но, как это всегда бывает, закрутился, забегался, забыл про конфеты и все прочее. Арсений начал объяснять Зиночке, что

новоселья как такового еще не было, но Зиночка своими черными, обжигающими душу глазами лукаво, снисходительно, мол, сказывай, поглядывала на Арсения. И словно бы не слушая его оправданий, сказала:

— Хоть бы взглянуть, как ты там устроился?

Эти ее слова и имели для Арсения роковое последствие.

— Так в чем дело, давай зайдем,— предложил он.

Зиночка не стала отказываться, не стала говорить, что пошутила, не стала спрашивать, как отнесется к этому жена.

Поскольку это было по пути, Арсений заскочил в универсам, взял бутылочку молдавского коньяка, с полкило разных конфет, сыру, еще кое-что по мелочи, положил все это в просторную Зиночкину сумку и, подхватив красавицу под руку, увлек ее к автобусу, ходившему в их новый микрорайон с большими интервалами.

Они хорошо, душевно посидели. Где-то в начале одиннадцатого Зиночка засобиравлась домой, но он отговорил ее.

— Места, что ли, мало. Я в спальне на раскладушке, ты тут, в зале, располагайся, отдыхай,— говорил Чуносков, избегая испытующего Зиночкиного взгляда.— Бояться тебе в моем доме нечего. Приставать не буду.

Зиночка, конечно же, не верила его словам. И правильно делала! Чего он там, в спальне, забыл? Да и не пробраться сейчас в эту спальню. Завалена всяким скарбом. Не разобрались еще.

Зиночка, разумеется, немного поломалась, пристыдила за нескромное предложение и согласилась остаться. Жила Зина в общежитии и держать ответа было не перед кем. Арсений недолго думая разбросил посреди комнаты диван-кровать и позвал Зину.

— Только без глупостей,— сразу же предупредила она,— иначе уйду! Договорились?

Арсений, клятвенно ударив кулаком в грудь, заявил, что ее воля превыше всего. Но спать он Зиночке, конечно, не дал, непрерывно тормоша ее. Угомонился Арсений лишь под самое утро. Как-то вмиг впал в сладостное забытие. И все остальное, что приключилось с ним дальше, хотел бы обратить в сон.

Открыв глаза то ли от щелчка замка, то ли от какого-то еще постороннего звука, Арсений увидел над собой широко распахнутые глаза Наташки. Он не сразу смог сообразить, как жена оказалась здесь. Третьего дня он проводил ее к матери, где она собиралась провести пару недель...

Вначале он решил, что ему пригрезилось. Он провел ладонью по глазам. Жена не исчезала, лишь слегка качнулась и неслышной тенью вплыла в дверь кухни. У Арсения пересохло в горле. Он толкнул Зиночку в бок, та, увидев приоткрытую дверь кухни, без слов поняла ситуацию, тотчас схватила свою одежду в охапку и, прикрывшись ею, юркнула в коридор. Арсений торопливо напялил брюки и босиком прошлепал в кухню, все еще не веря в чудовищность случившегося. Жена сидела спиной к нему, подперев голову руками.

— Слышь, Наталья,— сказал он, с трудом выталкивая слова, не узнавая своего голоса, таким он был чужим и странным.— Слышь, Наталья,— повторил он, приготовясь к объяснению, хотя сам еще толком не знал, что же такое разумное скажет ей.— Понимаешь, это моя знакомая... Вместе в школе учились. Приехала к тетке. В гости. А та уехала. Ключ с собой увезла. А я, понимаешь, встретил ее на вокзале. Ей ночевать негде. Я и позвал ее. Она, конечно, отказывалась. Я, конечно, сделал глупость. А где ей было ночевать?

Арсений понимал, насколько фантастически неправдоподобен весь его рассказ, но другого выхода он пока не видел.

Арсений ждал, что Наталья раскричится на весь дом, обзовет самыми последними словами, хотя он прежде никогда не слышал их от нее, наконец, закатит истошную, невиданную доселе истерику, хотя и самых рядовых за ней не водилось — все это было бы естественным, и ему бы легче стало от этого, но она сидела словно закамневшая, все в одной и той же позе, не шелохнувшись, все такая же застывшая, и это-то убивало его. Он, должно быть, еще с час убеждал ее, плел как умел, а в семь утра, чуть ли не обезумев от ее молчания, выскочил на улицу, схватил подвернувшееся такси и дунул к Юрке Трефелеву. Юрка еще не очухался от сладкого сна, бормотал, бурдел, что Арсений приперся в такую рань, не совсем понимая, чего от него хотят. Арсений попросил воды. Разглядев необычную бледность приятеля, и видя, как мандражируют у того пальцы, Юрка наконец побравшим голосом спросил, что там такое с ним случилось. Ну и Арсений выложил все как на духу.

— Насчет Зиночки ты, конечно, молоток, — утрюмо похвалил Юрка, — она мне вон сколько мозги пудрила, все недотрогу из себя корчила. А ты ее с ходу в оборот. Молоток, молоток!

Нужна была Арсению эта похвала! Требовалось другое. Совет. За ним и прикатил он к своему приятелю. А тот только интересовался деталями. Что, мол, да как? И Арсений, все больше чумая от случившегося с ним, как автомат повторял одно и то же.

— Говоришь, открываешь глаза, а она над тобой?

— Ну да!

— А Зинка чего же?

— Да дрыхнет Зинка, чего же ей?

— Ну, а Наталья что?

— Ничего!

— Буквально ничего!?

— Ни слова.

— Ну да?

— А потом, когда на кухне ты стал заливать ей, она чего?

— Да ничего! Молчит, будто в рот воды набрала.

— Вот это баба! А раз так, ты и скажи ей, мол, ничего с тобой не было. Что все это ей померещилось, пригрезилось там, — заржал Юрка. — Устала с дороги, и всякая такая чертовщина, чепуха привиделась.

— Да ты что, за дурака меня принимаешь?

— А ты меня за кого? — взъерепенился в свою очередь Юрка. — Заварил кашу, так сам и расхлебывай!

Так ни до чего и не договорились. Проснулся родственник Трефелева — длинный утрюмый мужик с чубчиком-скобочкой на правый глаз. Поскреб грудь, кивнул обоим в знак приветствия и поинтересовался: не осталось ли там чего? Юрка принес остатки «Столичной».

— Я, ребята, пас, — сразу же заявил Чуносков.

— И зря! — заметил Трефелев. — Очень хорошее средство при стрессах!

— Тогда ладно, плесни чуток, — согласился Арсений, надеясь, что вино на какое-то время отключит от случившегося, а там, глядишь, и наведет на умную мыслишку.

Они допили то, что было. Затем заглянули в пивной ларек у базара. Взяли пива, будь оно трижды неладно. С него-то все и началось.

Пока Юрка плел кружева с молоденькой продавщицей, Чуносков накоротке поведал тревелевскому родственнику о своей беде, решив, что, быть может, этот в виду битый мужичок что-нибудь дельное да присоветует. Тот молчаливо выслушал, сделал добрый глоток.

— Да, парень, тебе не позавидуешь! Доведись до моей бабы, так

она бы враз к едрене-фене вышвырнула. Бабы такого не прощают. Ни в жисть! Иное дело — услышать, а тут своими собственными глазами. Теперь ты из доверия вышел. Можно сказать — начисто! И что тебе делать, тоже не подскажу... Это все равно, как бы нес ты чего-то такое дорогое. Ну, кувшин, скажем. Споткнулся и обронил. И от него, кувшина того, одни черепушечки. Склеить, ясное дело, можно. Да проку что? Склеенный кувшин он и есть склеенный. Ничего туда ни положить, ни поставить, потому как веры нет, что выдержит. Если уж только так, для блезиру держать...

Тожe мне доморощенный Хайям, подумал Чуносoв, испытывая к тrefелевскому родственнику непонятную злость. Хотя в чем он виноват? В том, что несколько образно сказал ему жестокую правду? Но Арсений и сам, пусть по-иному, о том же самом думал. Однако слова, услышанные от другого, прозвучали как убийственный приговор. И он вдруг со всей отчетливостью понял, что не будет больше для него прежних Наташкиных ласк, ее легкости, веселости, всего того, что так нравилось в ней Арсению, что делало жизнь рядом с ней радостной, беззаботной. Шло это, как не раз думал он, от доверчивого покладистого Наташкиного характера. Всякое в их жизни было. Особенно по молодости. И денег до зарплаты не хватало. И по чужим углам намотались вдосталь. Арсений, бывало, ни с того ни с сего сорвется, накричит, а Наташка кротко так глянет, будто в том ее вина, да скажет: «Ничего, Арсеша, все будет хорошо».

Странно, но она могла убедить. И он верил ее словам. Потому что, как правило, по ее и выходило. И с квартирой у них все образовалось, и с деньгами тоже. Он даже вслух о машине стал мечтать.

— Будет у нас, Арсеша, и машина. Все как у людей будет. Все будет хорошо,— говорила Наташка.

И он представлял, как они сядут всей семьей в свою лайбу и покатают куда-нибудь на юг. И Наташка будет сидеть и любоваться им, тем, как быстро и красиво ведет он машину, как вынослив и спокоен он. Ну, а ему, что же, будет радостно видеть и чувствовать это, потому что Наташка его самая любимая, самая желанная женщина, которую он никогда ни на кого не променяет. Да она и сама прекрасно об этом знает.

Теперь же ничего этого не будет. Ни машины, ни поездки, ни Наташкиных ободряющих слов. Черт с ней, с машиной, с этой железкой. Он готов эту предназначенную ему машину хоть сейчас отдать любому, кто бы спас его, вернул такую простую и ясную прежнюю жизнь. Вернул бы ему его Наташку. То, что он безвозвратно теряет ее, было теперь очевидно. Арсений чуть было не застонал.

— Не обижайтесь, мужики,— сказал он Тrefелеву и его родственнику и бесцельно побрел прочь от базара, думая о том, как, если это вообще возможно, поправить случившееся.

Он никогда и в мыслях не допускал, что с Наташкой может случиться что-то плохое. Но сейчас без всякого страха и содрогания кидал ее, бедную, в пучину всевозможных напастей. То представил, как замешкавшейся на рельсах Наташке отрезет ногу, то как она, упав с какой-нибудь лестницы, повредит позвоночник и останется на всю жизнь неподвижной. Так вот, что бы там с ней ни случилось, он ни за что не оставит ее. Не оставит, чтоб ему тут умереть! И тогда Наташка поймет: все, что случилось между ним и Вагреевой,— суцья ерунда. Любит-то он только ее, Наташку. И тогда она простит.

Но тут он не на шутку испугался, что таким образом может настоящему навлечь на жену беду. Арсений остановился и, глянув по сторонам, трижды поплевал через левое плечо. Нет, ему не хотелось уродовать прекрасное, желанное Наташкино тело. Пусть оно всегда остается таким красивым, каким он знал и любил его. Пусть, даже если придется ему испить свою горькую чашу.

Он изрядно еще покружил по городу, чтобы хоть как-то на время забыть случившееся, зашел в городской сад, побродил по комнате смеха, узнавая и не узнавая свою вытянувшуюся физиономию, пострелял из духового ружья в тире — но разве забудешь!

Устав вконец и от тягостных дум, и от долгой, бесполезной ходьбы, он потихоньку побрел к дому.

Он надеялся, что жены нет дома. Выскочила, как всегда, в магазин или еще куда. Но она была тут. Стирала в ванне. Арсений протопал на кухню, уселся на табуретку и так же, как жена поутру, устался в окно, подперев голову руками. Наталья тотчас вышла, включила газ, поставила на огонь чайник, вытащила из холодильника и молча поставила перед ним масло, сыр, колбасу.

— Сама-то ела? — спросил он.

Все так же молча, она прошла в ванную, плотно притворив за собой дверь.

— Да, дела! — вздохнул Арсений.

Какая там еда! Кусок не лез в горло. Арсений приоткрыл дверь в ванную, хотел вызваться помочь. И тут же поспешно закрыл.

Наталья стирала постельное белье — простыню и пододеяльник в ярких веселеньких цветочках, которые он вчера вечером достал из шкафа и галантно, как факир, разбросал по дивану, приглашая в свои альковы Зиночку Вагрееву.

— Ну и дела! — вновь приглушенно выдохнул он, бесцельно слонаясь по комнате.

Так же молча отужинали. И легли спать. Он на злополучном диване. Наталья на раскладушке в противоположном углу.

Он, конечно, не мог уснуть. Приподнявшись на локте, вглядываясь в бледневший на подушке овал ее лица, умоляюще попросил:

— Наташ, милая, я, конечно, чертовски виноват. Виноват, понимаешь! Но не молчи, ради бога, скажи хоть слово. Хоть слово скажи! Не казни, не мучь меня, слышишь!

Наталья будто языка лишилась.

Утром она так же молча поставила на стол завтрак. Арсений снова пытался заговорить, заслонил даже дорогу, но она все так же глядя мимо, легко отстранила его.

— Да скажешь ты наконец что-нибудь? — с досадой выкрикнул он и в сердцах хлопнул дверью.

В диспетчерской толпились ребята, и это увело его от ненужного разговора с Зиночкой Вагреевой, которая как ни в чем не бывало кокетничала с молодыми шоферами. Протягивая путевой лист, Зиночка испытующе поглядела на него. И Арсений чуть ли не взвыл.

Юрке Трефелеву пора уже было выезжать с базы, но он, как понял Арсений, не трогался только ради него.

— Ну и чего? — спросил Юрка, подойдя к его машине, сплевывая себе под ноги. — Заговорила наконец твоя? Выдала тебе причитающееся?

— Если бы! — отозвался нехотя Арсений. — Молчит, что рыба.

— Да ну! — воскликнул восхищенно Юрка. — Вот так баба! Вот так характер!

Вернувшись вечером домой, Арсений не застал жены. Чтобы чем-то занять себя, он взял дрель и стал сверлить в бетонной стене дырки для карнизов. Приладил карнизы, доколотил ящик для обуви, заготовки для которого сделал еще на старой квартире. Затем занялся антресолями на кухне, которую еще месяц назад обещал сделать, но — как и до карнизов, как и до обувного ящика все руки не доходили. Тянуть дальше было некуда — весь подоконник, большая часть кухонного стола были заставлены пакетами с мукой, со всякими там

крупами. Часа за полтора он управился с антресолю, перебросав туда все, что скопилось на подоконнике и столе.

Работал, как говорится, не за страх, а за совесть! Разве не хотелось ему, чтобы в квартире, которую они так долго ждали, было удобно, добротно, хорошо. Чтобы жилось им тут в радость. Ведь не безразлична же была ему жена. Любил он ее. Любил! И ни на кого не собирался менять. Что поделать, если все так несуразно вышло. И не с ним одним такое случается. Послушаешь, так и другие мужики не ангелы. Но что ему до других! Стряслось-то с ним.

Прескверно, конечно, что Наташка стала свидетельницей всего этого. Ну, а если допустить (эх, это если да кабы!), так вот, если допустить, что все осталось бы в тайне и Наташка никогда не узнала об этом? Как тогда? Смог бы он жить двойной жизнью? Урывками, тайком в общегитии или где там еще встречаться с Зиной Вагреевой, а потом как ни в чем не бывало возвращаться домой? Смог бы? Нет. Нет. И нет! Тут и гадать нечего. Если что и толкнуло на подвиги, так рассказы других мужиков про свои победы. Но, может, те в результате своих побед и обрели что-либо такое, что в корне меняло их жизнь, добавляло к ней нечто яркое, интересное, значительное. Лично он ничего не приобрел. Неужели он и вправду думал, что кто-то может быть лучше родной Наташки? Дубина! Ну и дубина! А теперь терзайся дни и ночи, думай, как выбраться из этой ямы.

Тоскливо, весьма тоскливо было на душе у Арсения Чуносова. Беда, что он по-прежнему не знал, какие слова найти, чтобы примирить Наталью со случившимся. Да и возможно ли это? Возможно ли, чтобы она поняла, трезво все рассудила и затем когда-нибудь простила...

Он рискнул вообразить ее на своем месте, поменять, так сказать, картинку. От одной этой мысли шальной Арсений сразу же почувствовал, как затвердела, застуденела в жилах кровь, замерло, а затем тяжело забухало сердце. Нет, ни в жизнь не простил бы! Так чего же тогда, собственно, хочет он от Натальи? Чего?

Сердце заныло, добром все это не кончится. Знал он характер Натальи, ее гордость, независимость. Ей ничего не стоит уйти. Наказала же его на первом году их совместной жизни, когда ходила Павлушкой. Он уже забыл, как все так забавно между августом и октябрём у него выстроилось — дни рождения, премии, проводы приятелей в армию и т. д. и т. п., что он трезвым почти не являлся. Любая баба, доведись подобное, не похвалит. Понимал он, что и Наталья не по праву. Первый раз, когда он вот так, на бровях, в их шестиметровую коммуналку въехал, посмеялась: какой же, мол, ты неуклюжий, Арсеша! Усадила, раздела, спать уложила. Второй раз смолчала, а на третий тихо, не повышая голоса, сказала, мол, ты бы отдохнул немного, милый. Да, да, милый! Не бестолковый, не дурак, или как там еще, а — милый!..

А у него, как нарочно, одно за другое продолжало цепляться: то получку вспрыснули, то чей-то костюм обмыли. Она обождала еще с полмесяца. Не корила, не бранила, а потихоньку собрала чемодан и ушла.

Он туда-сюда, тыр-пыр, а ее нигде нет. Ни у матери, ни у какой другой родни, ни у подружек, ни на работе. На работу-то ее Арсений, ошалев, кинулся, забыв, что жена в декретном.

С месяц он ее, как Штирлиц, выслеживал. Взял под наблюдение все три городских родильных дома, названивал в каждый раз по три на день, спрашивал, не привозили ли гражданку Чуносову, называясь братом, который служит в воинской части и по долгу службы не имеет пока что выхода в город. Знали бы эти нянечки или кто там еще, кто ему отвечал, какой это брат!

Встретил он ее из роддома, как и полагается мужу. На такси! С цветами! Декабрь уже был, до Нового года рукой подать. Какие там

цветы. Одни лишь крашенные метелки на колхозном рынке, а он через друзей-приятелей нашел выход на теплицу «Зеленстрой» и встречал жену с белоснежными каллами. Только в тот день, когда брал жену из роддома, и узнал о ее прибежище — тесной комнатке в аварийном доме у моста через Оку. Дом этот был хорошо ему знаком, как и хозяйка той комнаты баба Катя, у которой когда-то еще холостяком квартировал Арсений...

Баба Катя даже не взглянула на него. Будто Арсения не было и вовсе. Она почмокала в обе щеки Наташку, приоткрыла конверт, опоясанный яркой синей лентой, пытливо, изучающе взглянула в крошечное, тотчас сморщившееся личико, а на Арсения, державшего этот конверт, так и не обратила внимания. Будто и не отец он тому, кого держал в эту минуту на руках, стоя посреди небогатой комнатенки бабы Кати, помогавшей Наталье собирать в обратную дорогу чемодан, будто он, Арсений, не имеет никакого отношения к появлению этого существа на свет.

— Баба Катя, ты хотя бы поздравила, что ли? — сказал вызывающе он.

Баба Катя промолчала, затем, не отрываясь от дела, буркнула:

— Ну что ж, поздравляю. Только пускай сынок мать свою не обижает...

Арсению все разом стало ясно.

— Не обидит, бабушка, можешь быть уверена, — решительно заверил Арсений, поторапливая жену.

Сколько лет с той поры прошло? Семь? Ну да — семь! Павка нынешней осенью в школу пойдет. А видела ли хоть раз Наташка его с той поры пьяным? Нет, хотя он и не давал себе никакого зарка. В доброй компании, коли ты крепок и здоров, отчего же не выпить? А так, чтобы без всякого повода, от нечего делать? Ни-ни! И Наташке нет необходимости придерживать его и напоминать.

А как загордилась она им. Мол, наш Арсений — ударник коммунистического труда! Мол, наш Арсений в автодорожном техникуме учится! А он и в техникум пошел, и на производстве в передовики вышел, чтобы доказать ей, что есть у него и воля, и характер, что если он захочет, то всего добьется! Ему было радостно от того, какими добрыми, восхищенными глазами смотрит она на него, видел, как она верит ему. Верит во всем. И в том главном, что бывает только между двумя... Она так и говорила, не боясь слазить: «Арсений у нас однолюб!» «Э, не зарекайся», — предупреждали ее. «Отчего же не зарекаться, — упрямо возражала она, — когда я сама знаю». «Мало ли чего знаешь!» — «А я вот знаю, я перед свадьбой к гадалке ходила». — «Нашла тоже, кому верить!» «А я вот верю и буду верить», — запальчиво говорила она.

Арсений вспомнил Наташкины глаза, ее улыбку и в бессильной злобе выкинул перед собой кулаки. Свинья, какая же он свинья! Как же подбил он ее... И как теперь выходить ему из этого жуткого положения. Нет, конечно, любые слова тут бесполезны. Слова — шелуха. Тут что-то другое надо. Дело какое-нибудь, поступок. Он готов сейчас на все, лишь бы искупить вину, доказать Наташке, как дорожит он ею, как нужна, позарез нужна она ему. Скажи — так он сейчас не задумываясь шаркнет вниз с пятого этажа. Лишь бы только поверила, простила.

Чуносов приблизился к потемневшему окну, сиротливо вглядываясь в глухую улицу, затем взглянул на часы — стрелки близились к одиннадцати. Так поздно жена еще не приходила. Где она могла быть?

Им овладело беспокойство. Он пробежал по углам, заглянул в темную комнату. Сумки, с которой по обыкновению Наталья ездила к своей матери, не было. Не иначе укатила к Елизавете Петровне. Арсе-

ния обдало жаром, тещи он побаивался. Арсений вдруг представил, как Наталья зайвится к матери, как выложит ей все. Нет, этого допустить он не мог.

Арсений вновь взглянул на часы. До отхода электрички оставалось двадцать минут. Ровно столько, чтобы, несясь галопом, успеть. Спасла попутка, свой брат шофер. Арсений сунул рубль и не дожидаясь, когда тот окончательно притормозит, помчался напрямик через площадь к вокзалу. Электричка, как всегда, стояла у платформы. В запасе у него было три минуты. Три минуты, чтобы пробежать состав из конца в конец. У него не было ни грамма сомнения, что Наталья в этой электричке. И точно! Она сидела в третьем вагоне, справа от двери. А рядом с ней — его даже качнуло — Зиночка Вагреева во всем своем блеске. Ослепительно белая челка прикрывала глаза красавицы. Но она-то зачем здесь? Или тоже собралась к его теще, чтобы подтвердить, какой подлый, ничтожный человек этот Арсений Чунос? Арсений остановился в нерешительности, пока до него не дошло, что никакая это не Зиночка Вагреева. Да и сходства близко нет. Разве что волосы...

Крашенная блондинка, которую он поначалу принял за Зиночку Вагрееву, будь она трижды неладна, слегка подремывала, смежив неестественно длинные ресницы. Наталья же смотрела на него в упор, но, странное дело, не видела, по крайней мере никак не отреагировала на его появление.

Арсений словно споткнулся об этот невидящий, раненый взгляд, затем решительно двинулся по тесному проходу старого вагона, заставленного рюкзаками и корзинами. Поровнявшись с женой, он нагнулся, легко подхватил сумку и, полагая, что Наталья пойдет следом, вышел в тамбур, спрыгнул на перрон и, убыстряя шаг, направился в скверик, прилепившийся прямо к краю платформы, где удобнее всего было объясниться. Но тут на платформе погас свет, а затем произошло нечто такое, чего Чунос совсем не ожидал. Он услышал позади себя быстрый топот крепких мужских ног. Кинул взгляд через плечо.

За ним рысили двое дюжих молодцов. «Да вон же он, ворюга, вон! — услышал Чунос резкий голос. — Вон за тем деревом. Да быстрее, быстрее! Ведь уйдет!»

«Во дураки, ну и дураки! — завидя надвигающихся на него молодцов, искренне изумился Арсений, но прежде чем успел что-либо крикнуть в свое оправдание, ощутил на шее увесистый кулак.

— Да вы чего, взбесились, в самом деле? — крикнул он.

Но те двое молча продолжали наскокивать. Арсений, не выпуская сумку, отмахивался как мог.

— Смотри-ка, вцепился, как в свою! — восхищенно выкрикнул один из обидчиков, норовя вырвать у Арсения сумку.

— Да отстаньте же, гады! — захрипел Арсений, задыхаясь от охватившей его ярости, пытаясь дать сдачи этим двум, неизвестно откуда свалившимся громилам.

— Ишь, он еще и зубы показывает, — процедил один из них, подтягивая длинными руками Арсения к себе. — На-ка тебе, на!

— Не трожьте, не трожьте! Кому говорят! — услышал он рядом знакомый, родной голос, неожиданно сорвавшийся на высокой ноте. Вдохновленный этим криком, Чунос перешел в нападение.

— Ах ты, за мое, да меня. Да я тебе...

Он сграбастал длиннорукого верзилу, пытаясь завалить его, но тут в глазах у Арсения померкло, голова загудела увесистым чугунным колоколом.

Больше он ничего не помнил. Первое, что ощутил Арсений, очнувшись, так это легкое подрагивание пальцев на висках.

— Ты, что ли? — спросил он, угадывая знакомые руки.

Вместо ответа раздалось прерывистое рыдание.

— Ты чего, дурная?

Арсений снял с лица мокрые Наташкины пальцы.

Жена продолжала всхлипывать.

— Ну чего ты? — возвысил голос Арсений. — Живой я!

Сумка была рядом. Поодаль, где раньше стояла электричка, матово светились пустые рельсы.

— Ты вот что, помоги-ка лучше подняться! — грубовато потребовал Арсений. — Вот так! — Он обнял жену за шею и осторожно встал, невольно и, пожалуй, впервые внимательно прислушиваясь к себе.

— Больно? — спросила жена глухим, непривычным голосом.

— Пустяки! — как можно беспечней отозвался Арсений, хотя тело изрядно гудело.

— Может, «скорую» вызвать?

— Еще чего не хватало. У них, что ли, других забот мало? Пошли-ка лучше домой. — сказал Арсений. — Это лучше всякой «скорой». Ночь отлежусь, а к утру, глядишь, и пройдет. А на счет Пашки не переживай. Не у чужих, у родной бабки живет. Я на неделе сам к нему смотаюсь. Так что пошли. Слышишь, пошли!



ВИКТОР МЕНЬШИКОВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Молодой дождь

Он влетел за ветром следом,
разметав полдневный зной:
этикет ему неведом —
он небесный, не земной...

И, с беспечностью ребенка
разбивая тишину,
пляшет он по крышам звонко,
славя небо и весну.

Как примчался, так и скрылся,
веселить нас перестал.
Отзвенел он, отыскрился,
откружился, отблистал.

На берегу

Опалит ли небо сполохом зарница,
Пролетит ли мимо вспугнутая птица,
Или вдруг пробьется сквозь оковы туч
Месяца литого серебристый луч,
В доме на горе ли тускло вспыхнет свет,
Иль маяк далекий свой пришлет привет —
Боль, что сердце жгла мне
В тот разлучный год,
Снова возвратится, снова оживет.
Нет, не заслонили — знаю я теперь! —
Новые потери давних тех потерь.

ГЕОРГИЙ БАЛЛ

★

ТЕТЯ ШУРА, СТАРЫЙ АКТЕР И ОСТАЛЬНЫЕ

Повесть

Как изъясню вам мою благодарность. Пойдите... хотите ли выслушать импровизацию?

А. С. Пушкин, «Египетские ночи».

Ну, где ж это вы?! Ваш выход.

Из театрального быта.

«**Б**ывает, бывает,— напряженно думал Николай Николаевич.— Не один я, не первый и не последний... Все! Больше не думать... запрещаю...»

Он поглядел в белый, бесконечно высокий потолок.

«Вот оно — мое небо теперь, с этим и уйду. Гости мы. А народ говорит: «Гость — человек подневольный, где его посадят, тут он и сядет». Хм!.. А я — лег». «Не ты первый» — опять выскочила мысль.

«Хватит! — приказал он себе. Главное, что обидно. Лежу я тут, как на острове. И хоть бы одна душа поняла: кто я? зачем я? Нет, ну, если так, то уже, как говорится, подводя итоги, подбивая бабки и прочее».

И он, как бы переводя с немецкого: «Я есть Старый Актер»; именно большими буквами: «Ich bin ein Alter Schauspieler. Ob das gut ist, weiß ich nicht»¹.

Перед его внутренним взором предстал он, как его люди видели, на заснеженной улице в тот последний день. «Что-то рано нынче снег,— подумал он.— Зачем я это словечко — нынче? Теперь городские любят щегольнуть на деревенский манер, мы, мол, тоже... Не соображают, что это пошло, а?»

И сквозь слова, мысли, которые кружились, будто ветром их наносило, как тот последний его снег, он видел себя. Снежинки таяли на его шалевом воротнике. Он видел себя со стороны: помятое, обрюзгшее лицо с синими жилками на левой скуле и темными подглазьями, массивный нос, квадратный подбородок. Какая, однако, у него сухая кожа — не заметил, что думал о себе в третьем лице,— и еще: тяжелые складки около рта. Ну, допустим, складки ничего — естественно... А зеленое бархатное пальто с синтетическим мехом — потому что денег настоящих нет и никогда не было. И шел он, опираясь на палку... да, действительно: Старый Актер. И это скверно. Ведь никто не поверит, что этому типу на улице с тяжелой походкой лишь немногим за пятьдесят. А еще такая немаловажная деталь, растревлял себя Николай Николаевич, за всю его актерскую жизнь

¹ Я — Старый Актер. Хорошо ли это — я не знаю.

ни одной стоящей роли. Работал в эпизодах, на выходах, массовках. Две приличные роли, правда, получил, и то третьим составом.

«И как пришел неизвестным в мир, так он и уйдет»,— заключил о себе в третьем лице Николай Николаевич и закрыл глаза. Но снова увидел пустынную улицу, снег. И обрадовался. Потому что внутренне он как бы играл эту пустынность, эту безлюдность. Он как бы был самим городом, из которого медленно, опираясь на палку, уходил Старый Актер.

— Дедушка! Дедушка!

Николай Николаевич открыл глаза. Перед ним стояла молоденькая сестра — он видел ее большие глаза с сильно зачерненными ресницами и маленькое остренькое личико. Подумал: девочка раскрашена слишком броско, даже вульгарно, но это ему сейчас особенно понравилось. «Лет надцать назад я таких девочек не поштучно, а в пучке брал».

— Ну, молодой человек,— улыбнулась сестра.— Надо обедать. Приподнитесь, я вам поставлю тарелку.

В одной руке она держала тарелку супа, в другой ложку.

«На кого она похожа? О! Да это же Стрекоза. Глаза... мордочка... Где ж у нее крылышки? «Лето красное пропела... как зима катит в глаза». Николай Николаевич улыбнулся:

— Я не дедушка и не молодой человек. Я, детка, тетя Шура.

Стрекоза вскинула ресницы.

— Как это?

— А вот так, дочка.

Почему? Откуда явилась тетя Шура? В жизни он не видел никакой тети Шуры, то есть, может, и встречал похожую, но ни в какой пьесе не играл — это точно.

— Какая моя жизнь? — говорил Николай Николаевич голосом тети Шуры.— Моя жизнь, детка, бархатная. Раньше война людям руки выкручивала, а теперь что хочешь твори — даже совестно. Время найдешь, можно и любить. Об чем и в телевизоре и в газетах сообщают, даже всячески приветствуют. А у тебя, Стрекоза, как насчет этого предмета? Муравья себе завела?

Стрекоза засмеялась, взмахнула легкими белыми крылышками, улетела.

— Во артист! — восхищенно вырвалось у кого-то из лежащих в палате.

Он еще тогда даже не знал — сколько людей с ним рядом. Но сейчас для него это было неважно. Где-то в глубине, под ровным, защитным льдом, наслоившимся за долгие годы разочарований, мелких и крупных обид, он, может, состарился раньше времени из-за постоянных неудач? Но, оказывается, душа его окончательно не промерзла, и пробился верный звук... Ухом артиста он услышал и узнал теплоту его — Николаю Николаевичу захотелось сразу жить и думать небуднично. А то, что сюда привезли его на «скорой», и его левая раздувшаяся нога с глянцевито-фиолетовой натянувшейся кожей лежит на одеяле приподнятая — тромбоз глубоких вен, — и в правой стороне груди сделан надрез — в подключичную вену введен катетер, который связывает его с капельницей, — это до времени отступило, очистив площадку для ЕГО ИГРЫ.

— Ты мне правду скажи, какая твоя жизнь, — требовал он от тети Шуры.

— Правду, говоришь? Так слушай: я — паровоз. Тетя Шура-паровоз. Так меня прозвали.

— Да ну?

— Ага. Вообще-то, я никому зла не сделала, а все ваши дела вижу тремя глазами: два впереди, а третий в уме. Как это в песне поется: «Эх! Была я девочкой, не была невестой...» Тут недавно в нашем доме старик помер. Мы, бабы, его видали — за кефиром в «Продукты» ходил. А то еще покупал сухофрукты для компоту. Потом все, — тетя Шура всхлипнула, — привет. Ну, я женщинам говорю: давайте поможем дедушке. И без родственников управились — все хорошо, аккуратно.

— Нет, тетя Шур, — менял голос Николай Николаевич. — Ты лучше на другую тему: как же так? Неужто к тебе никто не сватался?

— Ко мне? Да ты что? Я всю жизнь невеста, — и она, переходя на шепот. — Конечно, такого мужика, чтоб для паспорта, как-то не завела, а те, которые печочку сымут да бутылку из кармана — чтоб ночь была короче — неохота. Я тебе скажу: мужиков стесняюсь, и даже очень — они привыкли напором, а мы тоже, бабы, вроде как бежим, бежим, да и спотыкнемся когда. — И она совсем тихо: — дома-то у меня два сынка, и у обоих одна отчества — моя личная.

— Большие у тебя парни, тетя Шур?

— Ой, да что ты! Все во мне припозднилось, я-то в годах, а они совсем пацаны. Это, значит, Лешка в шестом, а Володька еще в школу не ходит. Теперь ребятишки все, как топочечки, тянутся, а мои — нет, коротышки, меньшого, Володьку, поскребьша, — пекла да не выпекла — сам беленький, а глазки голубеньки, мальчик, правда, спокойный. В детском садике воспитатели им очень даже довольны. А у Лешки глаза зеленые — родился шалопутом и весь юлой так и живет. Володюшка и читать уж где-то выучился. А стишков этих, сказок знает, думается, все до единой. Вот прихожу, он сейчас у меня застуженный, в садик уж с неделю не вожу, насморк, вообще грипп, да только я в дверь, Володька кричит:

— Мамка, иди скорей, про гномика расскажу.

— Про кого?

— Ну, такой малюсенький человечек. — И пальчик мне свой показывает.

Тетя Шура улыбнулась.

— Неужто этакий? — спрашиваю. — Мне бы на кухню, обед подогреть, а я с ним засела.

— У гномика на голове цветут ромашки и одуванчики, а кругом, мамка, зима, волки в лесу с метелью воют.

— Володюшка, ромашки с одуванчиками завянут от морозу.

— А у гномика шапочка. — И Володька себе на головку показывает: — Зеленый колпачок.

— Шапочку ведь ветром сорвет.

— Нет, мамка, шапочка с тесемочками, и гномик крепко их завязал.

— Ой! — тетя Шура вздохнула. — А Лешку я дома редко вижу — такой верткий. Не то что мне, а нашему уполномоченному милиции Федору Ивановичу Ушкину никак за ним не доглядеть: этот шалопут всегда чего-нибудь нашалопутит. — Тетя Шура прошептала: — Как-то во сне мне хитрая мысль намечталась, будто промеж моих пацанов родилась девочка и зовут ласково: Клавочка. Вот Клавочка за ними бы приглядела, пока я на работе. Ладно, сон ночью наскочил, а жизнь свое крутит, вообще при моей обстоятельстве... — Тетя Шура зевнула: — Когда одной с ребятишками, время быстро нахлестывает, да теперь уж в обгон не пойдешь. — И вдруг встрепенулась: — Откровенно скажу: баловаться не сильно тянет, как на работе горбатиться и об этих пацанах надумаешься...

— Ну, тетя Шура, тетя Шура, — напустил густоты в голос Николай Николаевич. — Как же тебе достается в жизни.

И она будто сразу резко перебила:

— Какая я такая особенная. А насчет квартиры, дак у меня хорошая, двухкомнатная, правда, кухонька невелика. Ну и ладно, вернуться там можно. А я завсегда повернусь, хоть и на гвозде.

— Лида! Лида! — раздался молодой голос. — У артиста капельница кончилась.

Вбежала Стрекоза.

«Жалко, она меня не слушает», — подумал Николай Николаевич.

Ночью было его время. Он и раньше не умел спать. А теперь, при свете фиолетового ночника, лежал с открытыми глазами: надо было подготовиться к утреннему выступлению — не то что выучить текст, нет, текста вроде бы и не было. Он уже поверил, что, найдя простую фразу, сможет импровизировать, только вот главное — подготовить свою душу, найти дыхание, силы.

«Нет, это поразительно, — думал он. — Почему раньше мне не приходило в голову, что я могу, даже хотя бы для друзей. Хватит, — обрывал он себя. — Соберись, парень. Разыграй какой-нибудь этюд. Ну вроде так: группа экскурсантов спускается в пещеру — и ты отстал. Один... Тебе стало страшно. Подумал: «Никогда не выберусь». И начал щупать мокрые стены. Как вдруг увидел свет...»

Сухой дубовый лист вспомнил. Вернее, это уж не он — она увидела.

Неближние дороги.

День еще не убрал тумана. Она спускалась к реке. Верховой ветер заставлял постанывать деревья. Она перешла речку по мостку — и полем с желтой стерней. Когда черной дорогой вошла в большой лес, там было совсем тихо, даже слышно сердце в груди — верно. Чего она боится? Поглядела: с дуба вдруг разом посыпала листва — без ветра, а так, будто душа отходит.

«Не для меня нужно, для них», — думал Николай Николаевич.

«Их», надолго задержавшихся в палате, было пятеро, четверо моложе его. Через два дня, как положили Николая Николаевича, своим ходом пришел в палату пенсионер, бывший железнодорожник Григорий Иванович. У него, как и у Николая Николаевича, был тромбоз в левой ноге, только не вен, а артерий. Худой, желтый, пенсионер сел на кровати.

— Ну что, ребята? Собрались тут рыбаки да охотники. Теперь все: по телевизору будем газеть. Или вообще — с концами.

— Папаша, — сказал Валя. — Ты эти слова забудь — тетя Шура не велела.

— Чего?

Они засмеялись.

Мысленно Николай Николаевич расположил всю свою палату как бы в программке, взяв за главное возраст:

Григорий Иванович — 63 года, пенсионер.

Актёр — 54 года.

Тетя Шура — свыше 40 лет.

Валентин — 29 лет, мастер-сантехник.

Сергея — 29 лет, следователь милиции.

Мальчик Коля, прозванный здесь Ахмет-ханом, — 17 лет.

А также Кровать рядом с окном и актером.

Это была какая-то несчастливая кровать. Так им казалось. Во всяком случае, кого на нее клали, долго в палате не задерживался, — или переводили в терапию или... совсем, вниз.

В конце программки он хотел поставить Ангела Смерти, но потом...

«Зачем? Если я тетю Шуру позвал, то вроде бы она от меня уже

отделилась... да... она теперь встала между нами и тем... И не надо заглядывать за те пределы».

— Тут на меня наезд совершили. Шла я в магазин, даже, можно сказать, бежала, потому что объявили там кое-чего интересное. И на проезжей части меня самосвалом — всю как есть — на куски. Народ сбежался, глядят: соберут аль нет? А у нас, знаешь, какая медицина — ты что! У них есть такие золотые гвоздики, а молоток серебряный, положили они меня под рентген — и тюк, тюк, тюк аккуратно руки, ноги — все на место, а сверху замазочкой вроде крема «Свежесть», чтобы гвоздиков не было видать. А этот парень, шофер Леня, стал меня навещать, просить, чтоб я на него заявление не сделала насчет наезда. Что я себе, враг? Он на девятнадцать годов меня моложе, красивый, как цыган, и дает мне обещание встреч, цветы приносил. А я цветы люблю, Леня как угадал. Потом уж, когда из больницы выписалась, только раз зашел, с бутылкой. Да сам эту бутылку всю усидел — мне хоть бы рюмку оставил — так ночь мне и не капнула. О! Я дура, всему верю. Ты хочешь меня обмануть? Обмани. Я тебе поверю. Еще молодая была, даже совсем тоненькая, не как сейчас, а юношная, без детей. И подружка Настя говорит смехом — зубы у нее отличные. Ты чего, дура, здесь, ты, Шурка, поезжай в Пензу — вот где любовь. Я и поехала. Два года на цементном заводе робила — пылища там, — я и не заметила, как чего, а Лешка, старшенький, родился...

— У меня сын и дочка, — сказал Григорий Иванович. — Сын давно женатый, а дочка никак не могла, мы даже с женой беспокоились. Время идет, а она все в девках. Дочка старшая, ей сильно за тридцать — ну чего такое? Неудобно, вроде хуже всех. А у сына двойняшки, Катя и Леночка, хорошие, смышленные девочки. Три раза мы, что ль, к ним ездили с бабкой в Саратов. А у меня как железнодорожника бесплатный проезд. Один раз мы на юг с внучками съездили, в Крым. И между прочим, у сына туберкулез, ему тоже туда прописывали, даже месяца на три. А он не может, потому что эта гадина, Зинка его, дома не сидит. Мне соседи говорили, что нехорошо, гуляет, и даже сюда к нам писали. «Ведь у тебя двое детей, муж болеет», — хотел я это все сказать ей, собрался даже ехать, ну, думаю, выгонит меня, черт с ней, внучек заберу. А тут у меня эта штука с ногой.

— Недавно мне дело принесли, — сказал Серега. — С точки зрения юридической оно малоинтересное. Двое подростков взломали дверь пивного ларька, вытащили два ящика пива, оттащили недалеко за магазин, напились и тут же свалились. Но что интересно, у обоих родители педагоги. У того, что постарше, отец профессор, мать тоже преподает в институте, а у другого только мать, но учительница в школе. Эти профессора за своего сынка стеной. Между прочим, у него уже было два привода. А учительницу я спрашиваю, молчит, губы дрожат. «Ну хорошо, — говорю я, — в школе вы учите ребят, даже вы классный руководитель, а дома своего собственного сына...» И тут она встает и — к двери. «Одну минутку! Так не полагается». Она возвращается, садится на стул и тихо мне: «Я деревянная». «Как это понять?» «Я сама раньше не понимала, а теперь вот... За долгие годы у меня выработался ровный, деревянный голос; с таким голосом мне было легче в классе, но дома — что я могла объяснить сыну, наверное, он меня просто не слышал». «Простите, — говорю я. — Но у вас же в школе наверняка есть хорошие преподаватели. С них надо было брать пример». «Разрешите мне выйти, — говорит она. — Вернее, уйти». А потом я узнаю, что она совершила попытку суицида.

— Чего? — спросил Валя.

— Вешалась.

— Умерла, — заключил Коля Ахмет-хан. — У меня дедушка, когда умирал, тоже чудил. Я был тогда совсем маленький, под столом иг-

рал. А мне говорят: не шуми, дедушка умирает. И вот я вижу — он встает с постели, а на голове у него такая черная шапочка, подошел к зеркалу. Я тихонько сижу, жду. А он стоит в подштанниках, глядит. Долго стоял, потом говорит:

«Вижу, стоит мусульманин. А кто — не знаю».

Молчал, молчал, потом опять:

«Если ты хороший человек, отпусти меня, правоверный».

Я выскочил, кричу:

«Дедушка, если ты умираешь, иди ложись в постель, так нельзя». Он меня послушался.

— Мальчики! Градусники ставить, — влетела Стрекоза. — Завтра с утра чтоб все с тумбочек убрали. Будет обход профессора. Валя! Что у тебя на тумбочке творится: яблоки, булки, печенье — все вперемешку.

— Жена таскает, я говорил, что столько не надо, а то как слону.

— А ты слышал анекдот про слона? — перебил Серега. — Подходит человек к слоновнику. А там в клетке слон и старик сторож подметает. Этот, который подошел, читает объявление на клетке: «Слон африканский, съедает за день десять килограммов яблок, двадцать килограммов моркови».

— Ну, мальчики, не скучайте, я скоро опять приду, — и Стрекоза упорхнула.

«Жалко, она не слушала про тетю Шуру, — опять подумал Николай Николаевич. — Что-то мне тяжело, не физически даже, а душевно неуютно».

Он попробовал вздремнуть и почувствовал, что больше не может лежать на спине, а повернуться тоже невозможно — выскочит из вены катетер, да еще градусник торчит под мышкой.

И вдруг понял, что его задел рассказ Сергея о педагогах, в чем-то он тоже неудачный продолжатель учительского рода: его дед по отцовской линии был учителем словесности, отец преподавал литературу в школе, а мать из крестьян и тоже вышла в педагоги. Он же нарушил традицию. Ему сейчас кажется, что ни мать, ни отец никогда не говорили о театре.

«А ведь я с детства мечтал стать актером. Откуда пришла эта, можно сказать, пагубная страсть? Потому что остаться неизвестным учителем естественно, а быть безвестным актером неловко, даже чуть ли не позорно...»

Ночь была его благословенным временем. Он отдыхал душой. Тишина неторопливо лепила воспоминания, но какие-то неглавные: вспомнил, как он с мамой ходил в зоопарк. Именно у клетки со слонем у него развязался башмак. Мама велела ему завязать. Он завязывал и глядел на слона, у которого — сейчас он ясно помнит — удивительная кожа...

— Даже невозможно представить, что такая может быть, — прошептал Николай Николаевич.

Потом выплыл павильон с магическим словом «Хищники». И он ощутил резкий запах зверя, увидел в небольшой клетке длинную полосатую кошку — оцелота, их глаза встретились; душой мальчика он сразу узнал в ее напряженных глазах дремучесть леса и свободу прыжка, а на пути — только он. Один. Но тут подошел служитель, сунул под прутья клетки завернутую в бумажку мышь. Его чуть тогда не стошнило, он заплакал, нашел мамину руку — не захотел смотреть ни на тигров, ни на львицу.

«Хорошо бы сходить опять в зоопарк, сверить ощущения». Он, правда, как-то года три назад, весной собрался, но что-то не получилось: днем репетиции, вечером спектакли. Да и когда был свободен — уходил играть на бильярде. Теперь, пожалуй, главная его

страсть — тут уж он не чувствовал себя среди последних, а иногда по вдохновению играл отлично.

«Странно,— думал Николай Николаевич,— еще недавно бы не поверил, что хоть на день могу от всего этого отойти, почти забыть, будто развернуло меня на кругу — и вылетел я в другое пространство».

Увидел в окне луну — резкий ее свет заливал пустую кровать у окна.

«Не один я не сплю. В присутствии этой круглолицей дамы не страшно и приблизиться к вечности. Пока, правда, мысленно», — иронично подумал он.

В эту ночь впервые совсем не болела нога. С катетером в подключичной вене он уже свыкся. Ему казалось, что сейчас сможет встать и двигаться легко... ну, скажем, как не очень молодой Пол Скофилд — Гамлет в сцене «Мышеловка». Это было более двадцати лет назад, на гастролях английского театра в Москве, он тогда глядел на сцену и мечтал о роли для себя.

«Что такое? — подумал Николай Николаевич.— Это же не луна... Она — фонарь. Ха!»

И сразу же вспомнил свой театр, артистическую уборную, она была на пятерых. Его место — дальше от двери, у стены. Эта стена слева укрепляла тайную его радость отделенности от мира в святые минуты, когда он гримировался, то есть перевоплощался. Боже! Как сейчас он это понимал, ценил, помнил — неистребимо пахло «Тройным» одеколоном, пудрой и человеческим потом — вот сейчас он втягивает дрогнувшими ноздрями — и полнейшая иллюзия. Справа гримировались Вадик Коробицын и Гена Сараев, молодые парни, удачливые артисты. Они чуть ли не вдвое моложе его, оба успешно снимаются в кино, у обоих обеспеченные родители. Что для них театр — дебаркадер на приколе? «Разве у них набухают жилы от счастья, когда получают здесь роль», — с раздражением думал Николай Николаевич. Эти два парня, как на чужбину, отбрасывали его своими разговорами. Они беседовали громко, нахально, минуя Николая Николаевича, да и остальных товарищей своих не принимая в расчет. И о чем говорили? Оба владельцы машин, вываливали тут, перед началом спектакля, весь этот набор шикарных бытовизмов двадцатого столетия:

— Свеча барахлит,— жаловался Вадик.

— Может, контакты подгорели? — спрашивал Гена.

— Я свечи щупал, одна холодная вроде,— это уже Вадик. Нахалы. Не понимаете, что ли, у меня никогда не будет автомобиля. Откуда у вас машины? Родители расстарались. А Вадик... Вадик-то лысоватый, еще тридцати нет, а лысый,— с раздражением и тайным торжеством вспоминает Николай Николаевич. Вадик называет его дядя Коля. Какой я ему дядя?! А Гена, обыгрывая почтительность к старшему по возрасту, Николай Николаевич... И все равно он им не верит. И все раздражает, даже то, что оба играют на закрытых кортах в теннис. А может, они сами заработали на машину, когда им дают роли, когда в кино за руки и за ноги тянут модные режиссеры. Тут недавно Гена рассказывал анекдотец из жизни: «Открываю я багажник, мне в спину, как в дверь с двумя нулями, кто-то стучит. Поворачиваюсь: ханурик в одном пиджачке, весь из себя лиловенький: «Парень, купи брызговик». И у нас возникает с ним интереснейший диалог. Я говорю: «Не надо» — а он: «Рубль. Парень, купи» — и палец перед носом. «Рубль». «Ладно, черт с тобой!» А в отдалении другой ханыга, правда, в пальто и с мешком. Сунул руку в мешок: «Дай тройк, мальчик, душа горит». «Зачем мне выслушивать всю эту муть? — думает Николай Николаевич.— За что?...» Или вот, Вадика гримировала Валентина Федоровна, прилаживала лысому парик, а он ей: «Валюнчик, надоел мне бу-

ковый паркет и на даче и в доме, хотел бы просто крашенные плетейские доски». Пижон, ты Валентине Федоровне во внуки годишься. Букочный паркет ему надоел. Вообще-то и Вадик и Гена — очень способные ребята, даже талантливые. Легко им все дается, а мне обидно.

И по дальней ассоциации Николай Николаевич вспомнил лесопарк, бывшее имение Шаховских, около метро «Войковская»: прекраснейшие крупнолистые липы, стволы темные с голубоватым оттенком, ясенелистые клены, тоненькие рябинки, огромные сосны. Он любил бывать в этом парке и помнил, что первой у прудов зацветает серая ольха. Да, все это надо бы каждый день впускать в свою душу, очищать ее от сора человеческих слов.

Николай Николаевич приходил в театр за час до начала. Гримировался всегда сам. Вот и сейчас он ощущает, как водит маленькой щеточкой по вискам, приглаживая волосы короткими расчетливыми движениями. А вспомнились другие обиды: особенно в поездках, на гастролях, сколько унижений в гостиницах с худшими номерами, да и зарплата, распределение ролей. Нет! Нет! Не дать себя раскрутить неудачливости — ведь всегда себя пересиливал. Не потому ли заработал тромбоз?!

Николай Николаевич лежал неподвижно, с закрытыми глазами, дал себе отдых, ни о чем не думал. Потом опять: неужели во всей мировой драматургии не нашлось подходящего для меня текста?! И я должен был сам отыскать, набрести на него. Ему хотелось бы играть ибсеновского Бранда — фанатичного идеалиста. Вообще, если сказать грубо, то он похож на бабу, которая живет рядом с роженицей, способна делать все похожие движения, мучиться так же, страдать, но вот беда — не рождает, нет дитяти, нет и радости. И так каждый день, вернее, вечер. А после спектакля: уже преподнесли цветы Игорю Ивановичу Егорову, Кате Бойцовой, а ты, забежав в уборную переодеться, стараешься не замечать чужих поклонников, ловцов автографов. А на улице, у артистического входа, дежурят девочки, ты хочешь пройти незаметно, но тебя окликают: «Простите, вы не знаете, такой-то еще в театре?» «Не знаю», — произносишь ты. Какое тебе до них дело? Но как дорого бы ты дал, чтобы эти молодые глаза ждали тебя. А цветы?.. Гвоздики, розы, завернутые в хрусткий целлофан. Ты ведь любишь цветы. Но спешешь мимо, будто в чем-то виноват. В чем твоя вина? Интриги в театре? Нет! Не думать об интригах, для тебя сейчас театр нечто идеальное, когда за кулисами разлит запах предгрозя, запах счастья, чуда для всех, больших и малых участников. Пусть ты только пылинка в театральном ансамбле. А все равно — причастен, причащен высшему. И повторил как заклинание, как молитву: никому не завидую, не завидую, нет, не завидую. Но как же хочется ощущать душевную силу, щедрость. Николай Николаевич опять увидел себя в артистической уборной перед зеркалом, с боков на длинных ножках торчали лампы без абажура. Беспощадный свет. После спектакля лицо разгоряченное, лоснится от пота, медленно он намазывает щеки вазелином: сходит грим, проступают черты лица, хорошо видны уставшие глаза, набухшие веки, темноватые подглазья и большие губы, тяжелые, отвисшие, как у лошади... Да у него просто морда старой деревенской клячи.

— Эй! — сказал себе Николай Николаевич в зеркало. — Ты уже надорвалась или еще можешь тянуть?

Он вздрогнул от любви, от желания не когда-нибудь, а сию секунду вскочить, побежать в театр — не выступать, а хотя бы увидеть сцену, потолкаться среди своих, узнать, чего там новенького, — двадцать шесть лет туда приходил.

«Поймите, — неизвестно кого уговаривал он, — не завидовал я —

пусть иные удачливее, успели положить свою душу на алтарь и возродиться, то есть увидеть себя со стороны, глазами зрителей».

Николай Николаевич думал о театре, но и слушал, как тяжело храпел Григорий Иваныч, как стонал, а потом смеялся во сне Коля Ахмет-хан. Но и не только — в него ударяла, его раскачивала вся атмосфера больницы, где страдания и надежды были обнажены до предела, и ему хотелось пробиться к высшей мысли, которая уже была бы без слов. Он чувствовал себя немым и страшно тяжелым.

Николай Николаевич закрыл глаза. И некоторое время лежал неподвижно...

— Энне! — крикнул Коля Ахмет-хан и засмеялся. — Мама!

Потом быстро-быстро заговорил по-татарски.

Николай Николаевич напряженно вслушивался, точно мог понять, и даже ему показалось, что понимает: Коля будто упрашивал маму, чтоб они вместе куда-то поехали.

«Наверное, мама согласилась», — сфантазировал Николай Николаевич.

— Собачка! — позвал Коля по-русски. — Беги ко мне.

— Ах вот что, — Николай Николаевич улыбнулся и повернул мысль к себе, к своему детству.

Весной они всей семьей старались пораньше выехать за город, еще когда лежал снег. Где-то в конце марта — начале апреля поселялись в деревне и его, маленького мальчика, отдавали на попечение хозяев. Позже, когда заканчивались занятия в школе, приезжали мать с отцом, объявлялся их семейный праздник, и обычно в тот же день уходили в лес.

Он помнит себя на закорках отца. Это было не в их праздничный семейный день, а раньше, в какой-то воскресный приезд родителей. Отец, помимо него, нес еще черный рюкзак с одеялом и едой. Они жили тогда в деревне, под Гарусой. В ту весну от частых дождей все бурно полезло из земли, лес кипел от сочных золотых калужниц, первоцвета, фиолетовых куртинок пролески на прошлогодней листве. А ему хотелось есть.

— Привал! — кричал он сверху.

— Что ты ему рассказываешь, мать, — сердился отец. — Он все равно ничего не видит.

Нет, он видел. И даже сейчас, закрыв глаза, видит мох на сосновом пне, рядом с которым они сели завтракать, из мха на красноватых ножках поднимались зеленые коробочки, похожие на башмачки для гномов.

Его отец умер почти перед самой войной, и мать, как это бывает с очень близкими людьми, пережила его лишь на полгода. Она и дома, и потом в больнице говорила ему, сыну: «Мне не хватает воздуха...»

Они не терпели ничего броского, никаких эффектных поступков или поз, вообще шумное их угнетало. Частично это перешло к нему в кровь.

«Может, как актеру мне это помешало. Я был излишне сдержан».

В палату вошла сестра, но не Стрекоза, а толстая Кира. Она зажгла свет. Вместе с другой совсем молоденькой сестрой в узеньких белых брючках они привезли каталку, на которой лежал огромный старик с седой копной волос. Его положили рядом с Николаем Николаевичем.

Пришли трое врачей.

— Гражданин! — глухо сказал старик. — Чего там у меня? Ерунда какая-то с ногой, и живот болит.

Врачи рассматривали, щупали живот, ноги и скоро ушли.

Кира принесла капельницу.

— Сестрица, чего у меня там? — гудел он.

— Ничего, все нормально, дайте руку.

— Руку я тебе дам, а ногу не надо. Ладно?

— Ладно.

Она тоже ушла, погасив свет.

— Мужики! Ребята! Закурить!

Николай Николаевич протянул ему сигарету и спички.

— Зажги! — твердо потребовал старик, не поднимая головы.

Минут через пятнадцать больной начал не то что стонать, а гудеть. Он гудел, как лось, все громче, все протяжнее.

Вошла Кира, опять зажгла свет, подошла.

— Вам чего?

— Сестра, посиди со мной.

— Хорошо.

Она немного посидела, потом ушла.

Он снова начал гудеть.

— Кира! — крикнул Серега. — Кира! Сделай ему обезболивающий укол.

Она опять появилась:

— Все, что надо, сделала. Спите.

Он, правда, скоро заснул. Николай Николаевич тоже задремал, как вдруг услышал властный шепот:

— Дед! Слышишь, дед!

— Вы ко мне?

Тот протянул руку. Николай Николаевич схватил ее.

— Я тебе вот чего скажу, только ты...

Он замолчал. Рука его отяжелела.

Николай Николаевич положил руку к старику на кровать. В это время встал Коля Ахмет-хан.

— Коля, — сказал Николай Николаевич. — Позови сестру.

Четыре ночных сестры пригнали опять каталку и, разговаривая шепотом, перевалили старика на каталку, закрыли простыней. Увезли.

Николай Николаевич почувствовал голод. Он жадно схватил у Валентина с тумбочки булку, но не смог есть. Снова заныла нога. Николай Николаевич вытащил сигарету, закурил.

Утром Валя спросил:

— А где старик?

Ему не ответили.

— Да-а. А я ничего не слышал. Спал.

— Мальчики! — впорхнула Стрекоза. — Убирайте все с тумбочек. Обход профессора. Быстро, быстро.

«Надо богатеть мужеством, — думал Николай Николаевич, — и делиться с людьми. Научиться бы только совсем не жалеть себя, крошить свою душу до полной гибели и, может, еще успеешь возродиться».

— Ты меня не тронь, а то я распалюсь хуже молнии да так вдарю — зонтиком не прикроешься. А проживала я тогда в маленьком, скажу тебе, городишке, кругом там шахты, трудности глубокие, а я изловчилась на поверхности посереде их начальства, как яблонька в малиновом саду, в самом главном тресте уборщицей.

После обхода профессора у Николая Николаевича отлегло от сердца. Профессор, тощий, маленький, с желтым, костистым лицом восточного типа, в больших очках, которые будто придерживали рвущийся вперед, острый, как шило, носик, остановился рядом с кроватью Николая Николаевича. Остальные врачи — они двигались на некотором отдалении — тоже остановились. Их палатный доктор Борис Сергеевич, молодой, высокий, на его полных щеках еще не отпылал юношеский румянец, назвав фамилию больного, начал докладывать.

Николай Николаевич напряженно слушал о себе.

— Покажите ногу,— бросил профессор.

Борис Сергеевич быстро откинул одеяло с ног Николая Николаевича.

— Ну что ж? Дело не так безнадежно, как мы вначале полагали. Посмотрите.

Трое врачей, сопровождавших профессора, кроме Бориса Сергеевича, который уже видел ногу Николая Николаевича, а также палатной сестры Лиды Стрекозы, наклонились. И один, в очках, только не больших, как у профессора, а маленьких золотых, пощупал. Спросил:

— Не больно?

— Сейчас нет, а ночью ныла,— сказал Николай Николаевич с виноватой улыбкой.

В золотых очках ничего не ответил, прикрыл ноги одеялом.

— Что он получает? — спросил профессор.

— Гепарин,— ответил Борис Сергеевич.

— Продержите его на гепарине с недельку, а потом проведем дополнительные исследования.— И к врачам: — Сделайте контрольную ангиографию. Кровь у него спокойна?

— Пока все в порядке. Он, знаете,— улыбнулся Борис Сергеевич,— устраивает актерские выступления с рассказами и шутками.

— Да? А капельница ему не мешает? — Профессор повернулся к Николаю Николаевичу: — Вы что, лежа выступаете?

Николаю Николаевичу захотелось вскочить: он всегда панически боялся начальства, особенно когда к нему неожиданно обращались, даже желудок расстраивался, руки у него сделались потными, сильно заболела нога, и он отрапортовал:

— Лежа, товарищ профессор.

— Психотерапия и самовнушение, одобряем,— кивнул профессор и уже к остальным, с назиданием: — Организм сильно изношен, а внутри оказывается, есть резервы.

И двинулся дальше.

— Полюбила я,— сказала тетя Шура,— крепко полюбила начальника, да самого главного по всему нашему тресту. Сам он не русский и на внешность убогий, с лица голубенький, а когда что не по нему, то он весь позеленеет, как вот лист, даже страшно. Жалела я его и обожала, Армен Ависыча. Конечно, он про это пока не знал, а только догадывался — я его кабинет по два раза мыла, а у него на столе такой ералаш, ой! Я все складу, все его бумажки в стопочку. Жил-то он, бедолага, с сестрой. Видала ее — ох и тощая, еще тощее его. Только цветом — коричневая. Но так они с братом очень похожи. И, понятное дело: сестра его — в девках, не замужем. А я тебе откровенно: когда это у него в голове все уложится и когда он ко мне посватается, я обоих возьму. У меня двое детей, ну еще будут — на всех и варить легче, и обиходить.

Не получилось, однако,— вздохнула тетя Шура,— секретарша дорогу перешла. Он ей — Мариночка. Она ему — Армен Ависович. Я сперва-то думала по делу. А потом через сотрудников узнала кое-

чего. «Эх, думаю, дурак ты старый, как на столе у тебя ералаш, так и в голове: разве она с твоей сестрой-девушкой станет жить? Это первый скандал, а дальше больше. На мучение идешь, парень». Вскорости Мариночка тоже меня почувяла: «Теть Шур, чего-то вы стали хуже убирать... теть Шур, не трогайте на столе Армен Ависыча». И началось между нами сражение — она меня ругает, а я молчу, коплю. День замечание, другой, третий. «Да,— думаю,— Мариночка. Она тебе скоро разрыв сердца устроит». И как-то получилось — у меня тряпка в руке, которой я пол притирала, да этой тряпкой ей пониже спины: «Не тронь дедушку, и так через тебя он весь зеленый». А он как раз в дверь входит: «Что тут такое?»

Я мимо него — от стыда. Прибежала домой — и как черных ягод наелась — меня всю вывернуло, трясет. Подошел ко мне Володька, почувствовал сердечком, гладит меня по голове.

«Ничего,— говорю,— Володька, надо опять начинать жизнь по новой».

— У нас главный инженер,— сказал Валя,— тоже на секретарше женился. Семью бросил, у нее, правда, тоже ребенок. И ты заметь, Серег, девочку она еще раньше отправила в Бронницкий район, к родителям в деревню. А сама тут с мясником Геной крутила любовь. Как раз эти «Продукты» напротив нашего жэка, через дорогу, нам-то все известно. Гена — красавчик, курчавый, у него дружки — все в коже. Я этой Ленке, секретарше, говорил: «Гляди, деревня, он тебя бросит». А она мне: «Ну и ладно. зато поживу». Как конец работы, Генку завсегда мотор ждет с дружками. И Ленка избаловалась: на работу — такси и с работы, если Гены нет. А в обед пустую булку с чаем. Гена ее, конечно, своим дружкам сплавил, и она тогда за нашего главного, Василия Егорыча. Они уже были женаты, а жэковская бухгалтерша ее опять видела с Геной и дружками. По-моему, если уж живешь вместе, то живи и старое откинь. Я с женой шестой год, да? Когда из армии пришел — покрутился немного, поприглядывался и вообще выпивал. А теперь у нас девчонка три с половиной годика, и чтоб мы с женой когда поругались — не было. Говорят, все сантехники — пьянь, а у меня бутылка только дома. Если кто ко мне придет, пожалуйста. А чтоб на работе — мне лично неинтересно.

— Я вам так скажу,— Сергей приподнялся на кровати.— Многие преступления, и особенно служебные, вызываются обстоятельствами как раз с такими девочками. Они мужику голову закрутят, и он начинает шуровать, выписывать зарплату на подставных лиц. Когда это у нас по делам проходит, мы между собой называем на «мертвых душ».

«Боже мой! — подумал Николай Николаевич.— Какой состав был в «Мертвых душах»: Тарханов — Собакевич, а у Ливанова — Ноздрева даже смех казался по-ярмарочному мясным, красного цвета».

— Ну допустим,— слышал Николай Николаевич Серегу,— выписывают в ведомости на оплату неких «мертвых душ» Сидорова, Петрова, Краюшкина, а денежки, естественно, себе. Диалог Василия Осиповича Топоркова — Чичикова с Анастасией Платоновной Зуевой — Коробочкой: «Я, право, в толк не возьму? Нешто хочешь ты их откапывать из земли?» Голос Зуевой не потускнел, прямо сейчас в ушах звучит.

— Тут у меня недавно,— говорил Серег,— не одна девочка, а три разбитных девицы толкнули ранее не судимого и даже занимавшего приличный пост немолодого гражданина на крупную хищение. И теперь он не на «параше отсидится», то есть по малому сроку, а пойдет по девяносто второй и, думаю, часть третья — украдено на сумму свыше двух с половиной тысяч. И что замечательно — девочки могут отделаться легким испугом: не зафиксировано пока еще

прямого их участия. Впрочем, окончательно не знаю, поскольку оказался здесь в связи с болезнью.

Сергей лег.

Николай Николаевич продолжал неторопливо перебирать в памяти, что успел увидеть в том, прежнем МХАТе. В «Трех сестрах»: Тарасова, Еланская, Степанова... «О, я так мечтала о любви,— услышал он голос Степановой—Ирины,— мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт, и ключ потерян»... Хмелев — Тузенбах. Именно из-за Хмелева он сам и для себя готовил роль Тузенбаха в надежде, что, может, когда-нибудь...

Николай Николаевич вздохнул и мысленно проговорил: «Я не спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного». (Ему на секунду показалось, что текст как бы имеет сейчас для него особый, символический смысл.) И он повторил: «В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня, и только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать. Скажи мне что-нибудь. Скажи мне что-нибудь».

Потом вспомнил, какая была женственная, какая прекрасная Маша — Тарасова. «Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя»...

— А насчет того, чтоб с женой дружно жить,— опять поднялся Серега,— это совершенно иной вопрос. Видели, ко мне приходит? Она тут говорит: «Жена». Нет, жена у меня дома. Я к матери переехал жить. Мать сколько раз у меня бывала, а жена — только когда меня сюда везли. Правда, она звонит матери каждый день, справляется. А эта, что с сумками сюда приходит, студентка, на третьем курсе института химического машиностроения на улице Карла Маркса. Симпатичная девочка, верно? А я чего-то сомневаюсь: как говорится, обжегся на молоке, станешь дуть на воду.

— Хватит вам! — закричал Коля Ахмет-хан.— Пусть он про тетю Шуру рассказывает. А то вы какую-то ерунду неинтересную.

— Не приставай к человеку,— сказал Григорий Иванович.— Пускай отдыхает.

— Ночью жена снится,— тихо сказал Серега.— Ты, Валька, с женой не споришь, а я с ней страшно ругаюсь. Теперь, конечно, во сне.

«Хмелев в «Дядюшкином сне»,— Николай Николаевич с наслаждением вздохнул.— Вот уж истинно актер божьей милостью, вот уж... И почему такие люди должны умирать?! Справедливо ли? Ах!.. Запечатленная сцена, когда Хмелев — князь падает на колени перед прелестной Зиной — Степановой. Весь слепленный из кусков, жалкий человек что-то бормочет о страсти. Зал смеется... Князь стоит на коленях... и вдруг сквозь хохот становится слышно больное сердце старика. Знаменитое хмелевское чудо: разворот в трагическое. И смех замирает. Тишина. И разрастается сочувствие. А Хмелев — князь, уже полнейший властелин этой тишины, словно каждому сидящему в зале: «Но подымите меня... я не... не... немного ослаб... я... я...»

Николай Николаевич вытер глаза.

«Нет, это ужасно,— подумал он,— я — сентиментальный мастодонт вроде князя... И вообще уже потихоньку разваливаюсь,— так что меня надо поскорее женить на хорошенькой девочке. Сегодня же предложу руку и сердце Лидочке Стрекозе. А Колю Ахмет-хана, единственного нашего ходячего, зашлю сватом... Капитала, правда, у меня нет и не предвидится, зато могу ей пересказывать спектакли и фильмы с участием знаменитых актеров прежних дней». Николай Николаевич усмехнулся. И сразу вспомнил, как совсем особенно и почти по-детски просто играл Ноздрева Павел Луспекаев. Это было в телеспектакле. погоди! Лидка Стрекоза могла видеть Луспекаева. А вообще-то он мог лежать тут на койке, в этой самой палате. У него ведь была операция обеих ног. В фильме «Белое солнце пустыни»

снимался сразу после больницы, без обеих стоп. Мужественный человек. И роль как раз по нему: просторный мужик на просторной земле. Играл щедро, от души. Николай Николаевич вспомнил Луспекаева — Верещагина с гитарой, услышал его густой голос:

Ваще благородие госпожа удача,
Для кого ты добрая, а кому и иначе...

Да, хороший актер, даже, может быть, гениальный: только-только вспыхнула его слава, поднялось его «белое солнышко» — и сразу смерть...

Николай Николаевич уже для себя и думая о себе, прошептал окуджавские строчки:

Десять граммов в сердце постой — не зови..
Не везет мне в смерти, повезет в любви.

— Тетю Шуру! — закричал Коля Ахмет-хан. — Пускай ночью спит. Пускай расскажет про тетю Шуру.

— Николаич! — окликнул Серега.

— Ну, значит, так, — вздохнул Николай Николаевич. — Значит...

Он будто внутри себя повернул ручку переключателя: душа его, все его мысли соединились, услышали знакомую волну, и он без усилий заговорил голосом тети Шуры:

— Значится, так. Осталась я опять со своим добром, которое нажила, — с Володькой да Лешкой. Говорю им: «Городишко, может, и неплохой, да мне теперь тут тесновато, поехали туда, где пошире, где просторнее, в Москву». Я девка победная, еще не все песни спела: со стариком обманулась, дак ведь молодого можно полюбить?! — подняла голос тетя Шура. — Работала я уж на стройке маляром, и, правда, ко мне не то что молодой, а видный мужчина, наш мастер, начал приглядываться, намеки делать, обхватывать. А у него нос здоровый, ноздри, как у жеребца, а из ноздрей дым валит или пар какой — мне не понравилось. Я говорю: «Не надо». А он опять, и все напором. Да не то что со мной, а у него такая мода — каждую девку к себе тянуть. Ах ты, думаю, беда какая — ведь он совсем дурак! Разве слова поймет? И пришлось немного олифы плеснуть на его морду, чтоб поостыл. Как он взревет:

— Ну, Логутина, гляди...

А чего глядеть? Как-нибудь презимуем. Тут, правда, встреча у меня получилась. Встретила я инвалида на деревянной ноге, а рядом с ним тележка. В тележку у него положены какие-то продукты: картошка и еще чего-то. И в тележку, интересно, была запряжена собака — хвост крученный, как бублик. Я говорю: «Хорошо придумали с тележкой, не надо утруждаться». Да... Стал он ко мне заходить. Бутылку принесет. Выпьем мы с ним. Он, конечно, больше. А я себе наливаю в чайк.

— Ну, что, — потом он скажет, — пошутим, тетя Шур?

Любить я его не любила, дак ведь жалеть можно...

— Мальчики! Градусники ставить, — вошла Лида Стрекоза.

«Я чего-то устал, — подумал Николай Николаевич. — Мне пятьдесят четыре: утомительное дело жить холостяком. Но вообще-то есаи по-честному, я устал быть взрослым...»

Он закрыл глаза и сразу увидел лицо тети Шуры и всю ее. Странно, до сих пор не задумывался, какая она: а тут — полная, но не рыхлая, а круто замешанная, невысокая, волосы каштановые, прямые, лицо широкое, даже, можно сказать, раздольное, и, как в поле бывают горки, тут, около правой ноздри, бородавка, но она не портила, а была будто на месте. И еще: когда тетя Шура улыбалась, было заметно отсутствие верхнего бокового зуба, но ему это тоже нрави-

лось. Он вглядывался в ее лицо, и у него нарастало ощущение тишины, домашности, которых он был лишен долгие годы.

— Чего? Не красна с лица? — ревниво спросила тетя Шура.— А ты, парень, туннелем гляди, в самое сердце.

«Надо запомнить», — подумал Николай Николаевич. И тут же: «Не всякому бы так она открылась. Видно, во мне какая-то тайна есть», — и он тихо засмеялся.

— Мальчики! Давайте градусники.

Вместе с Лидой Стрекозой в палату вошел Борис Сергеевич. Врач прошел к кровати Григория Ивановича.

— Иванов, — сказал он и сел на кровать.— Значит, дело обстоит так: придется ногу убирать.

— Как это? — Григорий Иванович приподнялся.— Я сюда пешком пришел. Всех на «скорой», а я, понимаешь...

— Ничего не поделаешь. С профессором консультировались, смотрели последние снимки. На конференции обсуждали. Если оставите, то это угрожает вашей жизни. Согласие на операцию от вас зависит. Посоветуйтесь с женой.

— Знал бы, лучше дома я ее отпилил. Ножовка в сарае тоже есть.

— Мы пробовали лечить, но, к сожалению, не все от нас зависит.— Врач поднялся, пошел к кровати Валентина.

— А ты готовься к операции, будем чистить полую вену. Завтра еще раз проведем ангиографию, — повернулся к сестре: — Запишите, чтоб с утра его побрили.

— А чего это — полая вена? — спросил Валентин.— Опасно, что ль?

— Обычно мы эти операции делали успешно. Конечно, всякое вмешательство не без риска, но твой организм молодой, поможет нам, все будет нормально.

Остальные с напряжением ждали.

Николай Николаевич глядел на розовощекого, такого плотного, здорового, ухоженного Бориса Сергеевича с толстыми, яркими губами и понимал, что его слова-вести рушат их жизнь, в которую они здесь, в палате, успели уже врасти, переплели свои уставшие силы в одну, чтобы обороняться от судьбы, как это сейчас на глазах распадается, и надо будет каждому перед новым судьбинным поворотом опять самому собираться и брести куда-то.

— Борисов.

Сергея побледнел.

— Будем выписывать. Профессор считает, что у тебя неплохо пошли дела.

По мере того как говорил Борис Сергеевич, краска возвращалась к лицу Сереги.

— Даже, можно сказать, очень неплохо, — врач улыбнулся Сереге.— Перед выпиской еще раз тебя проверим, а потом я напишу рекомендации в отношении приема лекарств.

— Борис Сергеевич! — крикнул Коля.— А меня когда?! У меня уж была операция на сердце, а нога совсем не болит.

— Хорошо, что не болит. Тебя, Коля, и товарища актера будем продолжать лечить консервативно.

Николай Николаевич вздохнул. Он почувствовал, как его отпустило. К глазам подступили слезы.

«Что это? — подумал Николай Николаевич.— Нервы разыгрались. Вон мальчик перенес операцию на сердце, теперь еще тромбоз. Ох, жизнь наша».

— Ты принимаешь, Коль, лекарства? — спросил Борис Сергеевич.

— Конечно, принимаю. Вы дайте мне больше, чтоб, как Серегу, быстрее выписать.

— Молодец. Выпишем, еще потерпи.
— Борис Сергеевич! — окликнул Григорий Иванович. — Вы со мной не тяните. Жена не будет возражать.
Доктор кивнул.

Когда ушел Борис Сергеевич, а сестра унесла градусники, всей тяжестью на палату легла тишина.

А потом Григорий Иванович опять сказал палате:

— Я тут чего думаю: придет жена, узнает, ну и прочее. Главное не то: я не рассказывал — дочка у меня замуж выходит. Столько ждала. А теперь мужик появился и даже моложе ее, между прочим. И вроде любит. А так бы зачем? Она не такая, чтоб красавица. Особо богата не у нас с женой, а у нее — чего говорить. В общем, наметили они свадьбу и отложили: меня ждут. Когда, говорит, папа выйдет из больницы. И вот тебе, пожалуйста. А теперь я им на свадьбе спою: «Хорошо тому живется, у кого одна нога, и порточина не рвется и не нужно...» Ладно. Это мы как-нибудь. Главное: она замуж выходит. Если я у той стервы внуков заберу да еще эта родит. Ничего. Такая тихоня девка — всю дорогу домой спешит. А моя сестра мне говорит: «Не убивайся, Гриша. Если кто Олечку ближе разглядит, он ее не упустит». Правда, она девка неплохая, варить — все это она умеет. Чего-то я разболтался сегодня.

Он замолчал.

— Николай Николаевич! К вам пришли.
«Леля...»

Он дремал, как всегда, в часы посещения палаты родственниками. К нему никто не приходил и не должен был прийти, и он вначале заставлял себя, а потом привык и даже полюбил засыпать именно в эти часы; его накрывала легкая, прозрачная сетка сна, сквозь которую проникали разговоры больных с посетителями и родственниками. Все это становилось живой, очень подвижной частью его снов: он чувствовал присутствие других людей, только ему казалось, что их гораздо больше, толпы. И это как-то было связано с театром, с пышными массовками. В палате ярко горел свет, приходившие вначале оглядывались на спящего больного актера с капельницей, говорили вполголоса, но потом быстро привыкали, забывали, выходили что-то мыть, громко разговаривали, смеялись или вздыхали, а у Николая Николаевича однажды разыгралось представление в ночном парке: из лиловой темноты появились празднично одетые молодые люди с факелами. На поляне они разожгли костер, устроили пляски. С грохотом вылетали пробки шампанского. Это была чья-то свадьба. Молодые люди решили прыгать через костер. «Как замечательно», — совершенно счастливым, думал Николай Николаевич. И зашептал катуловские строчки: «Пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик!» И тоже присоединился, стал прыгать вместе с другими.

— Мальчики! Градусники — в костер! — крикнул он.

«А говорили, что у меня ноги больные», — смеялся Николай Николаевич... За спиной услышал стук, оглянулся: лошади лихо везли белую карету. «У меня всего одна реплика, надо выбежать на дорогу с возгласом: «Вы!»...»

Его сны часто связывались как-то с дорогой, и потому он понял, что спит, и начал быстро просыпаться, ощущая какое-то неудобство.

Он лежал на боку, трубка капельницы отсоединилась. Еще не совсем проснувшись, опять ее вставил. Посмотрел — на рубашке расплылось пятно крови. Он никому ничего не сказал. Но руки его дрожали и были совершенно мокрые. Он больше не заснул, лежал на спине с открытыми глазами, и вдруг разговоры в палате как бы выключились, он почувствовал, что весь сжимается, превра-

щается в точку, и точка эта стремительно уносится в беззвучие. Через мгновение странное ощущение прошло, но не только не испугало, а укрепило его душевно.

— Леля! Это я.

Удивительно, но именно здесь, впервые за много лет, а может, вообще впервые, она приснилась ему. Что было само по себе счастьем. Он шептал: «Леля, это я». Хотя частично понимал, что спит, слыша сквозь дрему привычные разговоры посетителей.

Конечно, происходило не все, как у них тогда, как в жизни. Правда, многое и совпадало — он тогда действительно был молод, еще не пил, то есть даже не позволял себе выпить рюмки, потому что перед ним и над ним горела звезда. Как в той песне «...звезда любви приветная»... Верил в свои силы, часто смеялся. «Я,— говорил он Леле,— типаж, находка для театров. Посоветуй, нет, просто ткни пальцем, какой театр мне выбрать».

Он читал ей свои любимые стихи Пушкина, Блока и много умничал. Ему хотелось отдать все, что знал, где-то видел, прочитал, все бросить к ее ногам. И притом скорее, не медля ни секунды.

— Ты слышала о вакханалиях в Афинах? — и шептал, как величайшую тайну: — Театр зародился на вакханалиях — празднествах в честь бога Диониса (он сам чувствовал себя молодым богом). Театр,— говорил он ей,— не здание, а живой организм, у него есть мозг, кровь, мускулы. Он может быть дряхлым стариком, который склеротической памятью держит старые тексты. А не пришло ли время,— и тут он понимал, что скажет ей нечто сокровенное,— вернуться к изначальной народной простоте? Это усилит кровь, и мы увидим молодой театр. Сейчас нужна,— учил он,— импровизационная легкость праздника, как у древних греков, среди танцев в лесу, на поле, о таком театре я мечтаю.

Его слова имели еще и тот божественный смысл, что касались ее слуха и отражались. Они возвращались к нему эхом ее взгляда, улыбки.

Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная.
Ты в меня — одна заветная,
Другой не будет никогда.

У него, между прочим, был тогда неплохой голос. Пел под гитару. Тетя, у которой он жил после смерти родителей, купила ему гитару. И он быстро выучился играть сам.

С Лелей познакомился в Эрмитаже, в первую свою поездку в Ленинград. Мотался в Ленинград в свободные от учебы дни.

Тогда еще учился. Она тоже. Ездил, конечно, бесплатно, на обаянии, договариваясь со знакомыми проводниками. Между ним и Лелей были сотни километров, это делало каждое их свидание неповторимым. Оглушало.

Твоих лучей волшебной силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, и над могилою
Гори, сияй, моя звезда...

Он тогда легко рассуждал о смерти. Вообще произносил слово «смерть». И еще «талант».

— Талант как знамя,— говорил он.— Его надо вовремя подхватить, чтоб не затоптали другие за тобой бегущие, наступающие тебе на пятки.

«Сколько чепухи наговорил,— думает Николай Николаевич.— А насчет звезды, Леля, все так и есть. Другая не возшла».

Однажды она пригласила его к себе. Они поднялись на четвертый этаж по парадной лестнице, которую он уже хорошо знал. Потом помнит, что очутился в полутемном коридоре — по стенам стояли шкафы, висели старые вещи (они шли по узкому проходу), и начали приоткрываться двери, выглядывали старушки соседки. Он здоровался, старушек становилось все больше. Леля поскорее увела его к себе. Она жила с отцом и матерью, двумя сестрами и бабушкой в двух смежных комнатах. Тогда были только бабушка и младшая сестра. Его поразили высокие лепные потолки, на стенах картины в рамках, но все запыленное, почти не различимое, и опять же комоды, на которых стояли фарфоровые фигурки, среди шляп, варежек и ученических тетрадей. Он тоже жил в общей квартире, но с такой роскошной теснотой еще не сталкивался.

У нее были прекрасные светлые волосы, кудряшки надо лбом и не очень длинная, но толстая коса, как у школьницы, большие глаза и широкий рот. «Она похожа на Анну Керн», — думал он тогда.

«Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты», — читал он ей знаменитые пушкинские строчки. «Нет! Она не может измениться», — думает он. — Но даже если... все равно. Пусть. Узнаю».

Слоистое, неповторимо прекрасное небо Ленинграда раскачивалось от их внутреннего колокола: они шалели от бессонницы, весеннего воздуха, запаха подъездов, объятий, поцелуев, которые настолько иссушали, что он не знал: живы ли они? Иногда они садились на электричку и уезжали за город, шли к заливу, там колокол успокаивался. И небо было другим — прозрачным, зеленоватым, как вода.

Кричали-посвистывали дрозды, перелетая на коротких крыльях. Высоко в соснах шумел ветер. И дятел апрельской барабанной дробью звал подругу. Потом поднимался над соснами и, как полунемой, истошно кричал: клы... клы... клы...

Не сговариваясь, они однажды не повернули к станции, а пошли в лес. Еще лежал снег, только сильно осевший, вокруг деревьев были темные кольца.

Вот и сейчас он чувствовал себя живой частью апрельского леса: сквозь него проплывала тишина с запахом снега и воды.

— Смотри, — хотел он сказать тогда Леле, — сколько кругом коричневого: сосновая шелуха и сухие иголки на снегу, на березах оставшиеся сухие листья. Я раньше не знал, что так лес готовится к зеленой весне. А ты знала? Видела? Но он промолчал, побоялся что-либо стронуть, нарушить голосом. Они почти свалились в овраг, где бежал ручей. Ноги его давно промокли. Правая галоша у него была еще раньше разрезана сверху, но и так он был весь мокрый по щиколотку. «И у нее, наверное, мокрые ноги, резиновые ботики уже не спасут». Они наклонились и стали пить из ручья. Потом, косясь друг на друга, хватали ртом горькие ивовые прутьики и глодали их по-звериному. И снова шли, совсем не разбирая дороги. На полянке, он вспомнил, снег подтаял. А на снегу сохранились темные следы от лыж. Лыжня терялась в мокрой траве с яркими зелеными листьями брусники. Он показал ей. Они рассмеялись. И кинулись друг к другу, он целовал ее, целовал, чувствовал неутолимое счастье; все крепче обнимал, она дрожала под его руками, а ему хотелось кричать на весь лес неизбывными, обжигающими словами.

На зеленоватом небе проступил месяц. Теперь свет больше шед от земли, от снега.

Казалось, Леля стала еще тоньше, могла растаять на его глазах, вообще исчезнуть. С громкими криками пролетели две вороны, они кружились в потемневшем воздухе.

— Бежим! — шепнул он.

И они побежали. Их вынесло в глубине леса к дачному поселку с заколоченными домиками. На них выскочил здоровущий рыжий пес. Из сторожки вышел дед с седой, взлохмаченной бородой. Он и сейчас помнит тепло печки в его сторожке, на столе чугунок вареной картошки и солоницу, плетеную из бересты, с крупной солью. У деда были поразительно голубые, молодые глаза. Дед оставил им кровать, керосиновую лампу, а сам отозвал пса и ушел из дома.

На подоконнике рядом с кроватью лежало евангелие в черном переплете — Новый завет.

— Давай обвенчаемся, — предложил он. — Положим руки на евангелие...

Утром их разбудил пес. Рыжий, лохматый, с закрученным бараньей хвостом, он прыгнул к ним на кровать, стал лизать руки, лицо. Пронзительный запах лесного воздуха и мокрой собачьей шерсти неистребимо поселился в его памяти.

— Леля! Милая, милая моя...

Почти шесть лет у них не было потолка, кроме неба. Нет, все ж у них был свой любимый дом — Эрмитаж. Дом, где впервые они встретились. Потом туда часто ходили, потому что всегда стремишься к истокам, к красоте. Некоторые картины за эти пять лет стали для них как бы живыми, даже просто породнились с ними. Вот и сейчас он видит рембрандтовскую «Флору». Такая испуганно-наивная Саския — Флора с ее умильной мордашкой, в каких-то невысказанных одеждах, а на голове цветы. И он понимает, что он уже не молодой, а теперешний Николай Николаевич, и что спит, и не где-нибудь, а в больнице, и все равно вопреки — стоит Флора. И это значит: вернулась Леля. Не зря вспомнил. Ждал. И хотя он другой, а она прежняя.

— Николай Николаевич! К вам пришли.

Уже открывая глаза, подумал: «Как же она узнала?.. — И сам ответил. — Позвонила в театр, ей сказали. Боже! Чего раньше-то она тянула».

— Привет! — К нему, улыбаясь, шел их осветитель Слава Попенков. — А мне говорят: он спит. А я, видишь, принес, — он потрянул сумкой, — яблоки от профкома. Чего это у тебя? — Слава показал на резиновую трубку и капельницу.

— Да так.

— Как себя чувствуем? — бодро спросил. — Ничего?

— Нормально.

— Где тут сесть? — Славка поискал глазами стул. — Можно я к тебе на кровать?

— Садись.

— Мне говорили, у тебя чего-то ноги заболели?

— Одна нога.

— О-о... это пройдет. Главное, чтоб сердце не отключалось. Мотор стучит?

— Стучит.

— Тогда порядок. А у нас такие дела: я Дубина на бильярде обыграл. — Славка захохотал.

— Молодец.

— Вот видишь, Николай Николаевич, не зря ты меня учил. Помнишь, говорил: «Если, Славка поймешь, увидишь в своем шаре восемнадцать точек. Чтобы дать винта значит, игрок. Не умом, не глазами, а сердцем увидишь. Помнишь, учил? У меня правда, кий хороший был. Дубин свой отдал мне. Ну, немножко, конечно, форы, нез без того, верно? Ты ешь яблоки.

Николай Николаевич глядел на Славку и не мог понять, когда же был сон, куда исчезла Леля?

У Славки была странная запоминающаяся внешность: он был разноглазый, да еще наполовину альбинос: левая бровь, с левой же стороны часть волос совершенно белые.

— Ешь,— повторил Славка.

— Я не хочу,— сказал Николай Николаевич и пощупал сумку с яблоками.

— Тебе чего?— спросил Слава.— Только через трубку можно, а ртом не велят?

— Почему? Я ртом ем,— ответил Николай Николаевич и понял, что не спит.

— Это хорошо. Ты ведь знаешь, меня в профком избрали, помнишь? Теперь сделали заместителем. Я хочу навести там порядок. Понимаешь, до меня столько свар развели — жуть. Особенно на Михал Михайловича Дубина навалились, что он вроде взял деньги под машину из кассы взаимопомощи и еще не вернул. Там эта, Ермакова Нина Васильевна, крутит. Ты ведь знаешь, какая она баба — конь. Извини, у тебя тут выражаться можно? Я тихонько. Ты бери яблоки. Мы тебе выделили деньги. Бери. Я тебе сейчас оботру. Это твое полотенце?

— Мое.

— На, ешь.

— Ты сам, я не хочу.

— Ага,— он взял.

И громко хрустнул здоровыми зубами.

— Если она заслуженная, то, значит, в театре ее верх, а демократия? Это мне Дубин объяснил. Знаешь, заслуженная, конечно, неплохо, даже отлично, но Михал Михайлович вернет деньги, когда придет время. И потом он тоже имеет отличия, а на бильярде — король, верно? Какой у него классный кий, помнишь? Наклейка из бегемотовой кожи.

Слава воровато оглянулся и вытащил из-за пазухи бутылку красного вина.

— Давай стакан,— прошептал он.

— Не надо, Слав.

— Почему? За мою победу. У тебя еще стакан есть? А то из одного.

— Погоди.— Николай Николаевич приподнялся.— Григорий Иваныч!

На стуле около кровати Иванова сидела, сторбившись, его жена. Она держала на коленях тарелку с какой-то домашней снедью.

— Григорий Иваныч, присоединяйтесь.

— Спасибо,— и к жене: — Кать, возьми мой стакан. Погоди, и кружку у Валентина. Ему пускай тоже плеснет.

Когда разлили вино, Григорий Иваныч сказал:

— Что делать, Кать? На посошок.

— И за мою победу,— засмеялся Слава.— Я тут на бильярде одного хмыря...

— Ну, это особо. У нас свой тост — за жизнь.

— Значит, отец, выписывают?

— Пока вроде нет, а там поглядим. Ладно, ребята, зеленый. Поехали.

И опять они распались на группки, заговорили про свое.

— Слав,— спросил Николай Николаевич,— чего там в театре делается?

— В театре? Все в норме.

— Новое чего репетируют?— спросил Николай Николаевич и вдруг поверил в чудо, вернее, в справедливость...

«Ну, хорошо,— думал он,— я двадцать шесть лет в одном театре, я никуда не бегал. Ну, чего-то раньше я не сумел показаться, не увидели меня, не поняли. Теперь-то, если останусь живой, должны.

«У вас есть такой шанс, даю его вам». Послали Славку с яблоками, так будьте же людьми, протяните хлеб духовный, ведь я и заболел-то из-за чего? Потому что погибал, задышался... Начал спиваться.

— Жижова ставят,— ворвался голос Славки.— А недавно была его генеральная «Масло из вазелина». Вся комедия из чего состоит? Электрики меняют освещение, играют световыми эффектами. После генеральной Грачев на меня орал, прямо ногами топал. Я уж жаловался Дубину. Вообще я сейчас подумал, мы через профком кое-чего можем. А? Нельзя, чтоб театр ставил одного автора. Или пускай пишет нормальные пьесы. Мне Грачев говорит: «Этот спектакль требует особого ритма света». Извини, мы классику ставили — и все у нас было в ажуре. Тебе требуется создать на сцене сон, пожалуйста, аккуратно вводили свет, никто, понимаете ли, ничего не рушил.

Николай Николаевич попытался опять вывести себя на прежнюю дорогу воспоминаний, даже закрыл глаза, но ничего не получилось. Тогда он подумал, что после больницы дирекция театра должна к нему отнестись совершенно по-другому.

«Ведь я прошел через такой страх, такие страдания. У меня...— Николай Николаевич выдержал паузу и внутренне швырнул в лицо администрации и чертова профкома:— Тромбоз глубоких вен нижних конечностей, закупорка нижней полой вены, эмболия в артерию правого легкого, то есть инфаркт легкого».

— Николай Николаевич,— вмешался Слава.— Я тебе сейчас расскажу, как Дубина обставил. Я, когда выиграл, сразу подумал: поеду к Николаю Николаевичу, порадую. Значит, было так: я предложил по два рубля.

«Инфаркт легкого»,— мысленно повторил Николай Николаевич и понял: жалко звучит.

А то еще кто подумает или сострит: «Что? Только одного легкого? Бросай, Коля, курить, и все будет хоккеем».

— А он,— говорил Слава,— по десятке. Даю, говорит, тебе свой кий. А ты ведь знаешь, какой у него кий — стрела. Наклейка из бегемотовой кожи. Елки зеленые! Не то что как у меня, палка, с которой только за грибами ходить. И мне будто кто в ухо: «Славка, бери кий». А я говорю: «Нет». А мне опять: «Славка, бери кий». А я говорю: «Нет». А мне опять: «Славка, бери кий». А я говорю...

Николай Николаевич вдруг мысленно схватил капельницу и ударил Славку по голове. Он сразу же упал замертво, но тут же вскочил, открыл рот.

Тогда Николай Николаевич выхватил из своей груди трубку, сунул Славке в рот. Тот начал плевать, выкрикивая:

— У меня в руке его кий. И тут я вспомнил, как ты учил: «Славка, чувствуй при ударе правое плечо». Я ударяю и чувствую, ударяю и чувствую...

Тяжелый бегемот посмотрел на Славку яростными глазами. Рыкнул. И, опустив широкое рыло, кинулся. Слава взвизгнул, побежал к реке.

Река была небольшая. У ближнего пологого берега густо росли камыши. Над ними в тишине летали голубые стрекозы. Зависнут неподвижно. потом стремительно как бы отскочат в сторону.

— Ты чего, Николай Николаевич? Заснул? — спросил Славка. И сам рассудил вслух: — Видно, от болезни хмель забрал. Хм! А раньше не то что полстаканом — доской его не перешибешь.— И Славка оглянулся.

— Парень, тебя Валькой звать? Поднимись. Гляди. Я тут кладу ему,— и он вывалил на одеяло рядом со спящим Николаем Николаевичем яблоки, три банки шпрот и банку яблочного джема.— Потом, Валентин, подтвердишь. А бутылку я на свои деньги купил. Посуду беру, на улице кину.

Приход Славки Попенкова его взволновал, он почему-то вспомнил родителей и тетку, которая потом воспитывала его.

«Лет пять, нет, даже больше — лет восемь не был на их могиле». Его вторая мать — Любовь Герасимовна, тетечка, как он ее называл, умерла восемь лет назад. А потом он пришел на кладбище через год, кажется, в июне. Купил на рынке цветы, зашел в контору, заплатил, чтоб привели в порядок могилы, поставили новые кресты родителям. Николаю Даниловичу Кокину и Марии Герасимовне Кокиной, а также вместо таблички тоже крест своей второй матери — Любви Герасимовне Чикаревой. «Значит, не восемь лет не был, а семь. Эх, грех это все».

Во время войны их дом разбомбило, но еще раньше, сразу после смерти родителей Любовь Герасимовна взяла его к себе, перегородила свою комнату, чтоб ему было где готовить уроки. И потом, когда он поступил в театральное училище, тетечка очень одобряла... Буквально души в нем не чаяла. Именно не чаяла, верила, восхищалась им, как никто потом.

«Удивительно, но все, что она мне делала, я почитал должным». Во время войны Любовь Герасимовна пошла на обувную фабрику, считалось, что это она делает из-за рабочей карточки, да там и осталась до самой смерти.

Николай Николаевич подумал, что внешне его тетечка мало чем напоминала тетю Шуру, как он ее себе представлял. Любовь Герасимовна была сухощавая, темна лицом, с узкими плечами и длинными пальцами. Правда, и у Любви Герасимовны около правой ноздри на щеке, как у тети Шуры, маленькой мушкой темнела бородавка. А вообще-то он только сейчас с грустью вспомнил свою вторую мать, будто оглянулся и явственно услышал:

— Тише, девочки. Коля занимается, — сквозь блеклые краски его воспоминаний прорвался ее ровный голос.

И вдруг ярко для него открылось в единое мгновение, увидел себя и всю их тогдашнюю жизнь не по годам, а спрессованно — из его отрочества и юности — комнату с потерявшими цвет зелеными обоями, потолок с лепниной около лампы с красным абажуром, сама Любовь Герасимовна смастерила колпак, свет от лампы падает на квадратный стол с белой скатертью, никаких клеенок, а всегда чистая скатерть, огромный чайник, закрытый подолом розовошечкой бабы-матрешки, за столом всегдашние гости тетечки: с бледным лицом, очень худая Вера и совсем юная Нюра — подруги Любви Герасимовны по фабрике, потом еще из соседнего дома забегала кругленькая Анна Ивановна, поразительно похожая лицом на бабу-матрешку. Они разговаривают, на столе стоит блюдо с мелко наколотым сахаром, тарелка с вареной картошкой, кувшин с суфлейным молоком, которое Любовь Герасимовна достала без карточек. Хозяйка предлагает разлить по кружкам молоко, но ее «девочки» отказываются — это ведь для Коли.

Все знают, что Николай скоро выйдет в знаменитые артисты, ему-то необходимо суфлейное молоко для здоровья. А Коля за неплотной перегородкой лежит в одежде на кровати и читает с наслаждением «Республику ШКИД». До него долетают их разговоры о войне, что немец сейчас уже не тот, наши его давят, теперь только бы где не зацепился.

— Нет уж! — поднимает голос Анна Ивановна, она старше других, сама из деревни и в городе неплохо прижилась. — Нет уж, девоньки, нет, подруженьки. Пошли наши мужики, крепко пошли. Вот как рожь жатками жнут, так еще наши парнюки валются. А идут, не остановить. Господи, помоги нашему воинству, а дело мы доведем.

Потом они в своих разговорах корили какого-то мастера Суздальцева, который себе сделал инвалидность, и вообще человек несущественный, как объясняла худая Вера. Иногда женщины пели, тоже не лихо, а вполсилы. Зачинала Анна Ивановна, выводила совсем другим, тонким голосом:

Ой ли, ой люли, полюбила писаря.
Писаришка молодой не велит худо ходить.
Ой ли, ой люли, не велит худо ходить.
Не велит худо ходить, велит платьице носить.

— Подхватывайте, бабы,— звала Анна Ивановна.
И они дружно подпевали:

Ой ли, ой люли, велит платьице носить...

Потом пели и тогдашние горькие песни: «На позицию девушка провожала бойца».

Любовь Герасимовна и при подружках не сидела без дела: вышила скатерти, дорожки, салфетки на комод, а на диване, где спала тетечка, он сейчас отчетливо видит подушки, вышитые гладью по черному бархату: цветы и красноносый попугай.

Коля заметил, что юная Нюра ходит к ним в гости не только из-за тетечки. Когда встречалась с ним, всегда знойно вспыхивала. Как-то в коридоре он подкараулил и обнял ее.

Она птицей вскрикнула:

— Что ты, Коля! Не надо.

А он жадно целовал ее в глаза, в щеки — куда попало. И чувствовал, как весь дрожит, а Нюра, наоборот, затихла, сжалась.

— Я ведь не пара тебе, ты артистку встретишь. Хороший мой, отпусти. Любовь Герасимовна чего про нас подумают,— и легко выскользнула из его рук.

Устраивались у них же праздничные пиры, его тоже приглашали к столу. Веселье приходило чаще от Анны Ивановны, она с порога кричала:

— Я картошку со своего участка продала, денег цельную сумку награммофонила.

На столе появлялись глубокая тарелка с яичным порошком, щедро залитым подсолнечным маслом, белые булки, бутылка с разведенным спиртом. Любовь Герасимовна ставила рюмки.

Пили за победу, поминали погибшего на фронте мужа Анны Ивановны и чтоб вернулся муж Веры, пропавший без вести, поминали и Колиных родителей. Не торопясь закусывали, макая хлеб в тарелку с яичным порошком. Колю просили сыграть на гитаре, спеть какой-нибудь романс про любовь. Он охотно соглашался. Любовь Герасимовна первая ему начинала аплодировать, хваталась за платок, чтобы спрятать слезы, выдыхала с болью, некрасиво хлопая носом:

— Не дожили его папа с мамкой, сестричкой моей.

— А что ты думаешь,— вступала Анна Ивановна, которая не умела долго грустить.— Может, его родители на нас и на него глядят, одобряют сыночка.

Николай Николаевич сейчас подумал: Любовь Герасимовна никогда не называла его сыном, только Коля, Колюшка. Не было ли в этом уважение к нему, к его родителям, да и к себе? Большая щепетильность. А любила его предельно, как мать. Самозабвенно. Все Колины старые школьные дневники, грамоты она прятала в верхний ящик комода.

— Тут все твои документы и свидетельства о твоих покойных родителях. Если что со мной, помру, все тут, запомни. Там и облигации займов.

— Да что вы, тетечка, живите сто пятьдесят лет. Без вас мне никак нельзя.

Он ее редко обнимал. Она же это делала, когда он спал. Проснувшись, Коля глаз не открывал, смотрел сквозь сетку ресниц, как она, поцеловав, долго стояла, что-то нашептывала, быстро крестила и уходила с осторожностью, как бы не потревожить его сон скрипящей половицей.

Еще мальчишкой Коля стал завзятым театралом. Из эвакуации вернулись московские театры. Было время аншлагов. Во МХАТ, в Большой и Малый люди выстаивали за билетом огромные очереди, дежурили ночами, грелись в подъездах домов. В пятидесятых годах, когда он уже кончил училище, театральная лихорадка пошла на спад. Но только не для его тетечки.

Николай Николаевич улыбнулся, вспомнив, как Любовь Герасимовна собиралась в театр. Надевала синее шерстяное платье с подкладными плечами, черные лакированные туфли-лодочки, вспомнил, как она хвасталась, что получила по ордеру вискозные чулки. Потом вот эта, да, конечно же, фетровая круглая шапочка и сбоку украшение — длинная булавка с зеленой головкой. Контрамарку он редко ей давал, самое простое — договаривался с билетершами.

— Вот и мы,— говорил он, обаятельно улыбаясь, знакомой билетерше.— Моя приемная мама. Не может дома усидеть, вы уж, Галина Ильинишна, найдите, пожалуйста, ей местечко.

— Зачем? Наверху постою,— пугалась, махая рукой, Любовь Герасимовна.

Место всегда находилось, Любовь Герасимовна возвращалась взволнованная:

— Как ты, Коленька, сегодня прекрасно играл.

— Бросьте, тетечка. У меня ведь только реплика.

— Великолепно,— не слушая, говорила Любовь Герасимовна.— Ты очень свободно держишься на сцене. Это самое главное. Я бы умерла от страха. Нет, нет! Они в конце-то концов тебя оценят. Ты будешь знаменит. Помни,— твердила она с невинным тщеславием.— Я первая тебе предрекла.

В день рождения Любви Герасимовны он дарил ей — покупал в кассе — билет в партер. Этот обычай, ставший их семейной традицией, возник, кажется, когда в их доме появился Авенир Алексеевич, инвалид, у которого правый рукав гимнастерки был заправлен под ремень. А где уж познакомилась Любовь Герасимовна с Авениром, сейчас не припомнит, да и тогда не интересовался.

Николай Николаевич подумал: почему я тогда не обратил внимания, что Авенир приходит к нам не просто на «огонек». Ведь своими ушами как-то услышал:

— Люба! Захлестка получается: товарищей нет, там,— он почему-то стукнул кулаком по столу,— погибли мои душевные друзья. Один. Хочу возродиться, Люба.

Однажды он принес пирог.

— Сам испек. Приучился левой рукой. Я, Люба, все смогу — и по электричеству, и по механике.

— Потихе, Авенир. Колю разбудишь. Он устал. Жизнь актера не сладка.

— Будет мне сыном.

— Ой да что ты!

— Хочу детей, дом,— настаивал Авенир.

Любовь Герасимовна тихо вздыхала. В какой-то день Авенир исчез. Тетечку Коля не спрашивал про инвалида, она не говорила. Да и к тому же ему было не до тетиных дел: крутил свою любовь с Лелей. Почему он совсем забыл про тетечку? Годами не вспоминал о родителях.

Николай Николаевич заерзал на кровати. Вот уж истинно: «Иван, не помнящий родства». Любовь Герасимовна незаметно постарела,

превратилась в совсем сухонькую старушку, а умерла, когда он был на гастролях. Приехал на девятый день. Умерла, чтоб не доставить хлопот.

«Если выйду отсюда,— томясь, думал Николай Николаевич,— если только выйду отсюда, сразу же пойду на кладбище, поклонюсь дорогим могилам».

Они входили в палату. В пижамах, а кто в тренировочном костюме. Некоторые с костылями или с палкой. Рассаживались на стульях, на кроватях у Коли Ахмет-хана, Григория Ивановича и Сереги.

— Что тут происходит? — ворвалась толстая маленькая сестра Кира.

— Про тетю Шуру пришли слушать.

— Еще чего? Концерты тут будете давать. Сейчас дежурный врач придет делать обход, а вы тут накурите.

— Не будем курить. Ты, Кирка, не квохчи.

— Идите в свои палаты. Вы понимаете русский язык? Мне тоже не хочется за вас выговор получать. Будут они тут шуметь. Я сейчас пойду дежурному врачу скажу.

— Мы аккуратно, Кира.

— А после концерта тебе цветы вместе с вазой.

— От тети Шуры. Хэ!

— Нечего вам тут ржать. Не больница, а не знаю чего,— и она удалилась.

Новому, кто заходил, говорили:

— Тащи откуда-нибудь стул. Или кресло из коридора. Но только, ребята, не курить.

Николай Николаевич сидел на кровати и смотрел на входящих. Они здоровались с ним.

Он тоже говорил:

— Здравствуйте.

— Ребята, давайте тихо. Костыли ставьте в угол.

— Кто покрепче, отодвиньте стол, артиста не загораживать.

Волнение все мощнее ударяло в сердце Николая Николаевича.

«За столько лет не стал профессионалом,— мелькнуло в голове.— Прямо руки дрожат... Что я им скажу? Текста не знаю. Вообще не представляю».

Он побледнел. Ему хотелось крикнуть, вернее попросить: «Идите к себе. Слышали, что сестра сказала? Уходите, прошу вас».

А вместе с тем думал:

«Свершилось, наконец. Они пришли».

«Боже мой! — ему трудно дышать.— Сколько лет я ждал».

Он вспомнил итальянца-импровизатора из «Египетских ночей». Ему хочется еще что-то додумать, а вместо этого он панически кричит себе внутрь: «Неужели спасуешь?» И тут же поспешно отвечает: «Обязательно. Даже лягу и скажу: «Простите, я умираю». «А ведь мертвым здесь не удивишь?» Он улыбнулся, напомнил себе: «Коля, к тебе люди пришли».

«Да, да, я сейчас»,— и вдруг понял, что надо для разогрева, как увертюру, сыграть ощущение праздника театра. Только не явно! Чтобы не перегореть раньше времени. И он мысленно представил себе театр, но не с привычного ему артистического входа, коридоров, артистических уборных, оголенных декораций, а со зрительного зала, парадной лестницы. Он был одновременно и актер, и гостеприимный хозяин, и даже сам театр.

Перед парадной лестницей он мысленно выстроил анфиладу разноцветных залов с множеством зеркал, чтобы зрители и он сам успели настроиться на предстоящий праздник, да и поправили бы по дороге прически, галстуки.

А он, разыгравшись, включил музыку французского певца Джо Дассена.

«Ужасно, что такой молодой умер»,— думал Николай Николаевич и внутренне слушал — французского он не знал,— а мелодия звучала все отчетливее, все громче.

Стульев больше не было. Садись прямо на пол.

«И что поразительно! — думал Николай Николаевич.— Никто ведь не сел к нему на кровать или на кровать его соседа Вали, или на пустую — около окна. Они организовали мне сцену. Да, это разумно. Спасибо»,— мысленно поблагодарил Николай Николаевич.

А в палату еще пытались войти, но было уже невозможно.

— Ребята! Тащите банкетки со второго этажа. А дверь оставим открытой.

Под куполом множества глаз он стал их расширяющимися зрачками, которые первыми должны были увидеть нечто большее, чем будничные страдания и радости. Его волнение нарастало.

«В древности,— подумал Николай Николаевич,— актера называли лицедеем, а дело его лицедейством. Как это точно. Однако пора».

— Да, пора,— тихо сказал себе Николай Николаевич.

Но в это время вошла санитарка, очень хмурая, пожилая женщина. Она обычно так разговаривала, будто была немножко под хмельком.

— Ишь, расселись. Вышаркаете мне тут все.

Она прошла к окну, где стояла пустая койка, села на нее.

— Это... чего я тебе хотела спросить — из пенсии-то у тебя сколько вычитают?

— У меня? — обернулся Николай Николаевич.— Я еще не на пенсии.

— Значит, можешь выступать. А твоя тетя Шура? — Она зевнула.

— И тетя Шура не на пенсии.

— Ага, понятно. Ну, давай, рассказывай. А мы послушаем.

Николай Николаевич понял, что это был третий звонок. И улыбнулся. Потом закрыл глаза. Наступила пауза. Николай Николаевич почувствовал вдруг свою огромную власть, неизвестно откуда пришедшую к нему, будто поднялся на вершину горы и медлил спуститься...

«Интересно,— подумал Николай Николаевич,— сколько я могу держать паузу? Полминуты? Минуту?»

Нет затемнения в зале. Публика и актер соединились одной кровеносной системой. «Сам Всеволод Эмильевич Мейерхольд позавидовал бы мне в эти секунды».

— Здравствуйте, граждане, милые-хорошие,— произнес Николай Николаевич голосом зазывалы.— Ой, сколько вас тут! Мою жисть пришли слушать, спасибочки. Сейчас вам все обскажу. Зовут меня Александра Федоровна, попросту тетя Шура.— Николай Николаевич почувствовал, что его слова летят в пустоту.— У меня два сына Володька и Лешка. Значит, Лешка куда-то сбежал, в бегах. «Выдаешь шлак»,— подумал Николай Николаевич. Проступил холодный пот на его лбу. «Провалился. Вроде в стиле, а не то, совсем не то».

— Я, знаете, граждане, очень волнуюсь. У меня даже печенка заболела. Я помолчу,— и Николай Николаевич действительно замолчал, потом вдруг тихо, серьезно произнес:

— Мне бы только за край ночи уцепиться, уж там-то как-никак, а до утра я дотяну...

Николай Николаевич вздохнул облегченно: в него опять вошла тетя Шура, просто, без утайки, вся целиком, вся на виду, открытая всем ветрам, и с улыбкой в голосе:

— Утром я встала, чайник поставила. Как чайник вскипел, так заварочный сверху — четыре ложечки чаю кинула.

«Пронесло, — ликовал Николай Николаевич. — Никто и не заметил».

— Эх, чего чай жалеть. С утра я люблю крепостью организм залить. А у самой руки трясутся, думаю: чего это Лешка нынче дома не ночевал? Хотя и раньше случалось, дак все одно, страшно матери. А пойти его искать? Где? Куда? Хуже леса, никто не откликнется. Да ведь и на работу мне тоже надо. Покормила Володьку, сама чаю попила. На работу сходила, прихожу домой, дверь отпираю. А у меня за столом гость. Федор Иванович Ушкин, уполномоченный милиции. Встал, когда я вошла.

Николай Николаевич понял, что может сделать паузу и даже обязан. Но не в этом дело: главное понял, как не хватает ему в эту секунду его торжества и покоя женских глаз, которые любили бы его. И, может, даже обожали. Он бы нырлял в счастье, купался, играл, как молодой дельфин. И море и солнце ласкали бы его кожу, но как он прожил свою жизнь? Где ошибся? Куда не повернул, чтоб выйти к морю, к разогретому песку этих заплеванных пляжей и жалких пальм. И все это не то. Почему он стонет, как раненый зверь, вроде дельфина. И опять он пожалел, что рано умерли его самые близкие люди. Хорошо бы кричать: мама! отец! тетечка!

«Ну ладно, — оборвал себя Николай Николаевич, — пора, однако».

— Сержант встал, когда я вошла. «Федор Иванович, — говорю, — чего вскочил, сиди». А у самой сердце колотится: пропал, значит, мой Лешка. Сердце матери — вещун. Не зря, выходит, за край ночки я цеплялась, да и не уцепилась — до утра глаз не сомкнула. «Хорошо, — говорю, что пришел. Да кто же тебе дверь открыл? Никак Володька?» «Он». «Молодец, Доброму гостю мы всегда рады. С какими вестями, Федор Иванович?» «Насчет вестей, это я тебя, Александра Федоровна, хотел спросить, где твой Лешка? Он что? Дома не ночевал?» «Лешка? Обязательно ночевал: его дом — под кустом. Шишку под голову, а листиком прикрылся заместо одеяла». «Все ты, тетя Шур, шутишь». «Зачем? Вон он под кроватью». Милиционер вскочил, да под кровать заглянул, не поленился. «Ох, Александра Федоровна, дошутимся мы с тобой». «Без шутки, Федор Иванович, я и кашу не варю, она мне потом вроде слаще. Так чего Лешка натворил? Говори прямо». «Натворить не натворил, а кое-чего сделал». «Серьезное?» «Говорю: не натворил. Когда придет, зайдите к нам в отделение». Вышел из другой комнаты Володька. «Сейчас, Володенька, накормлю, сейчас, милый. Спасибо, гостя пустил». «Тетя Шура, — сказал милиционер, — жалко мне тебя». «Пожалел волк кобылу». «Не волк я, а людей и тебя вижу на просвет и твои страдания». «Какие такие мои страдания? Если б гармонь была, мы с тобой, сержант, страдания спели. А без песни чего меня уговаривать, я не девка, не полубаба, а полная баба, да еще с двумя детьми. А насчет того, что на просвет, так я со своей семьей не стеклянная, то ты нас хоть на тысячу кусков растолчи, а мы в каждом куске останемся, в каждой пылиночке, понял?» «Не сердись, тетя Шур. Я чего хотел сказать: мужика тебе надо. Отца им». «Вот это, сержант, серьезный разговор. Сейчас дело сладим». «Опять ты шутишь. Ладно, я пошел». «За бутылкой? Свадьба-то где, когда?» «В отделении милиции. Приходите, Александра Федоровна, вместе с вашим сыном Алексеем». «Теперь понятно, — вздохнула тетя Шура. — Там, значит, нас пожалеешь. Так я и Володьку захвачу, младшенького».

Но это уж последнее она сказала, когда за милиционером закрылась дверь.

«Леля,— перевел дух Николай Николаевич,— как мне хотелось, чтобы ты была здесь, поддерживала меня. Помнишь один жаркий день с запахом земляники и хвои. Помнишь?»

Но опять он отбросил воспоминания.

— За милиционером сержантом Федором Ивановичем Ушкиным закрылась дверь,— повторил Николай Николаевич и в ту же секунду опять подумал о Леле. В ее руке как бы очутилась ветка сосны. «Спасибо, Леля! — мысленно поблагодарил Николай Николаевич и вдруг крикнул голосом тети Шуры: «Ой, да я веточка обломлена, ой, да вы шишечки мои — детки-сироты, да когда же это я вас обронила?! Да куда вы покатитесь, в какой доле-земле семечко осыплете». Вошел Володька. Испуганно поглядел. Тетя Шура кинулась к нему, стала целовать, обнимать. «Володюшка, сынок. Где ж Лешка наш? Куда он, стервец, подевался? Чего он с нами хочет сделать? Что ему дома-то не сидится?» И оттолкнула голову Володи. «Правду милиционер сказал: надо бы мне пойти куда, да найти мужика покрепче, футболиста. Стал бы он вас ногами пинать, тогда бы узнали, где родная мать, где дом родной». Тетя Шура всхлипнула, опустилась на стул, усталилась в стену. Володька обнял ее. «Боже! Сынок у меня не кормлен, а я сижу отдыхаю, руки сложивши». И она соскочила со стула, и на своих коротких крепких ногах побежала на кухню готовить обед для Володьки.

Николай Николаевич позволил себе беспечно лежать в траве. Смотреть, как черная, очень мохнатая гусеница медленно ползла по травинке вверх.

«Интересно,— подумал он.— Может ли сверхталантливая гусеница верить, что у нее вырастут крылья? Наверное, только раз в тысячелетие рождается такая еретичка-гусеница, она вынашивает безумные планы превращения в прекрасную бабочку».

Когда садилось солнце, они шли с Лелей из леса по тропинке картофельным полем. Леле надо было завтра рано вставать и ехать из дома на другой конец Ленинграда в свой научный институт.

«Интересно, а в том, теперь уже фантастическом институте, служит хоть один безумец фантаст?» Рядом с лестницей на платформу стояла старушка с маленьким лукошком. В лукошке земляника. Она продавала землянику пакетиками. Он купил два пакетика. Потом вернулся: предложил поменять на все лукошко австрийский портсигар, в который была вставлена зажигалка.

Николай Николаевич расширил ноздри, стараясь вызвать в себе запах земляники и леса.

«Сколько минуло лет с той пахучей молодости»,— витиевато подумал Николай Николаевич. Он наслаждался паузами, наслаждался внутренней свободой, которая, казалось, жила в нем всегда, но почему-то медлила обнаруживать себя.

— И тут позвонили в дверь,— проговорила тетя Шура.— Побежала я открывать да поварешку захватила, чтоб Лешку встретить: думаю, сразу и проучу. Дверь открыла да хлоп поварешкой. А это мой ухажер, инвалид явился. «Чего так грозно встречаешь? — спрашивает.— Чуть бутылку не разбила». «Давно не бывал, вот и осерчала»,— я-то ему говорю. «Тогда хорошо: стукаешь значит любишь». «Любишь не любишь. Некогда мне, Володьку в кухне кормлю. Ты садись, я быстро и тебе сейчас принесу». «Стакан только. Да сама приходи. А то как без компании?» Она не стала ему отвечать. Поглядела: в кухне все нормально. Володька ничего не опрокинул, не разлил. «Молодец какой. Седа опять кормить и по привычке о своем задумалась: «Пчела укусит за дело, комар тоже понятно, а жизнь чего так больно жалит?»

«Шур! — крикнул инвалид. — Я тебе орехов в сахаре купил». «Ага» — откликнулась тетя Шура. И опять подумала про милиционера: «Ишь, он меня на просвет увидел. А чего глядеть? Какие на мне узоры? И опять же: двое детей мальчишек». «Шур, иди...» «Сейчас, погоди». Она отвела Володьку в комнату. Потом вернулась. Налила себе в чашку с чаем немного вина. Положила шесть кусков сахара. «А собака-то, — спросила, — тележку стережет? Или ты ее не взял?» «Почему? Стережет». Он быстро захмелел. «Как живешь, Шура?» «Живу, как все, копейки считаю. А надо бы правильно, да сердца не хватает». «Ты чего-то, Шурка, сегодня невеселая?» «Какая веселая — Лешка у меня в бегах. Милиционер был, спрашивал про него». «А чего сделал-то?» «Кто его знает...» «Явится». «Придет, конечно. А потом опять каких дел натворит — он пирожок соленый. Строгости во мне нету, видно, что жизни не понимаю». «Это ты напрасно». «Чего напрасно?! — взорвалась тетя Шура. — Другие не так живут. Другим и ласка другая». Инвалид отодвинул стакан. «Почему? Ты баба ничего, и вообще-то у тебя все чисто, дом ухоженный». Он поглядел на нее. Она поняла его взгляд и встала. У нее тоскливо сжалось сердце: сейчас он ее позовет. А ей надо бы одной посидеть, в тишине. «Ты ешь орехи», — сказал он вдруг. «Ага, спасибо!» И подумала: «Ишь, угощает. Ты мне парня найди, вот и будет любовь». «Ты знаешь, Шур, я ведь совсем у тебя остаюсь». «Совсем?» — переспросила она. Он кивнул. «Если, конечно, не прогонишь». «А у меня двое парней». «Ничего, я видел, ребята хорошие». «Чего ты плещешь, хорошие? Напился. Давай, я тебе лучше песню спою». «Нет, Шура. Я не больше, чем всегда. Я в норме». «Пьяный, совсем без ума». И закричала:

Дура я, дура я,
Дура я, проклятая,
У него четыре дуры,
А я дура пятая.

И замахала рукой, затопала. Вышел Володя, засмеялся. «Гляди, — показала она, — вон с тебя Володька смеется». «Шура, не надо». «Пьяный, иди проспись». За криком не заметили, как открылась дверь и ворвалась рыжая собака, а с ней белобрысый парень. «Лешка!» «Мам, дай поесть». «Где был? Чего натворил?» — быстро заговорила Шура, схватив мальчишку, то ли желая его обнять, то ли побить. «Сейчас расскажу», — он легко вырвался, побежал на кухню. А за ним Шура и инвалид и рыжая собака. Она достала кастрюлю, высъпала в нее картошку и, пока мыла, чистила картошку, глядела на сына. А он схватил булку, стал есть. «Ушкин приходил», — сказала Шура. «Ага, знаю. Я его видел». «И чего ты сделал?» «Да с ребятами мячом в стекло попали. И с подоконника у старухи какая-то штука упала, тоже разбилась». «Опять матери платить?» «Я вставлю», — сказал инвалид. «Теперь он будет твой папка», — сказала Шура. — Если что натворишь, знаешь, как он тебя ремнем». «А собака тоже у нас будет жить?» — спросил Леша. Инвалид кивнул. Лешка полез в холодильник, достал кусок колбасы, кинул собаке.

«Под открытым небом люди не живут», — говорила Леля раздраженно. Когда она стала говорить, он не помнит. Все было как прежде, то есть так казалось в первые минуты их встречи, а потом совсем по-другому. «За пять с лишним лет она просто устала от меня, — подумал Николай Николаевич. — И даже в том, как мы неистово целовались в те первые минуты, чувствовалась неизбежность разрыва. Мы боялись объяснений, а они назревали».

То, что раньше делало их свидания безмерно прекрасными (не было пределов — крыши над головой, стен), теперь давило. «Неужели нельзя найти другую профессию?» — смеялась она.

И в ее смехе он слышал скрежет близкой ссоры.

Он пытался отшучиваться, философствовать, как делал раньше. «Во мне спрессовано время. Актер, выходящий на сцену, высвобождает время. Надо подождать. Прости меня за игру словами, время покажет, дадут роль, обязаны». «Кто тебе обязан?!» «Человечество». Он смеялся. Она молчала. «Не веришь в человечество?.. Леля! И потом, я недавно работаю». Она в сердцах: «Будешь работать двадцать, тридцать лет и все мечтать о роли третьим составом».

«Да, она предрекла мне. Не в том дело, что она права: не выбился. А я хочу до сих пор, вот это глупо и как-то по-мальчишески, хочу, чтоб она поверила. Кричу опять ей: «Поверь!» Годы уже прошли. Я чувствую, она где-то близко, даже ближе, чем раньше,— у Николая Николаевича набежали слезы на глаза,— гораздо ближе. И я ей опять: «Поверь!»

Последняя их встреча была страшно нелепая — его неудача — и первое, что выплыло в памяти: дождь, слякоть, все тогда пропиталось вязкой сыростью, и он промок до последней нитки.

Дождь начался еще в Москве. С утра вдруг вызрело в нем желание разом приблизить Лелю — конечно, так больше нельзя, она права, права.

Из тумбочки, где лежали мамини вещи (обрезки материй, кружев, ленточки, мешочки с пуговицами, нитки, вязальные спицы), достал кулек из тетрадного листка в клеточку — его сохранное наследство: два золотых кольца и золотой браслет с матовыми лунными камнями. Опять завернул, сунул в карман. В голове простучала фраза из Бернса: «Вот это сватовство!»

На улице моросил дождь. «Ты права — нельзя жить под открытым небом». Сколько раз они строили планы совместной жизни, говорил, что ей нужно бросить работу в институте, переехать в Москву. «А как родители?» Нет, лучше ему бросить театр. Она настаивала: «А где будем жить?» «Снимать комнату». «На какие деньги?»

Ох, эти простые слова «на какие деньги, на какие деньги, на какие...»

«Хватит! — думал он. — Одним ударом вырвать ее, а там...»

Главное, чтоб было весело, чтоб она не успела ничего возразить.

Сам собой, как бы даже естественно возник план неожиданного его появления в Ленинграде — он заберет ее, украдет, увезет. Вот это сватовство!

Договорился с завкостюмерным цехом Лидией Ивановной, умолил ее, и Лидия Ивановна извлекла из гардероба театра костюм гусара.

Надел рейтузы, сапоги, красный мундир, куртку, обшитую мехом, кивер с белым султаном.

«Самое удивительное, — думал Николай Николаевич, — что на улице люди оглядывались на него не так чтоб очень». Может, потому что все время лил дождь, всю ночь, а утром, когда он приехал в Ленинград, еще усилился. И он шел как бы по дну реки. Прямо с вокзала направился к цирку, надеясь выпросить там лошадь, выменять ее на золотой браслет.

«Послушай, браток, — твердил он еще в поезде фразу, — выручи артиста-гусара. Дай лошадь на пару часов. Какой же гусар без лошади? Такой случай, браток, один раз в жизни, прошу тебя».

К цирку он подошел в шестом часу утра. Долго стучался. Никакой «браток» не появился. И он пошел под непрекращающимся проливным дождем через весь город пешком к Лелиному институту. «Боже, как это ужасно, — вспомнил Николай Николаевич, — как она кричала на него на лестнице, плакала...»

Николай Николаевич вздохнул.

— А чего дальше было? — спросила санитарка.

Николай Николаевич молчал.

— Чего там у ей с инвалидом приключилось?

— Все хорошо.

— Нет, ты толком расскажи.

— Сейчас, сейчас... — и виновато: — Забыл я.

— А ты рассказывал, — крикнул Коля Ахмет-хан, — что Лешка полез в холодильник, вытащил кусок колбасы, кинул собаке.

— Ага, вспомнил, — и Николай Николаевич подумал: «Какое счастье, что я свободно могу с ними разговаривать. Эх, Леля...»

— Да, вот так получилось, — сказал Николай Николаевич.

И стал опять ждать, когда в нем скопятся силы, вернее, когда придет та единственная секунда, чтоб вслед за ней...

«Леша! — крикнула тетя Шура. И потом потише: — Леша! Ты чего, заснул, что ли?!» И заглянула в комнату к ребятам. «Ага, заснули». Она посмотрела в окно, подумала: «Темно, завтра не проспять бы». И вслух сказала: «Устал Лешка, набегался за день-то». Вздохнула. «Шур», — прошептал инвалид. Но она оттягивала: «А собака? В доме останется иль ты ее на улицу?» «Как хочешь... не знаю». «Пускай остается, — решила Шура. И усмехнулась: «Понравилась Лешке твоя собака». «Шур», — напомнил инвалид. «Ага... сейчас посуду уберу». «Ладно, посуду...» «Нехорошо, — перешла она на шепот, — нехорошо грязную оставлять». «Шур! — взмолился инвалид. — Давай пошутим, что ли?» «А чего? Можно, — и сказала: — Отстегай, друг, деревяшку». И вдруг заплакала. Он неумело обхватил ее, стал целовать лицо, голову: «Шура... Шура».

Наступила тишина, как бы совсем мертвая. Николай Николаевич опустил на подушки.

Раздался один хлопок, другой. Они хлопали. А он лежал и плакал. Потом приподнялся и, придерживая рукой трубку, стал кивать головой.

— Ладно, я пойду убираться, — сказала хмурая санитарка и поднялась с кровати. — Выходит, она теперь детей пристроила.

И опять раздались аплодисменты. Никто больше не вставал, не уходил: как бы еще чего-то ждали, продолжения.

Николай Николаевич вытер рукой глаза.

Опять наступила тишина.

— Спасибо вам, — заговорил Николай Николаевич. — Вы думаете, я известный актер? Нет, именно здесь, среди вас я стал актером. То есть почувствовал свою истинную силу. Именно благодаря вам.

— Погоди, — остановил Григорий Иванович. — Чего это ты не то... Спасибо, конечно. А ты ложись. Отдохни. Ребята! Давайте расходиться. Артист устал.

Они стали уходить, разбирая костыли, переговариваясь:

— Давай пошутим, тетя Шура!

— Молодец инвалид, правильно, что остался.

— Да она еще и не старая. Ей только за сорок, кажется? Ей еще куковать вполне можно.

— Вообще такая крепкая бабенка, круглая, вертится споро.

— Конечно, — сказал Серега, — матери-одиночке трудно воспитывать двоих детей, а особенно таких разных... Но лично я сталкивался со случаями обратного характера. У вполне обеспеченных родителей дети не хотят учиться, хулиганят, а потом в конце концов оказываются в колонии.

— Лешка не будет в колонии! — крикнул Коля. — У него теперь будет отец. А вообще, Серега, тот милиционер добрее тебя.

— Но хоть без ноги, а отец пацанам нужен...

— Ну, это правильно. Тут чего говорить...

— Давайте ставить градусники. — Вошла сестра Кира. — Стулья забирайте. Чтоб кресло тоже на место поставили.

— Кира! Ты когда мне перевязку будешь делать?

— Кирочка, мне сегодня горчичники не надо. Я сегодня ни разу не кашлянул.

— Идите... идите... Я телевизор включила, слышите?

В палате остались только они — пятеро. В дальнем конце коридора была слышна музыка.

«Напрасно я после выступления заговорил, — думал Николай Николаевич, — надо, чтоб роль была перед тобой, и даже над тобой, всегда выше. А я полез со своими переживаниями». И он как бы крикнул себе: «Актер! Уймись!»

«Но какая прекрасная, неповторимо прекрасная минута рождения образа да еще слияния со зрительным залом. Я стал той единственной точкой, в которой пересеклись нити их жизни, их понимание неизбывной минуты. Моя жизнь, конечно, тоже уместилась в этой точке, вот и пришло счастье ощущать такое: больше ничего мне не надо, — с восторгом думал он. — Мы все люди, родные; я, великий безвестный актер, соединил их. Они мне аплодировали. Боже мой! Хорошо, что все это я говорю про себя, занавес закрылся. Актер, сними с себя грим, успокойся. Занавес закрылся. Театр опустел».

Много раз в жизни Николай Николаевич оказывался в опустевшем театре. Иногда он спускался со сцены в пустой зал. И долго сидел. Слушал, смотрел. В этот час театр ему особенно нравился. Он смотрел на пустую сцену.

Тогда персонажи из разных пьес свободно общались друг с другом, обменивались масками со зрителями. Все это делалось легко, воздушно. Мысленное празднество Николай Николаевич всегда завершал тем, что на сцену опускался крылатый древнегреческий бог удачи Кайрос. Но для Николая Николаевича это тоже было уже давно.

В телевизоре играла музыка. Ему вдруг стало тяжело ее слушать. Опять сильно заболела нога и где-то под левой лопаткой. Потом боль подступила к руке. «Ничего, все пройдет... — успокаивал себя Николай Николаевич. — Главное, не двигаться, тихо лежать... Может, заснуть? Я измотался. Нервы сдали. Какой же я актер, если заплакал. И вообще, я все уже забыл про тетю Шуру, наверное, не восстановит, не вспомню. Что за черт — не могу дышать! В общем-то, если полной правдой, никакой славы я не добился. Не получилось по-хмелевски, Паша Луспекаев в конце жизни блеснул, а моя звезда даже не чиркнула по небу. Сымпровизировал тетю Шуру, жалкая самодеятельность, если-то правде в глаза. Ох, как болит! Кто меня вспомнит? Славка Попенков? Скажет, что научил его на бильярде... или, может, еще этот мальчик Коля Ахмет-хан. Ладно, актер, держись, — и он почувствовал холодный пот по всему телу. — Никто не узнает, как я любил театр. Вот осенью, перед сезоном собирается вся труппа, и тогда вроде единение, забываются интриги, обиды — только наше братство, только коллеги по трудному делу — лицедейству. Я вас любил, ребята, товарищи мои дорогие. Я вас любил, девочки-артистки, старенькие и молоденькие, из последних сил вы тянетесь, чтоб хорошо выглядеть на празднике искусства. Ох, актеры и актрисы — чертово племя. Как у меня все болит... Дышать, главное, тяжело, просто каменная плита на груди. «Меня задушит этот приступ боли!» Это не я, а уже старик Лир. Пройдя через такие страдания, я теперь бы мог показать шекспировского Лира, а показал тетю Шуру, — он горько усмехнулся. И в глубине сердца понял, что играет свою роль умирающего. Понял и ужаснулся: актерство проело до костей. — Неужели и близость смерти не сделает меня самим собой? Неужели, — и он продолжал себя

казнить,— любовь к Леле тоже... да, теперь можно в открытую: был ли мой путь к ней так уж до предела честен? Ведь и там,— его снова пронзило острой болью и раскатом отдалось в спине, он замер, переждал, потом торопливо подумал: в моей любви порядочно наслоилось самолюбия, игры. Кто я? Какой я человек? — ему захотелось подняться и взглянуть себе в лицо, а он не мог шевельнуться. «Попросить, может, чтоб телевизор выключили?»

— Кира,— тихо сказал он и замолчал. «В конце-то концов, откуда у меня право тут распоряжаться?»

Он вспомнил, что в последнее время зарабатывал в «Экране»,— его приглашал знакомый помощник режиссера, тоже бильярдист. Да, можно прекрасно сниматься в эпизодах.

Двигались кони... Степь запылала рыжими конями. Он, одетый в лохмотья, седобородым стариком должен был вместе с другими крестьянами выйти на дорогу.

— Коленька! — услышал Николай Николаевич.

Но это был голос не знакомого помощника, а самого режиссера.

— Я,— откликнулся Николай Николаевич.

— Коля и массовка, начали! Пошли!

Николай Николаевич чувствовал, что не может идти. У него болели нога, сердце. Он задыхался. А в голове глупая мысль: «Почему последнее время во всех кино показывают лошадей?»

Когда-то в юности вместе с приятелем и его девушкой они рванули на лето в путешествие по Горному Алтаю. Зарабатывали артистическими выступлениями, а передвигались на лошадях. То были низкорослые, полудикие лошадки. Впервые он их увидел в деревянном загоне. А нему подошел старик алтаец, спросил: «Какую хочешь?» Николай Николаевич ткнул пальцем. И опять он увидел, как алтаец зашел в середину загона с веревкой в руках, кинул лассо. Промаяхнулся. Лошади шарахнулись к краю загона, потом пошли по кругу, бежали все быстрее с напряженными, расширившимися от страха глазами, старались положить голову на шею друг дружке.

Одна из лошадей, схваченная лассо, упала посредине, стала биться. Остальные продолжали бег. «Остальные продолжали бег»,— мысленно повторил Николай Николаевич.

— Коля! — крикнул режиссер в мегафон.

— Я в больнице,— проговорил Николай Николаевич.— Я сплю.

И увидел желтое пятно на соседней кровати.

«Ага, понятно, это подключился осветитель Славка. Надо мне,— понял Николай Николаевич,— надо мне вот что... шагнуть в этот круг, и наступит тишина».

Ему очень не хотелось принимать какое-либо решение. Он оттягивал, думал: «Как, однако, быстро темнеет».

— Массовка! Да мать вашу... Что вы там?! — ругался режиссер, поднялся на кране, швырнул вниз мегафон.— Темнеет, мать вашу... Давайте луну!— И охрипшим голосом:— Старик! Николай Николаевич! Окружение... Начали! Пошли...

Николай Николаевич напрягся, собрал остаток сил. Он обеими руками схватился за грудь:

— Сейчас... сейчас...

И вдруг услышал знакомый голос:

— Погоди.

Николай Николаевич оглянулся, увидел тетю Шуру и с надеждой:

— Можно подождать?

— А чего торопиться?

— Да вот, ругается... Велит.

— Такое его дело. А ты не ходи,— она улыбнулась.

Волна теплой дрожи прокатилась и унеслась.

— Могу не ходить? — переспросил он.— Значит, мне не надо идти сейчас?

— Ой, да прям грех с тобой! — рассердилась тетя Шура, но тут же смягчилась, пожалела.— Чего зыбиться? Потерпи, парень.— Наклонилась и совсем шепотом:— Это я тебе верно говорю.

Николай Николаевич вздохнул; он глядел в доброе родное лицо с широким носом, бородавкой около ноздри, и сквозь лицо тети Шуры вольно бежал рыжий табун.

«Киношный прием»,— догадался Николай Николаевич.

Ему стало легче, боль отступила.

Николай Николаевич спал. Иногда улыбался во сне. Дышал ровно и спокойно.



ВИКТОР ЯКОВЕНКО



РОДСТВО

Байкало-амурские дали	И мирной весны — ветерок.
В открытой бегут синеве.	Но мертво стоят паровозы
И рельсы большой магистрали,	У взорванных, ржавых дорог.
Быть может, из той же стали,	Звучаньем победного эха
С которой мы в кровном родстве.	Жила, возрождаясь, страна.
Есть в этом от личного что-то	И рельсы прокатного цеха
И что-то от вечного есть:	Ждала как дыханья она.
В огромное море «работа»	...Бетонщик был главной
Впадающих рек не счесть.	фигурой.
И воля нужна и закалка —	Работал — как чудо вершил,
В тайге проложить магистраль...	Скрепляя раствор с арматурой...
Но вспомнилась мне	И в полдень в столовку спешил...
«рельсобалка» —	В заломленной лихо фуражке,
Надежда твоя, «Азовсталь».	Спиной прислонившись к стене,
Затяжи военные грозы.	Читал он в многотиражке
	Стихи о любви и весне.

Причастность

— И что же ты такого совершил?
Ведь за плечами вот уже полвека...
— Я просто жил.
В заботах с вами жил.
В непостижимом званье человека.
С народом вместе трудный хлеб делил.
Он голодал —
И я не знал достатка.
Когда он грустным был, и я грустил,
Нам вместе было горько или сладко.
— А что ты непреложное постиг?
— Нет ничего бездумнее гордыни.
Будь незаметен, как ты ни велик.
Стань — как отец,
Чтоб повториться в сыне.
И счастлив тот, кто друга отыскал.
Стремись познать,
Но не спеши итожить.
Я был горяч, ошибки допускал.
Потом старался их не приумножить.
— Ну а скажи мне, что ты испытал?
Чем проверяла жизнь —
Бедой иль страхом?
— Бедой. О чем я в детстве так мечтал,
По воле злой
Вдруг обернулось прахом.

Но где беда —
 Там отступает страх...
 Вселялось вдруг отчаянье в подростка.
 И я поколесил на бочкарях
 Под стук колес — ни ветрено, ни жестко.
 — И что оставишь ты после себя,
 Стараясь откровенно жить и скромно?
 — Я жизнь оставляю,
 Строя и любя,
 Есть, впрочем, мной построенная домна.
 А что еще — я и не знаю сам.
 Газет подшивки.
 И статьи. И снимки.
 Я светлый день страны моей писал —
 Не изводил чернил на анонимки.

Поколение

Войны кровавой перекрестки,
 Понине приходящей в сны,
 Где мы, суровые подростки,
 С неясной горечью вины...
 От страха закрываю уши.
 О как ты, взрослый мир, жесток.
 Чтоб столько грохота обрушить
 На этот крохотный мосток,
 Чтоб вопреки природе вещей
 Разбою восторжествовать,
 Чтоб с неба нас, детей бегущих
 Дождем свинцовым поливать...
 В холодном, неоглядном мире,
 Казалось, все пошло на нас,
 Полесья избы и Сибири,
 Урал рабочий и Донбасс.
 Ночных цехов, полей подростки.
 Далекий и сиротский тыл,
 И Шемонаиха, и Сростки,

И тот, что под пятою был.
 Нам было худо, очень худо
 На пустырях родной земли.
 Среди кочующего люда
 Мы вслед за тачками брели.
 Не понимали мы, что тоже
 Уже отмечены войной.
 Все это к нам вернется позже
 Как строки памяти больной.
 Но знал ли кто из нас,
 мальчишек,
 Тогда беспомощных на вид,
 Что кто-то свой роман напишет,
 А кто-то к звездам полетит?
 Как выжили и пережили
 На том исходном рубеже...
 Когда подростками мы были,
 Мы ими не были уже.



ПУБЛИЦИСТИКА

АНАТОЛИЙ ГРОМЫКО, ВЛАДИМИР ЛОМЕЙКО



СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ*

Не удивляйтесь, читатель, что разговор о необходимости нового мышления в ядерный век мы начнем с нашей поездки в ФРГ в октябре 1983 года и дискуссий с западными немцами — политиками, дипломатами, военными, учеными, журналистами и обычными людьми с улицы. Нам хотелось бы передать саму атмосферу тех встреч, весьма важную, на наш взгляд. Доктрина устрашения, на которой строится вся стратегия НАТО, в том числе ракетное решение от декабря 1979 года, обернулась вдруг разящим бумерангом страха.

Если вдуматься, все происходившее в ФРГ в те дни и последующие месяцы имело самое непосредственное отношение к настоящей теме. Это была пора напряженного ожидания перед размещением американских ракет в Европе. И хотя женевские переговоры о сокращении ядерных вооружений в Европе продолжались, Поль Нитце со своей командой отбывали лишь роль статистов в театре абсурда. Иначе эти переговоры не назовешь, поскольку посланцы Вашингтона вели их не с целью договориться с Москвой, а чтобы потянуть время до очередного антракта, на этот раз рождественского. В канун рождества и собирались по давним-давно разработанному графику начать установку тех самых ракет, о размещении которых шли переговоры.

Белый дом выдвигал такие «нулевые» и «промежуточные» варианты, которые даже по признанию американских специалистов были несправедливыми и нечестными по отношению к СССР. Мало того, и хозяин Пентагона, и Бернард Роджерс, и Йозеф Лунс, и Гельмут Коль, и Ганс-Дитрих Геншер, и другие политические и военные столпы натовского мира уверяли своих соотечественников и зарубежных граждан, что только после прибытия первых американских ракет в Западную Европу Москва начнет переговоры всерьез и пойдет в Женеве на уступки. Убеждали в этом с авторитетным видом, хотя советское руководство неоднократно заявляло: размещение американских ракет подрвет основу переговоров и заставит Советский Союз принять ответные меры.

Уже в те октябрьские дни 1983 года многие западные немцы понимали: американские ракеты не упрочат безопасность страны. Более того, три четверти населения ФРГ были против ракет. Но вопреки настроениям большинства западногерманские политики, скованные цепью атлантической солидарности, упрямо держались за ракетное решение.

В те дни особенно отчетливо выявилась несостоятельность старого мышления категориями силы и устрашения.

За время шестидневных дискуссий в «Хаус Риссен» нам не раз вспоминались слова великого испанского художника Франсиско Гойи: «Сон разума рождает чудовищ» (так назвал он один из своих офортов). «Хаус Риссен» — это Международный институт политики и экономики в Гамбурге, где проходила XIX ежегодная конференция по наиболее актуальным проблемам современности. Ученые и политики стран Запада и Востока выступали здесь с докладами и принимали участие в дискуссии с представителями политических, деловых и военных кругов ФРГ.

* Из книги Анатолия Громько и Владимира Ломейко «Новое мышление в ядерный век», которая готовится к выходу в издательстве «Международные отношения».

Эта дискуссия отразила возросшую озабоченность европейских участников ее опасным наращиванием гонки вооружений. О чем бы ни заходил разговор—о Европе, Северной Америке, Азии, Африке или Латинской Америке, об отношениях великих держав, Востока и Запада или Севера и Юга,—везде камнем преткновения на пути к ликвидации напряженности и очагов кризисов оказывалась гонка вооружений.

Характерная особенность: немногие из присутствовавших открыто отрицали, что именно внешнеполитический курс США, которые пытаются обеспечить себе доминирующие позиции в мире, порождает напряженность и гонку вооружений. Даже представителя американского посольства и государственного департамента в Бонне не рискнули в компетентной аудитории, что называется, дразнить гусей и весь свой пыл направили на разъяснение «психологических факторов», незнание которых затрудняет, мол, понимание американской политики. Нюанс крайне показательный. Советник американского посольства в ФРГ перечислил ряд «жалоб» западноевропейцев по поводу внешней политики США:

«Американцы до сих пор так и не смогли разработать единую концепцию своей внешней политики. Подобно дипломатам-любителям правительства США резко бросаются из одной крайности в другую. Слишком частая смена правительств и политических курсов в США подрывает стабильность в развитии международных отношений. Американцы склонны обостренно реагировать на отдельные международные события. При этом они не задумываются о долгосрочных последствиях своих действий для собственной нации. Они осмысливают свои акции сначала в военных, а потом уже в политических категориях».

Но чем дольше слушали мы американского советника, проникновенным голосом разъяснявшего присутствующим истоки «американского мифа», тем яснее становилась цель: убедить присутствующих, что американские парни и в Ливане, и в Сальвадоре, и в Европе, у «першингов» — в общем-то, неплохие ребята, просто не все способны их правильно понять. Отсюда, мол, и национальные предрассудки, против которых никто не застрахован. А вот мы, кто поумнее и поопытнее, понимаем, продолжал оратор: все дело в том, что Америка — поздний пришелец на международной арене. И президент и политики должны считаться с верой американцев в то, что если они и не единственные в своем роде, то уж во всяком случае избранные.

Эти высказывания в аудитории западных немцев, представлявших политический, деловой и военный мир ФРГ, призваны были «психологическими особенностями» американцев прикрыть претензии Вашингтона на гегемонию.

Понимали ли в правительстве ФРГ, к чему их могут привести подобные проповеди заокеанского союзника по НАТО, который мнит себя «орудием божественного провидения»? Справедливости ради отметим: никто из наших западноевропейских собеседников не горел желанием отправиться в «крестовый поход» под знаменем Рейгана. Немало политиков консервативного и тем более либерального толка открыто протестовали против средневекового мышления вашингтонской команды. Однако необходимо сказать и о другом.

Как показала дискуссия в «Хаус Риссен», далеко не все, по крайней мере ясно, осознавали, что мы живем в эпоху, совершенно отличную от той, в которой сформировался мир представлений Рональда Рейгана.

Нынешняя эпоха характеризуется наличием взаимного оверкила — адекватной способности обоих военных блоков многократно уничтожить друг друга и все живое на Земле. А посему ядерная война не может решить ни одну политическую или социальную проблему.

В дискуссии, развернувшейся в «Хаус Риссен», столкнулись два принципиально разных подхода в отношениях между Западом и Востоком — философия устрашения и философия взаимной безопасности. Конечно, редко кто из представителей стран НАТО открыто ратовал за гонку вооружений. Однако в своих послылках представители государственного департамента США и западногерманского генштаба, хотя и в разных выражениях, выступили тем не менее за доктрину устрашения. Но ведь ядерное устрашение — доктрина оправдания идеи военного превосходства, которую администрация Рейгана взяла на вооружение.

Слушая апологетов этой доктрины, трудно было избавиться от ощущения, что вера в «божественное провидение» плюс ядерное оружие у некоторых давно заменили веру в человеческий разум. Франсиско Гойя из глубины веков словно бы заглянул в окошко нынешних обитателей Белого дома, где пиршествует сила и дремлет

разум. Только дремлющий разум способен породить столь чудовищные представления, как «ограниченная» или тотальная ядерная война, как ядерная война «до победы».

Справедливости ради отметим: для большинства слушателей «Хаус Риссен» мысль о победе в ядерной войне была неприемлема

Для нас же в дискуссии — и на это указывали советские участники ее — самой опасной для человечества была философия гонки вооружений. Пора признать, что в ядерный век можно выжить, только думая о безопасности друг друга, путем устранения силовой конфронтации. Необходимо заморозить существующие военные потенциалы и запретить разработку новых видов вооружений. Иначе они грозят выйти из-под контроля человека, уничтожить его самого.

На берегах Рейна мы встречали и либеральных консерваторов и консервативных либералов. Один из них, высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел, даже с вызовом заметил: «Не думайте, что за размещение ракет выступают только американцы. Мы и сами не против их иметь!»

Спасибо за откровенность, господа. Мы об этом и сами догадывались. Кое-кому в ФРГ, видно, не терпится иметь на своей территории пусть и чужой, но крепкий ядерный кулак, которым можно погрозить Востоку. Это один из примеров мышления старыми категориями силы и утрашения. Подобные настроения позволили американцам увереннее вести свою деструктивную линию в Женеве, исключая договоренность на основе снижения ядерных потенциалов и оправдывающую размещение ракет.

Конечно, не все в ХДС мыслят такими категориями. Среди клерикалов есть и те, кто понимает важность развития двусторонних связей, поиска путей укрепления взаимопонимания.

— По опросам общественного мнения вы можете убедиться, — говорили нам в Гамбурге и Бонне, — что многие не хотят новых ракет. К чему может привести дальнейшая гонка вооружений, свидетельствует, например, американский фильм «Военные игры».

Мы видели этот фильм. Авторы его как бы прогнозируют, к чему ведет дальнейшее развитие военной технологии. Американский школьник Дейвид, случайно напав на код, подключает свой компьютер к североамериканской системе слежения за советскими ракетами (НОРАД) и начинает игру «Тотальная ядерная война». Компьютер объявляет ложную тревогу. Цепная реакция оповещения приводит в боевую готовность армаду американских подводных лодок и самолетов-ракетоносителей. Только чудом удается нейтрализовать вышедший из-под человеческого контроля компьютер, чуть было не начавший третью мировую войну. Примечательно, что по ходу всего фильма американский генерал, от которого зависело, дать ли команду на «ответный удар», упорно отказывался поверить заверениям русских, что никакого нападения на США нет и в помине. Не верил, и все! Выручила смекалка ученых, а не милитаристский настрой.

Да, оснований для серьезной тревоги вполне достаточно. И не только потому, что размещение американских ракет раскручивает новую спираль гонки вооружений. Подобная акция неизбежно подрывает последние ростки доверия, глушит установленные связи. Кузнечными мехами раздувается милитаризация мышления, отравляющая общественную атмосферу. Самое опасное, что война и военщина снова в моде в странах НАТО. Книжки, фильмы, телепередачи о «будущей войне» опять переживают бум. Звездные войны заполнили экраны, психологически подготавливая население к переносу гонки вооружений в космос.

...Самое жаркое по погоде лето на Рейне сменилось самой жаркой осенью в политике. С 15 по 22 октября 1983 года по всей ФРГ прошла Неделя действий против размещения в Западной Европе новых американских ядерных ракет. В ней участвовали более миллиона человек. Только на митинге в западногерманской столице собралась свыше 300 тысяч демонстрантов. Живая цепь из 120 тысяч человек замкнулась вокруг правительственного квартала Бонна.

Сильные мира НАТО чувствовали себя в осаде. Они не могли найти убедительных аргументов в пользу размещения ракет, которые отвергало подавляющее большинство западных немцев. Вынужденные юлить, политики, стоявшие у власти, скрывали, что еще задолго до финиша женевских переговоров они отдали приказ о подготовке площадок для американских ракет. И людей по-прежнему вводили в заб-

луждение надуманным аргументом: стоит разместить американские ракеты — и русские пойдут на уступки. Как будто в ходе переговоров в Женеве с советской стороны их не было. Было, и немало. Однако глухая стена неприятия американской администрацией принципа равенства и одинаковой безопасности не позволила достичь соглашения.

Под шумок об очередной «гибкости» американцев в Женеве в Западную Германию втайне доставляли оборудование для «першингов». Уже через день после принятия бундестагом рокового решения из-за океана стали прибывать транспорты с ракетами.

Одним из самых тягостных наших впечатлений от поездки и дискуссий было чувство, что многие политические деятели на Рейне, зная, что новые ракеты не принесут большей безопасности, тем не менее шли на это. Давало себя знать старое мышление категориями утрашения.

КТО ДЕРЖИТ В РУКЕ МЕЧ УТРАШЕНИЯ

Карл, герой незавершенного романа Ф. Кафки «Америка», едет в Соединенные Штаты в поисках счастья. В нью-йоркском порту его встречает огромная статуя Свободы, которая держит в высоко поднятой руке... меч.

Абсурд? Да, отмечает советский философ Э. Розенталь, но только с точки зрения фотографа. С точки же зрения реальности, которая гораздо сложнее первых поверхностных впечатлений, в этой, казалось бы, фантастической картине отражается глубокая правда познания действительности.

Теория и практика утрашения, взятые на вооружение США, выявляют подлинный лик Америки. Ее рисуют в образе статуи, держащей факел свободы. На самом же деле в высоко занесенной руке — меч.

В 1961 году решением конгресса США было создано Агентство по контролю над вооружениями и разоружению. Вместе с госдепартаментом и Пентагоном оно участвует в разработке американской позиции по проблеме разоружения и ограничения ядерных вооружений. С приходом к власти правительства Рейгана это агентство оказалось совершенно не у дел, а его руководитель Юджин Росту, похоже, считал, что работает на Пентагон. Достаточно привести его высказывания. По Росту, американская интервенция во Вьетнаме являлась всего лишь усилием, «которое мы предпринимаем во всех уголках мира, для того чтобы воссоздать какую-либо систему порядка». В настоящее время Росту уже требует, чтобы «порядок» был наведен и в Сальвадоре. «Мировой порядок» в его понимании обязателен для всех. Он утверждает, что «порядок» нарушается Кубой и Никарагуа.

Между прочим, Поль Уорнке, бывший руководитель этого агентства, оценивая позиции Росту по проблеме ограничения стратегических вооружений, заявил: «Его подход является настолько нереалистичным, что, по существу, превращается в отказ от усилий по контролю над вооружениями».

А как Росту относится к опасности ядерной войны для человечества? О его позиции в этом вопросе свидетельствует дискуссия, разгоревшаяся однажды между ним и сенатором Пеллом в стенах конгресса США.

Пелл. В случае обмена тотальными ядерными ударами между Советским Союзом и Соединенными Штатами считаете ли вы, что каждая из этих стран в значительной степени уцелеет?

Росту. Это зависит от того, насколько интенсивным будет обмен ядерными ударами... Япония, в конце концов, не только выжила, но и расцвела...

Под стать Росту были и другие «борцы» за сокращение ядерных вооружений. Так, например, американский представитель в Женеве на переговорах по ограничению стратегических вооружений Эдвард Рауни многие годы настойчиво утверждал, что Советский Союз имеет «стратегическое превосходство» над США в военной области. Характерно, что Рауни был включен в состав американской делегации на переговорах по ОСВ по настоянию сенатора Джексона. Совместно с сенатором Джексоном, Юджином Росту и Полем Нитце Рауни являлся членом комитета по существующей опасности и делал все, чтобы защищать точку зрения Джексона на советско-американские отношения.

Один из представителей Пентагона, долгое время работавший вместе с Рауни, признал, что этот генерал «имеет фундаментальные возражения против переговоров

с Советами». Другой американский эксперт выразился еще откровеннее: «Я думаю, что генерал Рауни никогда не достигнет соглашения с Советским Союзом».

И вот такой человек, как Рауни, который, по мнению самих американцев, не способен вести дела с Советским Союзом, а тем более искать взаимоприемлемого компромисса, был направлен в Женеву на переговоры по одной из актуальнейших проблем советско-американских отношений. Парадоксально, но факт.

Представителем США на переговорах в Женеве по ограничению ядерных вооружений в Европе в 1982—1983 годах был, как известно, Поль Нитце. По мнению Нитце, «в некоторых ситуациях нам может понадобиться тактическое атомное оружие». В этом отразилась его убежденность, что США могут первыми прибегнуть к использованию ядерного оружия. Он предостерегал правительство США, Пентагон, что не следует сосредоточивать все усилия на создании только стратегического оружия, которое могло бы быть использовано лишь в случае «большой войны».

Еще яснее Нитце выразил свою точку зрения, когда заявил: «Если мы будем вовлечены в военные действия, то следует исходить из надежды, что такие действия будут ограниченными по размеру и использованию вооружений. Если обычные вооружения сами по себе не смогут восстановить ситуацию, то в некоторых случаях может потребоваться использование также тактического ядерного оружия». Нетрудно увидеть, что именно такой подход Нитце к возможности ведения «ограниченной» ядерной войны в Европе лег затем в основу подхода правительства Рейгана к тому, чтобы объявить старый континент вероятным театром военных действий, в том числе ядерной войны.

Показательно, что П. Нитце не останавливался и перед методами прямого шантажа во время женевских переговоров. Так, обращаясь к советским представителям, он говорил: «Если вы не примете наших предложений, то мы окружим вас ракетами «Першинг-2» в первом эшелоне и крылатыми ракетами во втором, так что вы окажетесь в незавидном положении».

Люди типа Нитце предпочитают работать за закрытыми дверями. Именно так, тайно, на Западе в странах НАТО, особенно в США, рождаются новые концепции в духе «холодной войны» и политики с позиции силы. Последние словно тяжелые шлагбаумы преграждают пути принятия решений, которые могли бы стабилизировать мир на основе одинаковой безопасности для всех. Эти скрытые от общественности **пружаны**, с помощью которых вырабатывается внешняя политика многих стран НАТО, срабатывают постоянно и невидимы постороннему глазу.

Так, долгое время, когда в деле развития международных отношений в США набирала силу разрядка, сторонники «холодной войны» активно действовали как в Пентагоне, так и в конгрессе и многих других выборных и правительственных органах власти. Таким глашатаем «холодной войны» в 70-х годах был сенатор Генри Джексон.

Джексон в своей деятельности против разрядки длительное время пользовался услугами Ричарда Перла. Об образе мышления, политических взглядах и неблагоприятных приемах, к которым частенько прибегает Ричард Перл, стоит сказать особо: ведь он занимает важный пост помощника министра обороны США. К политическим деятелям, подобным Джексону и Перлу, весьма подходит название «подрывники». Они постоянно подкладывают политические мины под любое возможное соглашение между США и Советским Союзом, между социалистическими странами и странами НАТО. Эти люди самым тесным образом связаны с военно-промышленным комплексом. Замечено, и не раз: едва в недрах госдепартамента США начинается какое-либо компромиссное предложение, способное удовлетворить Москву и Вашингтон, как «подрывники» тотчас приступают к работе. Они действуют и через своих людей в средствах массовой информации.

Об этом, в частности, пишут известные американские журналисты Рональд Браунштейн и Нина Истон в книге «Правящий класс Рейгана». Стоит появиться первому проблеску советско-американского компромисса, Перл, его друзья и, естественно, сам хозяин — Уайнбергер организуют очередную утечку информации, которая попадает на страницы американской печати, телевидения и радио в интерпретации самых реакционных американских обозревателей, таких, как Эванс и Новак. Последним, похоже, не представляет труда бросить тень на любого чиновника госаппарата США и даже политического деятеля крупного калибра, если тот осмелится

утверждать, что по тому или иному вопросу возможен компромисс с Советским Союзом.

Р. Браунштейн и Н. Истон подчеркивают, что «Перл выдвигал предложения настолько несбалансированные, чтобы сделать их принятие советской стороной невозможным». Как они отмечают, цель подобной тактики — угробить переговоры по контролю над разоружением, а затем развернуть в США массивную гонку вооружений, «которая была бы не под силу Советам».

Достаточно ясно о позиции Джексона и Перла высказался П. Уорнке: «Я думаю, что в своей основе они представляют себе контроль над вооружениями как совершенно одностороннюю акцию: все то, что контролирует другую сторону, — прекрасно, все то, что мешает нам делать то, что мы хотим, — плохо... Поэтому было невозможно договориться о каком-либо соглашении по контролю над вооружениями, которое бы их удовлетворило».

Выступая в марте этого года в сенатской комиссии по делам вооруженных сил, Перл пытался доказать, что Советский Союз «нарушил» чуть ли не все подписанные им договоры — и ОСВ-2, и ПРО, и международные договоры и соглашения о запрещении химического и биологического оружия. Причину подобных выпадов выдал сам Перл, когда заявил, что следует помочь Вашингтону «освободиться от своих обязательств по договорам», ибо необходимо, чтобы сенаторы утвердили «абсолютно все средства, запрошенные президентом на программу производства стратегических вооружений».

Вот так представители команды «подрывников» понимают диалог с Советским Союзом. Подрывая разрядку, они не останавливаются и перед тем, чтобы вину за ухудшение международной обстановки свалить с большой головы на здоровую.

Новое политическое мышление не возникает само по себе. Оно рождается и формируется в человеческих умах. Особое значение при этом приобретают взгляды тех людей, что стоят у власти, вырабатывают основы внешней политики, претворяя ее в жизнь.

Сегодня двумя крупнейшими предприятиями в американском государстве стали Пентагон и ЦРУ. Их воздействие на формирование мышления американцев, похоже, становится решающим. И это не преувеличение.

Пентагон и ЦРУ работают в тесном контакте с влиятельными группами американской финансовой олигархии. Раскручивая гонку вооружений, они обеспечивают им громадные прибыли. В этой системе военного механизма есть и скрытые лабиринты, в которых упрятаны многие военные программы. Так, например, в настоящее время на министерство энергетики США возложена задача развития ядерных вооружений. Кроме того, на Пентагон, ЦРУ и крупнейшие военные монополии в США трудятся и десятки тысяч мелких военных субподрядчиков, которые тем самым заинтересованы в наращивании военного производства. Вновь и вновь вспоминаются слова президента Д. Эйзенхауэра, который в минуту откровенности признал растущую для США опасность «чрезмерного влияния военно-промышленного комплекса».

Трудно сказать, как долго продлится ситуация, когда в американской политике верх взяли ультраконсерваторы. Не имея достаточного внешнеполитического опыта и плохо представляя себе последствия ядерной войны, они повернули американскую внешнюю политику на военную тропу, изобилующую опасностями куда более грагичными, чем те, о которых поведал американцам телефильм «На следующий день».

Основными компонентами новой гонки вооружений объявляются производство и модернизация ракеты МХ, подводной лодки-ракетоносца «Трайидент», бомбардировщика «В-1», ракет «Першинг-2» и крылатых ракет. Именно такое наращивание боевых arsenалов, по мнению К. Уайнбергера, является «восстановлением обороны Америки». В этом, как считает глава Пентагона, и состоит разумный курс «по поддержанию мира».

Философия устрашения активно навязывается американскому и западноевропейскому общественному мнению и директором ЦРУ У. Кейси. Свою статью, обращенную к деловому миру и ведущим политическим деятелям, он так и озаглавил — «Угроза». Стремясь запугать деловой мир, американскую и западноевропейскую общественность рассказами о «советской угрозе», Кейси далее сбивается на дежурную тему о «слабости советской экономики».

Если президент Рейган и его министры не разрабатывают планы поиска взаимо-

приемлемых решений по ограничению вооружений и тем более по разоружению, чего же можно ожидать от американских военных!

Так, верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Бернард Роджерс в своих речах постоянно выполняет знакомый всем ритуал, доказывая, что «сильная оборона необходима для поддержания мира». Выступая 16 марта этого года в Осло на симпозиуме Североатлантического блока, Б. Роджерс открыто ратовал за сохранение в НАТО доктрины, предусматривающей применение ядерного оружия первыми.

Еще более прямолинеен министр военно-морского флота США Джон Леман. То, о чем американские политические лидеры на самом высоком уровне порой упоминают лишь вскользь, Леман выкладывает прямо и откровенно: «США находятся на пути к превосходству на морях и океанах, секрет успеха в достижении этой цели действительно заключается в постоянстве наших усилий. Я уверен, что мы достигнем этого».

Стремясь обосновать философию милитаризма, Леман патетически восклицает, что его, видите ли, приводят в изумление достижения Советского Союза в укреплении своих военно-морских сил. «Советский военно-морской флот,— заявляет Леман,— действует сегодня в глобальном масштабе». Но ведь никто и не отрицает, что Советский Союз вынужден держать свои военно-морские силы в Тихом, Индийском океанах и Средиземном море как раз из-за того, что там находятся армады американских военных кораблей с ядерным оружием на борту, нацеленным на Советский Союз и его союзников. По существу, они держат под прицелом десятки освободившихся государств Азии, Африки и Латинской Америки. Спрашивается, как же в этих условиях Советскому Союзу не противостоять экспансионистской военной стратегии США!

Взгляды, которые высказывают и проводят в жизнь господа Уайнбергер, Кейси, Роджерс, Леман, это не точка зрения отдельных индивидуумов. Это скорее мнение своего рода корпорации военно-промышленный комплекс — Пентагон — ЦРУ. В условиях, когда президент США потакает ей во всем, а деловой мир Америки и Западной Европы, не связанный непосредственно с производством оружия, пребывает в сладкой дреме, сон разума и порождает чудовищную милитаристскую политику. Неудивительно, что такая политика наталкивается на сопротивление сотен миллионов людей, выступающих за сохранение человеческой цивилизации, за мир во всем мире и безопасность для всех.

МИЛИТАРИСТСКИЙ АМОК ИЛИ ПСИХОЛОГИЯ МИРА?

Ядерная бомба с момента ее появления отбрасывает мрачную тень на человечество. За этой мрачной тенью далеко не все способны разглядеть другие глобальные проблемы¹, острота которых возрастает с каждым десятилетием, угрожая всему миру трудно предсказуемыми бедами и конфликтами. Среди них — углубляющаяся пропасть между развитыми и развивающимися странами, нарушение экологического баланса. Конечно, гонка вооружений, тем более ядерных,— самая опасная из глобальных проблем. Еще и потому, что она грозит уничтожением всему роду людскому, а возможно, и всей жизни на Земле. Но даже если не случится самого худшего, ядерный марафон, не будучи остановлен, грозит загнать человечество в тупик, исчерпав его силы и средства, необходимые для решения других, насущных проблем.

Вопрос стоит так: либо наступит час истины, когда человечество осознает гибельность нависших над ним бед и совместными усилиями найдет пути к их устранению, либо его ждет неотвратимая расплата. По существу, это вопрос нашего отношения к будущему через наши действия в настоящем.

На XXVI съезде КПСС, на всех последующих пленумах ЦК нашей партии Советский Союз подтвердил свою принципиальную приверженность курсу на мирное сосуществование государств с различным социально-экономическим строем как единственно разумную альтернативу развития человечества.

Выступая на февральском (1984) Пленуме, Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко сказал: «Советский Союз как великая социалистическая держава полностью сознает свою ответственность перед народами за сохранение и укрепление

¹ Существуют разные определения понятия «глобальные проблемы». На наш взгляд, это проблемы, которые затрагивают жизненно важные интересы человечества и требуют его объединенных усилий. Их нерешенность представляет угрозу для будущего цивилизации.

мира. Мы открыты для мирного взаимовыгодного сотрудничества с государствами всех континентов. Мы за мирное решение всех спорных международных проблем путем серьезных, равноправных, конструктивных переговоров. СССР будет в полной мере взаимодействовать со всеми государствами, которые готовы практическими делами помочь уменьшению международной напряженности, создавать в мире атмосферу доверия... И мы считаем, что в этих же целях должны быть в полной мере использованы все имеющиеся рычаги, включая, конечно, и такой, как Организация Объединенных Наций, которая и создана была для сохранения и укрепления мира».

К. У. Черненко не случайно произнес авторитетные слова поддержки в адрес ООН. Этот высший форум человеческого сообщества в последние годы яростно атакуют силы, не заинтересованные в усилиях сохранить мир и международное сотрудничество для решения глобальных проблем на демократической и справедливой основе. Именно в ООН все большую поддержку находят принципы нового мышления в ядерную эпоху. В частности, существует понимание все возрастающей опасности ядерной войны и разорительных последствий гонки вооружений. В докладе Генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра говорится, что военные расходы в мире за 1978—1982 годы, между первой и второй специальными сессиями Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, возросли почти вдвое (с 350 до 600 миллиардов долларов). Пятая часть всех военных расходов идет на наращивание запасов ядерного оружия. И это несмотря на то, что в мире уже более миллиона бомб, равных хиросимской.

Оружие не просто копят. Им торгуют. За те же четыре года международная торговля оружием достигла объема в 120—140 миллиардов долларов. Причем две трети этой суммы приходятся на долю развивающихся стран. А ведь именно там имели место все 130 вооруженных конфликтов, случившихся после второй мировой войны.

Если не остановить этот гигантский марафон, то к концу нынешнего столетия военные расходы превзойдут сумму в 1000 миллиардов долларов. Казалось бы, безумие этой гонки столь очевидно, что должно вызвать единодушный протест общественности, а государственных деятелей заставить предпринять неотложные шаги по разоружению. Однако в политическом мышлении и практике руководителей многих государств продолжает превалировать тезис — якобы путь к разоружению лежит через наращивание вооружений.

Все говорят о мире, а горы оружия, в том числе ядерного, растут. Как отличить в этой гонке правого от виноватого? Как узнать настоящую цену словесному миру-любии?

Задайте самый главный вопрос: допустима ли ядерная война и победа в ней? Тут и выявляются поразительные вещи. Начиная с момента создания первой атомной бомбы (через все этапы принятия на вооружение новых систем ядерного оружия) и кончая самой последней идеей Рейгана — Теллера о создании космического оружия, гонка оправдывается заботой о сохранении мира. При соответствующей обработке общественности утверждается опасная психология процветания мира под ядерным зонтиком. На Западе до сих пор широко бытует мнение о том, что ни один здравомыслящий государственный руководитель не начнет ядерную войну. Иные утверждают даже, что столь долговому периоду мира Европа обязана атомной бомбе. Если же и признают опасность ядерной войны, то как результат роковой случайности или ошибки.

Подобное мышление не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. «Такое отношение в значительной степени затрудняет усилия общественности создать политическое движение, необходимое для того, чтобы оказать давление с целью остановить гонку ядерных вооружений», — отмечается в докладе Независимой комиссии Пальме. — «Если люди не верят в возможность возникновения ядерной войны, зачем они должны беспокоиться и предпринимать согласованные действия, чтобы изменить существующую практику?»

Еще более опасны прямые попытки оправдать возможность ведения «ограниченных» и даже затяжных ядерных войн и достижения побед в них. Именно здесь проходит четкий водораздел между старым и новым мышлением.

Он проходит в среде и политиков, и ученых, и работников средств массовой информации.

Люди с развитым чувством ответственности за судьбы мира рано или поздно приходят к признанию пагубности для цивилизации ядерной гонки. Показательна в этом отношении судьба Джорджа Кистяковского, почетного профессора Гарвардского

университета, участника Манхэттенского проекта, а в начале 60-х годов советника президента США по науке. По его собственному признанию, после второй мировой войны он был искренне убежден, что Советский Союз стремится к завоеванию мирового господства. Но затем, оказавшись в самой гуще политической жизни и присутствуя на заседаниях Совета национальной безопасности, он пришел к убеждению, что растущий арсенал ядерного оружия превращается в подлинное бедствие и для США и для всего мира. И он стал решительно выступать за ядерное разоружение, доказывая, что в ядерной войне победителей не будет.

В своих мемуарах Джордж Кистяковский вспоминает, как вместе с президентом Эйзенхауэром, с которым работал и близким другом которого был, они пришли к выводу об опасности дальнейшей милитаризации страны и о растущем влиянии военно-промышленного комплекса. Этот комплекс с самого начала оказывал сильное давление на ученых, занятых в области ядерных исследований. Одних привлекали к сотрудничеству с Пентагоном высокими ставками, другим давали выгодные заказы.

Как свидетельствуют закрытые документы из архива ФБР, в 1949 году, когда президент Трумэн объявил американцам, что они утратили атомную монополию, в верхних эшелонах власти США начались серьезные совещания для выработки линии дальнейшего поведения. Столкнулись два подхода: сторонники первого предлагали серьезные переговоры с Советским Союзом и запрещение водородной бомбы, вторые требовали ее создания и четырехкратного увеличения военного бюджета. Как часто бывало (и происходит сейчас), победили поборники дальнейшего наращивания вооружений. Об этом и заявил 31 января 1950 года президент Г. Трумэн.

Самое тревожное, что история повторяется. Взятый администрацией Рейгана в начале 80-х годов курс на достижение военного превосходства сопровождается уже сточением борьбы против внутренней оппозиции, в первую очередь против антивоенного движения. Эдвард Теллер, отец водородной бомбы, говорит то, что хотя бы услышать в Белом доме: ядерная война не означает конца света, в ней можно выжить и победить... А сторонники противной точки зрения, мол, либо наивные люди, жертвы коммунистической пропаганды, либо паникеры.

И снова мы возвращаемся к исходному вопросу: допустима ли ядерная война и победа в ней? Показателен тот факт, как раздраженно администрация Рейгана реагировала на телевизионный фильм «На следующий день», премьера которого в США состоялась 20 ноября 1983 года. Фильм, по существу, подвергли цензуре и сокращению, а затем устами государственного секретаря Джорджа Шульца постарались приглушить его шокирующее воздействие на американскую общественность. Это свидетельствует лишь об одном: влиятельные силы в США не хотят, чтобы страна взглянула правде в лицо. И весьма симптоматично, что телекомпания Эй-би-си, вложившая 7 миллионов долларов в производство фильма, не сумела продать время для рекламных роликов, хотя фильм обещал привлечь огромное число зрителей.

Через несколько дней после показа телефильма «На следующий день» американский журнал «Ньюсуик» писал: «Ядерная война — это явление, о котором большинство американцев предпочло бы не задумываться. Но на прошлой неделе жизнь была настолько близка к искусству, что стало невозможно, по крайней мере на данном этапе, игнорировать смертельную опасность, нависшую над нашей планетой. Резкое пробуждение началось с того, что 100 миллионов американцев посмотрели упрощенную, но ужасающую картину ядерного уничтожения. Через два дня после показа фильма «На следующий день» западногерманский парламент проголосовал за развертывание новых американских ядерных ракет в ФРГ, куда вскоре начали прибывать первые ракеты «Першинг-2»...» И далее журнал уточняет: «Первые ракеты начали прибывать на американскую базу ВВС в Рамштайне неполных 16 часов спустя после того, как западногерманский бундестаг 286 голосами против 225 проголосовал за развертывание «першингов»...»

Как отмечал западногерманский журнал «Штерн», фильм «На следующий день» имеет сейчас непосредственное отношение к политической реальности. Речь идет о главнейшем вопросе: можно ли допустить ядерную войну? Не зная истинных последствий ее, не представляя реально, что ядерная война означает катастрофу всей цивилизации, многие инертно реагируют на гонку вооружений.

А ведь последствия ядерной войны известны не только по Хиросиме и Нагасаки. Они изучены (насколько это только возможно) многократно и многосторонне специалистами разного профиля и разных стран.

В 1955 году в Западной Европе проходили учения под кодовым названием «Карт-бланш». Было условно взорвано 335 ядерных боезарядов. Не считая последствий радиации и других побочных эффектов, потери только населения в обоих германских государствах оценивались в 1,5—1,7 миллиона убитыми и 3,5 миллиона ранеными. Примечательно, что после этих учений Гельмут Шмидт заявил, что применение тактического ядерного оружия не защитит Европу, а уничтожит ее.

На конференции известных врачей Востока и Запада в 1981 году констатировалось: обмен крупными ядерными ударами между Соединенными Штатами и Советским Союзом привел бы к неминуемой гибели миллионов и миллионов человек, 60 миллионов получили бы ранения (30 миллионов из них пострадали бы от радиоактивного заражения, еще 20 миллионов — от травм и ожогов, а у 10 миллионов оказались бы повреждения всех трех видов).

Можно без конца приводить подобные свидетельства ученых, специалистов в разных областях о катастрофических последствиях ядерной войны. Поражает, однако, то, что все это начисто игнорируется стратегами устрашения, разрабатывающими варианты «ограниченных» и затяжных ядерных войн.

«Временами утверждается,— пишет американский ученый Шелл,— что Соединенные Штаты могли бы выжить после атомного удара Советского Союза, однако сами цифры о размерах ударной волны, тепловой волны и общем количестве ожидаемых осадков разоблачают эту надежду как нереальное желание. Эти цифры свидетельствуют лишь об одном: о гибели Соединенных Штатов».

Ни один специалист на Земле не в состоянии сегодня предсказать все возможные последствия ядерной войны: многие изменения во флоре и фауне, взаимодействуя, способны привести к новым катастрофическим результатам. Но даже и то, что уже известно после Хиросимы и Нагасаки, после многолетних испытаний ядерного оружия, свидетельствует: под угрозой жизнь всего человечества. Вероятные долговременные последствия скажутся на генетической природе человека, на распространении раковых заболеваний.

В дополнение к радиации увеличится и интенсивность губительного для человека и животного мира ультрафиолетового излучения, исходящего на Землю от Солнца. Трагическая судьба ожидает в этом случае и тропические леса. Они не перенесут катастрофических колебаний температуры. Их гибель приведет к исчезновению животного мира Азии, Африки, Латинской Америки. Другими словами, высшие формы жизни на Земле перестанут существовать.

К таким выводам приходят многие советские и американские ученые и их коллеги из других стран мира. Этот прогноз представителей науки свидетельствует, что косвенные последствия большой ядерной войны не менее опасны ее прямых результатов.

Для того чтобы полнее осознать, чем грозит ядерная война странам Азии, Африки и Латинской Америки, необходимо учитывать социально-экономические последствия такой войны.

Рассмотрим эту ситуацию на примере Африки. В настоящее время в африканских городах живет около 180 миллионов человек. Их существование в значительной степени обеспечивается за счет импорта продовольствия. Так, например, в 1980 году африканские страны импортировали из-за рубежа 21 миллион тонн зерна, в основном для снабжения городов. Нечего и думать, что зерно из северного полушария будет поставляться в Африку в послееядерный период. Таким образом, жителей африканских городов ждет повальный голод.

Глобальная ядерная война в развивающихся странах, возможно, вызвала бы гораздо большее число человеческих жертв, чем в развитых государствах, на территории которых началась бы ядерная война. По некоторым расчетам, в развивающихся государствах из-за «ядерной зимы» уже в первые месяцы ядерного побоища погибло бы от одного до трех миллиардов человек.

Вот почему философия устрашения повсеместно все более противопоставляется философия мира. Мысль Альберта Эйнштейна, высказанная в конце 50-х годов: нельзя достичь безопасности на пути накопления оружия,— пробивает себе дорогу не только в политических кругах Запада, но и среди бывших военных. Пример тому — широкое участие бывших генералов и старших офицеров стран НАТО в активном антивоенном движении. Это целая «генеральская фракция в движении за мир и разоружение на Западе», в которую входят такие не похожие друг на друга люди, как граф Вольф

фон Баудиссин, бывший заместитель начальника генерального штаба главного командования вооруженных сил НАТО в Европе; генерал Франсиску да Кашта Гомеш, бывший начальник Генерального штаба и президент Португальской Республики; Майкл Харботтл, бывший начальник штаба сил ООН на Кипре; Георгиос Куманакос, бывший первый заместитель начальника Генерального штаба греческой армии; американский адмирал в отставке Джон Маршалл Ли; генерал в отставке М. Х. фон Мейенфилдт, бывший начальник Королевской военной академии в Бреде (Нидерланды); итальянский сенатор Нино Паста, бывший заместитель главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе по вопросам ядерного планирования; адмирал в отставке Антуан Сангинетти, бывший главнокомандующий французским военно-морским флотом на Средиземном море. Пройдя суровую школу военной службы (многие из них участвовали во второй мировой войне, иные занимали руководящие должности в командной верхушке НАТО), они не понаслышке, а на собственном опыте знают военные доктрины НАТО. И если эти люди отвергают мышление категориями вооруженной конфронтации, требуя приоритета стратегии мира путем снижения уровней вооружения, это означает, что даже представители военной элиты (конечно, ее наиболее сознательная часть) отстаивают психологию разрядки, а не войны.

Как заметил незадолго до смерти адмирал лорд Маунбэттен, «гонка ядерных вооружений бессмысленна с военной точки зрения. Ядерное оружие не является средством ведения войны. Его существование лишь усиливает опасность из-за иллюзий, которые оно создает».

Новое мышление в ядерный век предполагает не только осознание гибельных последствий ядерной войны, но и понимание опасностей ядерной гонки. Такая гонка приближает человечество к атомной бездне, подрывая устойчивость международного мира.

Именно к этому сводятся и рекомендации Независимой комиссии Пальме, в которой представители 17 различных стран Востока и Запада, Севера и Юга, изучив тенденции в разработке, развертывании и распространении вооружений, пришли к выводу, что ядерное оружие изменило не только масштабы войны, но и все представления о войне. Основной вывод комиссии: в ядерный век война не в состоянии служить инструментом политики, она грозит беспрецедентными разрушениями. Государства больше не могут стремиться к укреплению своей безопасности за счет друг друга, ее можно добиваться только путем совместных усилий.

«Доктрина безопасности для всех должна заменить распространенную ныне концепцию устрашения с помощью оружия,— говорится в докладе Независимой комиссии.— Международный мир должен покоиться на обязательстве обеспечить сохранение жизни для всех, а не на угрозе взаимного уничтожения».

Выводы Независимой комиссии Пальме, так же как и аналогичные заявления многих политических и военных деятелей Запада, важны и потому, что отражают неизбежный и необратимый процесс вызревания и становления нового мышления в ядерную эпоху.

МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ

Гонка вооружений обостряет не только отношения между Востоком и Западом, но и углубляет пропасть между Севером и Югом². Развитие в этом направлении чревато глобальными катаклизмами в нашем взаимозависимом мире. Новое мышление в ядерный век предполагает и осознание приоритетов новых проблем, и поиск путей их решения. Это тем важнее, что для большинства людей, живущих в северном полушарии, конфронтация Восток — Запад по своей остроте заслоняет все остальные проблемы. В южном же полушарии это расценивается как выражение западного эгоцентризма, наследие колониальных времен.

Если взять за точку отсчета уровень валового национального продукта (ВНП) на душу населения, то в развивающихся странах, или, как их часто именуют на Западе, в странах «третьего мира», живет три четверти населения планеты. Здесь уровень ВНП на душу населения намного ниже среднемирового. А это значит, что уже се-

² Понятие Север — Юг применяется нами в данном случае для краткости при рассмотрении комплекса проблем, порожденных разрывом между экономически развитыми и развивающимися странами. Последнее не означает, что мы полностью согласны с той трактовкой, которая дается этому понятию на Западе.

годня не только жизненный уровень, но и качество жизни населения в развивающихся странах резко отстает от показателей в промышленно развитых странах. И эта пропасть с годами все больше углубляется.

Некоторые исследователи рисуют выразительную картину растущего разрыва в уровнях развития стран «третьего мира» и индустриальных государств. В этом отношении показательна книга «Третий мир — три четверти мира» Мориса Гернье, французского экономиста, многие годы советника по вопросам развития при правительствах ряда арабских и африканских стран, члена комитета директоров Римского клуба.

Характеризуя тяжелое социально-экономическое положение населения в развивающихся странах, Морис Гернье приводит следующие факты: 1,8 миллиарда человек из 2 миллиардов жителей развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки живут в состоянии глубокой бедности, в том числе 800 миллионов на грани абсолютной нищеты и голода.

И если сегодня еще многие на Севере не замечают этого драматического развития, то, может быть, через несколько ближайших десятилетий люди столкнутся с тем, что конфликт Север — Юг приобретет неслыханную остроту, в тени которой окажутся многие нынешние проблемы. Речь идет о целом комплексе бед, связанных с огромным разрывом в развитии между Севером и Югом, — голоде, нищете, неграмотности и отсталости значительной части населения в «третьем мире», эпидемических заболеваниях и т. д.

Вот почему мы говорим о том, что человечеству в целях его самосохранения предстоит разрядить три бомбы замедленного действия: бомбу гонки ядерных вооружений, экологическую бомбу и бомбу растущего разрыва между развитыми и развивающимися странами.

Причина существующего разрыва Севера и Юга ясна: это, как правило, колониальное наследие, результат длительной, от нескольких десятилетий до нескольких веков, жестокой эксплуатации населения бывших колоний и зависимых стран богатыми монополиями. Несмотря на достижение политической независимости, многие из стран «третьего мира» по-прежнему страдают от наследия прошлого и от неокOLONIALИСТСКИХ методов, которыми действуют транснациональные компании (ТНК). Экономическому прогрессу наряду с другими причинами мешают такие глобальные проблемы, как быстрый рост народонаселения, нехватка продовольствия, сокращение природных ресурсов.

Демографический взрыв — это реальный фактор, размеры и последствия которого осознаются пока весьма медленно. А ведь если вдуматься, мы имеем дело с нарастающим по своему воздействию феноменом, когда, казалось бы, естественное право каждой семьи увеличивать свое потомство постепенно превращается в глобальную проблему, задевающую весь мир и касающуюся всех. На заре своего существования человеческое сообщество удваивало число своих членов лишь через тридцать тысяч лет. Сейчас это происходит через несколько десятилетий, при жизни одного поколения. К 1930 году население планеты составляло 2 миллиарда человек, а уже через тридцать лет, в 1960 году, — три миллиарда, а менее чем через пятнадцать лет — 4 миллиарда. В 1980-м насчитывалось 4,5 миллиарда, а к 2000 году ожидается 6,35 миллиарда человек.

Демографический взрыв не может остаться без последствий для всего мира. Ведь 200 тысяч человек, рождающихся в мире ежедневно, — это численность населения целого города. Каждую неделю в мире появляется как бы новый город размером с Мюнхен, Варшаву или Киев, каждый месяц — такая страна, как Дания или Гватемала, каждые три года — такие страны, как США или СССР, каждые пять лет — примерно еще одна Южная Америка, Западная Европа или Африка.

Если нынешние тенденции сохранятся в ближайшие десятилетия, многие города в развивающихся странах за счет сельского населения разрастутся до гигантских размеров. Согласно прогнозам в Мехико к 2000 году будет более 30 миллионов жителей, то есть почти в три раза больше, чем сегодня в Нью-Йорке; население Калькутты достигнет 20 миллионов, а в Бомбее, Каире, Джакарте и Сеуле будет от 15 до 20 миллионов. 400 городов перешагнут миллионную границу.

Возникновение гигантских городов-монстров в развивающихся странах приведет к обострению социальных конфликтов внутри самих мегаполисов. Большинство новых горожан будут вынуждены жить в диких трущобах, в антисанитарных условиях и нужде. Голод, безработица, нищета и болезни примут угрожающие размеры.

Вдумаемся в эту цифру: ежегодно на Земле 50 миллионов человек погибают от недоедания. Это равно населению таких стран, как Египет, Таиланд, Филиппины. 800 миллионов человек живут в абсолютной нищете и бескормице. Это гораздо больше, чем население целого континента — такого, как Африка или Латинская Америка.

По данным ФАО, за 1970—1980 годы в 52 развивающихся странах (большинство из них находятся в Африке) сократилось производство продовольствия. Отсюда увеличение импорта и рост задолженности.

Причин напряженного положения много. Демографический взрыв сводит на нет известное увеличение продовольственных ресурсов. Оскудение почв, опустынивание, исчезновение лесов, истощение водных источников — все это тоже сокращает продовольственную базу в бедных странах.

А ведь в мире, где каждый пятый недоедает или умирает от голода, вполне достаточно състных припасов, которых хватит на то, чтобы прокормить всех. Главная проблема в том, что «третий мир» — жертва несправедливого экономического порядка. Бедные развивающиеся страны не могут оплатить импорт продовольствия, производимого богатыми капиталистическими государствами. Последние диктуют развивающимся странам не только цены на сырье, но и контролируют их экономику.

Вот примеры. Двадцать лет назад за 25 тонн каучука в Шри Ланке можно было купить 6 тракторов. Теперь за то же количество каучука можно приобрести лишь 2 трактора.

И несмотря на долгие многолетние дискуссии в ООН и других международных форумах, где признается необходимость установить новый международный экономический порядок, богатые государства капиталистического Севера продолжают жить и процветать за счет дешевого сырья Юга. А ведь в прошлом многие страны Юга обеспечивали себя продовольствием. Но впоследствии в большинстве из них традиционные сельскохозяйственные системы, скотоводство и ремесленничество были вытеснены так называемыми промышленными методами.

В Бразилии, где транснациональные компании и американские спекулянты закупили 80 миллионов акров земли, их примеру сразу же последовали итальянские и западногерманские дельцы. В результате там необычно возросло производство соевых бобов, предназначенных для откорма североамериканских и европейских телят. Вместе с тем резко сократилось производство фасоли, традиционного питания бразильцев, особенно неимущих слоев населения. Сейчас бразильцы вынуждены импортировать фасоль по крайне высоким ценам.

В то же время сою, которую выращивают вместо фасоли в Бразилии, продают в Западную Европу как фураж для скота. Сходные процессы происходят не только в Бразилии, но и в Заире, Нигерии, Судане, Индии, где значительная часть населения недоедает, но продает свои сельскохозяйственные продукты капиталистическому Северу. Организация «Братья людей», одна из тех, что борется за справедливые отношения между Севером и Югом, так объясняет этот парадокс: «Нормандская свинья или корова, парижская кошка или собака имеют большую покупательную способность, чем безземельные крестьяне в «третьем мире»...»

В молочной промышленности развитие приняло еще более абсурдный характер. Ввиду нерентабельности молочного животноводства во многих странах Западной Европы количество молочных ферм резко сократилось. Содержание остальных требует огромных субсидий — 9 миллиардов франков. Поскольку удои возросли и телят выгоднее кормить не молоком, а белковыми кормами из «третьего мира», избыток молока перерабатывается на сливочное масло и сухое молоко. На складах «общего рынка» хранится сейчас 230 тысяч тонн сухого молока и 350 тысяч тонн сливочного масла, не находящих себе нормального сбыта. Их с помощью субсидий сбывают в другие страны и крупным компаниям, которые используют сухое молоко для откорма скота. Итак, отмечает французский исследователь Мишель Боске, агропищевая промышленность ограбляла земли бедных стран, поработила крестьянство богатых стран и в продовольственной сфере уничтожила независимость как тех, так и других, это в конечном счете привело к ненормальному положению: наши телята питаются разведенным на воде и подогретым порошковым молоком, вместо того чтобы сосать вымя собственных матерей.

Словом, круг замкнулся. Перед нами воочию предстала та часть проблемы Север — Юг, которая, как правило, остается в тени международных конференций, где представители высокоразвитых капиталистических стран требуют от всего мирового

сообщества увеличить помощь «третьему миру», умалчивая о подрывной деятельности транснациональных агропромышленных корпораций. О том, какой вред наносят ТНК, свидетельствует и книга Пьера Харрисона «Империя «Нестле». Дела и злодеяния в Латинской Америке». Автор приходит к выводу, что подлинное развитие отсталых стран состояло бы в том, чтобы предоставить им создать такое сельское хозяйство, которое позволит населению существовать за счет продуктов собственного труда. Но, как показывает опыт «Нестле», вторжение агропищевых корпораций приводит к прямо противоположному результату: земли, отводившиеся под продовольственные культуры, заменяются пастбищами, а крестьяне — производители молока и мяса — попадают в полную зависимость от перерабатывающей промышленности. Транснациональные корпорации, создавая в развивающихся странах предприятия, вынуждают коренное население производить и покупать те продукты, которые приносят прибыль ТНК.

Те же процессы обостряют сырьевую и энергетическую проблемы. Существующее неравенство, разрыв и эгоистический подход в области использования сырья видны на примере нефти. Потребление нефтересурсов на душу населения в США в 7 раз выше, чем в среднем в мире. Эгоистический подход к потреблению нефти со стороны США (сейчас на их долю приходится около трети всего потребляемого в капиталистическом мире черного золота) выражается в том, что Вашингтон экономит свои собственные нефтяные запасы, увеличивая импорт из стран Персидского залива, особенно из Саудовской Аравии.

США предпочитают импортировать нефть даже по высоким ценам, нежели перестраивать свою энергетическую систему. А за эту «непредусмотрительную», как называет ее в своей книге «Всемирный вызов» Жан-Жак Серван-Шрайбер, политику США расплачивается рядовой потребитель как в самой Америке, так и в других регионах мира. Ведь рост цен на все товары и услуги продолжается. А нефтедобывающие страны не могут удержать миллиардные доходы от нефти и использовать их в целях развития. Они уходят, как вода в песок. США и другие развитые западные державы возвращают переплаченные за нефть деньги, поставляя по высокой цене развивающимся странам технику, прежде всего военную. Пример шахского Ирана здесь особенно красноречив. Получая ежегодно миллиарды долларов за нефть, шах львиную долю доходов тратил не на социально-экономические преобразования в стране, а на покупку сверхсовременных самолетов и другой военной техники. В Иране сменился режим, но многолетняя ирано-иракская война продолжает лихорадить экономику обоих государств, выкачивая на вооружение огромные средства, столь необходимые для их мирного развития.

Так что гонка вооружений напрямую затрагивает «третий мир». И в этом одна из самых драматических сторон углубляющегося разрыва между Севером и Югом. Эта гонка ведет к трате тех доходов Севера и Юга, которые могли бы пойти на улучшение условий жизни, здравоохранение и образование. В последние годы негативные и опасные тенденции в эскалации военных приготовлений наметились и в развивающихся странах. Если сначала, после второй мировой войны, Запад поставлял в «третий мир» боевую технику в рамках военной помощи, то сейчас в основном в виде коммерческих товаров, которые должны оплачиваться конвертируемой валютой. Совокупные военные расходы развивающихся государств быстро растут.

Еще одна новая и опасная черта: в самих развивающихся странах увеличивается производство вооружений, как и импорт их в другие развивающиеся государства, в чем им также содействует Запад. Так, в 1979 году Аргентина поставила партию танков в Пакистан. Эти танки типа ТАМ были спроектированы в Касселе концерном Тиссена — Хеншеля, а затем по лицензии построены в Аргентине с помощью западно-германских фирм.

Главные экспортеры оружия в развивающиеся, в том числе африканские, страны — это США и ведущие западноевропейские державы. В 70-е годы из общего числа проданных освободившимся государствам вооружений 47 процентов падало на долю США, 10 процентов на Францию, 5 процентов на Англию, 3 процента на Италию и 2,3 процента на ФРГ.

Военные расходы, отмечает в докладе Независимой комиссии Пальме, снижают темпы экономического роста развивающихся стран. А ведь расход ресурсов на военные цели не только сокращает развитие производительных отраслей, но повышает и вероятность военных конфликтов. Не следует упускать из виду, что после

окончания второй мировой войны в «третьем мире» было развязано 130 войн. Многие из них (Ближний Восток, Юг Африки и другие регионы) таят в себе угрозу перерастания в глобальные конфликты.

Представители военно-промышленного комплекса Запада создают свои группы влиятельных клиентов в развивающихся странах, а последние, играя на национализме, развращают опасными идеями местную элиту. Свидетельством тому может служить книга африканского ученого Али Мазруи «Всемирная федерация культуры» и его доклад «Ядерное будущее Африки». Критикуя западные державы за их шовинизм в гонке вооружений, Мазруи выдвигает требование равенства в гонке вооружений. По его мнению, африканские государства должны вооружаться и дальше, причем не только обычным, но и ядерным оружием. По крайней мере таким крупным странам, как Нигерия, Заир и освобожденная Южная Африка, по Мазруи, необходимо обзавестись ядерным арсеналом. Мазруи выдвигает такую аргументацию: только вооруженная Африка, вооруженный «третий мир» могут заставить образумиться великие державы.

То, что эта проблема актуальна и остра, лишний раз доказывает исследование «Ядерные вооружения в «третьем мире». Дилемма политики США». Его подготовил видный американский эксперт по проблемам «третьего мира» Эрнест У. Лифевр. Анализируя уровень ядерного развития и состояния военного потенциала 9 стран (Индия, Пакистан, Иран, Израиль, Египет, Южная Корея, Тайвань, Аргентина и Бразилия), Лифевр приходит к такому выводу: «В течение двух следующих десятилетий несколько государств «третьего мира», вероятно, начнут производить ядерные вооружения, несмотря на связанные с этим огромные затраты и политический риск».

Особое внимание Лифевр обращает на Ближний Восток. Он указывает, что напряженная обстановка в этом регионе еще более осложнилась в свете ряда сообщений о том, что Израиль обладает ядерным оружием. В частности, по сведениям ЦРУ, в арсенале Израиля насчитывается 13 атомных бомб. Они собраны и готовы для того, чтобы их могли сбросить на противника со специально оборудованных истребителей-бомбардировщиков «Кфир» и «Фантом» или доставить к цели с помощью ракет «Иерихон». Эти бомбы были спешно собраны в секретном подземном туннеле за семьдесят восемь часов в начале октябрьской войны 1973 года. Когда исход сражения на обоих фронтах сложился «в пользу Израиля», отмечает Лифевр, бомбы вернулись в укрытия в пустыне.

А если бы ход войны сложился иначе?

Аналогичные вопросы возникают и в связи с сообщениями о наличии ядерного потенциала у ЮАР. Само появление такого оружия в столь нестабильных регионах, как Ближний Восток и Юг Африки, резко осложняет регулирование имеющихся там очагов напряженности, увеличивая угрозу перерастания их в широкие конфликты.

В июле 1982 года американская администрация сняла запрет на поставки Претории оборудования для атомного производства, затем разрешила продажу плутония-3, составляющего неотъемлемую часть ядерного оружия. Мировая печать сообщала об испытании ядерного устройства в ЮАР. Готовятся там и носители ядерного оружия. В докладе Специального комитета ООН против апартеида отмечалось, что военные специалисты Израиля в ЮАР совместно разрабатывают крылатую ракету с дальностью действия свыше двух тысяч километров и другие виды средств доставки ядерного оружия. Ядерное оружие в руках ЮАР означает глобализацию «конфликтных потенциалов» на Юге Африки.

По мере того как страны, обретавшие национальную независимость, выбирали социалистический путь развития или путь социалистической ориентации, на Западе это вызвало рост опасений по поводу «угрозы проникновения марксизма в страны «третьего мира»...». Именно эти соображения, продиктованные страхом потерять свои позиции в богатых сырьем бывших колониях, заставили многих политиков вплотную заняться проблемами развития «третьего мира». Это признают и сами западные исследователи, в частности Лотар Брок, руководитель научной группы в Гессенском фонде по изучению проблем мира и конфликтов. Он предостерегает: нельзя рассматривать проблемы обнищания, голода и эксплуатации в развивающихся странах через призму конкурентной борьбы с системой социализма. Особое внимание обращается при этом на то, что гонка вооружений и развитие экономики взаимно исключают друг друга.

С каждым годом все большее число ученых и политиков в мире осознают, насколько обостряются проблемы, порожденные несоответствием уровня развития в разных странах. Но многие не хотят понять, что дело здесь не просто в конфликте

между Севером и Югом, а в комплексе сложнейших проблем, наследии колониально-го прошлого, живучести философии и практики неокOLONИализма.

«Весьма вероятно,— отмечает, например, Д. Коул,— что конфликт между имущими и неимущими странами Севера и Юга будет доминировать в международных отношениях до 2000 года и его последствия будут взрывоопасными». Критикуя подобную терминологию и сам подход, когда социально-экономические проблемы перемещаются в сферу географическую или этническую, советский исследователь Г. Х. Шахназаров подчеркивает: если эта проблема действительно не найдет своего решения, она станет «самой острой и самой опасной уже в начале XXI века. Но суть в том, что речь должна идти о конфликте не между бедными и богатыми странами, а между народами экономически слабо развитых стран и монополиями, империализмом, системой капитализма».

На XXVI съезде КПСС отмечалось: «В середине 70-х годов бывшие колониальные страны поставили вопрос о новом международном экономическом порядке. Перестройка международных экономических отношений на демократической основе, на началах равноправия исторически закономерна. Здесь многое может и должно быть сделано. Но, конечно, нельзя, как это иногда делают, сводить вопрос просто к различиям между «богатым Севером» и «бедным Югом». Мы готовы содействовать и на практике содействуем установлению справедливых международных экономических отношений».

Преодоление нарастающего разрыва в уровнях развития многих капиталистических стран Севера и развивающихся стран Юга — процесс долгий, сложный и мучительный. Здесь, как уже отмечалось, нет и не может быть простых, быстрых и легких решений. Успехи на этом пути несомненно связаны с упрочением нового международного экономического порядка, с перестройкой несправедливых и неравноправных экономических отношений между развитыми западными странами и развивающимися государствами, с глубокими социально-экономическими преобразованиями в самом «третьем мире».

Но все эти проблемы могут быть решены только в том случае, если удастся затормозить, а затем и прекратить гонку вооружений, с тем чтобы вынуть из этой петли задыхающиеся от непосильного милитаристского бремени бедные страны, выделив им дополнительную помощь за счет сокращения военных расходов развитых государств.

Глубину пропасти между Севером и Югом позволяют яснее понять две цифры. На вооружение в 1982 году человечество израсходовало более 650 миллиардов долларов. Это превышает все доходы 1,5 миллиарда человек в 50 беднейших странах мира. Средств, затрачиваемых на приобретение одного современного самолета-истребителя, достаточно, чтобы сделать прививку против распространенных заболеваний 3 миллионам детей. В докладе Независимой комиссии Пальме указывается, что сокращение военных расходов одних ядерных держав на 10 процентов позволило бы более чем вдвое увеличить финансовую помощь 31 наименее развитой стране.

И в том, что здесь дело не сдвигается с мертвой точки, вина тех стран, которые отказываются от сокращения военных расходов. Советский Союз неоднократно выступал с подобными инициативами, в том числе в ООН. В предложении стран — участниц Варшавского Договора государствам — членам НАТО о переговорах по сокращению военных расходов, выдвинутом 5 марта 1984 года в Бухаресте, говорилось: «Сокращение военных расходов... эффективно содействовало бы прекращению гонки вооружений и переходу к разоружению, причем высвободившиеся средства могли бы быть использованы на нужды социально-экономического развития, в том числе развивающихся стран».

Мост через пропасть Север — Юг может быть переброшен общими усилиями всех заинтересованных государств. И средства на это можно изыскать только за счет сокращения производства тех самых орудий смерти, которые сейчас лишь углубляют эту пропасть. Если же не прекратить этот процесс, он чреват гибельными последствиями для всего человечества.

Все большее число людей осознает эту истину и в развивающихся странах. В Политической декларации VII конференции глав государств и правительств несоединившихся стран, которая проходила в Дели с 7 по 12 марта 1983 года, отмечалось: «Главы государств и правительств считают, что самая большая опасность, с которой сталкивается сегодня мир, это угроза гибели человечества в результате ядерной войны. Разоружение, особенно ядерное разоружение, перестало быть нравственной проблемой — это проблема выживания человечества».

Еще десятилетие назад только немногие политики и ученые в развивающихся

странах всерьез рассматривали непосредственную угрозу ядерной войны для отдаленных регионов «третьего мира». Новейшие исследования показывают, однако, что в случае ядерной катастрофы в зоне поражения окажутся все континенты. Даже там, где не упадут бомбы, нарушение экологического баланса приведет к эпидемиям и голоду среди уцелевших. И снова могут стать реальностью, только гораздо более страшной, слова, выбитые на обелиске времен фараонов, найденном у первого из нильских водопадов: «С высоты моего трона я оплакиваю это великое бедствие. За время моего правления в течение семи лет не было разлива Нила. Зерна осталось мало. Пищи не хватает. Люди, превратившись в воров, грабят своих соседей. Люди хотели бы убежать, но не могут идти. Дети плачут. Юноши передвигаются, как старцы, волоча подгибающиеся ноги. Души их разбиты. В Свете Великих пустынно. В сусеках гуляет ветер. Все кончено».

РАЗРЯДИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БОМБУ!

С тех пор как в XX веке воздействие человека на природу стало принимать угрожающий характер, на Земле начал работать часовой механизм экологической бомбы замедленного действия. И удары этого часового механизма становятся все громче. Ведь критическое состояние окружающей среды все больше обостряется. В мире наживы безоглядно расходуются основные природные ресурсы — вода, воздух, плодородные почвы, — гибнет животный и растительный мир, загрязнение атмосферы достигает пределов, опасных для жизни планеты.

Рост народонаселения, резкое сокращение запасов чистой пресной воды, нетронутых почв, флоры и фауны, источников сырья и энергии — все это невольно как бы уменьшило Землю в ее размерах и возможностях. Впервые в истории человечества возник вопрос о пределах выносимости нашей планеты.

Как выглядит экологическая проблема в докладе «Мир в 2000 году», о котором мы уже говорили? Доклад экстраполирует сегодняшние тенденции развития в мире и предсказывает: будут ускоренно сокращаться ресурсы сельского хозяйства в результате сжигания все большего количества топлива. «Кислые дожди»³ уже наносят серьезный ущерб многим районам Западной Европы, а в дальнейшем грозят превратиться в настоящее бедствие. Еще одна серьезная проблема — растущая концентрация углекислого газа в атмосфере.

Экологическая бомба угрожает уже нынешнему поколению, но еще больше будущим. Ведь именно за счет будущих поколений начинают удовлетворять нужды ныне живущие.

Эрозия почв (а к этому ведет и хищническая вырубка лесов) наблюдается во всем мире. Следствие — обезвоживание почвы, что вызывает падение урожайности, нехватку продовольствия в десятках стран. По оценкам специалистов ООН, обычным явлением стал чрезмерный отлов рыбы (отсюда уменьшение количества морских продуктов питания).

Перед человечеством вплотную встает проблема выработки планетарной стратегии сохранения и восполнения природных ресурсов. Ясно, что такое возможно лишь в условиях мира и сотрудничества. И здесь необходимо новое мышление, основанное на взаимозависимости мира. Так, если взять проблему рыбных запасов, то человечеству следует научиться делить океанские пространства не только для отлова рыбы, но и для разведения ее в масштабе Мирового океана.

Загрязнение природной среды негативно сказывается не только на флоре и фауне, но и на здоровье человека. Во многих промышленно развитых районах и даже в ряде стран чрезмерное загрязнение уже сейчас ведет к вредным последствиям. Фактов не счесть. Несколько лет назад голландцы подали в суд на западногерманский химический концерн «Байер», ежегодно выбрасывающий в Северное море сотни тысяч тонн ядовитых отходов. Промышленные яды убивают тюленей. В голландской части береговой полосы Северного моря их число с 3 тысяч в 1956 году к началу 80-х сократилось до 400. А ведь еще старая фрисландская поговорка гласит: «Если погибнут тюлени, умрут и люди».

Это лишь отдельные примеры хищнического отношения к природе. Конечно, многие западные исследователи (правда, далеко не все) стараются уйти от социально-

³ Окислы серы и азота, выброшенные в атмосферу, соединяясь с водяными парами, образуют осадки — «кислые дожди».

экономического анализа глобальных проблем. В частности, от социальных причин обострения экологического кризиса. Они делают упор на то, что это-де неизбежные издержки, обусловленные прогрессом цивилизации.

Западногерманский профессор Фредерик Вестер, выступающий за необходимость долгосрочного экономического планирования с учетом экологических проблем и без ориентации на максимальную прибыль, пишет: «Я признаю, что это очень тяжелая задача для нашей политической системы, которая в своих структурах в основном застряла пока на стадии планирования первых плантаторов и скотоводов на период не более года».

Осмывая пути решения сложных проблем современности, наиболее проницательные исследователи приходят к двум важным и верным выводам. Во-первых, что нынешний мир в отличие от прежних эпох — это мир усложнившейся взаимозависимости глобальных проблем, ни одну из которых невозможно решить вне взаимосвязи с другими. Во-вторых, вывод о необходимости нового мышления в нашу эпоху, когда обостряющиеся глобальные проблемы требуют от человечества нового подхода для их решения. К таким выводам приходят, в частности, западногерманские исследователи Гюнтер Кунц и Фредерик Вестер. Последний, кстати, будучи руководителем мюнхенской группы по изучению биологии и окружающей среды, отмечал, что наш мир представляет собой сложную систему переплетенных взаимосвязей, но мы зачастую рассматриваем каждое явление и понятие отдельно, вне этих взаимосвязей, или, как он выражается, «вне их кибернетической функции». В качестве примера, насколько все в мире взаимосвязано и как осмотрительно следует подходить к решению возникающих проблем, помня о последствиях, Ф. Вестер приводит историю африканского пояса Сахеля. Применение инсектицидов позволило там вначале добиться повышения поголовья скота, но привело к заметной нехватке воды. Проблему водоснабжения решили бурением глубоких скважин, что, в свою очередь, вызвало понижение уровня подземных вод, а затем и уменьшение растительного покрова. В результате увеличились пустоши и это стало сказываться на изменении климата, последствия чего еще трудно предугадать.

А здесь даже не скажешь, что широкий злополучный круг замыкается. Нет! В результате одного неосмотрительного решения губительные результаты образуют круги злополучной спирали, тяготеющей к бесконечности.

Вывод Фредерика Вестера: «Нам необходимо новое мышление в новых измерениях». «Только серьезное и рассудительное, осторожное отношение к комплексным системам, основанное на новом мышлении, может привести к тому, что мы и дальше будем жить в мире с природой», — считает и Гюнтер Кунц.

Эти исследователи, как и многие другие, вполне закономерно считают, что экологическая проблема тесно связана с проблемой мира и может решаться только в мирных условиях. Более того, ими подчеркивается особая опасность нарастающей гонки вооружений. «Гонка вооружений вследствие технологического прогресса все больше повышает опасность войны вплоть до всемирной атомной катастрофы уже хотя бы потому, что не исключены аварии на различных уровнях и по-прежнему существует искушение прибегнуть к военной силе и авантюрам малого и среднего масштаба», — замечает Гюнтер Кунц, приходя к весьма важному выводу: — В психологическом плане она (гонка вооружений. — Авторы) консервирует нетерпимое более, застарелое мышление и восприятие в националистических или имперских категориях и грубое, насильственное поведение (национальное высокомерие, мышление престижными категориями, жажда мирового господства, предрассудки по отношению к чужакам, внутриаполитическое насилие и т. д.). Она делает возможным дальнейшее существование таких форм отношений, которые свойственны каменному веку (кулачное право), в межгосударственной, но часто и во внутрисоюзной сфере. Подобные отношения характеризуются вполне справедливо как «загрязнение духовной окружающей среды»...»

Подобное высказывание свидетельствует, что непредвзятый научный анализ приводит каждого честного ученого к признанию пагубности иссушающей душу Земли гонки вооружений и опасности имперского мышления администрации Рейгана.

Сторонники безудержной хищнической эксплуатации ресурсов планеты и варварского отношения к природе подобно монстрам рауффам⁴ подключают отработанные выхлопные газы к воздушному резервуару нашей планеты. Оказавшись словно в ги-

⁴ Фашист Рауфф — изобретатель душегубки.

гантской душегубке, человечество медленно, но неуклонно продолжает отравляться. И пусть нас не успокаивают необъятные лесные массивы, эти легкие Земли, которые очищают, но уже с натугой, нашу атмосферу. Леса тоже не беспредельны, и в будущем им все труднее будет совладать с потоком тепла и углекислого газа.

Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 10 миллиардов тонн углекислого газа, что повышает его содержание на 0,2 процента и к 2000 году приведет к уничтожению 16 процентов озонового покрова Земли. В результате наша «маленькая голубая планета», о которой писал Сент-Экзюпери, уже в ближайшие десятилетия может превратиться в огромную теплицу с катастрофическими последствиями для климата, растительного и животного мира.

Но в этом процессе есть особо тревожное и опасное явление. Вместе с отработанными газами и шлаками промышленности в легкие человечества поступают самые вредные химические и атомные отходы в результате испытаний ядерного и применения химического оружия. И если экологические проблемы, связанные с дальнейшим техническим прогрессом, могут рассматриваться как прискорбное побочное явление, то не может быть никакого оправдания сознательному разрушительному воздействию на природу, которое оказывают войны и подготовка к ним.

Долгие годы считалось, что лишь японцы на собственном опыте познали страшные последствия атомного взрыва. Но, как оказалось, нечто похожее испытали на себе и многие американцы. С 1945 по 1977 год США осуществили 600 взрывов атомных и ядерных устройств, 236 из них в атмосфере и 5 под водой. Даже по оценкам Пентагона в ходе испытаний ядерного оружия в атмосфере облучению подверглись от 250 до 500 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.

Многочисленные факты такого рода приводятся в книге Х. Вассермана и Н. Соломона «Мы самоубийцы». В 1946—1962 годах солдаты по обычному приказу направлялись в районы проведения ядерных испытаний, но что не менялось, так это «радиоактивные осадки и официальные заверения, что эти осадки «безвредны»...».

Авторы исследования отмечают, что этих солдат без спецкостюмов и счетчиков Гейгера посылали на зараженные объекты, в зону выпадения радиоактивных осадков, умалчивая о риске, которому они подвергались. Корабли, участвовавшие в испытаниях, были затоплены из-за остаточной радиации, а людей, служивших на них, просто списали на берег. Зачастую при американских испытаниях атомного оружия, указывают Х. Вассерман и Н. Соломон, гибли люди, не имеющие отношения к испытаниям, например японские рыбаки, разрушались экосистемы акваторий Тихого океана (атоллы Бикини, Эниветок и другие), морские течения разносили радиоактивные вещества на далекие расстояния, отравляя фауну и флору Мирового океана. Многие ветераны американской армии по прошествии нескольких лет стали умирать от редких форм рака и психических расстройств.

В апреле 1954 года США произвели взрыв термоядерной бомбы на том же многострадальном атолле Бикини, предварительно переселив местных жителей на другие острова. Через четверть века американские власти решили было вновь заселить Бикини, но от этого плана пришлось отказаться: атолл был непригоден для жизни, экологическая система его полностью разрушилась.

Неужели нынешний Бикини — это прообраз Земли, ставшей жертвой ядерных монстров?

Многие американские специалисты считают, что только отсутствием политической воли у администрации США объясняется отказ от переговоров по заключению Договора о всеобщем и полном запрещении испытаний ядерного оружия. Известный американский ученый Лайнус Полинг отмечал: после того как Джон Кеннеди согласился с аргументацией ученых, выступавших за заключение соглашения с Советским Союзом, понадобилось всего несколько дней на завершение переговоров и согласование текста Договора от 5 августа 1963 года о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космическом пространстве и под водой.

«Я хотел бы ссылкой на этот пример показать, что подобные договоры можно заключить только тогда, когда того хотят, и что это может произойти быстро и не тянуться годами,— убежденно отмечал в 1983 году Лайнус Полинг.— Соглашение о полном запрещении испытаний можно было бы заключить уже сегодня за несколько дней, если бы президент Рональд Рейган выразил решимость к этому».

...Это было как страшный сон. Порой ведь приснится такое: рухнет земля под ногами и ты проваливаешься в тартарары. Дух захватывает от жутки, и вздрогнешь иной раз во сне и проснешься, а кровь стучит молоточками в висках, на лбу испарина. И тебя всего обдаёт жаркой радостью: слава богу, все это только приснилось...

Но нет. На этот раз телевидение воспроизводит документальные кадры, заснятые оператором в местечке Рейньер-Меса в штате Невада. Даже за тысячи километров от места события трудно избавиться от жуткого ощущения при виде людей, у которых земля проваливается под ногами. По ровной поверхности словно по воде пробегает рябь, и земля, лопаясь кругами, оседает и образует глубокий кратер, где исчезают люди. Взволнованный голос диктора сообщил: 15 февраля сего года на подземном испытательном полигоне в Рейньер-Меса после очередного взрыва ядерного устройства на глубине четырехсот метров произошел обвал. На поверхности образовался внушительных размеров кратер глубиной десять метров, в который провалились 15 человек — работники испытательного полигона. Из них двое в тяжелом состоянии были доставлены в госпиталь.

Как могло произойти такое? Почему разверзлась земная твердь?

Представитель министерства энергетики, по линии которого производятся работы над новыми видами ядерного оружия, опровергает версию, якобы обвал — следствие взрыва слишком мощного устройства, превышающего установленные нормы, в том числе и те, о которых договорились СССР и США. Это мнение высказал Уолтер Рейвуд, ученый-сейсмолог из университета штата Невада, который заявил, что колебание земной поверхности напоминало землетрясение силой в 4,5 балла по шкале Рихтера. Это больше установленных норм. Официальные же данные о мощности взрыва отсутствуют.

Обвал, случившийся на глазах у потрясенных телезрителей Америки и всего мира, произошел через несколько дней после сообщений американской печати о том, что президент Рейган распорядился держать в секрете определенные подземные испытания, а это также противоречит двустороннему соглашению.

И вот словно бы сама судьба предупреждает: не рой другому яму, сам в нее падешь. Без тени злорадства, с тревогой и озабоченностью мы вспоминаем о том, что американская администрация отказывается заключить Договор о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия, то есть всех испытаний, в том числе и подземных.

Отсутствует готовность одной стороны к соглашению, и человечество топчется на месте, на том самом месте, которое в любой момент может провалиться в прямом смысле слова под землю.

В сентябре 1974 года Советский Союз представил на рассмотрение XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН проект международного соглашения о предотвращении использования воздействия на природную среду в военных и иных целях, не совместимых с интересами обеспечения международной безопасности, благосостояния и здоровья людей. В своем выступлении по этому вопросу министр иностранных дел СССР пояснил, что имеющиеся достижения науки и техники позволяют искусственно изменять состояние природной среды, в частности оказывать воздействие на погоду. Дальнейший научно-технический прогресс даст в руки человечеству еще более эффективные рычаги. В связи с этим Советский Союз считает необходимым уже сейчас принять меры для того, чтобы не допустить использования как имеющихся, так и будущих знаний против самого человека и природной среды.

Человек — властелин природы и одновременно часть ее. В осознании диалектики этого единства и противоречия — выход из создавшегося экологического тупика. Когда-то Карл Маркс писал: «Что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно связана с самой собой, ибо человек есть часть природы».

Подобно Антею он стал могучим великаном, силу которому всегда давала Земля. Теперь же, став ее властелином, человек, вбирая в себя природные силы Земли, рискует задушить ее в своих объятиях. И по мере того как слабеет Земля, слабеет и он, будто душит в объятиях себя самого. Как часть живой природы, человек не должен отрывать себя от нее. Он может и должен охранять Землю, восстанавливать ее силы, пуще прежнего беречь ее в ядерный век от атомных смерлей.

НАША НАДЕЖДА — РАЗУМ

И снова мы возвращаемся к главному вопросу: возможно ли прекратить гонку вооружений и сократить расходы на вооружение?

В 70-е годы между ведущими державами двух противостоящих блоков, СССР и США, сложился примерный паритет в военно-стратегической области. Необходимо использовать этот исторический шанс. Паритет, существующий до сих пор независимо от некоторых диспропорций в различных видах вооружений, означает, что США не могут начать войну без риска встретить ответный уничтожающий удар.

Паритет позволяет прекратить гонку вооружений. Первоначально можно было бы договориться о взаимном замораживании ядерных арсеналов СССР и США, имея в виду, что другие ядерные державы последовали бы их примеру.

Опыт последних десятилетий доказал: избыток оружия не означает большую безопасность. Обеспечить и упрочить безопасность можно только на основе равенства и одинаковой безопасности.

Новое мышление необходимо, чтобы доктрину сдерживания и устрашения заменить доктриной взаимной безопасности. Международная безопасность должна основываться на простой формуле: выжить можно лишь друг с другом, а не друг против друга.

Следует прежде всего признать: в ядерной войне не может быть победителя, в ней невозможно уцелеть, она грозит цивилизации катастрофой, а потому применение ядерного оружия — самое тягчайшее преступление против человечества, которому нет оправдания! Отсюда необходимость отказа государств первыми применить ядерное оружие. СССР сделал это в одностороннем порядке.

Итак, первый шаг на пути выхода человечества из замкнутого дьявольского круга ядерной гонки — замораживание ядерных вооружений. Советский Союз предложил это и готов на взаимной основе заморозить свои потенциалы.

Второй шаг — отказ от разработки и производства новых видов и систем оружия массового уничтожения. СССР предложил заключить договор и об этом.

Третий шаг — достижение договоренностей о поэтапном сокращении ядерных и обычных вооружений на основе равенства и одинаковой безопасности.

Уже первый шаг — замораживание — позволил бы остановить рост военных бюджетов. Второй и третий шаги дали бы возможность сэкономить средства, расходуемые на вооружение. Часть их можно было бы направить на решение двух других острейших проблем современности, а именно: увеличить помощь развивающимся странам и реализовать программу охраны окружающей среды.

Здравый смысл требует немедленных действий против продолжения этой разорительной и губительной гонки. Размещение нового ядерного оружия в Европе вызовет лишь эскалацию и появление новых ракет на Западе и на Востоке. В результате безопасность Европы не улучшится.

Необходимо предотвратить также превращение космоса в новую арену ядерной гонки. В звездных войнах победителя не будет, они могут лишь грозить катастрофой Земле. Советский Союз предложил запретить применение силы в космосе и из космоса на Землю. Это позволило бы возвести надежный заслон на пути милитаризации космического пространства.

Спасение человечества в осознании людьми новых реальностей эпохи. Главная из них: мы живем во взаимозависимом мире.

Для советских людей новое мышление в ядерный век логически вытекает из отношения нашего государства к решению тех острых проблем современности, которые приобретают особо взрывоопасный характер. Стоит вспомнить ленинский Декрет о мире, первый Декрет Октябрьской революции, Декрет, в котором Советское правительство обратилось к воюющим сторонам с призывом вступить в переговоры о заключении мира между народами. По существу, это было уже проявлением нового мышления в условиях существовавших тогда международных отношений. Как же реагировали на это другие страны, в частности Англия, Франция, США? Они заявили, что возникла «большевистская угроза», которую они вскоре и постарались ликвидировать силой, организовав интервенцию 14 держав.

В ответ на Декрет о мире президент США Вудро Вильсон выдвинул свои «14 пунктов». И что характерно: свою враждебность к политике советской России американская сторона объяснила тем, что представления Советского правительства о международ-

ных отношениях противоречат «собственным представлениям» правящих кругов США. Мотивировка, которую мы слышим нередко и в наши дни.

Атомные молнии в августе 1945 года в Хиросиме и Нагасаки адской вспышкой осветили картину ядерного апокалипсиса, который ожидает человечество, если оно не осмыслит по-новому реальности ядерного века.

Когда мы сегодня с особой тревогой говорим о необходимости нового мышления в ядерную эпоху, то имеем в виду необходимость принципиального изменения основных критериев в подходе к решению глобальных проблем современности со стороны всего человеческого сообщества и всех государственных деятелей. Ведь для того чтобы решить эти проблемы и прежде всего устранить наиболее опасную и непосредственную угрозу для жизни на Земле, необходимы совместные усилия всех членов сообщества. А для того чтобы противодействовать этому, достаточно действий или даже несогласия одной стороны. Вот почему вопрос о неизбежности нового мышления для человечества столь актуален. Ведь существуют влиятельные силы, придерживающиеся старой философии и практики устрашения, которые намерены добиваться военного превосходства над другой стороной.

Одно из свидетельств нашей приверженности не к блоковому, а планетарному мышлению заключается в том, что социализм выступает первым и последовательным защитником не просто своего строя, а всей цивилизации. Такое заявление не звучит самонадеянно и претенциозно. Достаточно вспомнить, сколько планов ядерных войн разрабатывалось против СССР и его союзников. Но каждый раз они срывались, по признанию их собственных инициаторов, только потому, что Советский Союз вовремя создавал ответный потенциал возмездия.

Наш вклад в защиту мира — это достигнутый ценой огромного напряжения всего народа глобально-стратегический паритет — основа международной безопасности. В ядерный век важнейший фактор международной стабильности — последовательность миролюбивого курса и преимущество политического руководства СССР.

Истоки нашего миролюбия — в истории и судьбе нашего народа, который потерял 20 миллионов сограждан и в каждой семье которого до сих пор болят раны войны. Истоки нашего миролюбия — в наших жертвах и страданиях, в наших потерях и утратах. Мы знаем, насколько лучше и зажиточнее жил бы наш народ, не будь войны. Вот почему для каждого советского человека нет ничего важнее мира.

Основываясь на диалектическом анализе усложняющейся системы международных отношений, XXVI съезд КПСС предложил широкую программу международного сотрудничества всем членам человеческого сообщества: «Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату своих материальных и духовных богатств, а упечение мира — вот путеводная нить в завтрашний день».

Внешнеполитические программные установки XXVI съезда КПСС нашли свое дальнейшее развитие в решениях последующих пленумов, в выступлениях Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко.

Международная общественность и все трезво мыслящие политические деятели в мире с большим интересом встретили новые советские мирные инициативы, в том числе выраженную Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко готовность Советского Союза договориться с другими ядерными державами о совместном признании норм отношений между этими государствами и придании им обязательного характера. Речь идет, по существу, о принятии кодекса мира в ядерный век. Ведь принятие предложенных норм гарантировало бы предотвращение атомной войны.

Каковы же правила поведения ядерных государств, предложенные Советским Союзом?

Первое. Рассматривать предотвращение ядерной войны как главную цель своей внешней политики. Не допускать ситуаций, чреватых ядерным конфликтом. А в случае возникновения такой опасности проводить срочные консультации, чтобы не дать вспыхнуть ядерному пожару.

Второе. Отказаться от пропаганды ядерной войны в любом ее варианте — глобально или ограниченном.

Третье. Взять обязательство не применять первыми ядерного оружия.

Четвертое. Ни при каких обстоятельствах не использовать ядерное оружие про-

тив неядерных стран, на территории которых такого оружия нет. Уважать статус уже созданной и поощрять образование новых безъядерных зон в различных районах мира.

Пятое. Не допускать распространения ядерного оружия в любой форме; не передавать его или контроль над ним кому бы то ни было; не размещать его на территории стран, где его нет; не переносить гонку ядерных вооружений в новые сферы, включая космос.

Шестое. Шаг за шагом на основании принципа одинаковой безопасности добиваться сокращения ядерных вооружений вплоть до их полной ликвидации во всех разновидностях.

Советский Союз не только выдвинул эти предложения. Он положил их в основу своей политики. На принципах взаимности он готов в любое время договориться с другими ядерными державами о совместном признании норм такого рода и придании им обязательного характера.

Предложенный Советским Союзом кодекс поведения ядерных держав — пример нового мышления в ядерный век. Ядерную войну необходимо исключить из нашей жизни как катастрофу, гибельную для всех. Даже известные последствия ядерного конфликта требуют обоюдных восторонних усилий ради выживания, требуют нового мышления. Из самой равнозначности гибельных последствий для всех вытекает объективная необходимость строить международные отношения на принципах равенства и взаимной безопасности.

Как выиграло бы дело мира, если бы политики устрашения прислушивались к предостережениям своих собственных ученых, избавившихся от оков старого мышления!

Лайнус Полинг, американский ученый-химик, лауреат Нобелевской премии в области химии и лауреат Нобелевской премии мира, писал: «Мы должны все больше стремиться к такому миру, который управляется справедливостью и международным правом, а не силой. Мы все, включая дипломатов и государственных деятелей, должны изменить наш способ видения. Мы должны признать, что экстремальный национализм принадлежит прошлому. Следует отказаться от воззрения, что правильным является нанесение ущерба другим нациям, коль скоро это сулит преимущество собственной. Мы все должны начать работать ради всего мира как такового, ради человечества».

Человечество на своем пути к зрелости, перешагнув порог варварства, уже не первое тысячелетие взбирается вверх по трудной дороге цивилизации. В ядерный век оно впервые оказалось перед лицом глобальной угрозы ядерной войны, которая ставит под вопрос само существование нашей планеты и рода людского. И эта опасность тем более велика, что далеко не все считают с ней и осознают ее в полной мере...

Чтобы остановить милитаристский амок, необходимо осознание новых реалий нового мира, мира ядерного оверкила.

Суть нового сознания и нового мышления в том, чтобы человек смог подняться над сегодняшними проблемами и страстями и взглянуть на нашу планету глазами землянина. Чтобы силой своих чувств и разума он ощутил не только нежную красоту Земли и теплое дыхание жизни, но и воочию представил себе лунный ландшафт нашей планеты после ядерного побоища.

Взрыв атомной бомбы в Хиросиме начал отсчет другого времени. Когда человечество постигнет этот феномен в полной мере, во взаимосвязи с глобальными проблемами приближающегося третьего тысячелетия, оно введет новое летосчисление — до и после атомной эры.

Вспомним новеллу Стефана Цвейга «Амок» или фильм с тем же названием марокканского режиссера Сухейля Бен-Барки. Это малайское слово «амок», пришедшее в языки всего мира, означает внезапно возникающее психическое расстройство, которое сопровождается проявлениями агрессии и бессмысленными убийствами; так называют и тех, кто теряет рассудок, в припадке бешенства убивая все и вся на своем пути. Амок — разновидность сумеречного состояния, когда помрачается сознание, нарушается всякая память о прошлом, о чем с такой пронзительной силой рассказал в своем романе «И дольше века длится день» Чингиз Айтматов.

Виновные в гонке вооружений, словно гонимые амоком, калечат нынешние и будущие поколения людей, готовые всех увлечь за собой в бездну. Ядерный амок — безумный бег навстречу всеобщей гибели.

Последней эпидемией человечества назвал ядерную войну профессор медицин-

ской школы Гарвардского университета Бернард Лаун. И от самого человечества, от усилий его разума и воли зависит, сможет ли оно предотвратить вспышку этой губительной для всех эпидемии.

Президент Академии наук СССР академик А. П. Александров так оценил роль ученых в борьбе против ядерного оружия: «Ответ на этот вопрос дали еще А. Эйнштейн и Б. Рассел: надо учиться думать по-новому, надо перестать искать военное решение проблем человечества. И человечество созрело для этого».

Есть ли надежда, что новое мышление восторжествует до того, как наступит тотальное безмолвие на следующий день? Думается, что есть. И это не голубоглазый идеализм и не слепое фанатичное «верую!». Это оптимизм воли, преобразующий пессимизм разума в надежду и уверенность на основе законов исторического развития и веры в жизненные силы цивилизации.

Наша уверенность подкрепляется в первую очередь курсом Советского Союза и других социалистических стран, которые свою политику поддержания военно-стратегического паритета рассматривают как гарантию национальной и международной безопасности, гарантию сохранения мира на Земле.

Вторым фактором нашей уверенности служит прозрение мировой общественности, постепенно осознающей глобальную опасность, надвигающуюся на человечество. Новый феномен ширящегося движения за мир, против ядерной войны в том, что все новые слои населения, не надеясь более на политиков и экспертов, включаются в прямые антивоенные действия.

И третий фактор — понимание все большим числом трезво мыслящих политиков в капиталистических и развивающихся странах новых реальностей ядерного века, прежде всего главной из них: необходимости покончить с гонкой вооружений, пока она не покончила с нами.

Когда задумываешься о возможностях и пределах разумного, вспоминается знаменитый афоризм Гегеля: «Что разумно, то действительно, а что действительно, то разумно». Уже у современников философа он вызывал возражения. Они могут лишь возрасти в наше время, если воспринимать эту формулу буквально. И в самом деле, разве ядерное «сверхубийство» — опасная реальность наших дней — разумно?

Диалектический смысл этого афоризма, который, по Энгельсу, заключается в том, что «все, что есть в человеческих головах разумного, предназначено к тому, чтобы стать действительным», раскрыл в лекциях сам Гегель. В курсе по философии права он читал: «Все, что разумно, то неизбежно». В этом утверждении — вера в неизбежность победы разума. «Разум в мировой истории все же побеждает», — подчеркивал Карл Маркс.

Верой в силы разума, которые противостоят силам безумия и войны, проникнут весь подход Советского Союза к решению глобальных проблем современности, в том числе и к самой острой из них — предотвращению угрозы ядерной катастрофы.

Новое мышление — это и вера во всепобеждающее начало разума, но вера не холодная и слепая, а действенная. Несмотря на пророчества кассандр утрашения, ядерный век несет с собой не только грибовидное облако безумия, но и ренессанс разума, разума страстного, равнодушного. Ведь только при молчаливом попустительстве равнодушных может свершиться преступление ядерного века.

Сейчас на планете сталкиваются два разных подхода к настоящей и будущей истории человечества, два разных типа мышления. Приверженцы старого подхода, мышления категориями силы и утрашения, хотели бы остановить социальный прогресс, переустроить мир по собственному образу и подобию, не останавливаясь перед «крестовым походом» против инакомыслящих. Сторонники же нового мышления, веря в человеческий разум и солидарность, выступают за раскрепощение духа человека, за общую ответственность людей перед нынешним и будущими поколениями, за судьбу Земли. И здесь тоже нет места равнодушию. Ибо в наш ядерный век всеобщей взаимозависимости как никогда верна гуманистическая истина: чужого горя не бывает. Все горе мира, вся боль Земли — это наше, мое и твое, горе.

Разве не об этом еще в XVII веке сказал английский поэт Джон Донн:

Если море подмывает материк,
Суши становится меньше.
Если умирает один человек,
Человечество становится меньше.

Потому не посылай узнать,
По ком звонит колокол.
Он звонит по тебе.

Колокола Хатыни и Бухенвальда, Хиросимы и Нагасаки звонят, зывая к нам, ко всему человечеству: нельзя допустить трагедии войны! Только пропустив всю боль мира через себя, охватив своим разумом гибельность грозящих Земле бед, человек способен предотвратить их — своим мыслящим сердцем, всей страстью разума.

Во времена прежних войн люди знали: когда над страной нависала смертельная угроза, призыв «отечество в опасности!» поднимал на борьбу всех патриотов. В век атомного оружия уже не отдельным странам, а планете в целом угрожает термоядерная катастрофа. Вот почему сейчас первейшим лозунгом всех, кто объединен чувством принадлежности к нашей общей родине — Земле, должен стать призыв: «Человечество в опасности!»

Новое мышление в ядерный век означает, что мы, люди разных наций и убеждений, должны ощущать себя идущими в одной связке в гору жизни. В ядерный век есть только одна альтернатива: теперь невозможно мечом крестоносца разрубить гордиев узел запутанных глобальных проблем современности. Ядерный меч поразит и самих людей, жаждущих такой развязки. Только крепотливо, совместными усилиями распутывая затянутый в узел клубок проблем, можно найти ту нить Ариадны, которая выведет человечество из лабиринта ядерной безысходности в мир разума, доверия и сотрудничества.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЛЕОНИД РЕЗНИКОВ,
доктор филологических наук,
профессор



КРИЗИС АСКЕТИЗМА

1

Мы отступали через Нарву, Кингисеппи, стояли насмерть в Невской Дубровке, вгрызались в землю, спасая в южной Ладоге ледовую «дорогу жизни». И, как многие, после войны я тянулся в места, где обожгло душу, поклониться, вспомнить, помянуть тех, кто остался здесь навсегда.

Не могу сказать, что Ладога звала меня больше иных памятных сердцу мест. Но когда четверть века назад, проплыв по сварливому озеру, я сошел на берег Валаама, красота его скал, лесов, рощ и даже руины бывшего монастыря так потрясли воображение, что стал я собирать краеведческую литературу и уже постоянно то из Ленинграда, то со стороны Сортавалы приезжал на ладожский архипелаг, бывал там подолгу, но так и не мог на него наглядеться. Поражали не только остатки садов, лиственничных аллей и дубовых рощ и прочее, как пишут наши ученые-лесоводы, «редкое содружество древесных пород» — все то, что создало уникальную северную красоту островов, привлекавших сюда художников со всего мира: захватывала мысль, что все это сделали поколения простых русских людей — садовников и каменщиков, лесоводов и архитекторов, пахарей и художников. Поражал этот подвиг труда: ведь они на голых и диких скалах, на насыпной земле (буквально на земле, созданной руками своими!) возвели эту вековую мощь и красоту, которых ни время, ни ладожские бури, ни наша бесхозяйственность (что греха таить!) не смогли погубить до конца.

В 1965 году правительство Карелии объявило Валаам заказником. В 1979 году Совет Министров РСФСР решил превратить Валаамский архипелаг в архитектурно-природный музей-заповедник. Сейчас там работают (к сожалению, не столь хорошо, как хотелось бы) реставраторы, строители, лесоводы; круг их интересов — около 50 памятников архитектуры высокой эстетической ценности и свыше 70 «малых» мемориальных объектов, а также каналы, рощи, аллеи, озера... Да, делаются первые шаги по восстановлению архитектурных и природных ансамблей Валаама.

Вместе с этим есть настоятельная необходимость познать и историю уникальных островов — в первую очередь историю древнейшего на Севере Преображенского мужского Валаамского монастыря. Дело это в наши дни имеет особую актуальность: в преддверии тысячелетия крещения Руси «богословско-церковные круги Московской патриархии пытаются использовать эту дату для прославления русского православия и создания ему репутации социально прогрессивной силы, стимулятора духовного прогресса общества. Нейтрализовать такие попытки можно лишь с помощью апелляции

ции к исторической правде, которая работает отнюдь не на религию и церковь, а против них»¹.

Многие уже писали о монастыре, но и поныне некоторые тайны его остались за семью печатями. Когда в 1940 году монахи покинули остров, они вместе со многими реликвиями увезли отсюда свой музей, библиотеку, архив. Только незначительная часть материалов была на островах оставлена и попала в Ленинград (рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина), а также в Публичную библиотеку и Государственный архив КАССР (Петрозаводск). Основная же масса материалов осела за границей — в Финляндии. Библиотека Валаамского монастыря находится в Славянской библиотеке Хельсинкского университета, там же часть валаамского Древлехранилища (в конце прошлого века частично изученного нашим знаменитым палеографом профессором И. А. Шляпкиным). Многие рукописные жития и другие памятники древнерусской литературы попали в Куопио — нынешний центр православия в Финляндии, где расположилась резиденция архиепископа Павла и при ней музей православной церкви — здесь собраны ценнейшие иконы, драгоценная рака, тонкой работы церковная утварь и т. п., в том числе и из Валаамского монастыря. Часть реликвий хранится также в Новом Валааме, куда переселились русские монахи в 1940 году, — в центральной части Финляндии, в семидесяти километрах южнее Иенсоу. И, наконец, в Миккели, недалеко от Нового Валаама, при Земельном архиве имеется огромный фонд Валаамского монастыря — большое собрание драгоценных документов.

В 1983 году мне удалось поработать во всех названных местах, изучить валаамскую библиотеку и валаамские архивы. Неизвестные доселе нашим исследователям документы позволили написать этот очерк об истории Валаамского монастыря и той истинной роли, которую он сыграл в духовной жизни общества.

2

Карелия с Ладожским озером в IX—XII веках принадлежала Киевской Руси, а с XII века Великому Новгороду. Именно в те века Ладога и ее острова приобрели важное стратегическое и торговое значение как главная коммуникация, связывавшая Русь и Северную Европу с Византией: «путь из варяг в греки» проходил от Балтийского моря по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, Ильменю, волоком до Западной Двины, далее также волоком до Днепра и в Черное море. На этом пути укреплялись озерные острова, Новгород Великий и Киев. Потому не исключено, что уже в XII веке на Ладоге имелся православный монастырь: одним из верных способов укрепления торгово-стратегических позиций государства было основание в пограничных районах православных обителей, к старейшим из них относятся Валаамский и Коневецкий. Такие монастыри иногда одновременно становились крепостями, например Соловецкий на Белом море.

С XII века Швеция, покорив Финляндию, устремляет свою экспансию на земли Великого Новгорода. В XIII—XVII веках Карелия — объект постоянной шведской агрессии. Неоднократные набеги шведских рыцарей заканчивались для Валаама трагически: монастырь не раз сжигался дотла, все монахи, не успевшие скрыться и бежать, убивались, не щадились даже ветхие старцы. Полное запустение монастыря наступило в начале XVII века, когда Карельский перешеек и северное Приладожье были оккупированы шведами.

В результате петровских побед Ладога и вся Карелия были возвращены России. Но борьба русского самодержавия со шведской династией продолжалась и в XVIII и в XIX веках. Потому на Валааме монахи из века в век чувствовали себя как бы постоянной пограничной заставой, которая, однако, имела только церковное, а не военное снаряжение.

Со времени петровских преобразований и основания Петербурга «путь из варяг в греки» потерял свое значение, но Ладожское озеро как важная водная магистраль возле молодой столицы России еще более, чем прежде, оживилось. Одновременно началось возле Ладоги (чтобы обойти ее крутой нрав) бурное каналостроение, привлекающее в эти места множество рабочего люда. Монастырь на Валааме оказывается

¹ Проф. Н. С. Гордиенко, предисловие к монографии Н. М. Никольского «История русской церкви». М. Политиздат. 1983, стр. 20.

в орбите торгово-политических и церковных интересов великих князей и русских монархов, купцов и промышленников.

Как известно, в нашей стране провозглашена свобода совести. Этот принцип означает не только свободу каждого верить или не верить и спокойно доказывать свою правоту, но и — безусловно! — нравственную обязанность уважать чувства и атеиста и верующего. Вовсе не от марксистов, а от буржуазных либералов идет легкомысленная и вредная тенденция любого священника обвинять в обмане, любого монаха — во лжи, тунеядстве и разврате.

Однако, прежде чем анализировать эту — самую существенную — сторону жизни монастыря, ради объективности отметим и другую.

Валаамские садовая и архитектурно-парковая красота, мастерские, заводы не были бы созданы, если б здесь не трудились талантливые архитекторы, выдающиеся организаторы, изумительные мастеровые и самоотверженные землепашцы и художники, для которых труд был потребностью, выработанной предшествующим опытом жизни, и на первых порах убежденностью, что честный труд «богу приятен». Но это было после. Вначале следовал расцвет, выдвинувший немало замечательных натур: выдающихся исследователей-миссионеров Северной Америки, таких, как, например, Иосиф Болотов — автор первого научного труда об Алеутских островах; погибшего на Аляске монаха Ювеналия; самоотверженных защитников американских индейцев — таких, как монах-миссионер Герман, именем которого на острове Кадык названа школа; таких талантливых организаторов, каким был игумен Дамаскин, тверской крестьянин по происхождению, Демьян Кононов в мидч.

Дамаскин провел на Валааме свыше шестидесяти лет². Не получив никакого образования в монастырский период жизни, он необыкновенным упорством, вдумчивым самообразованием, а кроме того, умением все делать собственными руками (в монастыре он был сапожником, и пекарем, и десятником, и садоводом) обратил на себя внимание высокообразованного попечителя северных монастырей Игнатия Брянчанинова (о нем Н. С. Лесков писал в очерке «Инженеры-бессребреники»). Безошибочно увидев в Дамаскине талантливого самородка и волевого организатора, Брянчанинов выдвинул его на пост игумена. За сорок два года руководства монастырем (с 1839 по 1881) Дамаскин создал действительно образцовое хозяйство. Он был человеком, глубоко понимавшим значение науки, просвещения. Дамаскин завел на Валааме крупную библиотеку, особенно заботился о приобретении литературы по разным вопросам строительного дела и сельского хозяйства, открыл при библиотеке Древле-хранилище, которое привлекло внимание крупного знатока палеографии И. А. Шляпкина, с неизменным уважением называвшего сурового игумена выдающимся библиофилом. Дамаскин собственноручно начал на Валааме метеорологические наблюдения, которые затем велись непрерывно.

Этот крестьянский сын обладал умом ученого и эстетическим вкусом художника. Он пригласил на Валаам петербургского архитектора академика А. М. Горностаева (биографом его стал великий критик и искусствовед В. В. Стасов), который, проявляя талант истинно самостоятельный, создал на архипелаге важнейшие строения — знаменитую Никольскую церковь (Никольский скит), огромный ансамбль Всехсвятского скита (по сути дела, это отдельный монастырь), зимнюю гостиницу, конюшенный дом и т. д. При этом Дамаскин непосредственно принимал участие в обсуждении проектов архитектора — письма хранят множество весьма квалифицированных замечаний этого удивительного человека, не получившего даже начального образования.

Дамаскину и Горностаеву мы обязаны красотой валаамских ансамблей, их органической вписанностью в природные ландшафты, их зодческому национальному колориту, который привел В. В. Стасова в восторг. Великий критик увидел на Валааме шедевры национальной русской архитектуры, в которую органически развилось наше самобытное русское деревянное и каменное зодчество Севера.

Дамаскин установил крепкие связи с целым рядом деятелей русской культуры. В поселке Паппинями (центральная Финляндия, где ныне находится Новый Валаам) автор этой статьи обнаружил десять томов переписки Дамаскина (рукопись, около трех тысяч писем) — это больше, чем писали все, вместе взятые, игумены после

² О его жизни и деятельности рассказывает в своей книге «Мужицкая обитель» (СПб. 1911) Василий Иванович Немирович-Данченко.

него еще полстолетия! Этот удивительный человек переписывался с исследователем Ладожского озера полковником А. П. Андреевым, с академиком Железновым, Востоковым, Иорданом, с архитекторами Горностаевым, Карповым и многими другими. И вот что характерно: если он пишет академику А. Х. Востокову, так из письма ясно, что важнейшие труды ученого он знает; если обращается к Горностаеву, так делает ряд весьма серьезных архитектурных замечаний (в одном письме я насчитал 24 таких замечания!); то же обнаруживается в его переписке с архитектором Карповым. Он демонстрирует не просто знания, но и солидный эстетический вкус и постоянно помнит, где производится строительство. В упомянутом письме Горностаеву он так и пишет: «Не забывайте, что строим мы именно монастырь!» Однако в выборе между суровостью и красотой побеждала всегда красота... Если хозяйственные постройки делались по-крестьянски из камня, то при возведении скитов, часовен и мемориалов в монастыре выбирали материалы наиболее броские, гармонирующие с окружающей природой, а гостиницу построили так, чтобы в ней было не хуже, чем в гостиницах столичных, да еще нечто такое, чего там никогда не будет: в большие окна было видно самое большое в Европе озеро, густой и дружный валаамский лес, просторное небо. Так незаметно на Валааме создавались особые условия пребывания, гостевания (царские кельи с их роскошным оборудованием в центральном четырехугольнике довершали эту картину) и жизни для избранных.

Но при жизни Дамаскина этого подрыва аскетизма комфортом еще заметно не было. Если не считать получаемых игуменом дорогих наград, где золото перемежалось с бриллиантами, Дамаскин сам жил скромно и так много работал, что обвинять его в праздности, избалованности никак нельзя.

Президент Академии художеств Федор Иордан написал известный в истории живописи портрет Дамаскина. Ни солидная осанка, ни сдержанная улыбка старика не могут скрыть облика простого тверского крестьянина. Но глубокий ум, всеокрушающая воля отразились в этом портрете!

Несомненна высокая культура ведения хозяйства на Валааме. Местные садоводы в самых неблагоприятных условиях (резкие перепады температуры, жестокие ветры и бури) добивались того, что здесь прекрасно плодоносили многие сорта яблок, груш, вишен, крыжовника, малины, смородины. Валаам снабжал ими не только себя и приезжих, но и все Приладожье. При строжайшем распорядке сельскохозяйственных работ в парниках в начале мая выращивались арбузы и дыни, в огородах с начала марта — морковь, свекла, картофель, капуста, огурцы, горох, чеснок, лук. В половине июня снимали поспевший горох, затем другие овощи. Арбузы в парниках здесь достигали 20 фунтов, то есть 8 килограммов — не хуже, чем на Украине и в Бессарабии; дыни достигали 7 фунтов, а тыквы вырастали двухпудовые. Систему каналов, по которым вода на огороды и поля шла более теплая, чем в Ладоге, уже после смерти Дамаскина усовершенствовали рабочие, которыми руководил новый игумен Ионафан II, Иван Дмитриев в миру, до Валаама — высококвалифицированный рабочий-слесарь Старочугунного механического завода в Москве. Он же обеспечил все мастерские и заводы на Валааме механической тягой, построил первый на Севере водопровод и усовершенствовал работу кирпичного завода. И поныне остатки кирпича с печатью валаамского завода поражают прочностью.

Все это опыт, не потерявший своего значения и для нас.

3

Вместе с тем Валаам, конечно, никогда не был местом, где люди показывали, «как работать всем и за вся». Монастырь с его постоянными наемными работниками, с крайне низкой оплатой труда в многоотраслевом промышленном и сельскохозяйственном производстве с давних лет был типичным феодально-капиталистическим предприятием, получавшим солидные прибыли за счет беззастенчивой эксплуатации трудившихся монахов, подростков и многочисленных паломников. К началу же XX века, когда последовал неуклонный закат обители, Валаам становится монастырем не аскетическим, а типично капиталистическим, доходным, накладывающим «лихву на лихву», и одновременно одним из самых реакционных клерикальных центров на нашем Севере.

Одним из основных правил жизни верующего православного христианина, как известно, является аскетизм. В Философском энциклопедическом словаре (М. 1983) аскетизм толкуется как уход от мира ради соучастия в «страданиях» Христа, а аскет — как «отшельник монах». Это толкование в принципе не расходится с тем, какое ему дают Богословская энциклопедия и труды ученых-монахов. Так, последний русский игумен Валаамского монастыря Харитон в своей книге «Аскетизм и монашество», изданной в Сортавале в 1943 году, писал: «Церковные проповедники говорят об отречении от мира еще во втором веке... Между тем миряне теперь так часто говорят: «Но мы от мира не отреклись!» Совершенная бессмыслица с православной точки зрения!.. Без отречения от мира, без борьбы со страстями, без аскетизма ни какое духовное совершенствование невозможно!».

Монастырь для многих искренне верующих людей мог стать и становился обителью добровольного ухода из «греховного мира» в мир молитвенного и трудового очищения, местом, где могли развиваться и порою действительно развивались духовные и физические силы самоотверженного человека. Не случайно в черновом варианте письма к С. А. Толстой Лев Толстой писал, что ушел бы в монастырь, если бы мог верить в то, во что верили монахи. Но в том-то и была для искренне верующих печаль, что рано или поздно им приходилось разувериться в том, во что они верили и чему поклонялись: обитель христолюбивых иноков с годами все больше превращалась в острова преследуемых ссыльных страдальцев, в землю, на которой нещадно эксплуатировались и сами монахи и наемные рабочие, в сообщество, в котором неизбежно шло расслоение, монашеская элита все чаще увлекалась сребролюбивой торговлей, лгала и обманывала, предавалась все более привычному, неприкрытому разврату.

Валаамская обитель в светских дореволюционных изданиях и в особенности в многочисленных книгах и брошюрах, издававшихся самим монастырем, называлась братством, святыней, местом подвижников, боголюбивых праведников — схимников и старцев. В дореволюционной печати (да и вообще до самого последнего времени в изданиях, посвященных Валааму) не исследовался ни состав монастыря, ни пути его обогащения. Установилось традиционное мнение, что монастырь был крестьянским. Автор этих строк в ранее публиковавшихся работах тоже повторял мысль о Валааме как мужичьей обители.

Монастырь на Валаамском архипелаге действительно отличался от «аристократических» столичных монастырей вроде Троице-Сергиевой лавры, в составе которой было слишком много детей дворянских и купеческих. Не то, конечно, было на Валааме, где — особенно на первых порах — жизнь была трудна во всех отношениях. Сюда подбирались в основном люди физически крепкие, выносливые, не боявшиеся ни тяжелой работы, ни сурового климата. Это были выходцы из северных губерний, не знавших крепостного права, люди работоспособные, волевые, честные. Кроме того, монастырь пополнялся и рабочими из Петербурга и одновременно с ним основанной Петровской слободы (Петрозаводска).

Конкретные данные — факты и цифры о социальном составе и экономике монастыря — дает валаамский архив, хранящийся в Миккеди. Я просмотрел «Послужные списки» монастыря почти за полтора века и выделил наиболее характерный — список 20-х годов XIX века, когда на Валааме уже был монах Дамаскин и состав монастыря становился устойчиво типичным. Для установления движения рабочих в разные годы мной изучены также наемные «Ведомости» и «Паспортные книги». И вот какая получилась картина.

В «Послужном списке» за 1827—1828 годы по социальному происхождению из 90 «штатных» монахов оказалось: из дворян — 2 человека, из крестьян — 16, из рабочих — 4, из купцов — 4, из военных — 7, из прочих — 20 человек. Как видим, состав монастыря был отнюдь не сплошь крестьянским, крестьян и рабочих вместе тут было всего лишь 18 процентов, значительно больше было мещан — 41,3 процента. Если же проанализировать состав «прочих», то и тут окажутся люди, более близкие к городскому мещанству, чем к деревенской бедноте. Один из них до монастыря был титулярным советником, другой — ремесленником, третий и четвертый — пономарем и дьяконом, двое — из «солдатских детей», трое — «из отставных унтер-офицеров», еще трое — из «господских людей», то есть бывшие дворянские слуги. На Валааме, как видим, большинство было мещан по сословному происхождению, к которым прибавлялась солидная часть мещан по духу.

Отсюда легко понять, как без особых усилий Дамаскин установил в монастыре тишину и порядок. Решительно изгнав пьяниц, развратников и буянов в монашеской рясе (в самом начале своего правления он выслал из монастыря до 15 монахов и послушников без права возвращаться и даже без права сесть близ монастыря), суровый игумен взял остальных в свой кулак, благо кулак этот был железный, крестьянский, а масса — робкая, податливая, привыкшая безропотно подчиняться любой власти, в том числе церковной.

4

Экономическая политика настоятелей с самого начала была капиталистической в самом прямом смысле слова: эксплуатация на Валааме была совершенно невиданной даже для царской России, где труд рабочего и крестьянина испокон веков оценивался очень низко. В монастыре труд монахов и послушников (из них набирались работники в постоянно действовавшие литейные, кузнечные, каменотесные мастерские, все конюхи, ими выполнялся тяжелый труд по росписи внутренних стен монастырских церквей) вообще никак не оплачивался. «Бог труды любит!» — говорилось братии, и каждый был обязан, помимо богослужений, иметь трудовое послушание, соответствующее его домонастырской профессии, навыкам и «прегрешениям». Самые тяжкие грешники отправлялись на каменоломни, дававшие монастырю большие доходы (из валаамских гранитов, неточно названных сортавальскими, построены многие мосты, здания, мемориалы в Петербурге, в том числе Николаевский мост и кариаиды Эрмитажа).

Аскетизм, полностью обесценивая труд, превращался в издевательство над человеком: ему говорили, что он трудится «бога ради», а дело трудов его превращали в большие деньги, на которые, кроме прочего, устраивались пышные встречи и щедрые приемы в центральной гостинице монастыря, построенной на те же трудовые деньги и рассчитанной на петербургских богатеев. Привечая их на Валааме, от них затем получали очень выгодные заказы на поминования, а также щедрые вклады в монастырскую казну. Тут аскетизм сильно попахивал грязным златом.

Прибыль монастыря складывалась, в частности, из высокооплачиваемых поминовений во здравие и за упокой. Поскольку Валаам с 1844 года был связан с Петербургом и Сортавалой постоянным пароходным сообщением, количество паломников росло, а с ними увеличивалось и число поминовений, гигантски выраставших в годы бедствий — во время войн и эпидемий.

Монастырь умел привлекать к себе массу верующих. К концу 80-х годов прошлого века здесь было уже 7 скитов, а в 1914 году их стало 13. Доходы вкладывались в строительство новых церквей и подворий. Траты на это в значительной мере покрывались вкладами богатых «грешников».

Монастырская казна становилась все богаче. Со второй половины XIX века бедные паломники получали и еду и ночлег бесплатно, а это, особенно в годы неурожаев, голода, привлекало на Валаам массу бедняков. Однако только наивные люди видели в этом аскетическое благолепие и бескорыстие: те же самые бедняки должны были на Валааме по нескольку дней работать в поле, на огородах, на строительстве — они работали за еду.

О лихобойном характере валаамского аскетизма выразительно свидетельствует его система найма и эксплуатации рабочей силы.

В «Книгах записи нанятых рабочих» (таких книг в архиве сохранилось 13) зафиксировано, что за сезон, длившийся от двух до десяти месяцев, рабочий зарабатывал от 7 до 70 рублей. Приезжали ради этого чаще всего крестьяне из Олонецкой и Петрозаводской губерний, отец с сыном, братья и т. д. К примеру, в 1830 году Ефим Соколов с сыном вдвоем заработали 60 рублей; Захар Петров, плотник, за восемь месяцев — 70 рублей. Правда, на обжиге кирпича (работе не только тяжелой, но и вредной), на трудной перевозке и перегрузке строительных материалов зарабатывали больше, но на такие сравнительно высокооплачиваемые работы нанимали очень редко. В основном же заработки были значительно ниже приведенных. Вот, например, Иван Яковлев с марта по декабрь (за десять месяцев) заработал 20 рублей, из них авансом забрал в марте — 6 р. 36 к., в апреле — 4 р. 40 к., в мае — 2 р. 72 к., в июне — 4 р. 11 к., в июле — 4 р., в сентябре — 6 р. (есть-то ему нужно было). Всего,

таким образом, он взял 27 р. 52 к., а заработал, напомним, лишь 20 рублей. Значит, работал и жил в долг.

Списки наемных рабочих насыщены должниками. Вот одна из записей: «Иван Яковлев 6 декабря рассчитан в долгу. Хорошо жил, прибавлено что детям 5 руб.»³. Удивительная запись! Труд Яковлева был оценен бессовестно низко. Он «хорошо жил», то есть во время тяжелых земляных работ — все делалось лопатой — был трезв и не жалел себя. И заработал меньше того, что истратил при трезвой жизни. Но монастырь простил ему долг в 2 р. 49 к. и подарил на детей целых 5 рублей! Как же этому бедолаге было не молиться на «доброту» монастыря, не почувствовать себя в долгу перед ним, не попытаться еще раз сюда приехать, может, и долг отработать, и еще «на детей» получить что-нибудь!

Еще несколько записей из тех же книг: «Матвей Горбов нанят на год с 1 февраля 1831 г. по 1 февраля 1832 г. Заработал за год 37 р. Задолжал 32 р. 40 к. При расчете получил 4 р. 60 к.», «Алексей Алексеев заработал за год 25 р., задолжал 19 р. 50 к.», «Осип Леонтьев из деревни Пельда Салминского погоста нанят без платы. Матери его дано 1 пуд муки». При подобной системе явно заниженной оплаты труда постоянно плодились должники, но это и было выгодно монастырю-нанимателю: остаться в долгу у святой обители считалось тяжким грехом, его стремились искупить, то есть старались рассчитаться трудом в следующий раз. Должничество было незримым нравственным закабалением — вот как тут оборачивался аскетизм.

Еще один документ — «Книга для записывания паспортов» — дает наглядную картину кривой этой системы эксплуатации по годам. Наименьшее количество рабочих, нанятых Валаамским монастырем в прошлом веке, было в 1864 году — 49 человек; в 1882 году в найме было 125 рабочих, в 1888-м — 153, самое большое количество за весь учтенный период; в 1893 и 1894 годах началось снижение — до 65 и 79 человек. Это отражает то рост, то спад строительного напряжения на архипелаге, где с конца XIX века к 7 уже построенным и заполненным скитам стали возводиться еще 6 новых.

Таким образом, факты и цифры убеждают нас: валаамский аскетизм постоянно выжимал физические и нравственные силы у наемных рабочих, по сути бывших неофициальными рабами монастыря.

Кроме эксплуатации монахов и сезонных рабочих, был еще и третий, едва ли не самый дешевый по затратам и безгранично прибыльный по результатам источник обогащения монастыря — система (именно так: система!) оплачиваемых поминовений. Вклады были нескольких родов: вклад по душе — для заупокойного поминовения только что усопшего родственника; вклад по завещанию — «в наследие вечных благ»; наконец, были еще просто вклады-дарения, порою весьма большие, но этот источник не имел точного учета и о нем можно лишь судить отчасти по сохранившимся письмам Дамаскина и Маврикия. Последний превратил дарения в весьма цинически постоянно действующую статью дохода: специально выделенный для этого Маврикием монах Агафон разъезжал по России по указанным игуменом адресам и напоминал о «нуждах» монастыря наиболее богатым грешникам, привозя таким путем от одной до пяти тысяч рублей в год.

Дамаскин в своих многочисленных письмах зафиксировал не только денежные и иные дарения монастырю от дворян, купцов и крестьян, но и помощь, которую оказывал монастырь беднейшим грешникам. — обитель постоянно старалась в глазах верующих выглядеть отзывчивой, даже бескорыстно щедрой. Но давайте сравним, сколько монастырь получал от богатых вкладчиков и сколько дарил нищим. За выбранных мною два года — 1873 и 1874 (это время уже устоявшейся славы монастыря) — игумен послал в тюрьмы шести арестантам по рублю, одному обедневшему священнику 25 рублей и бедствующему дьякону 10 рублей. Больше безвозмездных трат у монастыря за два года не было. А всего, как нетрудно посчитать, Дамаскин потратился на 41 рубль. За те же два года игумен получил: от богатого купца Д. И. Расторгуева в начале февраля 1873 года 1000 рублей, от того же Расторгуева 29 мая 1873 года и 28 февраля 1874 года соответственно 400 и 305 рублей, от некой Марии Петровны 2 января 1874 года 500 рублей, от купца И. М. Бобылева 4 марта 1874 года 200 рублей и целый ряд более мелких дарений, а всего за два года 3245 рублей.

³ Земельный архив в Миккели, фонд Валаамского монастыря. (Все данные, здесь приведенные, взяты из книг в описи.)

У нас нет возможности учесть, сколько еще в 1874 году прислала графиня Е. Е. Ламберт⁴ (Дамаскин, благодаря ее за дарение, не называет цифры), также не ясно из письма игумена, сколько прислали Г. Д. Яковлев и Е. П. Власова. Кроме того, в те же два года И. С. Семенова подарила Авраамскому скиту колокол — вещь не дешевую; такой же дар сделал В. Н. Никитин; заводчик С. П. Брюханов подарил монастырю новую молотильную машину, а уже упоминавшийся Расторгуев (неоднократные дарения, по-видимому, отражают солидные прегрешения и большую совесть дарителя) прислал еще бочку деревянного масла (низший сорт оливкового) для монашеских лампад.

По самой скромной прикидке Дамаскин, истратив за два года всего 41 рубль, получил в сто раз больше!

Постепенно выкачивание денег от богомольцев превратилось в дело вовсе бесстыдное, особенно перед закатом монастыря, при Маврикий. В письмах и через специальных посредников монахов выпрашивали деньги под самыми разными предложениями — «на ремонт», «на расширение скитов» (хотя такого расширения в XX веке уже не было), в связи с «увеличением количества братии» (хотя состав монастыря после 1910 года только уменьшался). Просили деньги и без всякого повода, просто напоминая, что такие подаяния «богу угодны»⁵.

5

В монастырь все больше проникает дух обмана, торгашества и разного рода преступлений, сопровождающийся неизбежным поруганием (с точки зрения канонического аскетизма) «святых монастырских мест»: теперь в монастыре находят место и пьяница, и блудница, и распутный барин, который, с жиру бесясь, приезжает на Валаам «пострадать».

С конца XIX века для выгодных дарителей и чиновных особ в монастыре устраивают курортный отдых на всем готовом. К торговле лесом, гранитом, свечами, иконами, племенным скотом и собственными самовосхваляющими изданиями прибавилась открытая и тайная торговля комнатами в гостинице (в одном из писем Маврикий сообщает и немалую цену за такую комнату — 20 рублей в месяц) и торговля даже кельями в самых прославленных монастырских местах, куда раньше вообще не пускали паломников (например, в Предтеченском скиту) за тысячу и более рублей «в сезон». Это не только противоречило «Назарьевскому уставу», но и было кощунством с точки зрения последовательного религиозного аскетизма.

Монастырь все больше превращался в доходное место. И, как все торгаши, особенно активные в годы потрясений и бедствий, монастырь жирел в годы первой империалистической войны. Количество поминовений в это время резко возросло, но выросла и жадность игуменов. В военное время запрещалась оптовая торговля некоторыми дефицитными продуктами, например сахаром. Нарушение каралось законом. А Валаамский монастырь пошел на это. 25 ноября 1916 года игумен Маврикий заключил сделку со своим агентом в Петербурге монахом Амфилахием о продаже сахара, посяв такую инструкцию: «Чтобы не рисковать уступкою вам сахару здесь, в Финляндии, возьмите частями 10 пудов из Калашниковской часовни (она была на Петербургском подворье монастыря.— Л. Р.) и уже доставьте его в Ёльборг за свой риск и страх». «Отцу Поликарпу мною написано, чтобы он отпустил вам 10 пудов сахару»⁶. Это уже похоже на действие подпольной мафии: часовни превращены в склады и перевалочные пункты тайной торговли. О какой совести и стыде, о каком аскетическом уважении к святыням тут может идти речь?

⁴ Л а м б е р т Елизавета Егоровна (1821—1883) — дочь министра финансов Е. Ф. Канкрин, жена генерала графа И. К. Ламберта, одна из самых просвещенных и активных корреспонденток И. С. Тургенева. Известны 115 писем Тургенева Е. Е. Ламберт, и сохранилось 50 писем ее великому русскому писателю (они впервые были опубликованы в 1960 году Анри Гранжаром в Париже). Эта переписка свидетельствует о том, что многие замыслы тургеньевских повестей и романов родились в общении с этой высокообразованной женщиной. Она была помощницей попечительницы Николаевского детского приюта в Петербурге, благотворительность привела ее и в Валаамский монастырь, познакомила с игуменом Дамаскином. Письма последнего Е. Е. Ламберт отличаются утонченностью тона и искренним уважением к графине. Эти письма остались полностью неизвестны.

⁵ В архиве Миккели «Дневники поминовений» и «Дневники поступлений за отслуженные поминовения» с 1800 по 1918 год составляют 34 тома.

⁶ ЦГА КАССР, ф. 762, оп. 1, д. 9/95, № 99.

Вместе с превращением Валаама в доходное место все больше распадалось братство, все больше совершалось в монастыре всякого рода нарушений порядка и законности вплоть до поножовщины и воровства, о чем рассказывают также многие монастырские записи, в частности в «Дневнике происшедших в монастыре преступлений»⁷, в «Списке монахов, отправленных из монастыря»⁸. Прекращение строительных работ также худо отразилось на монастырских порядках: Валаам все больше превращался в место развлечений, нередко предосудительных, а его аскетизм — по крайней мере для монастырской элиты — становился воистину комфортным. Вместе с тем все больше цинизма проникает в святая святых — в жизнь и смерть старцев: архивные записи хранят страшные тайны о нарочитом приближении смерти тех ослабевших людей, которые уже не были монастырю выгодны.

Монашеский аскетизм служил самодержавному насилию и клерикальной нетерпимости, и в этом был не только его кризис, особенно обозначившийся с начала XIX века, но и его ложь. Он жестоко наказывал тех, кто иногда лишь в силу своей искренности говорил правду. В чем, например, была вина Петра Андреевича Словцова, молодого преподавателя красноречия и философии Тобольской семинарии? В 1794 году он прочитал в местном соборе проповедь (такие проповеди входили в его обязанности) «По случаю бракосочетания цесаревича Александра Павловича». Искренне поздравляя цесаревича, проповедник одновременно напутствовал его подумать о том, что в России не все живут в «одних и тех же законах»: «...в руках одной части захвачены имущества, отличия и удовольствия, тогда как прочим оставлены труды, тяжесть законов или одни несчастья». Верноподанный Словцов хотел лишь обратить внимание царствующей фамилии на тяжелое положение в России трудового народа, спокойствие которого «следует из повиновения, но от повиновения до согласия столько же расстояния, сколько от невольника до гражданина»⁹. И за одни эти правдивые слова молодого проповедника приехавший из Петербурга фельдъегерь вызвал из дому, где тот был в гостях, бросил в арестантский возок и, не разрешив зайти домой и попрощаться с семьей, три недели без остановок, без ночлегов как «врага престола» вез в Петербург. Здесь он был передан тайному советнику Шешковскому, затем последовала валаамская ссылка «на смирение», «под надзор духовных властей».

На Валааме (точнее, в Авраамском скиту — на острове, который валаамские монахи почти никогда не посещали из-за его отдаленности и недоброй славы) в сырой, тесной и душной келье больной Словцов писал:

Сижу в стенах, где нет полдневного луча,
Где тает тусклая и вечная свеча.
Я болен, весь опух, и силы ослабели,
Сказал бы более, да слезы одолели...

Словцова спасла случайность: в 1796 году скончалась Екатерина II, и ненавидевший ее Павел I освобождал всех, кого Екатерина подвергала преследованию. За Словцова заступился и его одноклассник, хорошо знавший его по Александро-Невской семинарии, М. М. Сперанский, будущий советник Александра I. А сколько людей так и сгинули в валаамской ссылке?

Здесь трудился целый ряд русских ученых — академик Н. Я. Озерецковский (1750—1827), автор книги «Путешествие... по озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильменя», крупнейший в те годы исследователь Китая и народов Дальнего Востока Н. Я. Бичурин (1777—1853)... Сюда присылали не только проштрафившихся — спившихся и богохульствующих — священников и монахов (их было немало), но и таких желавших освободиться от монашеского сана, как Бичурин, и политических. В монастырском архиве хранится ряд документов на сей счет.

Судя по этим документам (они, по-видимому, сохранились не все), в монастыре постоянно находилось от 6 до 12 ссыльных. В «Указах» на них не всегда говорится, за какие проступки их сюда выслали. Но не указанный повод, как правило, означал причину политическую, так же как нередко фигурирующее в документах определение «по секретному делу». Так, «по указу 1802 г. 18 июля» в бессрочную ссылку были привезены на один из самых отдаленных островов архипелага (в двадцати пяти ми-

⁷ Последние записи за 1911 год. Миккели.

⁸ Запись за 1912 год. Миккели.

⁹ П. А. Словцов. Историческое обозрение Сибири. СПб. 1866, стр. 6.

лометраж от Валаама) «священник Иоанн Львов, флота капитан-лейтенант Кравцов и лейтенант Мелихов»¹⁰. Поскольку Кравцов и Мелихов вовсе не люди клира и явно не монахи, их «вина» вряд ли имела церковный характер; ясно, что эти люди чем-то серьезно не угодили самодержцу. В «Послужном списке» монастыря за 1829 год среди ссыльных значатся 3 иеромонаха, 3 иеродиакона, князь подпоручик Тенешев (род Тенешевых известный в России, и если в «Списке» вина этого молодого князя не указана, то сослан он явно не потому, что был родовит), «титularный советник Лазарев — для исправления от порочной жизни», «рядовой Андрей Иванов — за ископление самого себя» (наверно, следует читать «оскопление»; сколько страдания от пожизненной солдатчины в этом факте!), «иеромонах Зосима и священник Михаил Алексеев — за дурное поведение и нетрезвую жизнь», «дьякон Петр Корнеев — по секретному делу», «Евдоким Никифоров — за совращение православных в раскол»¹¹. Как видим, аскетизм вполне уживался с жестокостью, с мезью не только тем, кто отступал от нравственных норм, но и тем, кто чем-то не потратил царю-батюшке, и даже тем, кто решился отступить от православных канонов: раскольника наказали валаамской ссылкой!

Атмосфера безнравственности и бездуховности приводит к тому, что наиболее честные и пытливые люди в монастыре стараются его оставить, «отряхнуть прах со своих ног», как пишет послушник Алексей, чья хроникальная исповедальная повесть — крик души мятущейся — обнаружена автором этой статьи в Центральном государственном архиве Карелии¹². Рукопись Алексея — это критика монастырских порядков в начале XX века (точнее, в 1909 году), критика, идущая как бы изнутри самой обители и от человека молодого, еще верующего в бога, но уже разуверившегося в церковно-монашеском благочестии. Автор ведет нас, как сам говорит, по монастырским «больным местам». Таких мест теперь на Валааме много. Даже некогда знаменитый по строгости устава Предтеченский скит не избежал «заразы и разврата, царящих в других скитах».

Записки Алексея-послушника состоят из четырех очерков. Обнажение автором язв монастыря от очерка к очерку приобретает все более глубокий разоблачительный характер. Во втором и третьем описывается слежка, обыски и провокации, охватившие вместе с подозрительностью всю братию. Системе грубого сыска, оказывается, подчинена даже тайна исповеди на Валааме: духовник докладывает игумену обо всем важном, что он узнал из исповедей. Братия уже не раз имела возможность убедиться в «эффективности» этой системы. Очерки объясняют, почему такое духовное бесчестие и ложь оказались возможны и прочно вселились в обитель: почти все иноки суеверны, крайне неразвиты и темны разумом, а потому способны на фанатическую ненависть ко всем, кто грамотен, интеллигентен, кто связан с миром, вызывающим у них лишь подозрительность и страх. И наконец четвертый очерк, изображающий монастырскую баню, свидетельствует о том, что «зараза» души темной и одичавшей стала болезнью и самого тела, которое уже не отмоешь и самой горячей водой...

Записки Алексея ценны как документ большой исповедальной силы, как живое свидетельство, написанное душой честной, мятущейся, жаждущей разобраться в страшной правде монастырской жизни. Критика с позиций праведности, конечно, была бы малоинтересной и даже реакционной, если бы автор не оказался страстно правдив и в силу этого не возвысился до социальных разоблачений. Вот он замечает, что игумен проявляет интерес к схимникам лишь до той поры, пока они в состоянии привлечь в монастырь богатых богомольцев. Нет, не благочестие, не уважение к подвижнику, а только интересы выгоды, чистоган лежат в основе отношения игумена к старцам-схимникам. «Всю жизнь, — пишет Алексей, — схимонах Никита отдал Валаамскому монастырю, но когда старец заболел и отказался принимать пищу, игумен не послал к нему фельдшера, не посетил умирающего старика, чтобы отговорить его от голодовки». Эта циническая жестокость, как сообщает Алексей, вызвала даже волнение среди братии.

Особенно терзают Алексея слежки и провокации в обители. Он рассказывает о нескольких монахах, невзлюбивших его только за то, что он грамотен и любит книги: «Со мною они все перепробовали. Они подметили мою любовь к чтению и подослали ко мне монаха, который предложил журнал «Труд»... Только я ушел из

¹⁰ Земельный архив в Миккели, ф. Валаамского монастыря, оп. Ва 1:1, стр. 24.

¹¹ Там же. Оп. Аа:4, стр. 33.

¹² «Записки неизвестного монаха». ЦГА КАССР, ф. 762, оп. 1, д. 71.

кельи, как туда нагрянул отец Савва (келариарх) и произвел в моем отсутствии обыск по всем правилам сысского искусства... Все мое имущество было конфисковано...»

«Оставаться ли мне и терпеть или, отряхнув прах от ног, навсегда удалиться с Валаама?»

Приятель-послушник спрашивает его:

«— Ну что ты, брат Алексей, о чем так крепко задумался? Ты взгляни только на эти волны и скалы. Кажется, волны... способны все разрушить на своем пути... Да не так-то это просто... Не падай духом... Будь и ты такую же скалою... Буря ведь тоже не каждый день. Взойдет солнышко...»

— Да где оно, ваше солнышко? Не верю я в ваше солнышко...

— Не хочешь быть скалою, так будь тогда лисицею... Здесь у нас любят лисиц...

— Нет, брат, и лисицею я не могу быть»¹³.

Таких нравственных бунтарей, как Алексей, было все-таки очень мало. Большинство монахов глубоко прониклись духом самодержавной косности, шовинизма, враждебности революционному движению и культуре.

6

Когда борьба со Швецией в начале XIX века окончилась очередной победой русского самодержавия, Финляндия стала великим княжеством в границах Российской империи (с 1809 года). Александр I, покоря северные земли, действовал кнутом и пряником: вторично лишая Финляндию независимости (впервые она ее потеряла, когда была покорена Швецией), русский царь одновременно одарял ее (манифестом от 1812 года) частью Карелии и северным Приладожем. По этому вердикту Валаамский русский монастырь оказался на территории княжества, хотя и включенного в состав Российской империи, но автономного, со своим национальным языком и собственным сеймом. Это вызвало рост глухой национально-религиозной вражды со стороны финно-лютеран (в Финляндии почти все верующие — около 95 процентов — лютеране) к православным русским. На Валааме это проявилось во взаимно недоверчивом отношении монахов к финнам и финнов к монахам, отражавшее отношение населения княжества к новым завоевателям.

Среди монахов в течение всего XIX века жил страх за свою судьбу, за завтрашний день, подогреваемый запечатленными в монашеских летописях рассказами о кровавых налетах на монастырь со стороны шведов и финнов в прошлые века. Эта постоянная тревога порою прорывалась во внезапных приступах паники во время ночных богослужений и в истерических вспышках шовинизма, доходивших до преступлений. Особенно атмосфера наэлектризовывалась, когда на Валааме появлялись финны в военной форме. Среди множества документов о дебошах, пьянстве и хулиганстве на Валааме есть и «Дело по обвинению монаха Рафаила в поранении ножом унтер-офицера Лэлла»¹⁴. Обширная переписка последних игуменов с хельсинкскими адвокатами свидетельствует о том, что все чаще братья становились на путь самых вульгарных правонарушений.

Русская монархия свыше ста лет питала в маленькой северной стране почву для взаимных националистических распрей. С одной стороны, были сохранены (по крайней мере, официально) прежние законы княжества, видимость самоуправления. Россия способствовала развитию торгово-промышленного капитала Финляндии; с другой стороны (особенно с конца XIX века), гнет самодержавия усилился, февральским манифестом 1899 года устанавливалось, что российские власти могут без согласия финского сейма издавать обязательные для Финляндии законы, усиливался полицейский, административный и цензурный произвол.

Все это имело и прямое и косвенное влияние на Валаам. В период наиболее бурного развития монастыря, в середине прошлого столетия, когда вследствие неудачной для царизма Крымской войны русский царь был вынужден пойти на расширение автономных прав Финляндии, игумену Валаамского монастыря Дамаскину лишь с боль-

¹³ ЦГА КАССР, ф. 762, оп. 1, д. 7/1, стр. 35, оборот.

¹⁴ Там же, оп. 2, д. 1/25

шим трудом удалось добиться беспошлинного провоза на Валаам продовольствия. Положение Валаамского монастыря уже тогда оказалось весьма двойственным. Это была обитель, территориально наиболее близкая к столице государства Петербургу; не случайно русские монархи и члены царской фамилии (в том числе в 1819 году Александр I) посещали Валаам и всячески его опекали. В то же время Валаам оказался на территории, отданной Финляндскому княжеству. И это постоянно вызывало беспокойство в монастыре и трудности в его управлении. Не переставшая действовать в Финляндии шведская конституция 1779 года и королевский манифест 1781 года запрещали инаковерующим (значит, и православным) основывать монастыри или создавать какие-либо монашеские общины¹⁵. В силу этого Валаамский монастырь оказался «незаконным»... Не случайно предусмотрительный Дамаскин построил на Валааме дом специально для бедных паломников-финнов и дипломатически мудро держал на островах не только русскую, но и финскую полицию: пользуясь «привилегиями» властей, она, прирученная, охраняла монастырь от возможных покушений и со стороны православных и со стороны лютеран.

Однако трения между православным монастырем и финляндским лютеранским правительством продолжались в течение всего XIX века и перешли в век XX. Вот что рассказано в книге «Valamo», напечатанной на финском языке в Финляндии сравнительно недавно: «В XIX веке, особенно во второй половине столетия, Валаам был постоянным бельмом на глазу в отношениях финнов к русской власти. Права монастыря на землю, рыбные угодья, свобода от уплаты таможенных пошлин за товары, привозимые из России,— все это вызывало постоянные разногласия. Такая ситуация разрешилась лишь в конце 1880-х годов, во время посещения монастыря братом Александра III — великим князем Владимиром Александровичем. Узнав о трудностях, испытываемых монастырем в отношении с финскими властями, он предложил присоединить Валаам к Санкт-Петербургской губернии. Это не понравилось финским властям. Финский сенат и другие правительственные органы быстро пошли на удовлетворение требований монастыря. Он получает право «вольной гавани», а также оплачиваемую государством полицейскую службу»¹⁶.

Однако и после превращения Валаама в «вольную гавань» трения между монастырем и финляндскими властями не прекращаются. При этом официальные печатные органы России — в особенности черносотенное «Новое время» — национальную политику финляндских властей трактовали тенденциозно, только как политику сугубо антирусскую. «Новому времени» словно было невдомек, что маленькая северная страна всеми мерами отстаивала свою автономию и потому боролась против проникновения православия, за укрепление своей — лютеранской — церкви.

Валаам был действительно как бы врезавшимся в пределы страны лютеранской форпостом русского православия, и нейтрализовать его воздействие старались всеми мерами. Конечно, не гнушались финляндские националисты прибегать и к мотивам шовинистическим. Русский национализм подогревал финляндский, и обе стороны постоянно обвиняли друг друга.

Так, выходявшая в 1911 году в Петрозаводске «Олонецкая газета» напечатала статью с характерным заголовком «Русское дело в Финляндии», в которой со ссылкой на беседу сотрудника «Нового времени» с главой финляндской православной русской церкви епископом Сергием рассказывалось, что в Сердоболе «главным проводником враждебных России настроений служит школа», куда берутся только те учителя, которые соглашаются «работать против России», иначе «их лишают пособия и вообще начинают бить рублем», что такую школу по духу делают финской и т. п. «И тем не менее Карелия и до сих пор туго поддается панфинской пропаганде. Карелы остаются верными православию и считают себя русскими, а не чужнами». Как видим, автор процитированной статьи не только уподобляет протестантизм антирусской пропаганде, но и не стесняется употребить слово, воспринимавшееся финнами как оскорбительное.

Русская буржуазно-дворянская печать всячески подогревала шовинистические настроения в монастыре и способствовала тому, что с годами страхи иноков перед шведами и финнами не уменьшались. Особенно преуспели в этом такие издания, как «Русское знамя» (яро черносотенная газета), «Колокол» (церковная газета), «Речь», «Зем-

¹⁵ См. «Valamo». Helsinki. 1982, p. 37.

¹⁶ I b i d., p. 38.

щина», «Новое время» и другие. В них запестрели статьи далеко не объективные, сплошь недружелюбные по отношению к финнам: «Тяжба между монастырем и финской казной», «О положении Валаамского монастыря; по поводу присоединения к Петербургской губернии двух финляндских приходов», «Запрещение лютеранам посещения Валаама», «Шведские попытки обращения карел в католичество», «Руки прочь! О попытках финляндцев завладеть островами Валаамского монастыря» и другие.

Революция 1905 года ничему доброму монастырь не научила. На Валаама лишь выросла верноподданническая ненависть и социальная глухота. Валаамская обитель снабжала царскую фамилию духовниками, посылочками с «валаамскими сухариками», отправляла великим князьям верноподданнические письма (копии их сохранились в архиве) и — действительно искренне — клялась в верности монархии. Последний — Тихвинский — скит был построен на Валаама на деньги Н. Н. Романова — дяди Николая II, малоталантливого главнокомандующего русской армией.

В библиотеке Валаама появились самые реакционные издания «Союза Михаила Архангела», а один из основателей этой позорной организации, протоиерей Иоанн Кронштадтский, получил в монастыре фанатического сторонника — монаха Иувиана Красноперова, библиотекаря и архивариуса обители. Красноперов отправлял на фронт мобилизованным монахам письма, насыщенные шовинистической злобой. В этих посланиях, в своих статьях он призывал «огнем и мечом очистить вселенную» (!) — уничтожить немцев, евреев, студентов и революционную скверну (сочинения Иувиана Красноперова тоже сохранились в архиве КАССР). Валаамский аскетизм в годы первой мировой войны докатился до откровенного монархизма, до шовинистической ненависти к другим народам и национальным меньшинствам, революции и культуре. Это стало признаком окончательного заката монастыря.

7

С 1917 года начинается последний период существования Валаамского монастыря. Его аскетизм, его «подвижничество», как мы видели, к этому времени уже переродились в капиталистическое лихонимство и политический обскурантизм. Этот период можно назвать периодом расплаты: внутреннее разложение, все большая изоляция обители неизбежно вели ее к гибели.

Самым важным показателем смертельного кризиса аскетизма на Валаама в это время стал раскол, о котором в литературе (в том числе и богословско-религиозной) не было сказано ни слова: атеисты к этому вопросу обратиться не успели, богословы избегали его. Некоторые зарубежные публикации представляют ценность и интерес с точки зрения приводимых в них фактов, хотя все они многое в процессе раскола православия в Финляндии (в особенности в русском монастыре на Ладогe) смягчают, а кое о чем предпочитают стыдливо умалчивать.

18 (31) декабря 1917 года В. И. Ленин вручил главе буржуазного правительства Финляндии П. Свинхувуду и сенатору К. Энкелю декрет Совета Народных Комиссаров о признании государственной независимости Финляндии. То, чего эта маленькая северная страна (в 1917 году ее население составляло около 2,5 миллиона человек) не могла добиться в течение семи с лишним столетий, она получила в первые же дни рождения Советской страны, на знамени которой вместе с призывом ко всем пролетариям объединяться было начертано право каждого народа на самоопределение.

Свинхувуд, по словам В. И. Ленина, вскоре «сыграл роль палача»¹⁷: этот реакционер и националист с помощью германских войск потопил в крови рабочую революцию в Финляндии, вспыхнувшую в 1918 году. Национализм и буржуазность тогда в Финляндии победили.

На Валаама самодержавно-националистические настроения монахов оставались единственным «идеологическим багажом». Вместе с этим финляндский национализм теперь мог себя проявить на островах во всю ширь: в 1919 году архипелаг был оккупирован буржуазными финскими войсками, рядом с главным зданием монастыря расположился финский штаб артиллерийского соединения. Монастырь еще существовал, но это существование было, так сказать, только де-юре. Обе бухты Валаама были превращены в укрепайоны, некоторые острова монахам вообще пришлось оставить. Воинское соединение, как рассказывают сами финские военные историки, в количестве

¹⁷ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 158.

1200 человек (это было почти в 10 раз больше количества монахов Валаамского монастыря в то время) заняли многие монастырские помещения, построили солдатские казармы и клубы, размещались прочно, офицеры вместе с семьями. На островах Раггисаари, Раутаверя, на берегах Никоновской бухты, в Мантси и Черном Носу разместились артиллерия средних и тяжелых калибров, военные прожектора, сторожевые вышки... Вот признания современного военного финского историка: «Прибывшая на Валаам часть использовала свое право на конфискацию, возможно и чрезмерную», и «вела себя скорее как завоевательница, а не как защитница»¹⁸.

Тогда же, в 1919 году, монахам пришлось не просто оставить остров Дивный, где расположился Авраамиевский скит, но и разобрать Авраамиевскую церковь, одно из совершенных строений того времени,— войска оккупировали этот остров целиком.

Русский монастырь, зажатый артиллерийскими частями, пушки которых были направлены против Советского государства,— вот тот тяжелый исторический переплет, в котором оказались валаамские монахи.

Положение Валаамского монастыря теперь стало особенно трудным. Раньше он хоть и «незаконно», но все-таки существовал и даже процветал под щитом русского самодержавия. Теперь, оккупированный враждебно относившимися к нему войсками, он стал крошечным островком в лютеранской стране.

Следует признать: русские монахи не менее виноваты в своей судьбе, чем те, кто силой штыков и власти стал давить на них безжалостно и слепо, пока не довел монастырь до раскола, до его фактической гибели, которая последовала задолго до 1940 года.

Весной 1921 года 119 монахов получили финляндское подданство и «присягнули в верности финскому правительству»¹⁹. Сами просили подданство, сами присягали. Конечно, оказавшись на территории иностранного государства, они должны были определить свое гражданство. Но ведь их никто не принуждал изменять подданство! Ведь были же — пусть единицы, но были — такие монахи, которые и в 20-е и в последующие годы возвращались в Россию. Пусть не всем, но старцам и всей старшей братии было известно, что в России живо и действует православное патриаршество, что патриарх Московский и всея Руси как раз в это время призвал верующих к сотрудничеству с советской властью. Но в том-то и дело: страшно было видеть на островах военных-финнов, жутко слышать не колокольный звон, а учебные артиллерийские стрельбы и вовсе не учебные выстрелы в лесах Валаама (здесь теперь военные охотились, конечно, не спрашивая на то разрешения), но еще страшнее было этим темным, отравленным антиреволюционным монархическим духом людям вернуться в Россию, принять советскую власть.

Архивные материалы и некоторые публикации свидетельствуют о том, что у Валаамского монастыря сохранялась письменная связь с Московским патриаршеством, а потому монахи не могли не знать, что на территории Советского Союза действуют и церкви и некоторые монастыри. Все это валаамские иноки знали, но сами — в подавляющем большинстве — не захотели принять участия в строительстве новой России, потому что принимали только Россию старую. И как бы ни пытались иные зарубежные авторы объяснить и даже оправдать отступничество от России историческими обстоятельствами и даже многовековым существованием монастыря на Валааме, суть заключается в том, что превращение русских монахов в финляндских граждан в 20-е годы было в решающей мере обусловлено политической косностью, отсталостью от движения народных масс, анахронистическим монархизмом иноков.

Забвение аскетического принципа сделало валаамских монахов силой особенно темной, реакционной, и тем самым они подписали свой исторический приговор.

Конечно, не все они были виноваты в равной мере. Многие прошли и через сомнения, и через тяжелую тоску по родине, с которой отныне расставались навсегда. Приговор, себе же подписанный ими, был не сразу осознан, стал мучительным для многих. Его драматические и даже трагические последствия, конечно, в те времена не представлялись ни старшей братией монастыря, ни младшей..

Вот основные этапы истории валаамского иночества в послеоктябрьские годы, истории, приведшей к расколу и гибели Валаамского монастыря еще задолго до того, как он перестал существовать на Валаамском архипелаге.

¹⁸ «Valamo». Helsinki. 1983, pp. 262, 268.

¹⁹ Ibid., p. 46.

С конца 1917 года Валаам очень скоро почувствовал, что само его существование как русского православного монастыря становится под вопросом. Правительство Свинхувуда приняло «дипломатическое» решение о православной церкви в Финляндии — вполне «демократическое» для буржуазного государства, отстаивавшего интересы своей наиболее реакционной националистической буржуазии: православная церковь получила статус «национальной церкви меньшинства» (просто уничтожить ее не решились — возник бы международный скандал), что означало ее полное подчинение гельсингфорскому церковному управлению, протестантско-лютеранскому по вероисповеданию и антирусскому по национальной политике. Русскому монастырю в силу упомянутого решения было предписано отказаться от родного языка и всю документацию в монастыре вести по-фински²⁰.

Финляндия, получившая независимость, раздиралась классовыми противоречиями. Финляндская рабочая революция с помощью германских войск была подавлена, в мае 1918 года в стране надолго установился реакционный режим, левые партии были загнаны в подполье, финские красногвардейцы вылаивались и беспощадно истреблялись. В этих условиях разжигалась ненависть не только ко всему советскому, но и ко всему русскому. Процветала русофобия. Даже финские историки религии признают, что в то время «православная церковь испытывала в какой-то мере национальное притеснение»²¹.

Как только русские монахи приняли финское гражданство, на них началось вполне «законное» и крутое давление, началась грубая их финнизация. Этого не скрывают и финские источники; они рассказывают о том, что не только валаамские монахи, но и все русское православие подверглось дискриминации: «Русская церковь, будучи пренебрежительно охарактеризована как гуськи кегкко, вполне понятно, пыталась активно подтвердить свою финнизацию»²². В последнем случае автор цитируемых строк несколько погрешил против истины: да, русские священники и монахи, приняв присягу, старались доказать свою лояльность финскому правительству, но это вовсе не значит, что они безропотно пошли на утерю родного языка, — во-первых, большинство из них знали только русский, во-вторых, он был для них не только средством общения, но и средством богослужения.

Такие искренние, вовсе не «красные», а без успеха старавшиеся стать «над схваткой» люди, как о. Харитон, стали метаться, мечтая о примирении между русским православием в Финляндии и числом превосходящим финским лютеранством, пытались даже оправдать откровенное национальное притеснение: «Национальный цвет является в стране защитой не только от красных, но и от нападков инославных. Следовательно... русское течение могло бы протекать рядом с первым (с финским. — Л. Р.), не нарушая блага церкви, лишь при взаимном доверии и уважении представителей этих двух течений. Но... обнаружилась почти полная противоположность в понимании блага церкви»²³. Игумен Харитон не замечает своих противоречий, не замечает того, что оправдание национализма лишает другой народ права на уважение его национального достоинства.

В 1924—1927 годах Финляндия потребовала от всех православных приходов, в том числе и от русских монастырей, немедленного перехода с юлианского на григорианский календарь. Поскольку государство уже приняло новый стиль, для православных дни праздников стали совпадать с днями рабочей недели — это, конечно, дезорганизовало бы производство или грозило русским потерей работы. Но монашество, не связанное ни с государственной службой, ни с производством заводским или сельским, могло бы оставаться на старом стиле, тем более что юлианский календарь был для православия единственно священным, по нему высчитывались все службы и все глав-

²⁰ По этой же причине русский текст описи архива Валаамского монастыря был утрачен и заменен финским. В знак благодарности за помощь, оказанную мне при работе в архиве Миккели, я вместе со своим помощником, хорошо владеющим финским языком, перевел всю эту опись на русский язык (43 страницы машинописи) и подарил Земельному архиву Миккели, что облегчит в дальнейшем работу над валаамским фондом тем, кто не владеет финским языком. Пусть это будет нашим вкладом в развивающиеся дружеские отношения между русскими и финскими исследователями Валаама.

²¹ «Valamo». Helsinki. 1982, p. 45.

²² Ibid.

²³ О. Харитон. Введение нового стиля в финляндской православной церкви и причины нестроений в монастырях... По записям и документам инока. Аренсбург. 1927. (Слово нестроение Вл. Даль толкует как беспорядок, а сам о. Харитон находит ему более точный синоним: раскол.)

ные праздники, и потому монахи тем менее могли принять новый стиль, чем больше они верили в свои святыни, каноническое право и традиции.

В связи с возрастающими трудностями перехода православной церкви на новый стиль 9 и 10 марта 1921 года в Сердоболе (Сортавале) состоялся чрезвычайный съезд русского духовенства и монашества. И тут непоследовательную позицию занял тогдашний предстоятель автономной финляндской православной церкви архиепископ Серафим Лукьянов. Гласно он рекомендовал всем перейти на новый стиль, но негласно, на практике, всячески этому сопротивлялся, за что вскоре и пострадал — был смещен с должности и отправлен в ссылку. Его сопротивление было сломлено легко и «по всем линиям». Церковное управление неумолимо потребовало от Валаамского монастыря, как и от всех приходов православных, перехода на новое летосчисление.

В начале 1925 года новый архиепископ по просьбе валаамских монахов собрал епархиальный совет, на котором иноки «слезно умоляли владыку разрешить монастырям праздновать святую пасху в 1925 году по старому стилю»²⁴. Герман, человек острый и равнодушный, сам этого вопроса не решил, обратился к церковному управлению, а оно категорически запретило исполнение любых служб по юлианскому календарю, пригрозив непокорным отлучением от церкви²⁵. Монахи решили обжаловать это суровое решение и послали депутацию, которая снова обратилась к архиепископу за защитой.

Но все и на этот раз разбилось о деспотическое упрямство церковных властей, которые, помимо всего прочего, потребовали от монахов ведения службы по-фински. В цитированной уже финской монографии по этому поводу сделано справедливое признание: «Особую тревогу вызвал вопрос о языке ведения службы, ибо в то время было постановлено вести службу в православной церкви на финском языке. Монастырям было трудно согласиться с этим как по практическим, так и по принципиальным соображениям. Большая часть братии не владела финским, к тому же церковнославянский был языком валаамской традиции»²⁶.

Валаамская депутация обошла буквально все церковные и правительственные инстанции и везде получила отказ. В последний раз русским монастырям в Финляндии было разрешено праздновать главный православный праздник пасху по юлианскому календарю в 1924 году. После этого таких разрешений уже не было ни разу.

В середине сентября 1925 года игумен Валаамского монастыря получил письменное извещение о том, что в монастырь прибудут митрополит и архиепископ для ведения службы «по новому стилю». Это было уже насилие. Игумен Павлин раздумывал недолго: неповиновение означало бы отставку. Он покорился. Но «братство пришло в сильное возбуждение»²⁷. Игумену едва удалось набрать пять человек для службы, вести которую отказались даже трое из старшей братии. 23 сентября архиепископ с митрополитом прибыли на Валаам, который казался вымершим: все монахи демонстративно ушли в лес. Уже на следующий день высокие гости уехали. И немедленно последовала расправа, какую никогда в истории монастырей русских никто не знал: наместника Иосафа, благочинного Иону, казначея Иерофима, отказавшихся служить митрополиту-«еретику» и совершать не положенные традицией, определенной юлианским календарем, богослужения, которые они, по своему убеждению, назвали еретическими, 3 октября предали церковному суду, лишили всех сана и под охраной выдворили с Валаама. Церковными властями тогда же была произведена суровая чистка монастыря. «Большая группа братии,— читаем в коллективной монографии «Valamo»,— подверглась наказаниям. Иеромонахи... утратили духовный сан и право исполнять должность священников. По предложению духовных властей церковное управление принялось подробно выяснять, кто входил в число валаамской братии. В результате расследования 17 монахов были... выдворены из страны. Часть из них должна была вернуться в Советский Союз, часть перебралась в различные монастыри Югославии. И все-таки проблема летосчисления на Валааме не была решена. Она разделила братию на две группы: те монахи, которые не приняли перехода (на григорианский стиль.— Л. Р.), совершали богослужение отдельно от остальной братии...»²⁸.

²⁴ О. Харитон. Введение нового стиля..., стр. 223.

²⁵ См. там же. стр. 229.

²⁶ «Valamo», p. 46.

²⁷ О. Харитон. Введение нового стиля..., стр. 234.

²⁸ «Valamo», p. 48.

Насилие повлекло за собою валаамский раскол. Срывали рясы, лишали духовного сана, изгоняли с Валаама, выдворяли из страны даже тех, кто уже получил гражданство. Понятен вопль Харитона: «Сердце обливается кровью от тех страданий, которые переживает та и другая сторона расколовшегося братства». В 1927 году церковные власти дошли до того, что изменили монастырский устав и неугодного им игумена (в то время Павла) сместили с поста.

Круг замкнулся. Валаамские монахи на островах, оккупированных финскими войсками, обрекались на вероотступничество и утерю родного языка. 1927 год — черный год в истории Валаамского монастыря. По сути, именно тогда он как единое братство с «Назариевским уставом» и богослужением на церковнославянском языке перестал существовать. И хотя формально монастырь еще жил, да же пытался в 1931 году открытием школы для мальчиков подготовить себе «монашескую смену», он быстро и неотвратимо таял: ни одного послушника не получилось из школы мальчиков, ни одного монаха не постригло в те годы из незначительного числа послушников. Все кто мог из монастыря уходили.

Если, по записям в дневнике игумена Гавриила²⁹, в 1900 году в монастыре было свыше 1000 монахов и послушников, то в 1983 году в Новом Валааме было вместе с послушниками всего 10 человек. А среди них (за исключением давно уже не принимавшего участия в богослужениях из-за крайней немощи старца) ни одного русского монаха или послушника. Богослужение здесь, конечно, ведется по-фински и давно подчинено григорианскому летосчислению.

Новый Валаам сейчас, по сути, не столько монастырь, сколько место встреч лютеран с католиками и православными (теперь все они живут мирно), один из центров туризма, отдыха и своеобразной экзотики. Конечно, православные службы здесь ведутся регулярно (на них в зимнее время бывает до 15 человек, включая женщин — поварих, уборщиц и т. п.). Но монастырь так мал, что сам себя даже содержать не смог бы. Здесь собираются представители разных церквей на свои симпозиумы и обмениваются опытом. Место спокойное, вдали от центральных дорог, воздух чистый, природа хороша, трапезная уютна и просторна, достаточно удобна и сравнительно дешева гостиница... Почему бы не собираться? Только к Валаамскому монастырю это уже никакого отношения не имеет... Но финский историк о. Амвросий думает не так. Свою главу о монастыре, страницы, полные правдивых и тяжелых фактов, он завершает бодрой, оптимистической концовкой вполне в духе сентиментальных повествований с хэппи энд (новое претворение аскетизма?): «Мысли, высказанные пятьдесят лет назад комитетом по защите монастырей, как ни странно, осуществились в начале 80-х годов. Замкнутый, обособленный монастырь превратился в христианскую коммузу, открывшую двери для всех, кто желает на какое-то время затвориться в монастыре с целью духовного роста и предания духу смирения...»³⁰ Что-то желающих затвориться в Новом Валааме не видно! Да и можно ли 10 (в финской печати появлялась и другая цифра — 5) монахов вместе с послушниками, не помышляющими о пострижении, назвать христианской коммуной всерьез, даже если во главе ее стоит молодой симпатичный игумен Пантелеймон, получивший духовное образование в Ленинграде? Можно ли это братство, члены которого (за исключением игумена) не знают русского языка и потому не имеют возможности читать церковные книги валаамской библиотеки, толковать как православный ренессанс? Не изменяет ли в данном случае о. Амвросию чувство меры и юмора?

В упомянутой монастырской библиотеке наряду с ценными древними книгами и рукописями³¹, ныне частично хранящимися в библиотеке при резиденции председателя

²⁹ Этот богатый фактическим материалом дневник (его вторая часть) обнаружен в небольшом хранилище Нового Валаама.

³⁰ «Valamo», p. 59

³¹ Из таких рукописей особый интерес для изучения древнерусской литературы представляет обнаруженная рукопись с длинным названием (привожу его усеченным), по сути дела представляющая собою соединение под одним переплетом двух древнерусских повестей, никогда ранее не объединявшихся: «Две повести. Первая о Магдебургском епископе Удоне... Вторая о купеческом сыне Савве Грудцине...» (конец XVII — начало XVIII века (?)). Антиклерикальный характер этой рукописи несомненен. Важность ее для нас обусловлена тем, что древнерусская «Повесть о Савве Грудцине» известна лишь в малом количестве списков и вариантов.

православной церкви Финляндии в Куопио архиепископа Ваала, а также множеством житий и богословских сочинений есть одна книга, чрезвычайно типичная для всего монастырского книгохранилища и для православного аскетизма в частности: В. Сокольский, «Участие русского духовенства и монашества в развитии единодержавия и самодержавия в Московском государстве в конце XV и первой половине XVI вв.» (Киев, 1902). Простим автору елейный тон: он написал правду — церковь и монашество много сделали для укрепления царизма и воспитания верноподданных.

Валаамский монастырь духовно закончил свое существование, как видим, еще задолго до того, как в 1940 году в центральную Финляндию перебрались последние остатки братства — около 70 человек³². В начале февраля сего года по финскому радио, телевидению и в печати было извещено о том, что в Новом Валааме в возрасте ста семи лет скончался последний русский монах Акакий. Этот современник Достоевского был выходцем из Вологодской губернии, мирское имя его Андрей Кузнецов. За свою «апостольски» долгую жизнь он побывал в нескольких монастырях: начал послушником на Соловках, затем монахом в монастыре Печенгском, а с 1943 года — в Новом Валааме. И переходы его с места на место, и само долгожительство, и одинокая смерть в чужезычной среде — все символично. Ни одного монастыря, в которых побывал Андрей Кузнецов, уже не осталось. Своей естественной смертью кончили и Соловецкий, и Печенгский, и другие северные монастыри вплоть до Валаамского и Коневецкого. Но православие, как и современное лютеранство, живет и приспосабливается: в лютеранские храмы публика ходит как на концерты (там можно действительно услышать хорошее, профессиональное пение под рояль), в православные церкви, в том числе в хельсинкский Успенский собор (одно из строений А. М. Горностоева), многие иностранцы идут как в музеи, чтобы тоже услышать благозвучную церковнославянскую музыку, мелодичный хор и приобщиться к экзотике богослужения... Монашеский аскетизм самой идеей отречения от мира и потому изолированностью своей был обречен на угасание.

...Зимой 1983 года я изучал рукописи и книги, хранящиеся в Новом Валааме. Однажды вечером, когда в маленькой комнатке гостиницы я углубился в работу, в дверь постучали. Вошел пожилой русский священник (с первых же слов он мне напомнил батюшку из рассказа Василия Шукшина «Верую!») и добродушно сказал, что «хотел бы поговорить по-русски»:

— Ибо жена моя ни слова по-нашенски не петрит!

Отец Лев оказался человеком живым, мгновенно к себе располагающим. Сразу было видно, что он уже о многом успел подумать и раз навсегда решил: нет ничего лучше откровенности, она сестра мудрости и мужества.

Говорить с ним было легко и приятно. Минут через пятнадцать, выслушав мой вопрос, он ответил весело и просто:

— Вас удивляет, что в Новом Валааме монахов раз-два и обчелся? То, что произошло с монастырем, в значительной мере произошло и со всей русской церковью, да ею же и порождено. Церковь не была с народом в решающие моменты истории, особенно в революцию семнадцатого года. Вот и отвернулся от нее народ, и сама церковь истаяла...

Я удовлетворенно посмотрел на собеседника и в душе поблагодарил судьбу за эту неожиданную встречу.

Сеявшие монархический ветер пожалы революционную бурю и погибли в ней...

³² Названное количество устанавливается по «Монастырскому дневнику» (ЦГА КАССР, ф. 726, оп. 2, д. 2/35), где читаем: «5 декабря 1939 г. обедало монахов и послушников 38, судками взяли 15 ч., на гостиную брали 22, на больницу — 17». Значит, в самом конце 1939 года всех жителей Валаама было около 100 человек, из них монахов и послушников не более 70 человек.

ДНЕВНИКИ ВОСПОМИНАНИЯ

О. НАРОВЧАТОВА

★

«ИНЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ РАЗМЕР...»

Большее шестидесяти лет назад.. На этой фотокарточке трое. Слева молодая стройная женщина в строгом и нарядном белом платье. Несмотря на узко-семейное назначение будущей карточки, в женщине чувствуется волевая собранность, взгляд светится силой, нет благодушной расслабленности и умильности семейных снимков. Это и не то напряжение, которое держит неискушенных молодых провинциалов перед объективом. Нет. Это — железная воля. Еще бы: она была рассчитана почти на столетие. «Моя мама — властна» — так говорил о ней мой отец. Мощная энергия в этой хрупкой женщине с тонкими запястьями, тонким овалом лица, высоким белым лбом, осененным легкими, пушистыми, почти светящимися волосами. Справа стоит ее муж. Скромный, хорошо сшитый темный костюм, несколько торжественное выражение лица, на котором запечатлена глубокая, даже несколько наивная, просветленная честность, рассчитанная тоже почти на столетие. Родители отца прожили долгую жизнь.

Между ними на круглом стуле стоит малыш, с головой, покрытой светлым пушком, в белой крестильной рубашке, неожиданной в таком маленьком существе сосредоточенностью взгляда похожий на мать. Ему самое большее полтора года. И наверное, он уже взлет. По крайней мере, он пытался собрать огромное облако пудры, рассеянной по всей комнате, в крошечную коробочку. А немногим позже интересовался, нельзя ли поместить настоящее облако в такую же коробочку. И его мама со свойственной ей обстоятельной рассудительностью объяснила, что можно. Только это будет уже не облако, а вода, но собрать ее в коробочку можно все равно с неба. Так рождались метафоры.

Это воспоминания бабушки, которые теперь стали моими. Мне рассказывала их дряхлая, совсем дряхлая старуха, похоронившая сына. Этого мальчика в белой рубашке. Она говорила об этом, сидя на стуле, как всегда, прямо, с большим достоинством, повествуя почти с бесстрастным видом о младенчестве отца, о прекрасных и тяжелых моментах жизни, о душераздирающих семейных мелочах и об исторических фактах, о любви, о мужестве и о войне. Одно воспоминание, казалось бы, могло убить наповал. Надо было знать всю непередаваемую самоотверженность, всю силу любви бабушки к единственному сыну, чтобы оценить это поразительное самовладание. Она говорила: «Он — моя жизнь». На другой день после смерти отца восьмидесятивосьмилетняя бабушка, сидя на стуле на колесах и опираясь на палку, глядя прямо перед собой, сказала как бы сама себе: «Он встал на ноги посреди сада. Весной». Я остолбенела, глядя на нее, и представила себе эту картину. Одурающие запахи весны в приволжском городе Хвалынске. Длинный деревянный дом в яблоневом саду — Хвалынский утопал в яблоневых садах. С реки веет свежестью, посреди сада молодая прелестная мать, переполненная счастьем, смотрит, как ее ребенок стоит, качаясь на неокрепших ножках, стоит секунду и, взмахивая руками, как крылышками, смеясь, падает на малиновую бархатную скатерть, расстеленную на земле. О том, как он падал на эту скатерть, бабушка рассказывала еще раньше.

И вот бабушка опять молодая. Она едет с ребенком из голодной Москвы 20-х годов подкормиться к родителям в Хвалыnsk. Плывут на пароходе, который оказывается холерным. Больных выносят на палубу; чтобы вскипятить молоко для ребенка, нужно пройти в дальнюю часть парохода, переступая через холерных больных. Оставить ребенка негде, пароход был переполнен, бабушка всю дорогу и двум

и ночью не спускала его с рук и с редким присутствием духа, вынужденная перешагивать иногда через мертвецов, легкой походкой ходила через зараженный пароход. «Я знала, что если он умрет, умру и я». Когда он умер спустя шестьдесят лет, она умерла через три месяца.

И умерев, осталась сидеть на стуле, крепко держась руками за сиденье. Известно, что многие, часто основные качества человека закладываются в детстве. Отец рос в семье высокопорядочных, наделенных большой внутренней культурой людей, людей целеустремленных, стремящихся к постоянному пополнению своих знаний, отличающихся редкой преданностью друг другу, свято относящихся к самой идее семьи. Рациональная рассудительность и практицизм бабушки дополнялись беззащитной скромностью дедушки, склонного иногда к идеализации. Когда дедушка вынужден был в какой-то момент жизни уехать на Колыму, бабушка не только разделила с ним все тяготы путешествия и пребывания там, но и развила самостоятельную творческую инициативу, стала первым директором краеведческого музея, сама ездила по всему краю на собаках, собирая экспонаты. Это люди, которые сделали для отца все. Трудно поверить, но они его никогда в жизни не наказывали. Терпеливо объясняли, просили, иногда даже умоляли. Но никогда-никогда никто из них не повышал на отца голос. Так было всю жизнь. Трудно, наверное, поверить в такую идиллию, но я никогда в жизни не слышала, чтобы родители отца ссорились. Видимо, отец рос очень открытым, любознательным и бесстрашным ребенком. Сначала на воле ветров Волги, потом на берегу Охотского моря в поселке, ставшем городом Магаданом. Он сам уже написал об этом.

В своем северном отрочестве отец каждый день пробегал несколько километров в школу и из школы, ходил на охоту на медведя, бегал на лыжах, играл в школьном драмкружке князя из пушкинской «Русалки». Он не только развивался гармонично духовно, но был красив, даже очень красив внешне, быстро и легко ходил, хотя несколько мешковатой и медвежьей походкой, что сообщало ему, на мой взгляд, особое обаяние. Однажды он рассказал мне такой случай. Он всегда-то стремительно ходил, а тут — просто летел по Москве: в кармане у него лежал первый в жизни выпущенный сборник стихов. Он пронесился по бульварам в центре и вдруг услышал довольно грубый окрик: «Ваши документы!» Отец продолжал свой почти полет, не отнеся это к себе, как вдруг его схватили за плечо и круто развернули. Перед ним стоял запыхавшийся милиционер. Как выяснилось, он принял отца не за бегущего, а за убегающего. Бдительность подсказала ему, что у человека с чистой совестью не должна быть такая странная походка. Прямых улик не было, но подозрение подкрепилось растерянностью отца и полным отсутствием документов. И вдруг отца осенило: он вынимает из кармана книжку стихов, сует милиционеру под нос и говорит: «Видите, вот книжка. Это моя книжка». Милиционер: «Разве я ее у вас отнимаю?» Отец: «Да нет. Я сам ее написал и вот моя фамилия. Видите — Наровчатов, это вам вместо документа» Милиционер недоверчиво берет книжку стихов, вертит ее и вдруг внезапно и его осенило. Он коварно спрашивает: «А чем вы можете доказать, что это вы ее написали?» И отец нашелся. Он попросил милиционера поиграть в такую игру: милиционер будет начинать любое стихотворение с любой строчки и внезапно обрывать, а отец должен продолжать.

Прохожие могли наблюдать странную картину: на скамеечке сидит вконец измученный, но, видно, не потерявший интереса милиционер, а посреди бульвара, жестикулируя с крайним азартом, молодой человек с пронзительно синими глазами читает стихи, которые милиционер сверяет по книжке. Кончилась эта встреча так: отец подружился с милиционером и оставил ему на память свой первый сборник.

Отец был щедрым человеком всю жизнь. Он любил радовать людей стихами и маленькими и большими подарками. Но я думаю, что, может быть, свой самый дорогой в жизни подарок он сделал тогда, на бульваре.

Свою первую отдельную комнату он получил в небольшой коммунальной квартире недалеко от старого цирка. К сожалению, мы с отцом жили отдельно. И всю свою жизнь ходили друг к другу в гости в разные места. Мне было лет десять, когда я начала навещать его самостоятельно. Я очень редко заставала его одного. У него собирались поэты всех возрастов и типов, они горячо, необыкновенно страстно читали свои, реже чужие, стихи, спорили, шумели, восхищались, отрицали. Стихи отец

тогда писал почти всегда по ночам. Он умел общаться легко и непринужденно с людьми разных профессий и возрастов. Ему нужна была аудитория, если не было, он ее изобретал. В этой его коммунальной квартире жила глухонемая. Однажды я застала такую картину: отец, стоя в кухне, проникновенно читал ей стихи. Чувствовалось, что их связывает в этот момент крепкая нить. Он читал стихи простые и сердечные, полные светлой грусти. Глухонемая смотрела на отца как завороженная, вытянув худую некрасивую шею. Она чувствовала, что он говорит ей что-то хорошее и была ему благодарна. Он умел поговорить, выслушать, и тут же отозваться на просьбу. Но, кроме этого, в нем всегда и почти всеми ощущалось обаяние широкой души, щедрости, истинного и масштабного таланта. Иногда это в зависимости от того, с кем он сталкивался, принимало и курьезный характер: при его въезде в эту первую квартиру одна соседка, в голове которой причудливо смешались все эпохи и времена, в простоте душевной приняла отца за Байрона, он это долгое время не оспаривал.

В те редкие моменты, когда вокруг не было людей, отец читал стихи своему толстому коту... Отец любил всякую живность, особенно кошек. Он ценил в них сознание своей индивидуальности, гордость, затаенность и то, что они не виляют хвостом при виде человека, могут презирать и хозяев. Он восхищался Киплингом — его кошкой, которая «гуляла сама по себе». Он замечательно читал его вслух. Вообще, он умел читать на редкость выразительно. Собрав вокруг друзей и близких, он любил читать Гоголя — «Записки сумасшедшего», «Невский проспект», «Ивана Федоровича Шпоньку и его тетюшку». И еще Есенина, Блока, Гумилева. Конечно, Лермонтова. Он из поэтов особенно был ему дорог. О поэзии и поэтах он говорил всегда очень охотно. Иногда, как будто бы про себя, подводил какие-то итоги. Незадолго до смерти он тихо сказал, глядя в окно: «Мало стало в поэзии иррационального...»

У него было не часто встречающееся качество — душевное великодушие, полное отсутствие зависти к кому бы то ни было. Он всегда радовался проявлению таланта в других людях и готов был помочь, даже если сам человек и характер его таланта не были ему близки. Ему было достаточно сознавать, что данное явление крупно, интересно и заслуживает поддержки. К людям он подходил широко, в отношениях стремился к ясности, чтобы все, как он сам говаривал, было «без дураков». Считал, что помогать людям надо, но что каждый себе должен класть начало сам и рассчитывать на свои силы до конца, не щадя их. Считал, что «предела нет». Что нужно перепрыгивать «свой потолок», которого, впрочем, тоже быть не должно. В год своей смерти он мне сказал: «Мне интересно жить».

Отец ценил напряженную насыщенность и яркость жизни. В какие-то моменты, особенно в молодости, ему была свойственна высшая ослепительная степень риска и захватывающего безрассудства, когда он полностью пренебрегал опасностью. Иначе он, может быть, и не был бы истинным поэтом.

Я только недавно прочла письмо его к маме. Не знаю, было ли оно послано и был ли на него ответ. Скорей всего нет. По иронии судьбы оно почти сорок лет пролежало в кошельке, шитом бисером. Вот некоторые строчки этого письма:

«28/VII-43.

Нинка!

Неодолимая потребность говорить с тобой. Весь месяц держался на каком-то последнем нерве — с ними у меня геперь хреново. Меня ничто не могло взять — ни январь 40, ни октябрь 41, ни сентябрь 42, ни голод, ни холод, ни риск. За всю свою жизнь я ни разу не сказал «не могу». А сейчас — сказал. Я не могу без тебя. Я никого и никогда так не любил и не буду любить. Да и тебя никто так не полюбит. Все теряет свою цену — и слова, и успех, и все, что угодно, едва я подумаю, что ты никогда меня за них не обнимешь, как прежде, когда ты радовалась моим удачам и вызывала меня на них..

Но как ни гляди исподлобья,
 Нам снова встречаться впотьмах
 Мое бытовое подобье
 На стоптанных каблуках

Жизнь еще впереди, а мы — однолюбы, сколько бы мы не отрекались друг от друга, поочередно и в розницу. Трудно мне. Ведь сколько в моей походке от самообороны —

это я, пожалуй, только тебе и могу признаться, да и то раз в жизни! А ты была одной из немногих опорных точек самого глубокого моего «я»...

...Когда я говорю о себе, я не голословен — эта трещина грозит пройти через меня. Я сопротивляюсь этому, но если она пройдет — она разорвет меня, пусть не сейчас, но через десять — двадцать лет, так или иначе...

Вот. Пиши мне. На днях пришлю стихи

...и — я люблю тебя».

Мама была, по словам отца, «рожденная гордой и горькой, прямая, как тень от угла». При хрупком, изящном, утонченном сложении она была наделена поразительной силой и величием духа. Талантливый искусствовед, она написала много статей и очень острую, подкрепленную солидным научным материалом книгу о французском художнике Тулуз-Лотреке, работала старшим научным сотрудником в Институте истории искусств. В молодости реставрировала старорусские церкви. Помню ее воздушно-хрупкую фигурку на высоченных лесах под куполом, и под ее руками рождающихся ангелов с широкими крыльями, которых я по простоте душевной принимала за попугаев.

Она обладала огромной эрудицией, острым и оригинальным чувством юмора, не выносила фамильярности и была человеком дистанции. Обладая житейской практичностью и твердостью, она высоко ценила всяческое бескорыстие и доброту. Последняя фраза целиком относится и к моему отцу. Жаль, что они разошлись. При всей их разнице, оба были людьми необычными, сильными, масштабными. Правда, как сказал много лет спустя отец, и о совсем других людях: «Два медведя в одной берлоге не живут».

Пуля отца не взяла, а эта его любовь позже переплавилась в циклы стихов «Горькая любовь» и «Разговор с дочкой». Отец был алхимиком Духа — все свои качества, данные ему природой — бурный темперамент, бесшабашность, удаль, храбрость, азарт, он годами переплавлял в единый сплав: литературное дело. Сказано выпрещенно, но это так и есть. От природы стихийный, он в юности вырабатывал в себе педантическую привычку вести дневники, строя каждый свой день по расписанию или подводя итоги прошедшего дня, прикидывая планы. Больших контрастов был человек. Так было всю жизнь. Для интереса приведу два листка из двух дней его жизни:

1961 г.

15.IX пятница.

1. Партсобрание в 6.30
2. Предупредить С. Поликарпова о перенесении встречи
3. В Гослитиздательство обсуждение Винокурова в 16 часов
4. Зв. утром Е. Винокуров о Гослитиздате
5. Взять в библиотеке сценарии
6. Написал стихи: «Мне всегда казалось...»
7. Обсужд.— Козьмин Луконин Ив. Ив Крючкина
8. Агнилов перепечатал статью. Подарил книгу
9. Львов
10. С. Васильев. Алигер Инбер
11. Луконин едет в Азию

Устал, как собака.

16. суббота.

1. Беседа со студентами эконо. фак. в МГУ
2. В СП получил за рецензии 174 р.— «рацион вампира»
3. Книжный магазин № 100
4. Книжная лавка купил свои книги — 25 экз.
5. Книги взамен утерянных на 8 р.
6. Для себя — А. Григорьев, В. Тредьяковский
7. У мамы
8. Повестка на партсобрание — 12 XII
9. Разговор с А. Коваленковым в кн. лавке
10. У Оли
11. У Прас. Сем. (соседки) вернулся из армии сын. Радость

От него не ускользает ничто. Каждая мелочь, которую он покупает, фиксируется им, несмотря на его почти полное равнодушие к вещам, но он годами считает нужным организовывать свою стихию и бросать ее на главное. На дело жизни. Постепенно и личные отношения начинают играть подчиненную роль. Хотя по-прежнему и до конца его не очень долгой жизни люди его бесконечно интересуют. Да, люди.

Конечно, мне пришлось видеть очень малую часть тех, с кем отец общался или сталкивался. Назову некоторых, особенно мне запомнившихся и явно вызвавших в отце значительные чувства.

Встает передо мной В. В. Софроницкий. Или я его видела в какие-то особые минуты жизни, или он всегда нес на себе духовную печать полной отрешенности от быта, от повседневности — не знаю. Думаю, что всегда или почти всегда. Он говорил отцу, что не может ездить в общественном транспорте, потому что ему больно видеть на человеческих лицах следы бытовых забот, горестные черты старости, болезней, бездуховности.. Он был совершенно лишен высокомерия, просто он, наверное, страдал за людей, остро читая их судьбы или видя в них неспособность чувствовать красоту.

Был он легко раним. Среди тех, кого он воспринял душой, был отец. Впервые пригласив отца к себе, он встретил его в полном одиночестве, во фраке; в глубине полуосвещенной комнаты сверкал рояль, и на нем — два бокала шампанского. Он взял отца за руку, усадил его перед собой, сел за рояль и играл весь вечер, несколько часов. Отец ушел потрясенный и в ту же ночь написал стихотворение, которое кончалось словами:

Но кто же это сделал в трудный век?
Бог? Черт? Неведомая сила?
— Все это сделал смертный человек,
С которым грусть меня соединила.

Как и всех людей на свете, отца с людьми соединяла любовь, ситуация, случай, иногда одиночество, профессиональный интерес. Оба они с Софроницким были людьми сложными, многогранными. Среди других струн нередко звучала и трагическая, запредельно-высокая. В Софроницком, наверное, всегда звучала музыка, которая и объединяла и разъединяла его с миром. Но люди это понимали и стремились к музыке, на концерты, в музей Скрябина, где одно время бывал часто и отец. Софроницкий выходил к публике, как-то «недоступно» кланялся, весь уже в магическом кругу только ему данного, и садился за рояль. И происходило внезапное и извечное чудо единения художественного одиночества с миром.

Вспоминаю Софроницкого у отца. Был день рождения. Бедный Софроницкий страдал от большого числа незнакомых лиц, впрочем, все были очень симпатичны, но это количество и разнообразие «биополей», как сейчас сказали бы, его мучило. И наконец он не сошелся с другим человеком огромного обаяния — Светловым. Тут-то отец и сказал: «Два медведя в одной берлоге не уживаются». Так и ушел Софроницкий. Побежал вниз по лестнице, не одевшись, в черном фраке: мне было тогда 15 лет, я не могла этого вынести и побежала за ним, стала звать его, просила вернуться, он снизу опять бросился наверх, поцеловал меня в лоб, сказал: «святые глаза», опять бросился вниз, раздетый. Таким он мне запомнился, и больше я его никогда не видела. Отец хранил с ним дружбу до самой смерти Софроницкого. И со Светловым тоже. Кстати, отцу это было свойственно — с ним часто сближались люди, между собой не могущие соотноситься. Отец воспринимал людей самых разных и не похожих в корне друг на друга. Это не означало, конечно, что он воспринимает их различные убеждения, но он был умным и широким человеком.

Очень глубоко и тепло отец относился к Светлову. Они часто сидели, пили кофе в клубе ЦДА, могли три-четыре часа просидеть молча, изредка перекидываясь полужаркими, полувопросами, взглядами. Я помню Светлова, к сожалению, уже смертельно больным, полным мудрости и печали и его знаменитого особого юмора. Однажды отец знакомил Светлова с очень эффектной женщиной, в которую был тогда влюблен. Представляя ее Светлову, отец не без хвастовства прибавил: «Ну, разве не

картина?!» На что Светлов с нарочито скучающим выражением лица ответил отцу: «Старик, кажется, ты становишься передвижником».

Я была бесконечно тронута его теплым и ничем не заслуженным мною, тогда еще почти девочкой, отношением. А ведь распространял вокруг себя это тепло, это внимание умирающий, с трудом уже ходящий человек. Их с отцом объединяло многое — талант, дар к философскому осмыслению жизни, фантазия. И просто — всего лишь! — любовь.

Вспоминаю один вечер. За столиком ЦДЛ сидели мы с отцом, Борис Барнет и Светлов. Барнет был молчалив и вскоре ушел. Отец со Светловым с восхищением заговорили о бывлой красоте и спортивных успехах молодого Барнета. О его таланте. Поговорили подробно и о боксе и о лыжах. Потом Светлов предложил нам с отцом «что-нибудь придумать». Мне было семнадцать лет, меня привлекало все романтическое и я «придумала» сказку про остров поющих раковин. Остров был сложен из разноцветных раковин, в каждой была своя мелодия, а иногда они пели одно и то же и все вместе, когда хотели привлечь моряков. Суда плыли на музыку... Светлов задумчиво сказал: «Слишком красиво». Он был добрый, благородный и на редкость тактичный человек. А отец тогда рассказал вот что. Сдается дача. Хозяева встречают желающих осмотреть дачу и водят их, как водится, по саду, по всем комнатам, показывают то и это. Потом показывают террасу, которая только что пристроена. Это последнее звено осмотра. Все направляются туда, слышны бодрые «практичные» голоса. Потом возвращаются хозяева, продолжая бытовые разговоры как ни в чем не бывало, но осматривающих дачу с ними нет, они не вернулись из этой комнаты. Жизнь в доме продолжается нормально до следующих клиентов и повторяется та же история — никто из желающих осмотреть дачу не возвращается с террасы. Тут отец замолк. Молчал и Светлов. Я требовала продолжения: «А дальше? А дальше?!» «А дальше,— сказал отец,— вы узнаете, когда я когда-нибудь напишу всю пьесу. Это — завязка». Таков был один из немногих неосуществленных замыслов отца.

Иногда отец по разным обстоятельствам, по крайней занятости не мог общаться с людьми, которые были ему близки и симпатичны, или виделся с ними крайне редко. Но чувствовалось, что они «продолжали жить» в отце. Как продолжали жить в нем и страшно, и ярко живо умершие или погибшие на войне друзья. Все, о ком он написал, чьим сборникам стихов помог выйти в свет. Он был берным человеком. Он всегда старался выполнить товарищеский и творческий долг по отношению и к живым, и к мертвым. Когда он с людьми не виделся, в нем продолжала жить их интонация. И чувствовал, как она жила в других. Однажды я навестила отца, мы среди прочего поговорили о музыке. Я вспомнила одну песню про себя, но отцу выражение моего лица подсказало человека. Он, ни слова не говоря, поставил пластинку Булата Окуджавы, и еще до начала песни в нем вдруг промелькнул весь образ Булата — вся особая интонация его песен, его мира. Это трудно определяемое (если определять точно и по-настоящему), то самое «над», что любил отец в людях художественных. Даже о самом земном петь неземленно. Соединение беспощадной трезвости и молитвы, трагического одиночества с лихостью, кавалерийской галантностью и пронзительной чистоты, гражданственности, щемящей любви к своей земле с причастностью ко вселенной — вот что было дорого отцу в этом человеке. К счастью, Булат Шалвович жив и с ним можно поговорить.

До самой смерти отец оплакивал своего друга, своего названного брата Михаила Луконина. Это с ним он во время войны выходил из окружения, это ему, стоя на платформе перед отправкой эшелонов на фронт, мать моего отца, которую Луконин тоже называл мамой, наказывала беречь отца на войне, привезти ей сына живым. Тогда от этой наивной, всеильной просьбы, от комка, вставшего в горле, Луконин ничего не мог ответить, только смотрел на бабушку. Но почти через тридцать лет, на 50-летнем юбилее Наровчатова. Луконин встал и ответил старухе, едва сумевшей взойти на сцену президиума: «Мама! Я исполнил вашу просьбу! Я сохранил вашего сына живым!» И Луконин бросил под ноги отца немецкий трофей — саблю, на которую отец, вспоминая обычай, наступил ногой победителя. Надо сказать, отец всегда умел ценить красивый, эффектный жест. Он, например, с восхищением рассказывал мне об одном декабристе, взошедшем на эшафот и бросившем палачу сорванный с пальца фамильный бриллиант со словами: «За хорошую работу!»

Благородство бесстрашной души всегда пленяло отца, а еще важнее, что было **■** ему свойственно. Чувство плеча, ощущение поколения и времени у него было **раз-**

вито очень сильно. Передо мной дневник отца молодого. Вот он встречает 1944-й год и подводит разные итоги: «Через два часа — Новый год. В прежние времена я любил подводить баланс приобретениям и потерям — первых всегда было больше. Отлянемся назад и на этот раз посмотрим, что дал и что взял прошедший 1943 год.

Первая неоспоримая и самая большая удача, из которой вытекают все последующие счастья и злосчастия — это то, что меня не тронули ни пуля, ни осколок, ни одна из семи смертей, встречавшихся мне на фронтовых дорогах. Я воюю уже третий год, и дай бог, чтобы мне и впредь так же везло, как в эти годы. Я написал около шестидесяти стихов и шагнул на какую-то новую ступень в поэтском своем бытии. Перед тем я почти не писал полтора года и стоял перед риском потерять себя. Мне стоило больших трудов сохранить это свое и даже приумножить его — в тех условиях, в которых я жил и живу — это нелегкое дело. Слава богу, я не отупел и не осолдафонился — это мне многого стоило, и я могу гордиться результатами.

Стихи не только сохранение довоенного status quo, но новая и лучшая ступень, как техническая, так и внутреннестиховая. Техника офицерского цикла — выше моего довоенного мастерства, в линии стихов я разработал и открыл новую для себя область — Лирики. Теперь я уже определяюсь как лирический поэт чистой воды, метаморфоза эта преинтересная — до войны я стоял перед закрытой дверью на Этом пути, с которого не должен сходить ни один поэт.

Я возобновил старые московские связи — с Бриками, Асеевым и другими и получил высокую оценку своих стихов. Это если не приобретения, то восстановление утерянного. Я разыскал почти всех своих соратников и нашел, что наши взгляды и намерения одинаковы. Наиболее сильный потенциал у Д. Кауфмана¹ — это спутник на жизнь и на борьбу.

...Глазков явление сильное и многообещающее — это тоже спутник, хотя и не соратник.

Слуцкий — будет или не будет он писать стихов — хороший партнер и советчик. Думается, он сможет делать хорошую прозу. Если прибавить Михаила Луконина, с которым я потерял связь в письмах, но с которым мы никогда не разойдемся — получится мощная когорта друзей по ремеслу и жизни. В Москве среди новой поросли есть люди, с которыми можно идти рука об руку — первые из них Г. Шергова и С. Гудзенко.

Я перезнакомился со всей ленинградской литературой и вошел в круг ленинградских поэтов. Знакомство с Тихоновым, Прокофьевым. Инбер, возобновленная дружба с Ольгой Берггольц — это тоже можно записать в свой актив, так же как и их отзывы о моих стихах и добрые намерения...

Я побывал в Москве, видел маму, это очень много и очень хорошо. У меня растет чудесная дочь — этим я тоже не имею оснований быть недовольным.

По службе я получил в этом году звание старшего лейтенанта, был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги»... Я сдал экзамен на командира батальона и упрочил свои знания военного дела.

Я снова взялся за изучение поэтов и стихов. Примерно семьдесят стихов я запомнил на память — это хорошая тренировка и вещь необходимая: я часто попадаю в такие условия, где не найдешь ни одной книги, поэтому лучшее надо носить в памяти. Я досконально изучил Тихонова, Прокофьева и Сельвинского — до войны я их знал слабее, а Прокофьева совсем плохо знал.

Я — это важнейшее событие — был принят в члены ВКП(б).

Увидел за этот год Шлиссельбург, Ораниенбаум и впервые по-настоящему понял и почувствовал Ленинград.

Таков неполный перечень хорошего.

Из потерь — главная — потеря Воркуновой. Эту женщину я любил и люблю так, как не любил ни одну женщину. Кроме того, она умница, а это явление редкое среди баб.

Из друзей убиты Траубе — хороший человек он был, и Лебский — он мог стать спутником, поэт он был талантливый. Пропал без вести Кульчицкий — один из талантливейших среди нас. Этими потерями можно закончить список неудач. Все остальное можно определить лишь как недостаточно использованные возможности — как в жизни, так и в литературе.

¹ Д. Самойлов.

В будущем году надо добиться гораздо большего.

Таков баланс. Есть чему радоваться, но есть и чему печалиться. Но во всяком случае жалеть не о чем — сделал немало, а это главное.

С Новым годом, Сергей Наровчатов!

Да светит тебе твоя Звезда на всех дорогах твоих и твоя старинная удача да сопутствует тебе всюду.

За Россию,

За твоих близких,

За друзей,

За счастье,

За стихи.

За себя! (Встать!)

Поднимаю я новогодний тост».

Из этого уникального дневника интересно взять еще несколько встреч:

«Я говорю о вдове академика Павлова, к которой мне дал письмо Н. С. Тихонов. Он получил его, в свою очередь, от Маршака, в бытность свою в Москве. Маршак попросил передать ей две новых своих книжки и письмо. Н. С. не мог ума приложить, как добраться до Колтушей, где жила престарелая подруга академика. Размятелово было всего в двух километрах от павловского заповедника, и каждый раз, отправляясь в командировку, я проходил мимо выбеленных известкой вышек этого пресловутого места. Я с охотой взялся передать посылку и был горячо благодарим Тихоновым. Вскоре, возвращаясь из 45 РСД с Марком Уресом, я, договорившись с ним, завернул в Колтуши. Мы прошли мимо желтого пруда, поднялись по аллее в гору и вошли в павловский городок. По дороге нам попался старик. «Скажите, пожалуйста, где здесь живет вдова академика Павлова?» — гаркнул я. Старик, отвыкший, да, верно, и не привыкавший никогда к военным, оторопело взглянул на меня и застыл в молчании. Я повторил вопрос. Старик, продолжая глядеть на меня испуганными глазами, наконец прошамкал: «Во-он в том домике-с налево». Мы пошли к домику-с и долго стучали у подъезда. Нам открыла дверь ни рыба ни мясо в юбке, снова ахнула и снова испуганно на нас взглянула. «Кого вам?» Мы объяснили. «Сейчас спрошу, сможет ли вас принять N. N. (забыл ее имя-отчество). Через пять минут она снова появилась и сказала: «N. N. готова вас принять». Мы вошли. Небольшая комната — стиль 80-х годов прошлого века — в углу кюот с затепленной лампадкой.

В широких креслах, в кофте белой,

В очках, недвижна, как гранит,

Слепая барыня сидит.

Разговор продолжался минут двадцать. Старуха поблагодарила меня за любезность, но посетовала, что не сможет прочесть книгу сама — слаба зрением стала. «Мне, бабюшка, ведь 84 года». Она произвела на меня тягостное впечатление — развалина. Разговаривая, она попросила подойти меня поближе — а то, голубчик, не вижу я тебя вовсе. Рассмотрев, сказала: «А вы, видно, хороший молодой человек — лицо у вас хорошее». Она оказалась очень разговорчивой и много и бестолково говорила о том, что вырастила детей и «вот так держала свою семью». (При этом старуха поднимала сжатый до сих пор энергичный кулачок, напомнивший мне павловские кулаки на нестеровском портрете.) Поминала она и покойного Павлова, говорила, что написала о нем мемуары, «ежели Софья Андреевна о Толстом написала, то и мне не заказано — пусть люди узнают». Жаловалась на немощь: «помню лишь то, что давным-давно было, а близкое забывая готчас. Это у всех к старости бывает». Я подтвердил и сослался на вымышленный пример моей бабушки (!). Старуха обрадованно закивала головой: «Вот, значит, и у других это бывает» Слышит она плохо и говорил я так, как будто речь с трибуны глаголю. На прощанье она благословила меня: «Да хранит тебя господь» и приглашала вновь заходить Впечатление грустное — страшная все-таки вещь глубокая старость... Надпись Маршака на книге: «Замечательной русской женщине» — может иметь лишь историческое, так сказать, значение. Женщина лет сорока, вертевшаяся около кресел старухи, мне не понравилась. Она ее дальняя родственница, но постное лицо святоши, которое маячило у меня перед глазами, навело на мысль, что эта ханжа, наверно, нещадно обирает старуху, пользующуюся благами в память покойного академика. Но, с другой стороны, много ли старухе нуж-

но? Необходимое она получает, а остальное должно куда-то идти. Так, верно, и рассуждает ханжа за ее креслом».

А вот встреча «профессиональная», условно говоря.

«...Я вновь заходил к Прокофьеву. Он по-прежнему живет на Халтуринской и к нему по-прежнему трудно дозвониться. Старик встретил меня в домашнем наряде — исподней рубахе и старых галифишках, засунутых в огромные валенки. Полуседой, взъерошенный, коренастый, с узловатыми мужицкими руками, он похож на какого-то старого гнома. Это впечатление усиливает голос, исходящий откуда-то изнутри, из его голстого брюха, что ли. В нем есть что-то от Кола Брюньона, но это только внешнее сходство. Он встретил меня хорошо и по-своему: облапил, загудел: «А-а, Сергей, а-а, хорошо, хорошо... Так же красив? Да-а... А стихи есть? Есть? Хорошо-о». Он пригласил к чаю, я согласился. Потом читал стихи — он хвалил, но, как обычно, попрекал Цветаевой, которую почему-то считает моей учительницей. Потом читал свое — отрывки из «России», его новой поэмы. Вещь хорошая, написанная в старой прокофьевской манере и со старым запасом и размахом. Недавно отрывок из нее появился в «Ленправде», прочитанный глазами, он не ухудшил впечатление слышанного, что нередко бывает со стихами, которые слышишь от авторов — в чтении поэты добавляют от себя то, чего иной раз и не разглядишь в стихе с листа. Это относится ко всем, в том числе и ко мне. Прокофьева я люблю — одних стихов его я помню наизусть около тридцати, не считая строк. Это единственный не из городских поэтов близкий мне...

Русская деревня неоднородна по своему существу. Я выделяю две основные деревни, не касаясь всех прочих различий, — северную и среднерусскую. Первая, географически, окраинная деревня — это Архангельщина, Приладожье, Поволжье. Вторая — Смоленщина, Орловщина, Тульщина и другие губернии центральной России. Исторически эти деревни прошли различные пути. Среднерусская прошла сквозь столетия крепостного права, и это наложило на нее соответственный отпечаток — создался определенный тип русского мужика, прошедший через всю литературу, — хитроватого, приниженного, себе на уме, прижимистого. Окраинная деревня создала другой тип. Исторически он восходит к новгородской вольнице, к охочим людям, уходившим от крепостного засилья на край света и основывавших там свои поселения. И до них докатывалось потом властное слово, но крепостничество там никогда не пустило таких глубоких корней, как в средней России. И тип человека выработался совершенно иной:

Он как выйдет вместе с ветром,
Вместе с тучей проливной,
Как ударит шапкой светлой
В знаменитый шар земной.
Как ударит да пристукнет
Подкованным каблучком.
Ветер сразу как преступник
В ноги валится ничком.

Удаль, разгул, забубенность, вольность — все это стало там едва ли не одноименными понятиями и стало главным содержанием народного творчества. Герой этих песен не привык ломать шапку перед кем бы то ни было, он дерзок, разгулен, удал, широк и сердцем и душой. Он не задумываясь идет на подвиги и совершает их на виду у всех, так как и жить привык на виду. Гордости он великой, зато и сердечности в нем не меньше, чем в герое среднерусской песни, а то и больше. Щедрость во всем — и в жизни и в смерти — его отличительная черта. Основа же основ — вольнолюбие. Деревня встает в этих песнях цветастая, разгульная, широкая, яркая, а не та убогая и серая никитинско-некрасовская деревня, которая перекочевала и в стихи большинства крестьянских поэтов. В литературе обе деревни нашли отражение. Подлинная Россия — все-таки та, которую воспевают Прокофьев. Вернее, это более перспективная Россия, она мне близка.

Наша Родина — Россия
Дальняя и горная,
Наша Родина — Россия
Вольная и гордая».

Стоит подумать о том, что писал этот дневник молодой человек двадцати четырех лет в блокадном Ленинграде, между сложнейшими командировками, боями. Почти

мальчик, за плечами которого были «2 с половиной вуза», трагическая любовь, ребенок, финская война, тяжелое обморожение и погибшие друзья. И при этом он находил время не только вести дневник, но поддерживать и укреплять литературные связи, писать стихи помимо основной работы в редакции, читать, если была возможность и даже как-то ухитрился посетить театр! Эта катастрофическая интенсивность была одной из основных его черт до самой смерти, он никогда не останавливался. И умер — в отъезде...

Описание всех его встреч, рассказанных в ленинградском дневнике, впрочем, наполовину отцом утерянным, теряет смысл в данном случае, я очень надеюсь на его дальнейшее и самостоятельное опубликование вместе с целым рядом записных книжек. Достаточно сказать, что в нем упомянуты интереснейшие связи, наблюдения, люди. Поэты Н. С. Тихонов, Ольга Берггольц, Георгий Суворов, Д. Лондон, редактор Алексей Иванович Прохвятилов — «по-настоящему сердечный и культурный человек и настоящий большевик» встают как живые со страниц его дневников и проходят никому не известные, голодные, всех похоронившие, скромные и героические люди блокадного Ленинграда. После войны отец множество раз бывал и в Ленинграде и в других городах, русских и нерусских, своей фронтовой молодости, много писал об этом.

Трудно представить широкий круг его интересов, многообразие поездок. Передо мной уйма красочных открыток. Читаю, беря на авось, не соблюдая хронологической последовательности: «Привет из Монако. Папа. 7/VI-69», «Привет из Дрездена. Отец. 25/IX-74», «Милая Оля! Привет тебе из Ниццы. Целую С. 69 г.», «Привет из Варшавы. Лечу сегодня в Лондон. Пришлю оттуда открытку. Будь здорова, дочка. Целую, твой папа. 14/I-74 г.».

Это далеко не все, но и по этому можно судить о бешеной свистопляске впечатлений, о насыщенности жизни, о ритмах моего отца.

Иной раз он сам поражался своей энергии и объему взятых на себя обязательств, у него даже наедине с собой вырывался иногда крик души. Незадолго до смерти он писал:

«Идут мои шестидесятые годы. Самое нелепое — скачка с препятствиями, которую мы устраиваем из жизни. Видит бог, я хотел в этом году избавиться от нее. Не вышло. Но даже отпущенные мне три-четыре месяца я сам использовал, чтобы придумать себе новые барьеры. Экзамены (на кой они мне, собственно, ляд!) стали именно такими препятствиями... Затем кандидатская степень, двухтомник... А когда же о душе, друг милый?»

Он уже был тогда больным человеком, но в усталости никому никогда, кроме своей мамы, не признавался. Только лекарство клал под язык. Но поразительно, как он сочетал с этой бурной внешней жизнью, с поездками, со службой, с общественными нагрузками глубокие размышления, ведение десятков параллельных дневников, записных книжек, путевых заметок, составление каталога огромной разнообразной библиотеки, кабинетные занятия, требующие тишины Ясной Поляны. Правда, главной целью всегда оставалась литература во всех ее жанрах. Да, он не щадил себя и с максимальными мерками подходил к другим. Однажды я очень усомнилась в своих физических силах и наконец спросила совета отца. Он, глядя на меня твердым симпатичным взглядом, не раздумывая долго, ответил: «Я поместил бы тебя в холерный барак». Я его поняла. Он и себя часто ставил в ситуацию «пан или пропал», где все силы души и тела увеличиваются от противоположного. После инфаркта, невзирая на строгий запрет врачей, летел на юг, даже в Африку; в Польше после тромба в сердце, перекочевавшего в мозг, после пребывания в клинической смерти, только что выйдя из больницы, он пошел в ресторан отпраздновать Жизнь. Это в нем очень привлекало. Сила воли у него была большая и тем более достойная уважения, что сказывалась не только в решении какого-то крупного вопроса, но в долгом планомерном исполнении и бытовых, часто не интересных для него задач, в невидимой борьбе с какими-то помехами вне и внутри себя. Это касалось и совсем личных дел, например, курения. Вот запись в дневнике: «Первый опыт работы с пером без курения. Это нешуточное дело. Тридцать три года я писал, держа в зубах папиросу, сигарету, трубку. Выработался стойкий рефлекс. Сейчас полшестого вечера, а выкурил я всего одну сигарету. Если бы мне удалось отвыкнуть от сигареты при письме, я бы освободился от курения ~~визмеримо~~ легче. С нынешнего дня начну воспиты-

вать в себе эту отвычку». Добился своего и пошел дальше, еще дальше — не моргнув глазом сидел, когда его обкуривали со всех сторон в большом обществе и даже в его доме. Видимо, курящим в голову не приходило, что он бывший курильщик, и воздержание требует от него больших усилий. Или забывали об этом. Но, по-видимому, его самообладание перешло потом в искреннее равнодушие. Он вообще хорошо умел отвлекаться от раздражителей.

Отец всегда ценил хорошую шутку, любил игру и азартных людей, но не был игроком. Любил разные зрелища, но не отдаваясь им душой, а больше для разрядки. Кинематограф любил откровенно развлекательный, хотя, конечно, отдавал дань и серьезному. Очень любил «Юность Максима» и под настроение напевал «Крутится, вертится шар голубой...» и вообще ценил прелесть и обаяние городского романса. Хорошо пел в стиле мещанского романса. Шутливо, игриво и «по-кавалерски» пел «Оружием на солнце сверкая», горестно и с большой душой — «Кирпичики», «Город Николаев, фарфоровый завод». Песня его могла пронять очень глубоко.

В доме, где он долгие годы жил с родителями, в центре, на улице Мархлевского, через лестничную площадку жила в большой коммунальной квартире девочка Тамара с мамой. У мамы было приветливое, доброе лицо, она с трудом растила свою кареглазую, быструю дочку с темными косичками. У дочки был изумительный голос, и она пела, летая по ступенькам вверх и вниз. Однажды в день моего рождения я была у бабушки с дедушкой, пришел и отец. После всех разговоров отец прилег, бабушка стала мыть посуду, и тут вошла Тамара, а поскольку она пела почти всегда, она стала петь. И тогда первый раз в жизни я увидела слезы отца. Никогда не забуду узкую комнату и девочку посреди комнаты, глядящую куда-то поверх всего. Бабушку же больше всего поразило, что Тамара не только прекрасно спела, но и стояла как-то особенно, отставив одну ногу. Бабушка вообще уважала всякую «хорошую выучку», а Тамара уже занималась в Доме пионеров. Впоследствии девочка стала солисткой Большого театра Тамарой Синявской. И в последний раз в жизни я видела слезы отца тоже под музыку. В тот день мы вернулись с похорон дедушки. Отец сказал: «Сегодня ушел один из последних интеллигентов...» И вечером поставил любимую свою пластинку «Песни Великой Отечественной войны». Наверное, он вспоминал, как родители провожали его на фронт.

В театре отец в равной степени интересовался и актерами и зрителями. В этом смысле интересна запись из того же дневника блокадного Ленинграда:

«29/ХІІ-43 год.

...В Александринке, которую я помню еще по 39 году, играет сейчас мюзикомедия. Ставили «Периколау». Мы легко достали билеты, хотя, в общем, театр был полон. Зал не отапливается, и зрители сидели не раздеваясь. Больше половины — военные. Здесь можно было увидеть и заезжего майора в потрепанной шинели с полевыми погонами, и штабного офицера, сиявшего золотом пуговиц и погон, и моряков Балтфлота, всюду ходивших гурьбой, и солдат в обмотках и туго перепоясанной шинели, и девушек МПВО в беретах и ватниках. Были и гражданские — преимущественно женщины, одетые по-ленинградски, хорошо. В фойе продавали неизменный сироп с газированной водой — несмотря на холод, около стойки толпилось человек десять. Перед началом спектакля вышел человек в смокинге и равнодушным голосом прочитал правила поведения публики на случай обстрела во время спектакля. Он же появился перед третьим актом и уже совершенно другим голосом прочитал известие о взятии Киева нашими войсками. Начался спектакль. Костюмы на актерам сидели несколько мешковато, чувствовалось, что под легким платьем Перикола была надетая спасительная фуфайка. Но играли актеры с подъемом, оперетта шла в хорошем темпе и надо было видеть, как принимает ее публика!

...Мне вспомнился шекспировский театр — было что-то в непосредственности восприятия. «Странно, — подумал я, выходя из театра в черноту затемненного города, — блокада, обстрел, война, миллионы смертей за плечами, а здесь люди переживают как что-то свое личное любовь и треволнения итальянских певцов — хорошо все-таки, ей-богу, хорошо...»

Тогда бывал незамечаем
Иных случайностей размер,
Случаен дом, где булка с чаем,
Случаен театр, а в нем Мольер...

А вот краткое описание другого зрелища через тридцать пять лет в Мадриде: «14/V-78 г. ...Вчера осмотр города, нынче Прадо. Королевский дворец. Вечером коррида. При мне убили трех быков. Все как у Бласко Ибаньеса и Хемингуэя. Остался равнодушным к этой затее. Не жаль ни быков, ни магадоров. Одного из них поддел бык уже после моего ухода. Зрелище само по себе интересное. Торреро изящны и быстры. Риск делится на пять-шесть человек. Медвежья охота, как мы вели ее в юности, куда опаснее. Завтра — в Москву».

Писать об отце можно еще очень много. Постоянно будут вспоминаться всякие мелочи, и разговоры, и вся жизнь отца, даже та, в которой меня еще не было. Признаюсь, что иногда, правда редко и особенно в детстве, я хотела, чтобы отец не был известным человеком, а был бы кем-нибудь вроде маляра или плотника, никуда бы не уходил и не уезжал, и мы бы с ним каждый день и подолгу гуляли по улицам и в парках. В детстве, когда я спрашивала, где папа и почему его нельзя видеть чаще, мне отвечали, что он на Курильских островах, ему так надо, потому что он поэт, или он где-то долго стоит в очереди и получает деньги после выступления, опять-таки потому что он поэт. Одно время я надеялась, что это состояние временное и когда-нибудь кончится. Особенно эта надежда укрепилась, когда отец однажды позвонил моей маме и сообщил, что он закончил писать стихи. сейчас придет в гости и принесет куклу. Я решила, что он наконец-то совсем закончил свою писательскую деятельность, и стала дожидаться отца «надолго», даже подруг позвала как на праздник. Отец пришел, молодой, синеглазый и оживленный, с подругами поздоровался за руку (нам было по семь лет), сидел долго и наблюдал, как мы возились с куклой. Потом вдруг встал и сказал, что пойдет готовиться к параду. Я очень обрадовалась, что отец сменил свою подвижную деятельность на новую, солидную и мало-подвижную, может быть, будет милиционером, будет стоять где-нибудь на углу около нашего дома. Конечно, я не думала этими словами, но ощущения и мысли были такие. Но оказалось, что отец собирается во время демонстрации 7 ноября читать стихи по радио на Красной площади опять-таки в качестве поэта. Так он и остался поэтом!

Он был хорошим человеком. Талантливым. Очень сложным. Вместе с умудренностью, пришедшей с годами, в нем всегда оставалось детское простодушие, открытая доверчивость.

Однажды он признался мне, что не может жить один. Мне было тогда десять лет, но я очень хорошо поняла, что он этого действительно не может. Он был снисходительным и любящим отцом. Был откровенен со мной и всегда говорил о своих творческих планах. Вот его самое последнее письмо:

«Коктебель, 19/VII-80.

Дорогая Оля!

Вот уже месяц, как я в Коктебеле. Здесь хорошо. Весна была поздней, и когда мы приехали, было еще прохладно, но уже через пять дней температура была двадцать градусов, и все от старых до малых полезли в море. Сейчас жарко, но я не вылезаю из течи и солнце меня не тревожит.

Условия здесь привычные. Я, как всегда, в девятнадцатом корпусе на втором этаже. Теперь в этих номерах холодильник и туалет, что является верхом роскоши для Коктебеля. Привез я сюда еще портативный телевизор, работает он хорошо и сегодня я буду глядеть на открытие Олимпиады... Много читаю. Все серьезные книги. То, что прежде либо не успел прочесть, либо пролистал — «Энеида» Вергилия, «Фауст» и «Поэзия и правда» Гёте etc. Спокойное и неспешное чтение доставляет много удовольствия. Хорош эпитафия, который взял из древнегреческого Гёте в своих толстых мемуарах: «Человек, которого не наказывают, не научается». Здорово!..

Из знакомых тебе приезжал сюда на один день Булат Окуджава. Забрал свою половину и умчал в Ялту. Он очень болен зимой. О болезни не хотел говорить.

Сам я пишу новеллу из времени Ивана Грозного. Написал начало и конец, а середина что-то не ладится. Ну да авось!

Бабушке послал письмо еще в конце июня, но от нее до сих пор нет ответа. Позвоню на днях в «Новый мир», узнаю, что и как с ней. А то я уже начал беспокоиться.

Тебе в твоём положении надо беречься. Это, кажется, единственное требование, которое ты должна к себе предъявлять. А так все у тебя будет в порядке. «Мыслен-

но с вами», как говорил Остап Бендер и повторяю вслед за ним я. Кажется, все новости. Обнимаю и целую тебя, моя милая Оля.

Твой отец С. Наровчатов.

Очень, очень, очень тебя люблю, моя дочка».

Поскольку вышло так, что эти воспоминания я пишу как бы вместе с отцом, закончу одним его размышлением-наблюдением, записью из личного дневника:

«Разгар лета, а в Крыму осень.

Из-за Кара-Дага и Святой движутся серые облака. Вчера ветром свалило старую акацию у нас под окном. Неожиданно открылся вид на море, стало даже лучше, но акацию все равно жаль. Так, верно, и с людьми случается.

Дерево, кстати говоря, распиливают, не откладывая дело на будущее, ребята в парусиновых брюках. Оно хоть на дрова пригодится...

А на что пригодятся наши воспоминания?»

А самое первое воспоминание отца — ему около двух лет — кто-то сильный проносит его сквозь темный проем двери, мимо черного косяка и поднимает высоко-высоко к свету. И смеется.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ХМАРА



ЛЮДИ ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ

Современная проза о деревне

В «записках из деревни» Юрия Галкина, названных «Время строить» (журнал «Октябрь»), речь идет о директоре совхоза, теперь уже бывшем директоре. Не потому бывшем, что не справился с обязанностями. Нет, устал, заболел и вот пришлось (еще три года до пенсии) перейти на другую должность — старшего инспектора по кадрам. «Записки», если быть точным, не столько о конкретном директоре совхоза, сколько о роли директора вообще, о феномене этой должности и ее значении для развития села, сельскохозяйственного производства.

«Жизнь деревни,— пишет Ю. Галкин,— жизнь совхоза и колхоза — это довольно замкнутая жизнь, со своим главным центром, и всякое решение руководителя, всякое его дело тотчас отзывается на всей этой жизни, на всех хозяйственных связях. Повысил голос, не попытался толком вникнуть в конфликт, не выслушал просьбу, в запальчивости оскорбил человека пренебрежением, прошел мимо чужого горя, принял необдуманное, недальновидное или несправедливое решение, которое угнетает не только прямое совхозное дело, но и всю жизнь человеческую в совхозе, в деревне — все это становится тотчас общеизвестным, получает определенную оценку: «общественного мнения» и создает соответствующее отношение к работе, к совхозу, где полновластно и единолично распоряжается так ой директор.

И хотя мы знаем, что работаем и живем не для директора, не для председателя или иного начальника, но одно только чувство, что над тобой властны не только добрый разум (это бы хорошо!), но и чужая прихоть, чужое настроение или невежество, очень тягостно. Особенно это неприятно людям молодым, приехавшим в деревню после учебы. А как жить и работать на

земле без настроения, без любви? Нет, это невозможно. Вот почему отношение даже лично к директору отражается на нашем отношении к своему труду».

Отталкиваясь от конкретной ситуации, от конкретной судьбы. Ю. Галкин стремится к разговору обобщающему, широкому. Писатель пытается проникнуть, говоря его словами, «в административно-хозяйственные тайны нашей обыкновенной жизни, в повседневную практику хозяйствования, в некие типичные обстоятельства, которые, подобно жерновам, перемалывают и самые верные установки, и самые благие идеи, и всякую человеческую личность».

В совхоз «Судогодский» директор Евгений Константинович Гусев «ничего с собой не привез — ни сена, ни семенного зерна, ни новой техники, никакого выдающегося специалиста. Но весной в совхозе впервые за многие годы не поехали за соломой. Сенокос закончился к 20 августа, и сена заготовили почти в два раза больше, чем планировали, силоса — в три раза, а тысячу гектаров озимых засеяли за две недели, к началу сентября, то есть в лучшие агрономические сроки. И вот уже осенью, в октябре, когда подводили итоги, оказалось, что совхоз стал рентабельным, прибыльным!»

Обращаясь к сугубо очерковому, деловому материалу, Ю. Галкин стремится к выводам, объясняющим человека, затрагивающим его психологию и нравственные «измерения». Рассказывая о хозяйственных мероприятиях, сопоставляя цифры, он всегда «держит в уме» характер, личность, вне которой мертвы все эти цифры и мероприятия.

История продвижения совхоза вперед, конечно же, имеет свой могучий фундамент — решения ЦК партии и правитель-

ства по подъему Нечерноземья, которые оказались исключительно своевременными. Опыт совхоза «Судогодский» и его директора Гусева ценен с точки зрения автора тем, что в нем было сделано главное: принята попытка «изменить качество самой жизни», попытка «организации всей жизни на совхозной земле». Это важно, потому что «современный сельский труд, особенно при том, что он коллективный, весь проникнут личным настроением человека, которое укрепляется настроением общим. Нетрудно заметить, что во всякой маленькой бригаде, звене всегда определяется личность, которая становится как бы неким «генератором» настроения, отношения к делу, пусть и сиюминутному. Для совхоза таким «генератором» уже по одной своей должности, по своему центральному служебному положению становится директор».

В емкое понятие «организация всей жизни» входит многое, неожиданное, кажется, несопоставимое по внешней значительности и масштабу. От твердости, с какой отказано в хорошей характеристике разболтанному парню, до дотошности в выборе типов домов для совхоза. От выбора стратегии строительства производственных помещений, объектов («Животноводческий комплекс? Нет, ни в коем случае! Кормовая база у нас не готова к комплексам. Будем строить фермы, и строить так, чтобы постепенно они составили этот комплекс») — до забот о комбикормах для личных хозяйств, детском саде, душе в мастерских, чтоб механизаторы могли помыться после работы, до деревьев на улицах, чтоб душа радовалась, до лампочек на фонарных столбах.

То, что дело в совхозе идет на лад, ясно. Об этом свидетельствуют и устойчивая рентабельность хозяйства, и сто сорок домов жилого фонда, и потянувшиеся в совхоз из окрестных деревень и рабочих поселков люди. И это, конечно, не может не радовать писателя в том числе. Но есть тут для него и такой вопрос. Все годы работы для Гусева «оказались годами работы на износ, такой работы, после которой ничего не остается самому себе». На износ, так как строительство приходится вести «хозяйственным способом» и все нужно как-то и где-то доставать, а это отвлекает деньги, «тянет» за собой себестоимость, и вообще «при таком строительстве, когда все нужно «пробить», «достать», происходят сплошные естественные нарушения писанных правил», а обходные пути, признается Гусев, «по-человечески очень тяжелы». И разум-

ная, казалось бы, всем выгодная специализация производства упирается в косный «личный интерес»: сопротивление руководителей многих хозяйств, боящихся потерять вынешнюю самостоятельность, попасть в зависимость «от Гусева» ли, от кого другого...

Обнаружив свои собственно экономического механизма (устранить многие из них, если не все, и призваны АПО — аграрно-промышленные объединения), Ю. Галкин, верный себе, формулирует вывод не «деловой», не экономический, а явно художнический, «выходящий» на человеческие характеры, и несколько парадоксальный, ежели учесть тот самый невеселый производственный фон. Да, говорит автор, как же еще несовершенен механизм хозяйствования, как трудно добиваться, умножать и даже удерживать успехи. Но тем больше слава людей, которые и в этих условиях, не думая о себе, не помышляя о корысти, в силу «своей партийной ответственности перед этой жизнью», руководимые совестью, делают большое, гражданское, государственное дело.

«Время строить», эти «записки из деревни» примечательны качеством писательского интереса к жизни села, обостренным ощущением этой жизни, когда писателю становится словно бы тесно в художественно-«академических» рамках. Не забывая о «коренных» измерениях человека, привычных и обязательных для художественного мышления, Ю. Галкин, уступая напору действительности, заглянул в сегодняшний быт, в актуальную повседневность совхозной деревни. И мы почувствовали трудовой и житейский пульс, увидели контуры нового села, так недостающего нам в художественной литературе...

В течение многих лет проза, которую неудачно, но как-то безнадежно смирившись, называют «деревенской», исследовала один из острейших конфликтов нашего времени, связанный с ломкой села, сельского уклада жизни, а значит — в существенной мере — и многовековых представлений народа. В широком писательском спектре чувств можно обнаружить и растерянность, и печаль понимания происходящего, и ностальгическую грусть воспоминаний уже далекого детства или юности, воспоминаний искренних и кокетливых, глубоких и поверхностно модных.

В лучших произведениях эта проблема обретает более широкий смысл, нежели только проблема судеб деревни. Вообще всякая истинная проза несет в себе, поми-

мо конкретно-социального, еще и, условно говоря, онтологический смысл, затрагивающий коренные, более или менее устойчивые основы бытия; равно как само конкретно-социальное, конкретно-историческое явление, ежели вдуматься, типологически шире своего видимого содержания. (В понятие «конкретно-историческое» у нас подчас склонны включать лишь первую его «ипостась», как нечто во времени мертво зафиксированное. Но всякий момент бытия, будучи весьма определенным, тем не менее не сводится к точечному состоянию. Он и сходит из исторического времени и нацелен на будущее. Он есть связь времен.) Подлинно художественное произведение как раз и «прочитывает» эту многомерность явления. Прочитывает не в силу тщеславного и неперменного желания подняться до «онтологичности», а в силу именно пристальности и внимательности художественного взгляда, в силу органичного и глубинного постижения жизни, позволяющего ощутить все наиболее существенные связи и фундаментальные опоры бытия.

Прощание с деревней, тоска по деревне, печаль забытых и брошенных домов близка и понятна не только бывшим крестьянам (а их среди нас много. «Все города уже больше чем наполовину состоят из нас, деревенских», — сказала как-то К. Кожевникова, публицист, много пишущая о современной деревне). Ностальгия по прошлому затрагивает всех, уже проживших какой-то срок, успевших растерять что-то из прошлого, с горечью отметить исчезновение тех примет родного города, улиц, которые помнит твоя детская память, с тоской ощутить утрату идеалов и надежд юности. Деревенская проза, рожденная вполне определенными заботами, напомнила нам, что за безличностью общих цифр и понятий кроется реальность живого человека, судьбы старой Анны из «Последнего срока» В. Распутина или героев В. Астафьева. Она своеобразно отозвалась и на метаморфозы современного «эмансипированного» нравственного сознания, нашедшего отражение в творчестве, между прочим, не одних лишь деревенщиков — Ю. Трифонова, Г. Семенова, Ю. Нагибина. Мудрые же, несуетные старики и старухи деревенской прозы напоминают нам о ценностях не быта, а бытия. Они — олицетворение того «родового», общественного, если хотите, начала человека, которое противостоит жалкому мельтешению в поисках немедленных не радостей даже, — удовольствий, наслаждений. Они побуждают нас не к точечному горизонту сиюминутного удовлетворения, а,

если позволительно употребить выражение из совсем другого литературного ряда, к горизонту всех.

Эти старики и старухи в значительной мере миф или символ. Но миф не синоним неправды. Это часто правда наших ожиданий, тот выкристаллизовавшийся идеал, который призван заставить нас остановиться, оглянуться и ощутить сквозь стремительную смену впечатлений ход существенных сил жизни, чтобы собрать и перегруппировать нравственные силы.

Вот почему в значительной мере был столь постоянен и серьезен наш интерес к деревенской прозе, вот почему мы с печалью, тревогой, душевным откликом и духовной радостью читали и перечитывали лучшие страницы этой прозы.

Но как бы ни были важны онтологические проблемы деревни, проблемы наследия связанной с ней культуры народа, ломки нравственных представлений, со временем все настойчивее возникал вопрос: как дальше жить деревне? Взгляд на жителей села, воспринимавший их с сострадательным пиететом, постепенно привыкал к новой реальности и начинал различать более конкретный и неотвратимый смысл проблемы.

Уже изрядно наскучили споры вокруг понятия «усталости», тем паче, что оно прилагается, кажется, одновременно чуть не ко всем жанрам литературы. «Усталость» — неудачный термин не потому, что лишен вообще каких-либо оснований. Нет, в нем, думается, слишком много категоричности, он чересчур круто и слепо обобщает, выносит приговор литературным явлениям, которые достаточно многообразны и сложны, чтобы быть полверстанными под один знаменатель. «Усталое» ли в нашем случае творчество Виктора Астафьева? Оставляет ли нас равнодушным написанное в последнее время Валентином Распутиным? Лишен ли напора страсти и мысли роман Федора Абрамова «Домом»? Наконец, исчерпана ли сама энергия переустройства современной деревни?

Речь следует вести, пожалуй, не об «усталости» целой ветви литературы, а об исчерпанности одной из важнейших заветных идей, разрабатывавшихся ею, — идеи ностальгического возвращения к прошлому; идеи «жорней» в прямой и бесспорной соотношенности с тектоническими процессами, затронувшими деревню. Исчерпанность идеи обнаружилась в шпекром тиражировании, в монотонном ее вторичении, в появлении произведений явно вторичных и даже эпигонских, способных лишь деваль-

вировать мысль, давшую литературе столь много...

Говоря о вторичности того или иного конкретного произведения, меньше всего требуется принижать, подвергать сомнению художнические усилия литераторов Икс или Игрек. Вторичность — не обязательно недобросовестность. Понятие это указывает лишь на «буксование» художественной мысли, на поверхностное, хотя, быть может, подчас по-своему искреннее усвоение философии направления. Поверхностность эта сказывается в робком повторении основной коллизии, отличающейся в лучшем случае только сюжетной, житейской конкретикой. В усилении (как итог схематизации, стандартизации конфликта) «мифологизирующих» тенденций. То, что рождалось в мучительном осмыслении драматического напряжения, единства и столкновения разных сил развивающейся жизни. — «поляризуется» в застылых понятиях, типах, образах. То, что было напоминанием о необходимости тщательной и мудро взвешивать наш преобразовательный порыв, — становится, по существу, отрицанием развития и преобразования. Что было своеобразным укором и противостоянием нашей беспамятности, оказывается надменным поучением и противопоставлением прошлого настоящему и будущему. Что было, наконец, кровоточащей болью. — оборачивается, вольно или невольно, попой, а то и просто ма-нерничанием, расхожей пасторалью...

Повесть молодого литератора из Костромской области Василия Травкина «Бессонная птица» (журнал «Волга») не лишена обаяния. Писатель чутко слышит, как «с тихим звоном перелетали с цветка на цветок пчелы», ощущает «аромат выпавшейся пыльцы». Есть бесспорно, очарование в описании богатств и красоты русских лугов: «Даже густые, непропоротные травы покорно ложились под их широкими, в крутом развороте взмахами. Косы гуляли по подернувшейся бледным мхом поляне свободно, податливо тянулись прокосы. Осыпая ржавую крупку, падал шавель, катились, теряя лепестки-бубенчики, купальницы, шуршали широкие листья манжетки. Брызгала на мечущиеся подолы росяная капель. Валки получались тощенькие, лучи поднявшегося солнца пробили их насквозь, и они задымились сизоватыми ручейками». Есть вообще точность и поэзия в описании сенокоса, трудного и радостного.

Многие страницы повести В. Травкина отмечены вкусом, чуткостью к слову и заставляют еще раз вспомнить о школе

языка деревенской прозы, школе добротной и принципиально важной. Деревенщики, как известно, много сделали для обновления литературного языка, обратили самое пристальное внимание на исконно народные пласты родного языка — не только русского, — подзабытые было в праведном пафосе грамотности, «правильности» речи, грозившие перейти в нечто среднестатистическое и для литературы, следовательно, мертвое.

Но сколь бы ни были симпатичны и милы нашей душе описания радостей крестьянского труда в «Бессонной птице», прелесть купания в деревенской бане и т. д., трезвый разум и память подсказывают, что эти картины уже давно стали более чем традицией. А что же нового в повести молодого литератора? Какова коллизия, привлекающая его внимание?

Героиня «Бессонной птицы» Нюра, жительница Круглова — «хутора, дальней окраинной стороны колхоза», — собирается ехать на жилье к сыну Косте в Череповец. Пока вроде и не на постоянное жительство — хотя и к тому склоняет сын, — а по случаю предстоящего прибавления семейства Кости. Печаль наступающего прощания с домом (самый видный в Круглове, прочная «сосновая хоромина»), с родной деревней, с подругой еще детских лет Ольгой тревожит Нюру, побуждает к воспоминаниям, к огляду прошлого, пережитого.

Судьба этой женщины, собственно, и составляет фабулу повести. В Нюре, солдатской вдове, выростившей двоих детей, В. Травкин попытался воплотить характер русской женщины, прекрасной и советливым отношением к труду, и развитым, совершенно органичным чувством долга — женского, материнского, человеческого, и вообще способностью к чувствам сильным и чистым. Одно из этих чувств — любовь к Мите, мужу, которая живет в Нюре и десятилетия спустя после извещения о его гибели, мешает ей обрести новое счастье с любящим ее Степаном. Беда, однако, не в том даже, что так сказать, типологические характеристики Нюры, образ ее — сколок в чем-то с женщин В. Распутина, в чем-то с героини «Ивушка неплакучей» М. Алексеева. В искусстве всего важнее — реальное наполнение образа, то «сцепление» поступков, мотивов, желаний, что составляет непосредственное содержание жизни человека, действительно обнаруживает его волю, нравственную, духовную высоту и горизонт, помогает увидеть еще одну грань социального бытия.

Увы, если жизнь героини «Бессонной

птицы» и выходит из «типологического» русла, то разве что для демонстрации ее праведничества, ее благостности и верований, демонстрации, в которой автор часто теряет чувство меры и вкуса. Благостность эта едва ли может «стыковаться» с судьбой женщины, поставившей на ноги двоих детей. А это такое суровое, жестокое испытание, которое требует не только любви, но и трезвости, житейского расчета (не обязательно расчётливости), умения твердо стоять на земле.

И еще. Религиозная истовость, экзальтация становится, кажется, непременным признаком «народного» характера в эпигонской деревенской прозе. Согрешив однажды со Степаном, Нюра видит, что «по потолку скользили расплывчатые пятна. Отчего это движение?..» «Господи! Господи милостивый! — озаряет ее догадка. — Это же ангелы встревожились. Это же они вьются, плещут белыми крыльями! Это же они, вечные спутники, кружатся в неспокойстве. Господи милостивый, прости меня, грешную! Даже ангелы-хранители бессильны отстоять от беспутства сморенную соблазном бабью плоть, оградить от греха!»

В. Травкин снова и снова повторяет этот мотив: «Но вдруг все заслонилось одним видением, ясным и горестным, как вот вчера было: целует ее Митя, сушит шершавой ладонью щеки, уговаривает: «Не бойсь, вернись, а как же, вот он, спаситель-то». Знал, как успокоить, расстегнул ворот — на груди маленький крестик, сама вчера с молитвой надевала».

Конечно, как говорится, всякое бывает, бывало. Но ведь молодость Нюры и Мити пришла на эпоху воинственно «богоборческую», суровую в своей страсти низвержения «идолов». Однако хотя бы слабее это того времени прозвучало, отозвалось бы в поведении героев!

Традиционные ценности крестьянской жизни и исконные черты самого крестьянина влекут и Ивана Никульшина, автора повести «Лесной сенокос» (журнал «Наш современник»). И. Никульшин подчеркивает это особо: «Колхозник, ежели он не крестьянин по своему душевному складу, может позволить себе и загулять в страду. Крестьянин же — никогда!» Особый «статус» крестьянина заключается для Никульшина в его нераздельности с самими основами жизни. Вчерашний школьник Ленька Акишин, который теперь за хозяина в доме (отец умер весной) и вместе со взрослыми косит сено на лесных угодьях, отведенных сельсоветом для инвалидов вой-

ны и семей погибших, так постигает это: «Он вдруг подумал, что в поступках исконных деревенских мужиков много по-детски незатейливого, естественного, как естественно все вокруг: земля, небо, лес, вода».

В этом взгляде на крестьянина, право же, нет худа. Беда не в том, что писатель предается светлым воспоминаниям детства, живописует идиллию, воспроизводит поэтическую сторону деревенского бытия, а в том, что игнорирует «другую жизнь» того же бытия, так сказать, прозу современного села.

Повести В. Травкина, И. Никульшина вроде бы о людях, живущих (во времени) рядом с нами. Но реальная, не «мифологизированная» современность в «Бессонной птице» присутствует лишь в беглом упоминании уже привычных читателям реалий: уходит молодежь, пустеют дома. В «Лесном сенокосе» сегодняшнее село, колхозный трудовой быт тоже просвечивают слабым контуром. По сути, только однажды мелькнула примета этого быта (летит зуб шестеренки в коробке передач трактора), да и то как своеобразный предлог обратиться в кузницу, к поэзии уходящего деревенского труда. Что еще? Председатель сельсовета пожаловался, что колхозники купили все масло в магазинах райцентра и сдают в... сельпо (там ковры продают «на деньги и на масло в счет закупок у населения»). Подростки глухо, на дальнем плане, поспорили о внеземных цивилизациях. Шестьдесят строк занял иронический рассказ о тщетной попытке сагитировать десятиклассников пойти сообща в колхоз. Вот беглые приметы реального времени. Истинный же художественный интерес повести иной. Это — знойные летние луга, аромат скошенных трав, усталость косарей, посвист литовок, перезвон молотков в старой кузнице. Это — если говорить о героях — нравственно надежный, житейски солидный кузнец Кирей или юный Ленька со своей чистой душой («христосик» — шуточно называет его сверстница Танька). Они поданы с максимальной для «Лесного сенокоса» обстоятельностью, иногда — не без обаяния. Но, увы, повесть лишена какого-либо художественного движения. Здесь хорошо узнаваемый мир отстоявшихся, «вековых» отношений и ценностей, как бы механически усвоенных эстетических представлений.

Отсюда и бессилие в нахождении точных и свежих слов и безвкусица сентиментально-риторических восклицаний, не способных раскрыть большие чувства: «Диво-то какое! Ну что он без всей этой красоты, без этих полей, без своей Верховки и без

своих мужиков? Что он без них?..» Но главное, инерция художественных решений мстит эрозией образов, характеров. Нехватка конкретных жизненных измерений, «свежего воздуха» живых поступков и обстоятельств определяет описательность характеристик, а самим героям не позволяет подняться выше неких знаков, символов социально-нравственного поведения.

Что представляет собой как личность, к примеру, тот же Ленька Акишин? Что знаем в этом смысле мы о нем? «Ленька застенялся...», «Ленька счастливо улыбался...», «Леньке не хотелось губить их веселую красоту...», «Ленька крутился, вздыхал, и все мысли его были о Таньке. Уснул он лишь под утро, и снилось ему что-то стыдливо-нежное, томное, ребяческое — размыто-путаное и нечеткое». Это монотонное повторение благостных слов и определений вполне достаточно для автора, который видит в герое абстрактно-назидательный образчик нравственности, но все эти туманности мало помогают почувствовать пульс сердца, ток крови парня, которому под восемнадцать. Лишь однажды в Леньке прорезался некий темперамент и у него «на скулах... заходили желваки», — когда бывший одноклассник Валька дурно отозвался о Таньке. Но и эти «желваки», и «мутное бешенство» как-то не ассоциируются с образом героя (Танькино «христосик» тут точнее).

А Кирей? О нем мы тоже узнаем преимущественно из сообщений типа: «Жизнь он любил во всем основательную и прочную»; из внутренних монологов героя вроде: «На земле утверждается племя залетных колхозников, к которым и не приложишь этого самого важного, освященного веками понятия — крестьянин». Собственно же «крестьянских» поступков за Киреем в повести мало. По существу, пожалуй, один — наковка все того же зуба шестерни.

Вывод словно бы «закодирован» в той эстетике, которую исповедует автор, в тех отформовавшихся и отлившихся в монолитные блоки представлениях, что характерны для вторичной деревенской прозы. В пределах установившихся общепризнанных, общеузнаваемых формул вроде бы отпадает необходимость в системе художественных доказательств. Здесь не тип выводится из индивидуального характера, а персонаж подверстывается под известный тип. Трудолюбие, совестливость, привязанность к земле, малой своей родине, нравственная основательность — суть черты коренного крестьянина, как он сложился в деревенской прозе. Поэтому, обозначив не-

которые типологические координаты того же Кирея, автор «Лесного сенокоса» считает свою задачу решенной.

Следование литературным клише аукается вполне определено. Ленька Акишин задает себе вопросы: «...отчего это все люди разные? Злые, добрые, умные, жадные — отчего? Почему в одной и той же семье совершенно разные характеры? Почему Степан Урбанов — весь, как исчервивевший гриб, а делает вид, что печется о благе общества? Но какое же это благо, если оно во вред человеку? И почему Васька, сын его, совсем другой?..» Вопросы серьезные. Но ответ на них предполагает известный минимум психологических и социально-жизненных обстоятельств: движение, становление характеров невозможно без взаимодействия с другими характерами, вне жизненной конкретики. Однако в «Лесном сенокосе» нет той реальной почвы, на которой один сохраняет «крестьянскую душу», другой ее теряет, один умножает зло, другой обретает в себе добро. В повести все замыкается на самоочевидных, давным-давно обкатанных истинах человеческого бытия и поведения. Никакого прорыва в новое качество ждать от героев при этом, понятно, не придется. В них преобладает статика общезвестного. Жизнь интересует автора не в динамике развития, а в ее устоявшихся ипостасях...

Но как при чтении «Лесного сенокоса» уйти от вопросов насчет дня текущего?

Дня, который исполнен забот и споров об «организации всей жизни» на колхозной или совхозной земле. О том, каким быть деревенскому дому, усадьбе. О стоимости и экономической эффективности производственного строительства, качестве сельскохозяйственной техники. О задачах, которые предстоит решить агропромышленным объединениям и о тесном взаимодействии обслуживающих деревню отраслей. О мере хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов, о том, как избежать потерь продукции и как добиться, чтобы в селах оставалась молодежь, чтоб демографический баланс в деревне обрел действительное равновесие...

Обо всем этом много и достаточно последовательно пишет публицистика. И что особенно примечательно — ее пристальный и все нарастающий интерес не просто к проблемам села, но к личности деревенского труженика, к тому, чтобы понять, что же за человек живет, работает в сегодняшней деревне?

Один из примеров — очерк белорусского

публициста Анатолия Козловича «Бросивший в землю зерно» (журнал «Дружба народов»). Очерк локален: здесь в центре судьба одного человека («Его зовут Егор Кузьмич Шацкий. Ему 55 лет. Комбайнер, слесарь-газовик, моторист насосной установки — все должности исполняет одновременно. Он механизатор-ас... В родной деревне зовут его кратко — Кузьмич»). «Бросивший в землю зерно» сохраняет явные следы проблемной публицистики с ее четкой, так сказать, функционально направленной идеей. Рассказ о Кузьмиче, великом труженике и редком умельце, итожит деловая и по сути конкретная мысль: «Такие, как Кузьмич, о себе не думают, это правда... Подумать и позаботиться о Кузьмиче должны мы, дать ему «хороший комбайн, избавив его от ночных бдений», заставить «„Сельхозтехнику“ добросовестно ремонтировать детали, а председателя колхоза — хорошо организовать жатву». Да, следует воздать должное героизму, трудолюбию, самоотверженности Кузьмича, «но и подумать: а нельзя ли без героизма, коль за него человек расплачивается своим здоровьем? Гуманно ли, нравственно ли говорить о трудолюбии Кузьмича вне тех условий, в которых он трудится и которые не способствуют, а, наоборот, препятствуют его трудовым рекордам?»

Но в очерке А. Козловича жизнь героя в то же время дана с такой полнотой, что прагматический, деловой вывод, конечно же, не исчерпывает действительное содержание материала. Так кто же он такой, этот самый Кузьмич? Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, депутат Верховного Совета Белоруссии. Балагур, весельчак. Большой и неуклюжий: ему явно мала кабина трактора «Беларусь», что «является предметом постоянных шуток как с его стороны, так и со стороны коллег-механизаторов». Любимые выражения: «понимаешь-нет», «знаешь-нет», «вот так собак стригут!» Последнее произносится с восклицательным знаком, и при этом глаза Кузьмича сияют от радости, а сердце его жены, Глафиры Антоновны, сжимается от ужаса. Сжимается, потому что плохо с сердцем у Кузьмича, он носит с собой валидол, как посидит за рулем — повышается давление. «Ну куда ты гонишься?» — спрашивают его жена и дочь. «А он: я не гонюсь, я работаю, а на работе с меня пар должен валить, понимаешь-нет». Дочь Ирина: «Мы с мамой уговариваем: не иди больше на комбайн, ты уже старый, больной. А он: а где молодые? Кто уберет?»

Да, техника — страсть Кузьмича. С ней

непосредственно связаны две «голубые мечты» механизатора, отвечающие его творческому честолюбию, а главное, — его чутью и знанию машин. Во-первых, чтобы дали ему «хоть один экспериментальный комбайн испытать! Позвали на завод: на, Кузьмич, поработай, покатайся сезон, скажи свои замечания...». Во-вторых, чтобы дали хоть раз «поработать как надо», показать, на что способен, а это опять же означает: предоставили бы действительно хорошую технику, обеспечили бы добротными запчастями, организовали бесперебойную приемку зерна... И здесь-то нельзя не сказать о третьей «голубой мечте» Кузьмича: «Эх... пять лет по грибы не ходил, а до леса двести шагов». Эта мечта выводит нас к итоговой мысли очерка, к соображению, принципиально важному для автора. Работая до изнеможения и иначе не умея («...с меня должен пар валить»), Кузьмич понимает исключительность своего труда. И тут — источник драматической трещинки в его судьбе и сознании. Есть, пишет А. Козлович, «династия трудолюбивых Шацких, это правда и это очень неплохо. Но хлебоборобской династии нет». Эта династия завершается на Кузьмиче. Не мысля для себя другой жизни, Кузьмич не желает ее своим сыну и дочери, которые в юности охотно и успешно помогали отцу в работе на комбайне. На вопрос автора, пытался ли Кузьмич задержать детей в селе, тот ответил честно: «Нет! Вы видели, как я кручусь?»

Это противоречие — главное основание и козырь А. Козловича в споре с идеалистскими певцами деревни (или певцами идеалистической деревни). «Стандартный набор... красотей, которым так часто пользуется эпигонская литература, — убежден А. Козлович, — никогда не выражал и не выражает сути деревни, ее специфики, ее проблем и побед». «Все атрибуты деревенской красоты (песня жаворонка, холмистое поле, живописное стадо на лугу, предутренняя дымка в лесу, мерцающая излучина реки и т. д.) для Кузьмича мертвы, если трактор мертв и работа мертва». «Поле, на краю которого мы стояли и которое нам предстояло засеять, было красивым, то есть холмистым, не статичным, наполненным движением: и там и тут виднелись кустики, вились дорожки, плавно переходили из одной в одну высотки. Посмотреть — красиво, а поработать на таком поле — одно горе. Однако Кузьмич не пейзажист и не режиссер, любящий динамику в кадре, и не равнодушный шеф, а хлебороб — не может он любоваться той кра-

сотой, которая мешает ему растить хлеб (на одной высотке он чуть не опрокинулся с комбайном). Не слышит Кузьмич и жаворонка, хоть мотор трактора не тарахтит, не глушит солнечную песню. Потому и не слышит Кузьмич жаворонка, что трактор молчит. Если бы подвезли сейчас семена и взревел тракторный мотор, тотчас услышал бы Кузьмич радостную песню жаворонка, потому что она полилась бы у него из души».

Слова, как видим, сердитые, мысль полемически колючая и, пожалуй, несколько категоричская. Но такое толкование этики и эстетики современного крестьянина продиктовано трезвым и серьезным пониманием забот, проблем жизни и труда деревни. А. Козлович идет по преимуществу именно от проблем. Попытки сформулировать психологию героя напрямую, обобщающе в очерке скорее исключение (и это в существенной мере отвечает логике строго документального жанра). Некоторые из обобщающих «выходов» в психологию вообще не выдерживают критики. «Человек, брошенный в землю зерно, бросает в родную землю свой вечный якорь», — так объясняет автор привязанность героя к родной деревне Нагавки. К сожалению, этот изящный афоризм — из другого, но тоже «стандартного набора красотостей», неспособных объяснять реальные мотивы поведения человека. Здесь А. Козлович вступает в противоречие с собственной трезвостью и приверженностью факту. Но объективная сумма самих фактов, наблюдений, увиденных и угаданных обстоятельств, весь накал и «качество» жизни Кузьмича, воспроизведенной в иные дни час за часом, проблема за проблемой, дотошно и честно, — уже даже помимо воли автора подводят читателя очерка к желанию, к потребности понять: что за натура этот Кузьмич? Что за человеческий тип? Его не раскрыть с помощью привычного ассортимента романтически-идиллических или плоско социологических клише. Ведь золотые руки у человека, ведь сколько мытарил здесь, в родной деревне, а не ушел, однако, в город. Только ли житейские соображения (подсобное хозяйство и т. п.) руководили им? Но многих, менее подготовленных к другой жизни, они-то не удерживали! Психический склад, тяготение к устойчивым, привычным формам бытия? Или же возможность, пусть даже не осознаваемая до конца, шире, свободнее реализовать свои способности, свой творческий потенциал и потребности в условиях нестандартизованного производства?

Если очерк А. Козловича напрямую уже подводит к этим вопросам, но дает лишь наметки ответов на них, то в записках Анатолия Стреляного «В селе, у матери» (журнал «Дружба народов») есть попытка вплотную заняться ими. А. Стреляный дает срез жизни целого села, да еще за многие годы родной автору Старой Рябины, что лежит на полпути между Харьковом и Сумами. С юмором, иронией, порой с язвительностью, серьезно и печально пишет А. Стреляный о житье-бытье односельчан, о старых и новых приметах психологии крестьян, об их хитростях и предрассудках, трезвости и наивности, отношении к работе, соседям, начальству и образованию. В пестрой и весьма красочной мозаике больших и малых замет и зарисовок есть место и для колоритной бабки Одарки, редкостной ругательницы, прямо-таки артистичной скандалистки; и для размышлений о роли личного подсобного хозяйства; и для грустно-удивленного рассказа о выходах неутоленной любви; и для раздумий об инерции «мирского, общинного, так сказать, понятия о справедливости», которое, как ни странно, на первый взгляд порой противостоит и противится духу и букве современной законности. О печальной истине, что наше время не только время космоса, но и время «миллионов стариков, забытых их детьми, брошенных на произвол судьбы», — пишет А. Стреляный. «Это время миллионов молодых и средних лет мужчин и женщин, которые не осознают своих обязанностей перед родителями». О формализме критерия высшего образования при выборе председателя колхоза напоминает автор: «Высшее образование... это хорошо... Людей с высшим образованием уже так много, что выбрать среди них достойного кандидата в председатели, как правило, вполне возможно. Но практика потому и практика, что она требует исключений из правила и, если их не допускать, будет вред...»

Калейдоскопичность повествования не означает хаотичности изображения. В записках есть стержневые герои, персонажи. Это мать рассказчика, старая женщина, в жизни которой пересекаются, так сказать, параллели и меридианы сельского быта и бытия, существенно сказывается духовный уклад крестьянства. Это, далее, племянник автора Виктор — «сначала тракторист, шофер, слесарь, потом агроном, двадцати девяти лет», а в последней части опубликованный записок — секретарь парткома и одновременно заместитель председателя колхоза. Эпизоды, связанные с Виктором,

постоянно и на разном уровне возвращают нас к колхозному производству и производственным отношениям — и в непосредственном и (порой) неожиданном смысле: начиная с проблем эффективной организации артельного труда и кончая спорами насчет мер и необходимости вмешательства руководства хозяйства в «неколхозные дела» («в отношения между людьми, в то, что они друг другу платят, приплачивают и передачивают, кто на ком наживается». Вспомним мысль Ю. Галкина о «замкнутой жизни» деревни, на которой сказываются даже чисто хозяйственные решения). Но главным организующим моментом, той силой, которая выстраивает мозаику в целостную картину, является, конечно, замысел, стремление автора постичь динамику жизни и душу современного крестьянина, понять, как трансформируется в нем отношение к коренному его труду; как сказывается на нем характер связей с городом, и демографические перемещения, и открытость всей информации двадцатого века. Понять, исходя из фактов, а не умозрительных схем (тут А. Стреляный почти впрямую переключается с А. Козловичем, утверждая, что «нам следовало бы не связь с природой воспевать, не прелести сельской жизни, не превосходство сельского человека над городским», а практическими делами ответить на запросы деревни и помочь деревне ответить на запросы города).

Для А. Стреляного характерно понимание сложности процессов, происходящих в современном селе. Это понимание — итог пристального и долгого исследования публицистической сельской жизни в разных ее срезах. Итог преодоления односторонностей «проблемного» подхода к этой жизни, сознательного или подсознательного поиска (не одной публицистикой, разумеется) умозрительно ясной идеи, решения, некоей панацеи, враз исцеляющей от всех болей и бед. Чтоб остановить «исход» жителей сел и деревень, предлагали и дворцы культуры строить, и дома городского типа, и парней заинтересовать остаться в колхозе, чтобы девчата за ними не тянулись в город. Хорошие дворцы и дома культуры, конечно, сами по себе — серьезное благо. Возможность пользоваться коммунальными удобствами и в сельском доме — тоже прекрасно. Но и все такого рода мероприятия, вместе взятые, оказались не в состоянии остановить поток миграции. К тому же выяснилось, что, принимая в доме городские удобства, сельский житель не очень-то жалуется дома городского типа. Удержав парней, село по-прежнему недосчитывает-

ся девчат, которых не привлекает, к примеру, работа на животноводческих фермах. Чтобы заставить колхозника больше и продуктивнее работать на общественной ниве, решительно боролись (и не одними средствами публицистики) с личным подсобным хозяйством. Но отлучив сельского жителя от личного скота и приусадебного участка, вдруг обнаружили не только подлинный удельный вес подсобного хозяйства в экономике, но и ослабление корней, которые удерживали колхозника в деревне...

Дело не в том, чтобы поставить под сомнение то или иное конкретное усилие, направленное на стабилизацию (экономическую, демографическую и прочие) жизни деревни. Многие из выдвинутых в разное время предложений были необходимыми и так или иначе приближали решение проблемы. Суть в другом: в поспешных — как со временем выяснилось — надеждах на объяснение и исправление ситуации, исходя из жесткого и достаточно ограниченного набора целесообразностей. (Это, добавим, по-своему находило свое выражение и в литературе. Когда-то видели решение всех вопросов лишь в отношении человека к делу, точнее — даже в некоей очередной хозяйственной, производственной панацее. Стоило ему, дескать, признать правомерность засева паров кукурузой, как все пойдет на лад. Социально-экономическая действительность упрощалась до возможного и невозможного пределов, а вместе с тем и человек). Тяга к философско-нравственному по преимуществу осмыслению деревни, к душе крестьянина. Была думается, в каком-то смысле реакцией и на эту социологическую жесткость и узость.

Нет правил без исключения. Один из примеров — творчество Федора Абрамова, социально скоординированное, пожалуй, точнее и четче, чем у любого другого деревенщика. Герои в трилогии о Прыслиных обнаруживают редкое по социологической проницательности и вниманию к жизненным реалиям современной деревни зрение художника. Но в массе своей деревенская проза формировалась и до сих пор испытывает воздействие мощного магнитного поля «нравственного» направления. И неудивительно, что первые шаги к освоению именно сегодняшних проблем села в значительной мере принадлежат публицистам. Как раз литераторы, более всего занимавшиеся конкретной сельской жизни, прежде многих почувствовали пробуксовку философии «истинного» крестьянина, крестьянина «по призванию», «по душе», обнару-

жили его односторонность, неполноту, неспособность объяснить действительные процессы сегодняшнего села.

Но парадокс заключается вот в чем: понимание реальной сложности проблем села, освоение действительной, глубинной взаимозависимости социальных и экономических явлений самых разных уровней и масштабов как раз и сделали по-своему необходимым новый поворот к «душе», характеру человека. Когда проблемный узел крайне сложен, когда конфликт вокруг той или иной конкретной хозяйственно-экономической проблемы утрачивает достоверность фундаментальной социальной коллизии, литература ищет единства и опоры в человеке как средоточении и носителе жизненных противоречий. Она апеллирует к фундаментальным, глубинным духовно-нравственным качествам. Этическая оценка переносится — несколько условно говоря — с поступка человека (принятие или непринятие технологической новации, выбор способа хозяйствования, производства и т. п.) на его поведение, то есть на сумму ценностных представлений, «качество» целей, широту социального кругозора, меру и характер включенности в структуру общественных отношений...

И записки А. Стреляного «выходят» на проблему не специалиста или конкретного работника, а человека на селе. Здесь явно стремление аналитически, многогранно, широко воссоздать жизнь села. Другие публицисты, испытывающие ту же потребность преодолеть проблемно-функциональную «одномерность», пошли по-своему дальше. «По-своему», ибо дело не в конечном художественном уровне тех или иных произведений, а в жанровом, что ли, выражении тенденции.

Например, Леонид Иванов, чье творчество всегда было сильно прежде всего фактом, цифрами, логикой, обратился к жанру художественной прозы и написал роман «Березовские ориентиры». Здесь, как и положено в романе, затронуты — бегло или достаточно обстоятельно — разные вопросы частной и общественной жизни. И судьба деревенских девчат в городе. И непростая диалектика подсобного хозяйства в деревне, существенно важного для насыщения рынка, но и пугающего возможностями духовного перерождения (подобно тому, как «омещанивается» в романе комсомолец Петр Блинов, быстро вошедший во вкус рыночных денег). Есть, разумеется, в романе и любовь. Но все-таки центральная и четко заявленная идея романа — призвать доверять людям, не опекать мелочно. Кон-

кретные условия хозяйствования сегодня слишком сложны, многообразны, чтобы можно было всех подчинить одному шаблону.

Герой записок Ю. Галкина, о которых шла у нас речь, высказывает, в частности, такую мысль: «Надо, чтобы дело диктовало условия, а не ведомственные интересы...» Как бы продолжая и дополняя эту мысль, директор совхоза «Березовский» Вершинин в романе Л. Иванова так возражает своему антиподу, другому директору совхоза: «Нет, Балыков, пора научиться своими мозгами шевелить... Надо бы сделать так, как сказано в ряде партийных решений: дайте совхозу твердый план продажи продукции, обеспечьте его материально, техникой и тому подобным, а в остальном доверьте нам на месте разобраться: какие культуры когда сеять, какую агротехнику применять, какой скот держать и сколько».

Водораздел между Вершининым и Балыковым не просто в стиле хозяйствования, но — в типе социального поведения, в мере общественной зрелости. Балыков принадлежит к тем работникам, что прячут свое нежелание или неумение работать по-новому за услужливым выполнением всяческих указаний. Он из тех деятелей, которые испытывают вроде бы противоречивую склонность к «волевым» методам руководства и — одновременно — к самоуничтожению («Оставь нас без привязи, так мы тут накуролесим... кто в лес, кто по дрова»). При этом позиция Балыкова отнюдь не определяется исключительно личными чертами героя. В свое время Ю. Кузьменко в книге «Советская литература вчера, сегодня, завтра», анализируя пьесу А. Гельмана «Премия», обратил внимание на объективные причины формирования такого типа руководителя, как начальник строительного треста Батарцев. Критик говорил о беде Павла Емельяновича Батарцева, хотя «Премия», казалось бы, утверждала его вину. Но пронизательно заметил Ю. Кузьменко: «эта беда имеет одно коварное свойство: способность теснейшим образом переплетаться с виной, надежно укрывать ее в своей густой тени».

Беда Балыкова, в сущности, та же, что и Вершинина: давление формализма, администрирования (и в «Березовских ориентирах» довольно выразительно показаны демагогические уловки и бюрократические хитрости некоторых горе-руководителей, живучесть мертвой цифры). Но если Вершинин стремится преодолеть эти губительные для общественного интереса обстоя-

тельства, то Балыков предпочитает идти в их, так сказать, фарватере. Цель Вершинина — дело, цель Балыкова — любой ценой остаться «на плаву», по-прежнему укрываться в «густой тени» объективных обстоятельств...

При этом в романе Л. Иванова трудно заметить, что образ Балыкова — при всей жизненной его основе — все-таки несет определенную дидактическую упрощенность. Вообще дидактизм, назидательность автора оборачивается и графической простотой иных персонажей и их расстановкой, выражаемой даже классицистической многозначительностью фамилий героев: толковый, умнейший директор совхоза — Вершинин; молодой, но дельный главный агроном — Голованов; прохиндей журналист — Дунькин; опять же Балыков, умеющий не только подать себя «передовиком», но и мастерски обхаживать приезжих нужных людей, устраивать их «с питанием и всяким обслуживанием».

С первым своим романом выступил и известный публицист Петр Ребрин. Называется он «Родион и Степанида». И здесь произошло своеобразное пересечение идей деревенской прозы, обращенной к человеческой душе, с органическим интересом к реальностям именно сегодняшнего села, внимание к «вечным» этическим ценностям дополнено изображением человека жизненной практики.

Жизнь Степаниды, еще совсем молодой женщины, — несладкая, да и не очень праведная. Сначала ей не повезло с Костькой Брынцевым, который через год бросил ее, тайком уехал. Потом на рыбалке утонул муж — Виктор Молодцов. И вот сошлась она тайком с соседским парнем Тихоном, Тишкой. Мучает ее эта «срамная» связь, эта «любовь украдкой, ополоски на душе».

Нет, она не ангел, Степанида. Она способна испытать вспышку ненависти к слабой, безобидной, в сущности, но раздражающей вечным оханьем, ожиданием несчастья свекрови. На нее нападает порой душевная усталость, и тогда ей кажется, что нет никакой другой правды кроме — «неси свою тяжесть, волокни из последних, до конца, что на тебя возложено». В Степаниде нет наивности, она умеет быть трезвой и зрячей («Подумала: велика ли деревня, а чего не навидишься, все разные какие, одни мучаются, другим — все скользком»). Но истинная натура ее не в этих больших и маленьких слабостях, а в обостренной совестливости, в безошибочном и безотказном бабьем сердце, в безобманной

доброте. Ощущение необходимости окружающим ее людям — вообще сила и гордость Степаниды. Она и Костьку-то Брынцева полюбила в значительной мере потому, что чувствовала за его «навязчивой приветливостью... растерянность», чувствовала: «Костьку грызет что-то» и «нужна ему... душа чья-то рядом». И в чувстве к Тихону много этой безоглядной и нерасчетливой женской жалости: «не ребенок, а поребятчи к людям льнет», «вести за руку надо».

Именно Степанида становится существенным нравственным ориентиром и для Родиона; не сразу, не вдруг, но вносит она поправку в мироощущение и миропонимание героя. Он не без гордости относит себя к «делателям», к людям, обеспечивающим реальный прогресс. Движимый честолюбивыми намерениями «деятеля», Родион Мальшев едет в село Липовый Кут на должность бригадира тракторной бригады. Непросто складываются обстоятельства на новом месте. Почти сразу возникает и нарастает конфликт с Кубякиным, возглавляющим отделение колхоза, человеком властным, жестким, любившим «ломать чужую волю». Для Родиона в новом колхозе «многое... было чужим и непонятным: и неряшливо обработанные края полей, и мелкая вспаха, и оставшиеся с прошлого года невыкошенные травы... и щелястый вагончик, и ночующие во дворах тракторы, и трактористы, друг на друга злые».

Вот что намерен одолеть Родион. Вот что мешает воплотиться горделивым замыслом молодого бригадира. И он поначалу чувствует себя едва ли не союзником Кубякина, сетующего на то, что «законы слабы», надо бы их «подтянуть».

Потом приходит понимание, что все разглагольствования Кубякина о порядке, о «подтягивании» законов преследуют элементарно шкурный интерес. Но разве не оказался сродни Кубякину и Родион со своим взыгравшим честолюбием, которое на какой-то миг застило бригадиру и живых людей, и — в известной мере — действительное беспокойство об общественном деле? Причисляя себя к «делателям», свысока относясь к бескомпромиссной правде Степаниды и ей подобных, принимая на вооружение во имя дела ложь и компромисс, Родион утрачивает живую душу своего дела.

Ему придется немало перенести, пережить, чтобы с особой ясностью осознать силу человека, столь не похожего на него, — Степаниды. Понять, что «она вроде бы нужна людям не по должности, а по

сердцу». Мысль в романе, обретающая чуть ли не символическое значение. По крайней мере, Родион не случайно приходит к ней: «Это вот... и есть то, ради чего жить-то стоит. А остальное придет — и урожай и удои».

Наверное, можно упрекнуть его суждение в упрощающей категоричности, если исходить из представлений о реальном механизме хозяйствования. Но в глубинной нравственной сути оно верно: общественное дело тогда живо, когда оно исходит из человеческого, на благо человека направленного интереса. В утверждении этого — сильная сторона романа. Слабость же его в известной бедности, эскизной сухости собственно художественных решений. Автору недостает пластического мастерства. Отсюда описательность многих страниц, абстрактность иных коллизий и необедительность их развязки. Некто Лосев, к примеру, вроде бы достаточно серьезно заявлен приведенными в романе фактами: «лет двенадцать тому назад» Кубякин «сломав ему хребтину», почти вместе с Родионом герой вновь появляется в Липовом Куте, а в финале романа даже становится зампредколхоза. Это, по сути, почти все, что сказано о Лосеве; образ и судьба сведены к схеме.

Чтобы обнаружить действительный драматизм жизненного конфликта, подлинную меру вины и правды людей, нужно основательное, «плотное» изображение и этих людей и обстоятельств их деятельности. В романе же, увы, много художественной риторики: жизнь души туг часто подменяется разговорами о душе, показ обстоятельств — информацией об обстоятельствах, анализ проблемы — изложением ее. В романе, следует отметить, нет стержневой коллизии, судьбы Родиона и Степаниды в основном даны параллельно. Недостаток действия компенсируется обильными и обстоятельными диалогами персонажей, к сожалению, мало восполняющими нехватку художественно зримых жизненных реалий. Все это существенно «вредит» роману П. Брзина. Но — не будем этого забывать — роману, который решительно повернулся к современной деревне...

Черты нового взгляда на жизнь деревни можно найти и в произведениях традиционной, что ли, деревенской прозы. Например, в повести Бориса Рябова «Деревенька» (журнал «Север»). Характер элегического тона здесь уже явно иной. Чувства оставшегося одиноким в родной деревне старика Федора лишены какой-либо мировоззренческой патетики. Его печаль житейски

трезва и конкретна. Отказываясь от предложения председателя колхоза переехать в Низино, на центральную усадьбу, Федор думал и о том, что «дом старый, тронь — половину бревен выбросишь, а каждый венец, подгнившая колода, мелочь любая немалых денег потребуют: в своих руках силы нет, чужими придется делать». И о том, что «не строятся в те годы, когда о другой домовине думать приходится, о последней». И предложение сына перебраться к нему в город встречает сомнениями: легко ли ухаживать за стариком, привить его со всеми деревенскими привычками, — «а переучиваться поздно». Но крепче всего держат в Подболотье даже не эти житейские соображения, а просто укорененность в эту жизнь с ее заботами о покосах и дровах на зиму; с ее особыми радостями — купанием в задымленной деревянной бане, вольной охотой, неторопливым шагом времени по этим вот тропинкам, по жнивьям, берегам размашисто петляющей речки; а главное, с его, Федора, личной и неодолимой памятью о детстве и молодости, о возвращении поздним летним вечером сорок пятого, когда туго переплелись радость и печаль: «мягкие, теплые, пахнущие коровой» руки Агнии и — «деревня, поредевшая за годы войны, как рота после атаки»...

Отказываясь от «онтологических» претензий, Б. Рябов дает в своей реалистически точной повести несколько многозначительных сцен, уточняющих и пафос произведения в целом и умонастроение героя. Это — стычка подростков с хамом и пьяницей Митгыкой, проехавшим на тракторе по молодым кедрам. («...кедровую рощу посадили в год открытия школы: каждый ученик — по деревцу». «Еще одной ниточкой привяжу ребят к деревне, — говорил о роще Николай Васильевич», председатель колхоза.) Это пуск пилорамы, добытой энтузиазмом того же Николая Васильевича. И Федор, пришедший просить машину (решился-таки ехать к сыну), «увидел председателя по-новому, как «человека, который видит будущее колхоза и делает его цепко и уверенно». И когда «вышли из сарая, Федор протянул председателю связку ключей». От родной деревни...

Во многом близка «Деревеньке» и повесть Юрия Убогого «Слепой дождь» (журнал «Подъем»). Здесь тоже отражен сдвиг общественного сознания по отношению к деревне. Отражен в рамках вроде бы расхожего конфликта. Главный герой, Сергей, вернувшись из армии, тут же рвется в город, на стройку. Его уговаривают остаться — и директор совхоза, и родные, и мо-

лодая жена Вера, друзья. Но Сергей, отчасти вопреки собственному тайному настрою (что уже примечательно), упрямо гнет свое, потому что с городом для него изначально связано представление о свободе, о чувстве достоинства и полноценности. Так ему с детства втемяшилось: здесь, в деревне, остаются люди второго сорта, неудачники, а удача, реализация себя возможны лишь с уходом из деревни.

Однако попав на машинный двор совхоза, где шли последние приготовления перед началом уборки, и механизаторы «возились около своих машин с озабоченным и оживленным видом», Сергей «почувствовал, что... успел соскучиться по всему этому: по металлу, по запаху бензина и выхлопных газов, по треску, гулу, урчанию моторов... Ему вдруг захотелось работать — и вне всяких соображений о выгоде, зарплатке, и это определенное, как голод, желание даже смutilo его».

Чуть ли не на четвертый день после свадьбы Сергей и Вера пошли работать вдвоем на комбайн. И странички, рассказывающие о жатве, — светлы и достоверны.

Сергей уезжает-таки в город, но, побуждаемый Верой, директором, — пока на несколько дней, на разведку. Однако счастливо прожитые дни страды и подспудно живущая в Сергее любовь, сродненность, духовная совместимость с новой, сегодняшней деревней оставляют надежду: он вернется. По крайней мере, внутренне он на пути к этому...

Следующий шаг от традиционного конфликта сделан в повести чувашского писателя Анатолия Емельянова «Черные грузди» (журнал «Октябрь»). На первых же страницах молодой колхозник тоже уезжает в город, но — поневоле: гонимый стыдом и спасаясь от надвигающейся расплаты (он справедливо подозревается в краже колхозного зерна, потому уволен из шоферов). Но в центре повествования не он, а его отец, Семен Ильич Крыслов, человек, не испытывающий никаких комплексов неполноценности перед городом; скорее уж наоборот: хорошо, сытно жил Семен Ильич, и основой этого были поросята, которых выращивал и сбывал на городском рынке наш герой. Повесть «Черные грузди» о том, как «жизнь, центром которой был Семен Ильич Крыслов, жизнь, казавшаяся такой крепкой и надежной, за какие-то три-четыре дня распалась, разрушилась...». Вслед за уходом Коли сам Семен Ильич попал в аварию со своим автомобилем. Сравнительно дешево при этом отделавшись (поломка «Жигу-

лей» и ключицы), Крыслов вскоре был избит неким Ларионом уже до полусмерти. По пьяному делу. Пьяному и алчному: Семен Ильич не захотел поделиться золотыми червонцами, которые были найдены плотниками, перестраивавшими под началом Лариона крысловскую баньку. В больнице настигает его еще один удар: смерть жены Урине, — внезапная и в то же время не удивляющая: существование, на которое обреч Урине Семен Ильич («Ты как скотница у него на домашней ферме...» — сказал перед отъездом Коля), лишила ее всякого интереса к жизни, она давно, тихо, но все безнадежнее попивала...

Повесть «Черные грузди» — вещь не простая. В ней немало художественной чересполосицы; явно недостает тонкости переходов в характеристиках состояний героев, психологической нюансировки; автор частенько срывается в безоговорочное и достаточно прямолинейное осуждение своего героя (вроде: «одно на уме: деньги, деньги, деньги»), но в конечном счете судьба и характер Семена Ильича оказываются неоднозначными (что, пожалуй, можно сказать и о большинстве других образов). Перед нами не история примитивного стяжателя, а трагедия человека, чьи способности получили однобокое, даже извращенное применение. Крыслов даровит и разносторонне сметлив: он прекрасный печник, его кормушки для свиней — настоящее изобретение, его свиноматку «Адмирал Нельсон» в пору на сельхозвыставку посылать. Но вся бурная деятельность Крылова сфокусирована на наживу, на алчный частный интерес. И все же автор видит возможности и другого пути для героя. Председатель колхоза Федор Кузьмич, который нет-нет да и подставлял ножку Крылову, довольно трезво оценивает его: «В том, что его жизнь сложилась именно так, не я ли виноват? По характеру, по уму, по житейской хватке ему бы большими делами ворочать. Как ни говори, а ведь он по природе настоящий хозяин, организатор, он бы, может, председателем был получше меня, а мы его, видишь ли, на селяку...»

История Крылова примечательна не только драмой несбывшейся жизни. Здесь есть проблема, волнующая, как уже выяснилось, и публицистику и собственно художественную литературу: социальное лицо хозяина подворья, столь непростое для оценок. (Вспомним вызвавшего широкую полемику близкого Крылову героя рассказа Б. Екимова «Холюшино подворье». Или Петра Блинова в романе А. Иванова «Бере-

зовские ориентиры». Или Игната Андреевича Косогова у А. Стреляного. С одной стороны, эти люди вроде бы пользу приносят, олицетворяют собой трудолюбие, есть у них чувство хозяина, с другой — собственники они, никуда не денешься.) Маятник этих сомнений явствен и в повести А. Емельянова. Тот же председатель Федор Кузьмич видит в Крыслове опасный пример для подражания: «Хочешь ты или нет, но ты действуешь против колхоза... Вот каждый и соображает: чем я хуже Крыслова?» Но не лишены правды и слова Крыслова в свою защиту: «Вот вы укоряете мою жену за то, что она не работает в колхозе. А она выращивает и дает государству тонну мяса в год. А вот вы попробуйте заставить своих жен так поработать, и тогда мы с вами потолкуем, легкий это труд или тяжелый». Смерть Урине дает своеобразный ответ на последний вопрос и не вполне в пользу Крыслова. Но спор все-таки далеко не разрешен. Он так и остался на стадии определения позиции «сторон», не пошел вглубь, далее утилитарных аргументов, хотя в зародыше и содержит сложные социально-психологические проблемы.

Впрочем, в нашем случае важен сам факт постановки вопроса, выход писателя к конфликтам, порожденным реальными факторами сельской жизни. Не будучи в понимании этих конфликтов оригинальной, повесть А. Емельянова, тем не менее, еще раз подтвердила внутреннюю потребность литературы разобраться в назревших коллизиях современности...

Данная статья — меньше всего обзор произведений о деревне. Она не претендует и на анализ всех возможных аспектов темы, например, на исследование эволюции творчества ведущих представителей деревенской прозы, хотя бы Валентина Распутина, о котором один из критиков недавно писал: «Ему мало набранной высоты, он жаждет ощутить вольность полета в свободном пространстве — там, где писатель получает полные права на полную правду о человеке. Он делает усилия для этого взлета, но голос ломается, голос не поспекает за рывком души, голос откликается на ее зов то ясно, то смутно».

Статья не вдается и в характеристику творчества многих наиболее талантливых (то бишь творчески самостоятельных) молодых писателей, которых можно считать в той или иной мере преемниками деревенщиков. В их числе Петр Краснов.

Опыт жизни, опыт детства и юности у этого прозаика явно деревенский. Но его конкретно-нравственный поиск отнюдь не совпадает с традиционным поиском деревенской литературы. И это тоже по-своему свидетельство исчерпанности «корневых» идей деревенской прозы, свидетельство ее идейно-художественной эволюции.

Прежде всего я попытался выявить и по мере сил поддержать объективное движение деревенской прозы, отвечающее потребностям самой жизни. Всем памятен упрек в идеализации патриархальщины, прозвучавший на июньском (1983) Пленуме ЦК КПСС. В постановлении Центрального Комитета партии «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства» прямо сказано: «Перестройка сельского хозяйства на основе ускоренного внедрения достижений науки и передового опыта обязывает литераторов сосредоточиться на художественном освоении реальностей, связанных с созданием новых условий производства и быта на селе. Литература может многое сделать для воспитания у молодежи любви к земле, к природе, к сельскому труду». И весьма отрадно, что в прозе, посвященной деревне, все отчетливее набирают силу тенденции глубинного интереса именно к ее, деревни, новии...

Жизнь села продолжается. Искусство может «отлетать» далеко от земли, от прозы насущных, конкретных забот, но живо-то оно токами, идущими от земли. И, подлинное, оно к ней возвращается. По сути, об этом хорошо сказал Василий Белов в своей статье в «Правде»: «Известно, если в доме долго не живут, он погибает. Жилой дом не боится старости, он служит людям много десятилетий. Но стоит оставить его на два-три года, и он умирает... Есть в этом нечто символичное. То же самое можно сказать и о земле. Правда, земля не умирает, она просто глохнет, дичает. И нужно немало усилий, чтобы вернуть ей живой и прекрасный облик».

«Время строить» — назвал свои записки Ю. Галкин. Всякая стройка требует точного конструктивного расчета, трезвого понимания потребностей и возможностей, целесообразной расстановки и организации людей, — другими словами, самого пристального внимания к действительности. И потому не может не радовать набирающий силу пафос литературы, в центре внимания которой люди, живущие на земле, ее труженики, наши современники...

АЛЛА МАРЧЕНКО

★

ПЕРЕЧИТЫВАЯ «МАСКАРАД»

К 170-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

Принято считать, что причиной «бегства» Лермонтова из Москвы (1832) было не оформленное официально исключение из университета. «Дерзкие ответы реакционным профессорам восстановили против него университетское начальство. Вскоре Лермонтову посоветовали подать заявление об увольнении» (В. Мануйлов, «М. Ю. Лермонтов»).

Более тонким, однако, представляется объяснение, идущее от одного из ближайших друзей поэта — Николая Поливанова. Его сын В. Н. Поливанов, ссылаясь на мнение отца, утверждает: «...факт исключения Лермонтова из университета ему (Н. Поливанову.— А. М.) казался сомнительным. При господствовавшей тогда строгости в военно-учебных заведениях вряд ли мог бы «исключенный» из высшего учебного заведения быть беспрепятственно принят в школу гвардейских юнкеров. Переход же Лермонтова совершился без всяких затруднений... В выборе им новой дороги не следует видеть никакого следствия горькой необходимости. Правда, что если университетская история и не имела для него таких серьезных последствий, как формальное исключение, то за ней... следует признать окончательное влияние на решение его поступить в военную службу... Путь этот всего скорее мог удовлетворить самолюбивый характер поэта и доставить ему обширное поле сильных ощущений, чего давно жаждала его страстная и подвижная натура». В. Н. Поливанов цитирует далее выдержку из письма поэта к С. Бахметевой: «...тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит». («Ничтожный» в данном контексте — обыкновенный.)

Путь из ничтожества был известен. День его дня мужавший талант, подхлестываемый

нетерпением сердца, возбуждаемый не прекращающейся ни на минуту работой ума, требовал событий, действия, движения, перемен, напряжения душевных сил, страстей, словом, тех новых вдохновений, какие московская устоявшаяся жизнь дать не могла. Нежно любимая Москва обрекала на вдохновения кабинетного свойства. Но кабинетный способ постижения жизни Лермонтова не устраивал, так же как теоретические устремления, разлученные с действительностью. В системе его мышления имели цену те идеи, что были рождены страстью («Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии», — именно так будет потом сказано в «Герое нашего времени»). Надо было срочно менять судьбу или, как он выразится в «Княгине Лиговской», «дать новое направление своей жизни». О внутреннем состоянии Лермонтова перед решительным шагом мы можем судить и по несомненно автобиографическому фрагменту из «Вадима»: «...его душа еще не жила настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность».

Нет, нет, Петербург вовсе не был городом лермонтовской мечты. Воспетое Пушкиным великолепие не тронуло убежденного москвича.

«Увы! как скучен этот город, с своим туманом и водой!.. Куда ни взглянешь, красный ворот, как шип, торчит перед тобой...»

«Видел я образчики здешнего общества... все вместе они производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями».

И тем не менее под ледяной коркой официозной пристойности пульсирует первоток

столичной жизни, может быть, пошлой, но напряженно-лихорадочной, а значит, дающей внимательному наблюдателю множество материала для раздумий; жизни бездушной, эгоистичной, жестокой, но остро, горячечно современной. В этом Лермонтов убедился, как только гусарский мундир освободил его от короткого — длиной в увольнительную — повода!

4 декабря 1834 года, после двух «страшных» юнкерских лет, Михаил Лермонтов наконец-то получил вольную. Итак, он корнет лейб-гвардии Гусарского полка.

Не представившись полковому начальству (в Царское Село, где был расквартирован лейб-гвардии Гусарский, Лермонтов явится только к 13 декабря), новопроизведенный кинулся сломя голову на свой первый петербургский бал. За первым последовал второй, а за вторым — третий. Надвигались рождество, святки, Новый год — «зимних праздников блестящие тревоги»; маскарадный сезон был в разгаре.

Пять месяцев гусарской воли резко изменили представление Лермонтова о петербургском обществе как о тесном и простом французском саде, где исследователю современных нравов нечего делать: «Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволнованну сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнью, только бы достать ключ самой незамысловатой, по-видимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая, потому что все для нас в мире тайна». Признание из отрывка «Я хочу рассказать вам явно автобиографическое...

Уже после смерти поэта, в 1843 году, его старший друг и наставник, автор знаменитых «Русских ночей» В. Ф. Одоевский, напечатал «Психологические заметки», где среди прочих соображений есть и такое:

«...под каким условием поэзия, или искусство, могут существовать в наше время? Человек не верит и поэзии; вымысла для него недостаточно; «Илиада» ему скучна; он требует от поэзии... существенности, словом, науки; ныне поэзия, чтобы достигнуть своей цели — пробудить сочувствие в душе человека, должна встречать человека у порога его дома, заговорить с ним о его домашних горестях, о средствах поправить семейные обстоятельства, о том, что его окружает, — словом, о его индивидуальном счастье; для сего поэт должен знать все подробности человеческой жизни, начиная

от познаний ума до последней физической нужды! Словом, поэзия должна... обнимать целый мир не в умозрении только, но в действительности: это инстинктуально понимают поэты нашего времени...»

Владимир Федорович Одоевский, князь и Рюрикович по отцу и мужик по матери, был удивительным человеком. Его считали мистиком, а он был одержим жаждой положительного знания. Знания эти «странный» князь трансформировал в оригинальнейшие, для современников большей частью непонятные идеи. Беллетрист, музыковед, химик, философ, русский Фауст, он был к тому же прирожденным журналистом: это, в частности, его кропотливому «чернорабочему» труду обязаны «Отечественные записки» своим успехом. Тут был и дар, но была и выучка: как-никак, а Владимир Федорович окончил, и притом с «золотом», Московский университетский благородный пансион; там и «заболел» мыслью возвысить русскую журналистику. По-редакторски, с учетом реального спроса, смотрел он и на текущую литературу. Лермонтова Одоевский заметил сразу, мгновенно оценив его авторский потенциал, и намертво «привязал» к журналу. Ведь Лермонтов, как практик, был блестящим подтверждением задушевной мысли теоретика Одоевского — поэтом, кто инстинктуально чувствовал необходимость объять целый мир не в умозрении только...

Для этого ему не нужно было годами накапливать опыт: он схватывал сущность явления или человека мгновенно — «в краткий миг».

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, течение века
Объемлет в краткий миг оно.

Дар предощущения истины был развит у Лермонтова до чрезвычайности. Ю. Самарин, например, будучи сам человеком весьма наблюдательным, феноменальным лермонтовский способ постижения сути отметил прежде всего: «Это в высшей степени артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей неутомимой наблюдательности... Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял: ничто не ускользает от него... я чувствовал, что он наделен большой пронизательной силой и читает в моем уме... Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами...» Свойство это — не поддающаяся внешнему влиянию неутомимая наблюдательность — было врожденным и обнаружилось очень рано. Недаром юношеской дра-

ме Лермонтова «Странный человек», драматизированному опыту самопознания, предпослан эпиграф из Байрона: «...меланхолический взгляд — страшный дар; не телескоп ли он, в который рассматривают истину».

«Маскарад», над которым Лермонтов начал работать, видимо, весной 1835 года, был первой попыткой разгадать тайну Петербурга — рокового города, где течение «блестящего, но ничтожного» века, плавно-державное на поверхности, образовывало множество опасных, невидимых простому глазу водоворотов; первым взрослым опытом творческого постижения жизни, а также первой вещью, которую Лермонтов готов был открыть свету. В отличие от пробных юношеских драм, петербургская «комедия» предназначалась для профессиональной сцены. Подразумевался и определенный театр — Александрийский, и вряд ли это было случайностью. «Александринка», или «Кабачок», в отличие от прочих столичных театров, была общедоступной. По утверждению современника, страстного театрала, она «соединяла все кружки», сюда «охотно ездили офицеры, и аристократы, и пьяная артель». В расчете на все кружки, а не только на узкий круг любителей российской изящной словесности, создавался и «Маскарад» — «комедия, вроде «Горя от ума», резкая критика на современные нравы».

После выхода «Стихотворений М. Лермонтова» (1840) В. Белинский писал: «И мы видим уже начало истинного (не шуточного) примирения всех вкусов и всех литературных партий над сочинениями Лермонтова, — и уже недалеко то время, когда имя его в литературе делается народным именем».

Если бы Лермонтову удалось протащить свой общедоступный «Маскарад» сквозь рогажки театральной цензуры... Если бы нашелся среди театральных деятелей той поры человек, который сумел бы поставить его так, чтобы весь «Кабачок» оценил простой язык этой вроде бы светской хроники.. Ибо начало — тут. В «Маскараде». И пять редакций его — не просто пять разных вариантов одного сюжета, но еще и пять этапов творческого постижения истины — ведь «на дне одной есть уж, верно, другая...», пять спринтерских бросков погоны за образом совершенства, за сильной мыслью и простым ее выражением, сквозь ложь мишуры, к «полному обладанию им самим собою», к «осознанию своих сил» (Е. Ростопчина), к «безбрежной свободе» и «блеску власти», высшей власти: творца над материалом...

Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум...

В нашем нынешнем представлении Лермонтов — прежде всего поэт и прозаик. «Маскараду» не суждено было сыграть заметной роли в истории русской драматургии. Он так и остался пьесой второго плана, уступив пальму первенства «Горю от ума» и «Ревизору». Но тогда, весной 1835-го, раскладка была иной. Уверенней всего Лермонтов чувствовал себя именно в драматургии. Роман не складывался («...мой роман — сплошное отчаяние»). Лучшая из кавказских поэм — «Хаджи Абрек» — сенсации не произвела. Уже в этой не замеченной публикой поэме внимательный читатель мог бы почувствовать нечто специфически лермонтовское. Своеобразный «склад... никому иному не принадлежащий», «особенность... производящую сильное впечатление» (Огарев). И все-таки в целом «Хаджи Абрек» мало чем отличался от обычной для русской литературы того времени кавказской поэмы. В сущности, то был, если угодно, переложенный звучными и картинными стихами Бестужев-Марлинский. Не должны мы забывать и о том, что в мире театра Лермонтов практически не имел сильных соперников. Большая русская драматургия только-только начиналась. Грибоедов погиб. Пушкин писал «Маленькие трагедии» не для сцены. Гоголь еще не знал, что скоро станет автором бессмертного «Ревизора». Репертуар создавали греки и каратыгины — авторы однодневок. Переводные пьесы по своим художественным качествам были не лучше отечественных.

Словом, в 1835 году «вакансия» первого драматического поэта была пуста, и Лермонтов в своих стратегических планах это, по-видимому, учитывал. К тому же автор и сам обладал актерским даром, и когда современники, вспоминая о нем, пишут: «В высшей степени артистическая натура», — это отнюдь не метафора. Лермонтов, например, не рассказывал, а играл анекдоты. Не пел, как все, а играл Михаил Юрьевич и романсы — говорил их речитативом. Столь необычную для исполнительской практики той поры манеру можно объяснить отсутствием певческого голоса, но голос у Лермонтова был, и притом обработанный правильными занятиями с педагогами. В одном из писем близкий друг поэта А. М. Верещагина спрашивает: «А ваша музыка? Играете ли вы по-прежнему увертюру «Немой из Портичи», поете ли вы дуэт из «Семирамиды»... поете ли вы его

как раньше во все горло и до потери дыхания?» Уж если Лермонтов мог петь дуэт из оперы Россини, то сумел бы и романсы исполнить — во весь голос. Однако не делал этого. Романсы в его представлении были новеллами или даже маленькими романами, и их следовало не петь, а играть. С учетом именно этой манеры исполнения — речитатив под гитару — написаны и собственные романы-романсы Лермонтова: «Воздушный корабль», «Тамара», «Свиданье»...

Страсть к театру была следственной. Огромный крепостной театр содержал Алексей Емельянович Столыпин, отец бабушки поэта. А. М. Тургенев вспоминает: «Приехал в Москву симбирский дворянин Алексей Емельянович Столыпин, себя и дочерей своих показать... у дворянина был, из доморощенных парней и девок, домовый театр — знатная потеха. Каждую неделю доморощенная и организованная труппа... ломала, потехи ради Алексея Емельяновича и всей почтеннейшей ассамблеи — трагедию, оперу, комедь и, сказать правду, без ласкательства, комедь ломали превосходно».

Столыпинская потеха была действительно знатной. Дотошный А. Т. Болотов, писатель и ученый, удостоверяет: «В Москве, около сего времени (речь идет о последних годах XVIII века.— А. М.), было 15 театров, из коих только один был большой, всенародный, а прочие все приватные, в домах. Многие из богатых щеголяли и проматывались на них. Славнее всех был... театр графа Шереметева; после него — князя Волконского, там — Столыпина...»

В том, что богачам-аристократам Шереметьеву да Волконскому взбрела на ум идея «театр домашний сочинять» — ничего удивительного нет, это были люди образованные, и притом на европейский манер. Алексей же Емельянович «нигде ничему не учился, о Мольере и Расине не слыхивал» и «в театральном искусстве не знал ни уха, ни рыла» (А. М. Тургенев). И тем не менее привезенная из глухой провинции доморощенная потеха успешно выдержала конкуренцию с московскими приватными театрами. Каким образом это произошло — «кто у Столыпинских актеров выломал» — осталось для современников совершеннейшей загадкой, однако отбоя от зрителей не было. А. М. Тургенев: «Помню, почтенная публика тогда жаловала пьесу «Нину, или От любви сумасшедшую...»

Столыпинский театр был домашним в буквальном смысле слова: его строили всем домом, и сугубо по-столыпински, то есть хозяйственно, благообразно, не входя в

лишние расходы. Костюмы для цариц и княжон перешивались «из реброн» барышень, дочерей Столыпина, и, видимо, ле без их участия; искусными вышивальщицами были все сестры Столыпины, а особенно старшая, Елизавета. За мужской «амуницией» на первой неделе поста хозяин отправлял в Москву, на толкучий рынок, смекалистого приказчика, который скупал у торговков разные платья, приобретенные по дешевке у промотавшихся в сырную неделю «щегольков».

Боярышни не только рукодельничали, но и играли в батюшкином «феатре», благо природа наделила соответствующими данными: «бюст возвышенный... на твердом массивном пьедестале» (А. М. Тургенев). Неудивительно, что при такой экономной, сообразно с благоразумием, постановке театрального дела Столыпин в отличие от «больших бояр» не промотался на своей потехе, а выгодно сбыл ее в казну; когда открылся Малый театр, «выломанные» в степном захолустье парни и девки составили костяк его первой труппы.

Словом, у дочерей Столыпина была театральная молодость, и надо думать, сестры, собираясь вместе, любили о ней вспоминать. И кто знает, не воспоминаниям ли бабушки о московском успехе гвоздевого спектакля симбирского доморощенного театра — «Нина, или От любви сумасшедшая» — обязана Настасья Павловна Арбенкина своим домашним именем — Нина? А то, что Елизавета Алексеевна сочла необходимым при первой же возможности показать маленькому внуку настоящий театр и настоящую оперу — «Невидимку», наверняка не случайность. Реакция ребенка оказалась столь острой, что ее не изгладили восемь долгих тархановских лет: «Невидимка» — первое развлечение, какое позволил себе тринадцатилетний Лермонтов, привезенный в Москву на ученье. С этой — второй — «Невидимки» и началось увлечение театром марионеток, для которого Мишель стал сочинять маленькие пьесы. До этого никакой склонности к литературным занятиям в нем не замечали...

Да и родной дед поэта — Арсеньев, в честь которого Лермонтова нарекли Михайлом и сходство с которым не отрицала даже Елизавета Алексеевна («... нрав его и свойства совершенно Михаила Васильича»), любил, как уверяют очевидцы, устраивать театрализованные «удовольствия». Даже в самоубийстве его в разгар новогоднего маскарада есть что-то театральное. Влюбившись в молоденькую соседку по имени, сорокадвулетний Арсеньев покончил с со-

бой. Вот какой запомнилась ночь с 1 на 2 января 1810 года гостям господ Арсеньевых: «Елка и маскарад были в этот момент в полном разгаре, и Михаил Васильевич был уже в костюме и маске; он сел в кресло и посадил с собой рядом по одну сторону жену свою Елизавету Алексеевну, а по другую несовершеннолетнюю дочь Машеньку и начал им говорить как бы притчами: «Ну, любезная моя Лизанька, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь сироткой». Они хотя и выслушали эти слова среди маскарадного шума, однако серьезного значения им не придали... Но предсказание вскоре не замедлило исполниться. После произнесения этих слов Михаил Васильевич вышел из залы в соседнюю комнату, достал из шкафа пузырек с каким-то зелием и выпил его залпом, после чего тотчас же упал на пол без чувств и из рта у него появилась обильная пена, произошед между всеми страшный переполох, и гости поспешили сию же минуту разбегаться по домам».

Арбенин дает Нине на балу яд. Арсеньев выпивает яд в разгар маскарада. «Яд» и «маскарад» зарифмовала сама жизнь за четыре с лишним года до рождения автора «Маскарада».

В отрывке «Я хочу рассказать вам» Лермонтов писал: «Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не открывает, а они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам». Думаю, мы не погрешим против истины, если отнесем к такого рода событиям не только действительное происшествие, имевшее место в селе Тарханы в ночь с 1 на 2 января 1810 года...

Безумная любовь Елизаветы Алексеевны к внуку, удесятеренная страхом за его здоровье, поруккой тому, что она постаралась скрыть от впечатлительного ребенка ужасные обстоятельства, приведшие к трагическому разладу в семье ее дочери — Марии Михайловны. Однако шила в мешке не утаишь, тем более что виновник трагедии, Юрий Петрович Лермонтов, продолжал жить и здравствовать и надо было как-то объяснить внуку, почему она, Елизавета Алексеевна Арсеньева, рискуя репутацией женщины замечательной по уму и любезности, с отнюдь не снисходительной суровостью противится встречам Мишеля с обожаемым им отцом. Короче, рано или поздно, но подросток должен был догадаться об истине. А истина состояла в том, что милая его бабушка была уверена: Юрий Петрович — убийца его матери, скончавшейся

от мучительного (арбенинского!) недуга — глухой ревности и оскорбленной, униженной любви.

Во всяком случае, смерть Марии Михайловны была столь скоропостижной, что ее многочисленные двоюродные сестрицы с не меньшим недоумением, чем родственницы Нины Арбениной, могли спрашивать у тетушек и мамаш: «...какая же причина тому, что умерла кузина?» Трудно допустить, чтобы тот же вопрос, пусть не столь прямо, хоть раз в жизни не задал своему отцу и Михаил Юрьевич. Но об этом, равно как и о том, что ответил сыну Юрий Петрович, Лермонтов умолчал; подобный разговор, если он и состоялся, как раз из тех событий, которые никогда никому не открывают. Но это в жизни... А в творчестве они-то и являются источником беспокойного любопытства, дающего направление исследовательской мысли. Словом, «ужась» (ревность, яд, смерть), которые показались благополучному Ольдекопу, цензурировавшему «Маскарад», перелицовкой с французского, для Лермонтова были не просто реальностью, но той самой реальностью, что наложила «роковую печать» и на его душу, и на его характер.

Разумеется, все это только импульс, и притом тайно действующий. И плоть, и движение, и силу дала «Маскараду» та самая «сущность», на которую Лермонтов с жадностью накинудся после юнкерского полумонастыря...

Полемизируя с Булгариним, В. Ф. Одоевский писал в 1833 году: «Из слухового окошка, а иногда — извините — из передней вы смотрите в гостиную; из нее доходит до вас невнятный говор, шарканье, фразы, лорнетты, поклоны, лютры — и только... Нет, господа, вы не знаете общества! вы не знаете его важной части — гостинных!.. О! если бы вы положили руку на истинную рану гостинных, — не холодный бы смех вас встретил; вы бы грустно замолкли, или бы от мраморных стен понесся плач и скрежет зубов!»

Лермонтов в «Маскараде» сделал именно это: положил руку на истинную рану гостинных. Услышал плач и скрежет зубный.

Мода на роскошь была курьезом николаевского правления, ибо государь мотовства не одобрял и сам в подражание то ли Петру I, то ли Наполеону придерживался нарочитой аскетической скромности. Разумеется, в аскетизме императора всея России был элемент самого вульгарного лицемерия, но, видимо, не без примеси просто-

души. Князь Мещерский рассказывает в воспоминаниях, как Николай I, приглашенный на свадьбу младшего сына Карамзина, Владимира, в качестве посаженного отца, войдя после венчания в дом молодых, был так неприятно удивлен пышностью обстановки, что сказал с явным неодобрением: «Если в передней у вас такая роскошь позолоты, ковров и бархата, то что же будет в гостиной?» Но как бы ни относился сам Николай Павлович «к моде на богатство», императрица обожала роскошь: «чтобы все женщины были красивы и наряжены, как она сама, чтобы на всех было золото, жемчуга, бриллианты, бархат и кружева. Она останавливала свой взгляд... на красивом новом туалете и отвращала огорченные взоры от менее овежего... платья. А взгляд императрицы был законом, и женщины рядились, и мужчины разорялись, а иной раз крали, чтобы наряжать своих жен, а дети росли, мало или плохо воспитанные, потому что родителям не хватало ни времени, ни денег на их воспитание...» (А. Ф. Тютчева, «При дворе двух императоров»).

Умнице Тютчевой (дочери поэта) потребовалось более десяти лет, чтобы поставить диагноз болезни, которой двор заразил петербургское общество. Лермонтов определил петербургский недуг — истинную рану гостинных — куда скорее. Не зная те сферы жизни, где мужья могли красть напрямую, он изобразил особый вид кражи — азартную игру и мир азартных игроков. Закон гласил: «Все азартные игры в карты, на деньги и вещи, запрещены под наказанием, которому подвергаются не только промышленяющие игрою, но и лица, чем-либо способствовавшие запрещенной игре».

Разумеется, это постановление, как и все николаевские законы, нарушалось, и безнаказанно, и не где-нибудь, а в непосредственной близости от постоянного местожительства главного законодателя. Слухи о том, что где-то ведется крупная игра, носились в воздухе и будоражили гостинные обеих столиц. И тогда кто-нибудь из летописцев светской жизни писал: «Много говорят о больших суммах, выигранных и проигранных в карточной игре; уверяют, будто Андрей Р. поплатился 80 тыс., а в городе говорят — 800 т., и будто Сергей Пашков их выиграл: но это басни, не могу их проверить, так как не знаю, где они играют таким образом, но все эти истории будут иметь печальный конец».

Выяснить, где таким образом играют, частным лицам было действительно довольно трудно, но полиция, имея в своем распоряжении расторопных агентов, вроде описан-

ного Лермонтовым в «Маскараде» вездесущего Шприха, прекрасно знала адреса подпольных игорных домов. Знала, но помалкивала, ибо умение держать подобного рода тайны за зубами являлось верным источником «порядочного» дохода, так как семь десятых петербургской мужской «публики» с десяти вечера играли в карты. И дело было не в моде, а в остром недостатке средств к существованию, заставлявшем искать их пополнения в игре. Несколько состояний, составленных таким образом, поддерживали надежды. Но даже и без надежд игра, точнее крупная игра, создавала для постоянного игрока какое-то искусственное богатство — иллюзию богатства...

«Промышленный игрок» в прошлом, лермонтовский Арбенин больше не играет: женился и живет барином, нигде не служа, ничем не занимаясь, желая верить, что может быть счастлив внутри семейного круга. Да и госпожа Арбенина в первых вариантах драмы в отличие от типичных светских женщин хотя и ведет принятый в ее среде образ жизни, но делает это без страсти и увлечения, подчиняясь обычаю, а не внутренней потребности. Во всяком случае именно так оценивают связь семейную ситуацию госпожи и господина Арбенины. Но такова ли она на самом деле?

...В праздный и праздничный вечер супруги, не сговариваясь, оказываются «не в том месте»: Арбенин в игорном доме, а Нина на маскараде у Энгельгардта. Ни постановщики «Маскарада», ни литературоведы обычно не удостаивают вниманием эту деталь, а между тем зрителям, для которых писалась драма, она говорила о многом. И для того чтобы понять реакцию Арбенина, взволнованного тем, что жена поехала на публичный маскарад без его ведома, необходимо знать кое-какие подробности историко-бытового плана.

В 1828 году Энгельгардт, человек богатый и энергичный, купил построенный Расстрелли дворец. Через два года памятник архитектуры превратился в модный доходный дом. В нижнем этаже — роскошные магазины; в следующих трех — квартиры, а в большом зале и в прилегающих к нему апартаментах Энгельгардт стал устраивать платные маскарады. Казалось бы, бессловесность увеселения (у Энгельгардта мог появиться всякий заплативший за входной билет) должна была оттолкнуть особ, принадлежащих к большому свету. Великосветских маскарадов, а значит, и возможностей обрадовать императрицу лицемерием нового туалета, а заодно похвастаться обшир-

востью состояния супруга, действительной или мнимой, и так предостаточно...

Первый публичный маскарад в бывшем растрелиевском дворце состоялся в начале февраля 1830 года, а 13 февраля Дарья Федоровна Фикельмон, жена австрийского посла, приятельница Пушкина и вячука Кутузова, записала в дневнике: «Эти маскарады в моде, потому что там бывает император и великий князь, а дамы общества решились являться туда замаскированными». Публика попроще платила бешеные деньги за вход в надежде взглянуть на членов императорской фамилии вблизи, подышать с ними, как говорится, одним воздухом; великосветских дам к Энгельгардту тянуло другое. Посещения публичных маскарадов были связаны с известной долей риска, но риска приятного, волнующего кровь. Не обычный выезд в свет, а приключение! Одно такое приключение описано в дневнике Фикельмон. Оно дает наглядное представление о том, чем рисковали дамы общества, когда выезжали «без спутников», одни:

«Бал-маскарад в доме Энгельгардта. Императрица захотела туда съездить, но самым секретным образом, и выбрала меня, чтобы ее сопровождать... Я сначала побывала на балу с мамой, через час оттуда уехала и вошла в помещение Зимнего дворца... Там я переменяла маскарадный костюм и снова уехала из дворца вместе с императрицей в наемных санях и под именем m-lle Тимашевой. Царица смеялась как ребенок, а мне было страшно... Когда мы очутились в этой толпе, стало еще хуже — ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы и ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейендорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, был так невнимателен, что совсем ее не узнал и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас же узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокоскина — этот бедный человек очень быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ней чего не случилось. Он не мог угадать, кто же такая эта m-lle Тимашева, слыша, как выкликают ее экипаж. Кокоскин не решился ни последовать за нами, ни приблизиться, так как императрица ему это запретила... Наконец в три часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец и была сама

очень довольна, что освободилась от этой ответственности».

Словом, маскарад у Энгельгардта — не обычный костюмированный бал в узком великосветском и даже полусветском кругу, и у Арбенина все основания быть недовольным женой, решившейся на сомнительный поступок. Ведь для того чтобы осуществить свой план, мадам Арбенина вынуждена прибегнуть к целому ряду хитростей. Во-первых, заказать загодя соответствующее платье (в отличие от мужчин, которым было достаточно полумаски или условно-маскарадного головного убора — «венетциано», женщина не имела права появиться у Энгельгардта в обычном бальном туалете). Во-вторых, опять же заранее уговориться с достаточно надежной наперсницей, поскольку нужен был не только костюм, но и место, где можно было бы переодеться, и притом дважды: до маскарада и после.

Арбенин все вмиг понял, поэтому-то и недоумеает: если Нину тянет в веселый дом на Невском лишь полудетское любопытство, то почему бы в самом деле не попросить мужа проводить ее да и «домой отвезть»? Тревожит не неосторожность, а предосторожности, ей предшествовавшие. Все это и наводит Арбенина на подозрение, что он при всей своей опытности упустил момент, когда из куколки вылупилась бабочка, когда его жена — ребенок, дитя, ангел — превратилась в даму как в се, уже успевшую войти во вкус той относительной свободы, какую предоставлял замужней женщине кодекс большого света, уже втянувшуюся в паркетную войну тщеславий, — превратилась в даму, которая, даже умирая, не забывает спросить у горничной, к лицу ли нынче была одета...

Короче, Нина совсем не случайно оказывается на праздничном увеселении у Энгельгардта, и подозрения Арбенина, даже если вычесть из сюжета как театральную условность пресловутый эмалевый браслет, рождены не мнительностью, а знанием света и человеческого сердца, предчувствием неизбежного конца выдуманного Арбениным «рая». Нине реакция Арбенина кажется несветской, неприличной, но она естественна для человека, у которого из всех земных дел осталось одно: любовь к жене. Но любит ли Арбенин Нину? Вроде бы и сомневаться в этом грех. Однако вот фраза, на которую стоит обратить внимание: «Любить... ты не умел». Такие себялюбцы, как Арбенин и Печорин, любить не умеют, даже если им и кажется, что влюблены до безумия, ибо не умеют жертвовать. Неумение жертвовать — порок, болезнь цело

поколения, об этом Лермонтов скажет и в «Герое...», и в «Думе», но механизм безлюбовной страсти впервые раскрыт в «Маскараде». Вот как его понимает Казарин, играющий по совместительству и роль «отсутствующего автора»:

Ты любишь женщину... ты жертвуешь ей
 Богатством, дружбою и жизнью, ^{честью,} может
 быть;
 Ты окружил ее забавами и лестью,
 Но ей за что тебя благодарить?
 Ты это сделал все из страсти
 И самолюбия, отчасти,—
 Чтоб ею обладать, пожертвовал ты все,
 А не для счастья ее.

Коллизия в принципе та же, что и в «Бэле». Печорин и дружбой, и честью, и жизнью готов пожертвовать для Бэлы, раз уж взбрела ему на ум идея во что бы то ни стало заполучить красавицу княжну. И лишь одно звено оказывается утраченным в длинной цепи предприятий ради обладания женщиной: ни разу не задумался Печорин о том, будет ли счастлива Бэла с ним — человеком, чье сердце навсегда останется для нее загадкой.

Неумение Арбенина любить — не единственная причина происшедшей драмы. И его появление в игорном доме свидетельствует не просто о том, что ему вдруг, как Печорину с Бэлой, стало скучно с Ниной. Не скука выгоняет Арбенина из дому, а неукротимое желание вновь подышать воздухом порочной, но зато свободной от условий света юности! Нине об этом ничего не известно, однако при всей своей инфантильности она все же чувствует: в сердце мужа есть тайник, куда ей вход воспрещен. Да и он сам в конце концов признается: «...какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный».

Видимо, усилиями того же «враждебного духа» Арбенин и оказывается перенесенным из рая в петербургском особняке в подпольный игорный вертеп. Он хочет думать, что это игра случая, но всезнающий Казарин, читающий в душе, судит иначе: «...глядит ягнечком,— а право, тот же зверь... Мне скажут: можно отучиться, натуру победить. Дурак, кто говорит...»

Общезвестно: имена двух героев «Маскарада» — Звездич, Штраль — заимствованы автором из повести А. Марлинского «Испытание». Этим Лермонтов как бы говорит читателям: люди, изображенные мною, уже знакомы вам, но вы знаете их лишь поверхностно; глядите, каковы они на самом

деле. Герои Марлинского неизменно побеждали свою натуру, исправлялись под благотворным влиянием любви. Лермонтов утверждает иное: натура сильнее добрых намерений, сильнее обстоятельств, даже благоприятных... Евгению так хочется верить, что он ускользнул из своего прошлого, изменил «состав» своей личности, личности игрока, для которого нет ничего недозванного. Но это — очередная иллюзия...

И вот еще на какую еретическую гипотезу наводит сопоставление «Маскарада» со светской жизнью 1834—1836 годов. Трагедия ревности и мести создавалась в то же самое время и в той же самой среде, в которой созревала, медленно, но неуклонно приближалась к развязке и драма Пушкинских. Простое сопоставление этих двух историй — той, что якобы выдумал Лермонтов, и той, какую пережил Пушкин, попавший, подобно Арбенину, в капкан ревности и интриг, выявляет так много общего, что это не объяснить случайным совпадением. «Мы видели,— свидетельствует Фикельмон,— как начиналась среди нас эта роковая история подобно стольким другим кокетствам, мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, сделалась такой горестной...»

Мог ли Лермонтов с его страстью к приключениям сердца остаться в числе тех, кто ничего не видел? Тем более что история началась как раз в ту самую маскарадную зиму 1834—1835 годов, когда гусарский мундир одного из лучших полков открыл Лермонтову доступ в светские гостиные. В те самые раззолоченные балльные залы, где бывали супруги Пушкины и где пока еще никому не известный «неведомый избранник» мог пристально наблюдать за «невиновным» романом самой красивой танцевальной пары в Петербурге. С Пушкиным он знаком не был и, следовательно, мог позволить себе крайнюю меру беспокойного любопытства издалека, из неизвестности, из толпы, что коротким знакомством исключалось.

Разумеется, «подобные стольким кокетствам» отношения Дантеса и Натальи Николаевны не главный объект, на который направлена неутомимая наблюдательность Лермонтова, художника, чувствующего настоятельную потребность углубления в действительную жизнь, какой бы пошлой и пестрой она ни была. Ведь и в «Маскараде» Звездич — лицо второстепенное. Казарин, смоделировав продолжение интриги, по воле случая завязавшейся в доме Энгельгарда, предсказывает Арбенину: «Не-

счастье с вами будет...» Несчастье Пушкину мог предсказать и Лермонтов, учитывая его способность читать в уме: уж очень непрочным выглядел союз первого (как тогда говорили) романтического поэта с первой романтической красавицей. Для этого достаточно было напряженно и пристально понаблюдать хотя бы в течение одного бального сезона и за Натальей Николаевной, обожавшей, как и Нина, входящие в моду «опасные вальсы», и за ее не танцующим, как и Арбенин, мужем — с вечным блюдечком мороженого в руке... Мелочь, но явно списанная с натуры. Мороженое было единственным удовольствием, которое Пушкин получал от балов, где блистала его Наташа. Над этой своей слабостью он, как известно, и сам подшучивал. Даже в письмах.

Справедливости ради надо признать, что автор «Маскарада» был не единственным, кто разглядел «знак несчастья». Графиня Дарья Федоровна Фикельмон, познакомившись с юной женой Пушкина, летом 1831 года записала в дневнике: «Пушкин к нам приехал... Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие... несчастья у такой молодой особы. Физиономия мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя». А ведь в 1831 году Наталья Николаевна еще не была суперзвездой петербургских балов. Еще помосковскому дичилась. Но «сивилла флорентийская», как не совсем в шутку друзья называли графиню Фикельмон за странную способность ее логического ума предугадывать будущее, и на этот раз не ошиблась.

Однако бывал ли Лермонтов на балах, на которых мог видеть Пушкиных? Бывал. И доказательство тому, пусть не прямое, но все-таки достаточно убедительное, стихи, обращенные к Мусиной-Пушкиной: «Графиня Эмилия — белее, чем лилия, стройней ее талии на свете не встретится». Если не белизной, то стройностью талии Наталья Николаевна Пушкина могла поспорить и со «шведской» Пушкиной (так, чтобы не путать с женой поэта, называл Эмилию Карловну Мусину-Пушкину остролов Вяземский). И действительно спорила: лилейная Эмилия была главной соперницей Натальи Николаевны. Как относилась госпожа Мусина-Пушкина к госпоже Пушкиной — неизвестно. Зато Наталья Николаевна была настроена воинственно и, несмотря на ограниченные средства, умудрялась затмевать

соперниц не только красотой и молодостью, но и убранством; единственно кого жена поэта не могла при всем желании перещегоолять, была супруга английского посла, но леди брала не элегантностью, а количеством колониальных изумрудов.

Судя по письму Александра Сергеевича к жене от 14 сентября 1835 года, где поэт спрашивает «ангела Наташу», счастливо ли она воюет со своей однофамилицей, разгар паркетной войны приходится на танцевальные сезоны 1834—1835 и 1835—1836 годов, изображенные в лермонтовском «Маскараде». Мадригал, подаренный Лермонтовым Мусиной-Пушкиной, написан, правда, позднее. Однако, как свидетельствует наблюдательный И. С. Тургенев, Лермонтов питал к графине чувство дружелюбное. Отношения подобного рода вдруг, в один бальный сезон, без предыстории не складываются.

Соперничали не только сами красавицы, но и их поклонники. Лермонтов принадлежал к «партии Эмилии». Тут был, видимо, и неосознанный каприз вкуса, и вполне осознанная неприязнь к женщинам без характера и воображения, к «петербургским льдинкам», но способным на сильное и страстное чувство.

Арапова-Ланская, дочь Н. Н. Пушкиной от второго брака, вспоминает: «Нигде она (Наталья Николаевна. — А. М.) так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность. Это был Лермонтов. Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз».

По всей вероятности, мемуаристка преувеличивает. Скрытой враждебности не было. Было, видимо, убеждение: Наталья Николаевна при всей ее модно-романтической красоте не стоит того, чтобы из-за нее страдал и погиб Пушкин. Сам Пушкин!

В последней редакции «Маскарада» — «Арбенине»¹ — Евгений, отказываясь от

¹ Публикуя впервые на страницах «Русской старины» «Маскарад», редакция сопроводила публикацию следующей преамбулой: «...«Маскарад» Лермонтова, в том виде, как он впервые является ныне в «Русской старине», — значительно живее и естественнее во всем ходе действия и развязке, нежели как он известен по другим изданиям».

источники были для него практически недоступны. Во всяком случае версия Лермонтова (и в «Маскараде», и в «Смерти Поэта») куда ближе к рассказу Трубецкого, чем к иным свидетельствам.

Прежде всего совпадают характеристики поведения Жоржа Дантеса. Лермонтов: «Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы». А. В. Трубецкой: «...он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, а как избалованный ими — требовательнее: если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе». Это во-первых. Во-вторых, конфиденгент Дантеса, Трубецкой, утверждает наверняка, что в первое время ухаживаний Жоржа за женой поэта между ними не было ничего серьезного; Дантес часто посещал Пушкиновых (Новая Деревня, где квартировались кавалергарды, недалеко от Черной Речки, там Пушкины снимали дачу) и ухаживал за Натальей Николаевной, как и за всеми красавицами, но вовсе не особенно «приударял» за нею; частые записочки ничего не значили: это было в обычае. А. В. Трубецкой не преувеличивает: ухаживание сразу за несколькими особами было и в самом деле в обычае, поскольку поклонение красавицам, возведенным общим мнением в ранг первостепенных, считалось обязанностью светского человека — этим он подтверждал свое согласие с выбором света, не более того.

Не думаю, что Трубецкой прав, утверждая, будто Пушкин не ревновал; Лермонтов видел глухую ревность задолго до того, как для нее появились серьезные основания. Причем к ревности у Пушкина примешивалось еще и возмущение манерой, с какой избалованный женским вниманием француз обращался с его женой. Что касается самой Натальи Николаевны, то она, по наблюдению Трубецкого, то ли не умела, то ли не хотела поставить Дантеса на место. «Быть может, ей льстило, что блестящий кавалергард всегда у ее ног...»

Все это вполне укладывается в рамки первых, до «Арбенина», редакций «Маскарада». Но еще больше совпадений обнаруживается при сравнении второй части рассказа Трубецкого с «Арбениным».

По утверждению Трубецкого, летом 1836 года, как раз в то время, когда Лермонтов работал над «Арбениным» и часто виделся с Трубецким, Пушкин, возвращаясь из города, где у него было множество неотложных дел, застал в своем доме Дантеса и недвусмысленно высказывал возмущение слишком частыми тет-а-тет.

Тем же летом горничная Пушкиных принесла Дантесу записку с пометкой «tressée»: Наталья Николаевна извещала Дантеса, «что она передавала мужу, как Дантес просил сегодня руки ее сестры Кати, и что муж с своей стороны тоже согласен на этот брак». Очень сходный разворот принимают и события в «Арбенине». Обманутый версией, какую придумывает Нина, застигнутая врасплох ревностью мужа, Арбенин почти ставит князя перед необходимостью жениться на бедной сестре его жены. Звездит растерян: «Я не люблю ее... жениться мысль смешна», «С чего вы вздумали, что я женюсь на ней?» Удивлен был и Дантес, причем до такой степени, что стал настойчиво убеждать присутствующих, что ничьей руки он не просил! Трубецкие еле уговорили обескураженного приятеля успокоиться и подождать разрешения казуса.

Казус разрешился именно так, как было намечено по плану французской записочкой с пометкой «крайне срочно»: 4 ноября 1836 года барон Геккерн-младший сделал официальное предложение...

Клубок страстей, еще больше запутанный этим браком, Трубецкой постигнуть уже не в состоянии. Но для того, чтобы как-то для себя свести концы с концами, сочиняет наивную мелодраму: Дантес-де хотел уехать во Францию и увезти с собой третью из сестер Гончаровых — Александрину; Пушкин же, до безумия увлекшийся этой «некрасивой особой», все настойчивей искал повода рассориться со своим новоиспеченным родственником, чтобы помешать отъезду Александрины. Как ни анекдотична подобная мотивировка, она вполне в духе времени и той среды, где и вкус и чувства воспитывали французская мелодрама и французские водевили.

В отрывке «Я хочу рассказать вам» вновь возникает фамилия Арбенин. Только на этот раз у него другое имя — Александр Сергеевич. Вряд ли Лермонтов сохранил бы такой прямой намек в печатном тексте. Но в черновике оно осталось, и это еще одно доказательство, что Пушкин и Арбенин интуитивно связались в творческом сознании автора «Маскарада». Тем более что Пушкин, как и Арбенин, был игрок, и притом «постоянный». Он сам говорил, что из всех одолевавших его страстей страсть к игре — наисильнейшая и что он предпочел бы умереть, чем не играть. Правда, женившись, «от карт и костей отстал», «к неопisanному огорчению» бывших приятелей-картежников — «кавалергардских шаромыжников». И все-таки сто-

ило Наталье Николаевне с детьми уехать из Петербурга, как Пушкин опять пускался в игру. И, как правило, проигрывал. Иногда скрывал это от жены, но чаще со свойственной ему чистосердечностью винился: «Я перед тобой кругом виноват, в отношении денежном. Были деньги... и проиграл их. Но что делать? я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь». Именно в отсутствие Натальи Николаевны и в то самое время, когда писался «Маскарад», Пушкин проигрался так крупно, что не смог отдать долг попавшему в крайне тяжелое материальное положение П. В. Нащокину. А о том, как Пушкин, играя, заигрывался, можно представить себе по выдержке из «Записок» П. А. Вяземского:

«Пушкин во время пребывания своего в Южной России ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял все деньги свои, и бал, и любовь».

Кстати, именно с Пушкиным произошел эпизод, отдаленно напоминающий одну из сцен «Маскарада» (в доме Казарина, когда Арбенин садится играть «вместо» Звездича). В надежде занять денег Пушкин зашел к дальнему родственнику Оболенскому, застав того за игрою в банк. Князь Оболенский был человеком вполне светским, но это не мешало ему вести крупную игру не всегда «по правилам». Александр Сергеевич изложил свою просьбу. Оболенский отвечал, что будет играть «пополам», то есть в случае выигрыша отдаст Пушкину половину. Князь выиграл. И много. По уходе же проигравшего, отсчитывая Пушкину обещанную ему часть, признался: «Каково! Ты не заметил, ведь я играл наверное». «Наверное» играет и Арбенин, хотя в отличие от родственника Пушкина не шельмуя. Однако и щедрость Арбенина и щедрость Оболенского одной и той же природы: садясь за карточный стол, они знают, что не могут проиграться.

Подтвердить документально, что Лермонтов был известен рассказанный выше эпизод, мы, конечно, не можем, однако казусы, касающиеся столь известной личности, как Пушкин, очень быстро делались достоянием всего Петербурга... А кроме всего прочего случай был типичен, если, конечно, «забыть» его финал (Пушкин не взял выигранные «наверное» деньги), настолько типичен и выразителен, что грех было не «затащить» его, преобразив, разумеется, почти до неузнаваемости, в

трагическую сатиру на петербургские нравы. Если умнейший человек в России — игрок, то Арбенину, обреченному, как и его тезка Евгений Онегин, на полную праздность, и сам бог велел не отказываться от возможности «кровь привезть в волненье»...

Еще одно «совпадение». В «Смерти Поэта» Лермонтов сравнивает 37-летнего Пушкина с 18-летним Ленским — неведомым, но милым певцом. Странность этой параллели, по-моему, объяснима лишь в одном случае: если предположить, что Лермонтов, наблюдая Пушкина в самой невыигрышной для того роли немолодого и некрасивого мужа юной и красивой жены, видел, что, ревнуя, поэт терял не только ум, но и выдержку, и достоинство, забывая, что он — не неведомый певец, а гений. Хозяин русской поэзии. И ныне, и присно, и во веки веков.

Ту же особенность в поведении Пушкина отмечает, кстати, и Дарья Федоровна Фикельмон: «...он перестает быть поэтом в ее присутствии»...

Трехактная редакция «Маскарада» (октябрь 1835) кончалась отравлением Нины. Цензура расценила это как прославление порока. Кроме указания на главный изъян, в отзыве был совет: кончить пьесу примирением супругов. Лермонтов переработал драму, прибавив заключительный акт и наказав порок, разумеется по-лермонтовски. Наказание показалось цензору недостаточным, пренебрежение автора к авторитетным советам — дерзостью. Считается, что причиной неулоимости театральной цензуры была неуважительная характеристика «увеселения», на котором бывают император и великий князь: «Как женщине порядочной решиться отправиться туда, где всякий сброд...» Но если бы дело было только в этой и других, аналогичных, репликах!

Успех энгельгардтовских полусветских маскарадов бил по карману дирекцию императорских театров, получавших прежде солидный доход именно от такого рода мероприятий. Тяжба (плюс интриги) против удачливого конкурента длилась несколько лет, и в 1835 году, когда Лермонтов представил петербургскую хронику на рассмотрение соответствующих инстанций, кончилась «прекращением» полученной Энгельгардтом «привилегии». По всей вероятности, это обстоятельство сыграло не последнюю роль в судьбе «Маскарада». Впрочем, театральные чиновники оценили тактичность молодого автора, который при дальнейшей работе над текстом учел де-

ликатный момент: «Арбенин», где маскарад у Энгельгардта заменен приватным костюмированным балом, получил одобрение Ольдекюпа.

Лермонтоведы, ссылаясь на объяснение Лермонтова («...драма «Маскарад», в стихах, отданная на театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена»), утверждают, что и «Арбенин», несмотря на благосклонный отзыв главного цензора, к постановке на сцене допущен не был. Но в «Арбенине» нет ни резких страстей, ни резких характеров, и добродетель здесь не обижена, это во-первых. Во-вторых, сомнительно, чтобы одобренное III отделением произведение не было допущено к постановке за... безнравственность.

Реалистичнее предположить, что, пробившись сквозь цензуру, но столкнувшись с рутинной театральными требованиями, Лермонтов сам отказался от дальнейшей борьбы за «Арбенина».

Затевая «Маскарад», Лермонтов был уверен, что его авторский опыт и отличное знание драматической классики помогут преодолеть сопротивление материала. Расчет казался верным, а оказался ложным: опыт, чужой и собственный, связывал, загонял в рамки канона; самый короткий путь обернулся тузиком. Задачи, поставленные в «Маскараде», не уместались в рамки тогдашних театральные представлений, а ведь приходилось считаться и с навыками режиссуры, и с актерскими возможностями, и со зрительскими предрассудками; там, где мерещилась свобода, обнаружился плен. Надо было и в творчестве следовать своему главному жизненному правилу: идти туда, где не знаешь заранее, что тебя ожидает, и идти смелее.

Двухлетняя драматургическая школа, где Лермонтов был и учителем, и учеником, не прошла даром: сладив с «Арбениным» — психологической комедией характеров в стихах, Лермонтов нашел стиль своей прозы, в которой он, по тонкому определению Анны Ахматовой, «обогнал самого себя на сто лет». Это была строгая проза, способная объять сущность жизни, но при этом не забывшая родства с русским стихом, научившим ее кратко и сильно — «молниеню» (В. Кюхельбекер) — выражать мысль.

Судя по реплике Казарина Звездичу: «И я заметил вот недавно, как у Печоринных движеньем томных глаз она кругом иска-

ла вас», — параллельно с доработкой «Арбенина» Лермонтов создавал первые наброски к «Княгине Лиговской». Роман захватил Лермонтова. Проза перестала быть «сплошным отчаянием». Он наконец-то поставил не только стихотворное, но и прозаическое слово слушаться его, «как змея заклинателя» (Ахматова). Работа была в разгаре, автор болен простудой, когда по Петербургу полетела черная весть...

Лермонтов в «Арбенине» (методом исключения) нашел единственный выход, который мог спасти Пушкина: отъезд в деревню. Пушкин и сам знал это («Давно, усталый раб, замыслил я побег»). Но то был вариант рассудочный, страсти — любовь, ревность, месть — отвергли его, разрешив конфликт иначе. «Несчастье с вами будет...»

Пушкин был ранен 27 января 1837 года. В тот же вечер по городу распространился слух о его смерти. 28 января в один присест Лермонтов написал первые 56 строк «Смерти Поэта». Этот своеобразный некролог опередил событие на сутки. Пушкин умер 29-го в 2 часа 45 минут. Привязанный к дому болезнью, автор «энергической оды» (А. И. Герцен) не знал даже, насколько верен принесенный ему слух, и тем не менее он с поразительной точностью осведомлен о причинах происшедшей драмы: «добыча ревности глухой», «невольник чести», «и для потехи раздували чуть затаившийся пожар», «пустое сердце», «смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы»... То, чего не сделали ни Жуковский, ни Баратынский, ни Языков, ни Вяземский — люди, близко знавшие Пушкина, опытные, профессиональные поэты, — сделал двадцатидвухлетний юноша, почти мальчик, никому не известный: «...за всех расплатился, за всех расплакался».

Конечно, он уже тогда был талант. Больше того — гений. Но вряд ли даже гений мог сделать то, что сделал Лермонтов, если бы в течение двух долгих лет всем напряжением душевных сил, самой высшей из них — творческой — не был прикован к драме, разрешившейся смертной дуэлью у Черной Речки.

Речь идет, повторяю, разумеется, не о буквальном описании истинного происшествия. И в то же время автору «резкой критики на современные нравы» нужны были факты, материал, прототипы, характеристические лица петербургского общества. Отказаться в этих обстоятельствах от той «пищи» для работы ума и воображения, какую предлагала сочиненная самой жизнью горестная история любви и гибели

гениального русского поэта, было бы непростительным расточительством.

Вспомним и еще об одной, скрытой от общества и «света», драме личной судьбы Пушкина, имеющей отношение уже к судьбе целого народа. В том-то и состояла трагедия блестящего, но ничтожного века, что он не давал ходу людям талантливым, людям с сильными чувствами, страстями, загоняя их в подполье, и нередко — в подполье игорных домов. Ведь жизнь постоянного игрока не только манила богатством, не просто обещала возможность составить или поправить состояние, но и создавала иллюзию жизни, исполненной действия, тревог и риска. («...тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок и смешон».) Фактически это первая прикидка одной из центральных идей «Героя...»: «...гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума...»

Николай I приковал к бюрократической конторке весь интеллектуальный потенциал России.

«Его самодержавие милостию божией,— пишет А. Ф. Тютчева,— было для него догматом и предметом поклонения. Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его нравственными убеждениями... Повсюду вокруг него в Европе под влиянием новых идей зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему... лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, подавить, искоренить... можно сказать, что Николай I был Дон Кихотом самодержавия, Дон Кихотом страшным и зловредным... систематически душившим... всякое проявление инициативы и жизни. Угнетение, которое он оказывал, не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид угнетения — угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. Отсюда в исходе его царствования всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом».

В этих специфических условиях любой вид независимости, любое проявление индивидуальной свободы, включая такое «безнравственное», как нарушение импе-

раторского закона о запрещении азартной игры, приобретали оттенок бунта в защиту инициативы и жизни. В государстве, где было фактически наложено табу на сильную внешнюю деятельность, карточная игра являлась порою единственным средством не умереть от удара и не сойти с ума — для того, кто имел несчастье родиться для действия, требующего полного напряжения всех душевных сил.

Ни Печорин, ни Арбенин — не гении, они люди, «принадлежащие к толпе» (определение Лермонтова), точнее, выброшенные в толпу временем, которое не терпело ничего выдающегося. Но то, что в них есть от гения, что не дает им окончательно слиться со «спешащей к ничтожеству» толпой, даже этой малости достаточно, чтобы умереть, как Печорин, или сойти с ума, как Арбенин.

Это парадоксально, но даже поощряемые и явно любимые Дон Кихотом самодержавия маскарады — и те несли в себе бессознательный элемент протеста против насаждаемого им автоматизма. Не случайно же маскарадный бум возникает как раз в то время, когда Николай, у которого вид человека без униформы вызывал раздражение, приказал ввести мундир для придворных дам (это нововведение, как известно, настолько возмутило Пушкина, что он счел необходимым отметить факт в своих записках). Под указ о дамских мундирах попадали, правда, лишь те, кто был связан с двором службою; однако вкусы императора накладывали ограничения и на обычный туалет светской женщины, обязывая ее к сдержанности, тогда как маскарад и маскарадные платья позволяли не «прятать», а «открывать» себя! Мода на маскарады, охватившая в 30-х годах петербургское общество, помимо всего прочего, была еще и предвестием женской эмансипации, которая, как и многие общеевропейские общественные движения, переместилась в Россию, приобрела несвойственные Западу черты и свойства. Вот что пишет Т. Пассек, кузина Герцена, о русском, и притом светском, варианте эмансипации:

«Из раззолоченных гостиных, из бальных зал выступил целый ряд вакханок в рестораны, где среди шумных оргий, со стаканами шампанского в аристократических руках, презирая все приличия, сбросивши все маски и вуали, в знак презрения к общественному мнению, они подражали разгулу и кутежам мужчин. Новая, зарождавшаяся жизнь, как весенний воздух, проникала повсюду, не просвещала еще, а опьяняла головы. Под влиянием этого веянья

чувствовалась подавленность воли и само-бытности; чувствовалось, что есть жизнь другая — и им хотелось этой другой жизни; но какая она вне кутежа — понять не могли и не освобождались, а разнуздывались и доходили не до свободы, а до распущенности. Возмущение их было полно избалованности, каприза, кокетства. Эти травяты не пропадут для истории. Они составляют веселую, разгульную, авангардную шеренгу, за которой выдвигается многочисленная шеренга молодых девушек и женщин в простой одежде, с лекциями в руках».

Но это перемещение из гостиных и балльных залов в рестораны и сбрасывание масок произойдет несколько позднее, в начале 40-х годов. Маскарады у Энгельгардта — как бы промежуточное звено. Здесь можно было, не рискуя всерьез репутацией, превратиться на несколько часов в вольную вакханку и считать, что это всего лишь роль, соответствующая выбранному для маскарада платью, как делает, к примеру, одна из героинь «Маскарада» — баронесса Штраль («Диана в обществе... Венера в маскараде»). «Лекции в руках», хождение в народ — все это еще в будущем.

Я все не утверждаю, что юный автор «Маскарада», создавая его, заглядывал так далеко. Но благодаря гениальной интуиции он точно обозначил и истоки ряда течений века, и их направление. Поэтому и драма, созданная как злободневная вещь, оказалась способной со временем открывать новые, закрытые для современников «СМЫСЛЫ».

В 1958 году Б. Пастернак писал своему американскому переводчику: «Я посвятил «Сестру мою жизнь» не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас.—его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу. Вы спросите, чем он был для меня летом 1917 года? Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни». Таким поэт был для многих и многих.

Образцом творческого постижения жизни, ее существенности остается Лермонтов и сейчас. Причем если брать литературную ситуацию в целом (как она склады-

вается к нынешнему юбилею), то в ней, по моему представлению, Лермонтов-прозаик играет куда более значительную роль, чем Лермонтов-поэт. У нынешней поэзии, в частности молодой, другие кумиры. Не в почете Лермонтов и у критиков поэзии, пишущих о классике с учетом сегодняшнего спроса. В. Кожин, к примеру, умудрился написать солидное исследование развития стилей и жанров лирики («Книга о русской лирической поэзии XIX века»), обойдясь... без Лермонтова.

Зато проза лермонтовская... Пожалуй, никогда еще за всю историю российской изящной словесности, с тех пор, как на полки книжных лавок лег томик «Героя нашего времени», опыт Лермонтова не был так открыто, так широко использован, как это сделала группа писателей, которых мы называем сорокалетними (от В. Маканина до А. Афанасьева; Грант Матевосян и тот в связи с повестью «Похмелье» вспомнил «Героя...»). Пока прозаики старшего поколения отстаивали, так сказать, традиционную позицию — положительный герой может и должен нести высокую нравственную идею, их младшие коллеги, объединенными усилиями забросив невод в море житейское, вытащили на берег «чудо морское с зеленым хвостом» — антигероя, «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения». Даже аргументы, какими сорокалетние защищали свое право на повествование с кажущимся отсутствием нравственных установок, по сути, а иногда и по форме напоминают известное лермонтовское: «Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины...»

Это так, однако часто все же забывают, что антигерой Лермонтова был таковым лишь в силу условий своего времени, что Печорины и Арбенины — далеко не «лишние люди», что это люди, для которых жажда действия, больших дел в николаевскую эпоху была неутолима, но являлась основной характером.

Характеры сильные, незаурядные привлекали Лермонтова, именно в них он видел черты человека, способного и стремящегося дать новое направление жизни. Эту позицию, думаю, можно считать одной из главных, определяющих в своеобразном творческом «завещании» поэта, оставленном грядущим поколениям писателей.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Ломидзе. Почерк писателя.— Сергей Чупринин. Труд вдохновения.— А. Кондратович. На стыке культур.— Виктор Кочетков. Книга об Алексее Кольцове.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Харьковский. Власть земля.— Рита Шик. Страна, устремленная в будущее.

Литература и искусство

ПОЧЕРК ПИСАТЕЛЯ

Анатолий Медников. Избранные произведения в 2-х тт. М. «Художественная литература». 1983. Т. 1, 551 стр. Т. 2, 495 стр.

Литературный стаж у Анатолия Медникова довольно внушительный. Начал он как критик. Если просмотреть довоенные номера журнала «Литературное обозрение» за 1940 и 1941 годы, можно встретить в них фамилию А. Медникова среди тех, кто выступал с рецензиями на новинки русской советской прозы. Но время изменило многое в судьбе писателя. С первых же дней Великой Отечественной войны он вступил добровольцем в 22-й истребительный батальон. Дошел до самого Берлина. Стал очевидцем, непосредственным участником исторических событий. Конечно, эти лично пережитые события сами по себе, какого бы масштаба и значения они ни были, не делают человека писателем, даже если он уже умеет сочинять критические статьи. Очевидно, художественная энергия накапливалась в Медникове постепенно, незаметно для него самого, но на определенном этапе история, ставшая частью личной жизни, бесспорно стала и катализатором творчества.

По некоторым формальным признакам мы вправе причислить А. Медникова к писателям-документалистам. Нынче весьма модно это слово — «документализм». Встречаются в печати и такие суждения, будто документ вытесняет в литературе художественный вымысел, завоевывает передовые позиции. Доля истины в подобных умозаключениях есть. Документ в самом

деле приобрел в художественном творчестве важное значение. Не потому, думается, что оскудела мощь вымысла, что факт как таковой стал интереснее, занимательнее. Суть дела, по всей вероятности, не в этом. Что такое документ? Правда в ее первоначальном и глубинном измерении. Верность этой непререкаемой, неприукрашенной правде заключает в себе заряд поистине огромной силы. Документалист не делает простую копию сущего или былого. От него требуется и талант и выдумка. Без некоторого пересотворения и обогащения реального документалист немислиим, ведь он не описывает, не фиксирует виденное, но изображает его. А изображение требует острого, точного зрения, умения из множества мелочей и подробностей жизни отобрать наиболее существенное, не разрушая твердой основы достоверного. Мне кажется, к писателям-документалистам такого художественного типа принадлежит и Анатолий Медников.

Значительная часть избранных произведений, вошедших в его двухтомник («Дом Герцена», «Время строить», «Групповой портрет», «Эстафета», «Горячий август в Берлине»), документальна. В них точно обозначено место действия, названы фамилии реально существовавших или существовавших людей, события отнесены к определенному историческому времени. А. Медников не скрывает, если позволя-

тельно так выразиться, своей приверженности к «фактологии». Он открыто, но без всякого кокетства гордится тем, что основательно знает жизнь, знает хорошо и тех, кто ее творит, создает, защищает. Защищает порой с оружием в руках.

Автор предисловия к избранным произведениям А. Медникова критик Юрий Идашкин прав, особо выделяя из всей военной прозы писателя повесть «Дом Герцена». Прочитав слова критика: повесть «Дом Герцена» проникнута «единственной, щемящей, властно берущей за душу бесхитростной правдой о тех, кто, зачитываясь Гомером, Пушкиным, Стендалем, мечтал оставить и свои имена на корешках бесчисленных книг, но кто честь, свободу и независимость Родины, будущее своей страны ценил выше, чем собственную жизнь». В «Доме Герцена», быть может, наиболее отчетливо проявились лучшие, привлекательные стороны стиля А. Медникова: мягкость, доверительность интонации, умение о вещах чрезвычайно важных, порой трагических говорить без нервной импульсивности, сдержанно, иногда даже с легким юмором.

Автору этих строк довелось быть в составе того истребительного батальона, о котором пишет А. Медников. Писатель ничего не сочинил, ничего не выдумал. Он с любовью рисует портреты своих товарищей — живых и погибших, с кем пришлось ему делить горький хлеб первых дней войны.

В документальных произведениях, посвященных мирному времени, А. Медникова особенно привлекают те, кто строит, строит быстро, качественно, увлеченно. Те, кто любит не только свое дело, но и людей, думает, беспокоится о них. И методы скоростного строительства жилых домов Петра Шубенкова в романе «Время строить» продиктованы желанием как можно быстрее сотворить добро для людей, сделать их жизнь уютной, не ущемляя при этом природу, не губя красоту внешнего мира. Шубенков обладает чувством эстетической гармонии, чувством глубочайшей нравственной ответственности за все, что делает. И не он один.

Хотя роман «Время строить» не назван автором документальным, в нем явственно проступают конкретные черты времени, особенности человеческих характеров. Роман документален по своей художественной сути, проблематике, по духу, если угодно. Есть в нем и возвращение к прошлому, к эпизодам военных сражений. А. Медников часто как бы оглядывается

назад. Сверкнув на страницах его произведений, даже сугубо «мирных», события Великой Отечественной войны — и начинает учащено, напряженно биться пульс повествования. Прошлое ведь не ушло в небытие. Оно живет в настоящем, тревожа наше сердце, наши чувства.

«Групповой портрет», «Эстафета», «Горячий август в Берлине» документальны в прямом смысле этого слова. Они и названы очерками, из которых по своей емкости, глубине наиболее значительны «Эстафета», где автор создает интереснейшие человеческие характеры нефтяников. Герои «Эстафеты» — это рабочие нового типа, крупные личности, работающие с мыслью о настоящем и грядущем, ускорители жизни, ее творцы и преобразователи. Таковы герои большинства очерков А. Медникова, в которых автор зорко подмечает виденное, умеет из конгломерата фактов и событий выплавить нечто интересное, неожиданное. Правда, по своим художественным достоинствам не все, созданное писателем в очерковом жанре, равнозначно. Так, «Горячий август в Берлине» посвящен важной теме — интернациональной дружбе домостроителей ГДР Курта Бромберга и его товарищей с известным московским строителем Анатолием Суровцевым. А. Медников рассказывает о взаимном обмене опытом, взаимной выручке. Но в «Горячем августе...» нет того сюжетного узла, который мог бы накрепко связать в одно целое разные характеры и судьбы. Очерк распадается на отдельные отрывки, эпизоды.

В «чисто» художественных произведениях А. Медников, так же как и в документальных, часто обращается к годам войны, воссоздавая фронтовой быт, будни, все, что связано с войной непосредственно. Автор рисует сложную картину становления бойца, патриота, защитника социалистической родины.

В повести «Семнадцать дней» это Бурцев, погибший, спасая товарищей. Героическая смерть Бурцева изображена писателем с большой художественной силой. Нравственную школу воспитания проходит и молодой лейтенант Свиридов в романе «Открытый счет». Роковую ошибку, допущенную им в разведке, и первоначальную робость Свиридов искупает затем сознательной смелостью, отвагой, сноровкой, находчивостью. Так нередко бывало на фронте...

Я уже говорил: А. Медников любит реальные, конкретные детали жизни. Он внимательно, сосредоточенно всматривает-

ся в них, находит в событиях, им самим пережитых, новые краски и свечение. В его прозе много тепла, говоря условно, материального жизненного «вещества». Но когда А. Медников затрагивает сферы, мало ему знакомые, тогда краски его художественного полотна начинают бледнеть. Человеческие характеры утрачивают индивидуальность, своеобычие. Все вдруг приобретает условную, умозрительную форму. Что я имею в виду? В «Открытом счете» А. Медников, в частности, изображает верхние этажи фашистского рейха. В романе мелькают фигуры Гитлера и гитле-

ровских заправил Деница, Кребса, Бормана... Эта линия романа явно слаба, выпадает из общего художественного контекста, стиля и ритма повествования. К счастью, такого рода просчеты в творчестве А. Медникова не показательны.

Анатолий Медников — прозаик безусловно талантливый, своеобразный, но не избалованный вниманием критики. Двухтомник избранных произведений писателя свидетельствует о многогранности и крепкой основе его дарования.

Г. ЛОМИДЗЕ.



ТРУД ВДОХНОВЕНИЯ

Новелла Матвеева. Закон песен. Стихи. М. «Советский писатель». 1983. 127 стр.
Новелла Матвеева. Страна прибора. Книга стихотворений. М. «Молодая гвардия». 1983. 110 стр.

За литературно-критический разбор стихов Новеллы Матвеевой берешься с опаской. Хотя бы потому уже, что критиков поэтесса очень и очень не жалует. Можно даже так: отводит им, критикам, роль главных отрицательных героев и в своих стихах:

Врата в искусство захлопнуть предо мною
Вам так хотелось бы! О беспощадный вкус!
Я слова доброго, быть может, и не стою,
Но ведь и вы — не страж у входа в царство муз!

Ваш суд — не Страшный суд. Не судный день...

И в своей эссеистской прозе:

«И если мне кажется, что читатель в общем изменился за последнее время к лучшему, то... я приписываю добрые изменения тому, что критика развивалась сама по себе, а публика — сама по себе... Дело в том, что реплики из публики, мной слышанные, слишком часто казались мне и умней, и острей, и человечней многих замечаний иного критика-профессионала... По мне, добросовестных критиков так же мало, как, скажем, великих поэтов. Великим поэтом надо родиться. Добросовестным критиком — тоже»...

За что такая немилость? И уж не разыгрывает ли нас поэтесса, благо и театральность, и приверженность к колкой, эпиграмматической речи, и любовь к подразниванию читателей изначально, как давно уже замечено, входят в состав матвеевского дарования?

Разберемся позже. Тем более что, пытаясь понять, к каким истинам пришла Новелла Матвеева за четверть века работы в поэзии, мы все равно вынуждены будем начать разговор не с полемически обрисованной фигуры недружественного критика, а с образа, скажем так, положительного героя ее стихов.

Этот образ в самом первом приближении безусловно родствен тем характерам романтиков, мечтателей, энтузиастов, «рыцарей немедленного действия», что были предъявлены как открытие молодыми поэтами на рубеже 50—60-х годов. Та же острая неприязнь к многоликому мещанству, преснятине, сытости и бюргерской благо нравности. То же стремление увидеть и показать мир непременно «закутаным в цветной туман», освеженным яркой фантазией, преобразенным на артистический лад. Тот же культ личной независимости и жизненной активности. Та же установка на исповедальность, подсвеченную иронией и самоиронией, та же тяга к общению, непосредственному контакту с тысячеглазой, молодежной по преимуществу аудитории...

Впрочем, уже тогда, в пору «Лирики» (1961), «Корабликов» (1963) и отчетливе всего в пору сборника «Душа вещей» (1966), выявилась — в пределах общности поколения — и резкая мета несходства, особого матвеевского «амплуа».

И видней всего эта мета в отношении к книге и «книжности», к письменной культуре. «Вышли в жизнь романтики, ум у книг занявшие, кроме математики, слож-

ностей не знавшие» (Р. Рождественский) — так могла бы, пожалуй, сказать о своем поколении и Новелла Матвеева. И все же была разница, с годами все углублявшаяся. Герои Вознесенского, Рождественского, Евтушенко, даже Ахмадулиной, в общем-то, искренне стыдились того, что их ум и опыт заняты у книг, искренне, в общем-то, мечтали перековаться в горниле грубой реальности, охотно шли (или пытались идти) на выучку к житейской прозе. И совсем не то в стихах Матвеевой: ее герои и героини скорее гордятся своею начитанностью и «книжностью», видят в ней капитал особого рода, едва ли не знак духовной состоятельности. Гордость эта была поначалу, надо полагать, неосознанной, а потом и вполне сознательной, принципиальной — в пику не только тем, кто взамен книжных полок заставлял свои квартиры сервантами и шифоньерами, но также и тем, кто в творчестве лелеет собственную «сермяжность», чуть ли не личной заслугой числит идущую, конечно же, от душевной лениности неспособность к освоению общекультурного богатства.

«...знаю: книга — жизненный исток. Пресс Гутенберга — жизненная сила», — упрямо восклицала Матвеева в ответ на все упреки в отрыве от внетекстовой, внекультурной реальности, и книга понималась и понимается ею уже не только как магический кристалл, сквозь который виднее и яснее мир, но и как своего рода сгусток, квинтэссенция бытия:

Живой да будет каждая строка!
Из жизни черпай злато размышлений!
Но жизнь — помилуй! — разве так ярка
И так сильна, как выраженный гений!

Не хмурь многозначительно бровей,
Не покрывайся складками страданий!
Всего полней (не спорь), всего живей
Жизнь гения и жизнь его созданий.

Дело, впрочем, не в программных заявлениях, сколь бы значительным (и по объему и по сути) ни было их присутствие в книгах Матвеевой. Дело в самой стихии «книжности», разлитой в стихах автора «Ласточкиной школы» (1973) и «Реки» (1978), «Страны прибора» и «Закона песен». В том, что стремление сверять свои представления о жизни с «книжным» эталоном, возбуждать при каждом удобном и неудобном случае в читательском сознании ток общекультурных ассоциаций и тем самым постоянно держать его, читателя, в духовном напряжении стало для поэтессы универсальным творческим принципом.

Настолько универсальным, что даже из-

любленные Матвеевой цыгане и цыганки, принадлежащие лишь себе и подотчетные только собственному «закону песен», и те оказываются вполне литературными по своему происхождению и духовному облику. В родстве у них — те почти ирреальные, к кому бежал пушкинский Алеко, к кому тянулся толстовский Федя Протасов, у кого учились свободе не только горьковские босяки, но и лирические герои Ап. Григорьева, Полонского, Блока. Эта литературность станет еще очевиднее, если учесть, что, по Матвеевой, двоюродными братьями ее цыган и цыганок должно считать куперовского Нэтти и гриновских скитальцев, легендарного Ланцелота и стивенсоновских пиратов, марктовеновского Гека Финна и жюльерновского пятнадцатилетнего капитана — всех, словом, классических героев мировой приключенческой, подростковой литературы.

Что общего у всех них? Во-первых и прежде всего, отмеченная Пушкиным привычка «к резвой воле», или, как сказали бы сейчас, отчетливо наглядная, картинная даже, может быть, аффектированная независимость. И именно этим они по преимуществу близки подлинным художникам, поэтам; и, словно бы не доверяя читательской пронизательности, Матвеева спешит напомнить, типографской разрядкой фиксируя мировоззренческую важность своей лирической формулы: «Заметь: художники и есть мои герои!»

Кто же мешает им — бродягам и художникам, странствующим прорицателям и цыганам — жить подобно ветру в чистом поле?

Критики.

«Они как дети! По открытости роптанья, по неумению желанья скрывать... Их странность, личные заветные мечтанья за нужды общества, надувшись, выдавать! Мечтанья же у них вполне в вандальском стиле...» — высказывает свою застарелую обиду поэтессы, и, перелистывая ее книги, видишь, что счет к критикам, накопленный с годами, у Матвеевой весьма обширен.

Критики ревнуют поэтов к славе — это раз. Критики специализируются на брани, тогда как, по Матвеевой, «лучше семерых зазря перехвалить, чем грязью одного безвинного облить», — это два. Критикам — по определению — медведь на ухо наступил. Критики...

К чему, впрочем, перечислять более или менее мелкие провинности, когда главный

и неискоренимый грех критиков все равно в глазах Матвеевой состоит в том, что они — опять же по определению — стремятся урезать личную и творческую независимость художников, распространить на странников и кудесников действие единого «паспортного режима», и, дав миннезингеру и менестрелю постоянную прописку, предписать ему и как он должен петь, и о чем, и какие выбирать выражения, и какие рулады выводить...

Здесь, в этом принципиальнейшем из пунктов своего миро- и самопонимания, Матвеева не даст недругам ни малейшей потачки. Еще двадцать лет назад гордо заявлявшая:

У меня и слова и поступки — свои:
Виновата! — чужих не беру. —

она и сегодня утверждает все тот же символ веры:

Мой стих! При виде нас опять зои́л в печали!
Он нам не разрешал шагать таким путем!
Но как бы он ни ждал, чтобы мы с тобой пропали,
Мы даже для него на это не пойдём.
Я в «книжности» вчера считалась виновата,
А нынче говорят, что я «витиевата»,
В чем завтра провинюсь?
А послезавтра — в чем?

Так срабатывает «защитная гордость художника», и не столь уж нам, признаемся, важно, права ли поэтесса в своих конкретных выпадах и выводах, говорит ли она всерьез или поддразнивает публику. Порою ее полемический заряд расходуетсья явно вхолостую, поскольку видно, что, выговаривая, например, себе право «никогда заборным словом не выругаться» или никогда не сочинять «стишок про сеновал и Дуньку неглиже», она воюет с противником слишком уж нафантазированным — мне, во всяком случае, пока не попадались в нашей печати призывы к «неглижированию» или к заборным словам...

Но есть, конечно, и у Матвеевой свои резоны. Так, скажем, пора бы и в самом деле бросить попытки сводить любой разбор матвеевских стихов к докучному обсуждению вопроса о том, возможна или невозможна в принципе «книжная» лирика. Да, Матвеева более литературна и по своему словарю, и по способам освоения жизненного материала, чем NN или PP; вернее, литературность в ее стихах более выявлена, акцентирована, чем в стихах все тех же NN или PP. Но что же из этого

следует? Видимо, ничего особенного, кроме того, что и в данном случае надо судить поэта по законам, им над собой признаваемым, отнюдь не ставя ему в вину (или в заслугу) непохожесть на Евтушенко или Тряпкина, Высоцкого или Шкляревского.

Если же смотреть на вещи именно таким образом, то и пристрастие Матвеевой к выявлению отношений с «зоилами» и «вандалами», не утратив ни остроты, ни легкого оттенка литературной мистификации, потеряет свою чрезмерность. Окажется, что злополучный критик есть в ее глазах не столько человек определенной профессии (хотя и он тоже), сколько олицетворение целого типа людей, в принципе чуждых творческому началу, и нужен он в стихах не сам по себе, а скорее для контраста, для обнаружения всего того, что для поэтессы истинно дорого. Вспомнив пушкинскую оппозицию поэта и черни, хлебниковское деление человечества на изобретателей и приобретателей, характерную для недавней эстрадной поэзии (а с нею, как уже замечалось, творчество Матвеевой связано прочным родством) антитезу энтузиастов-мечтателей и мещан, мы и в матвеевской критике увидим всего лишь необходимого оппонента, вне спора, конфликта с которым лирическому герою стиха просто негде выявить свою природу, свое жизнепонимание и свой романтический, может быть, даже публицистически-гражданственный порыв.

Критик упорно тянет к регламентации, единообразию, трафарету — поэт, сопротивляясь и атакуя, пылко славит личностную независимость, единственность и неповторимость каждого духовного и жизненного опыта. Мнение поэта недвусмысленно:

Не черта я боюсь, а трафарета:
Он глуп, смешон, но в нем — кончина света.

Критик требует от поэта «чистоты жанра», полной определенности, узкой специализированности в той или иной сфере: если ты, мол, «книжен» по доминантному признаку, то и не выбегай за черту начитанного; если же, напротив, жизнен, то швырни в печь все буквари. Поэт протестует. Он не хочет быть данником одной темы, одного жанра или одной манеры. Он мечтает о том, что в его стихах воедино сольются все краски, звуки и понятия мира — совсем как в жизни. Или совсем как у Пушкина, чье творчество

самой общедоступной из гармоний — гармонии духовного комфорта и душевного самодовольства:

Гармония!
В мире не мирном,
Скрипящем, наморщенном, сложном,
Готовом низвергнуться в бездну
При слове неосторожном, —
Дурак, ограниченный малый —
Один гармоничен, пожалуй.

Неравнодушная свидетельница всякого рода мировоззренческих, эстетических, нравственных и прочих «карнавалов-перекостюмировок», столь не безвредных для целостности человеческой личности, она с брезгливой точностью выявляет ряженных — ну хотя бы, к примеру, обывателей, подавшихся в соответствии с модой либб в романтики:

Кудри, поднятые ветром,
Вольный, порывистый вид...
С дикой скалы
Обыватель
В бурное море глядит...—

либбо в сверхчеловеки:

Где просто человек?
Какой пошляк не демон?
Глянь: солнцеравные уж сыплют,
как ячмень...
Как будто этот мир не из молекул сделан,
А из заносчивостей всех кому не лень!

Такова, выражаясь диссертационным слогом, негативная обязанность матвеевской музыки. А позитивная?

Еще проще: стоять на страже незабываемых, столетиями испытанных понятий о человеке и человечности и не переосмысливать их (отнюдь!) применительно к ситуации или нуждам текущего момента, а всего лишь обновлять, очищать от грязи, ржавчины, сальных пятен, возвращать им, этим понятиям, первожданную свежесть.

И в высшей степени характерно здесь то, что слова «свежий» и «свежесть» выходят на первый план в частотном словаре новых книг Новеллы Матвеевой. Что же касается вдохновения, то оно в стихах поэтессы все настойчивее утверждается как труд особого рода — труд по охране и воскрешению подлинной свежести, чистоты, благородства и в отношении человека к миру, и в отношениях между людьми. «Защитник свежести земли», «оруженосец роз», «рыцарь истины» — вот имена поэта, я, перечитывая сегодня стихи Матвеевой от самых первых до самых недавних публикаций, видишь, что тот кодекс чести, в верности которому она поклялась на заре творческой деятельности, с годами обретает все большую и большую объемность и глубину, сполна обеспечиваясь и почвой и судьбою.

Сергей ЧУПРИНИН.



НА СТЫКЕ КУЛЬТУР

Левон Мкртчян. «Да придут к нам благородные мысли со всех сторон...» Статьи. М. «Советский писатель». 1983. 319 стр.

Странное, совсем не подходящее слово крутилось в моей голове, когда я читал сборник литературоведческих и критических статей Левона Мкртчяна: праздничность. Если угодно, даже и карнавальность, особенно там, где автор пишет о «Давиде Сасунском» или о великих поэтах прошлого — Нарекаци или Ерзнкаци. Нет, ни масок, ни ряженных у Мкртчяна вы не найдете. И Нарекаци и Ерзнкаци вполне реальны. Они из далекого прошлого (X—XI века, XIII), однако так приближены ко мне, что я легко узнаю их, сострадаю их горькой судьбе.

Ощущение праздничности не ушло от меня, когда я, залпом закончив чтение, снова перелистывал, перечитывал отдельные особенно понравившиеся мне куски. В чем тут дело? В живости, свежести и изяществе, от-

личающих манеру Левона Мкртчяна? Да, конечно, и в этом: критики и литературоведы не так часто радуют нас выразительностью и свежестью письма. Но для чувства праздничности не маловато ли этих качеств? Повидимому, необходимо еще одно, редчайшее — импровизационность, то есть чтобы та же самая афористически выраженная мысль рождалась на наших глазах. Тогда и возникает это чувство необычности — вроде бы так все ясно, а никто до этого не додумался: эффект неожиданности.

Это вовсе не значит, что Левон Мкртчян именно так и пишет, будто по наитию. Кому-кому, а литературоведу и критику без основательнейших знаний и братья за дело не стоит. Эрудиция автора бросается в глаза тотчас же, едва начинаешь чтение. Статья, открывающая книгу, посвящена «Дави-

ду Сасунскому». Этот героический армянский эпос, создававшийся, как и другие народные сказания, в течение веков, исследован Мкртчяном скрупулезно и дотошно, с твердой опорой на исторические документы. «Перевод сверен с оригиналом и исправлен Л. Мкртчяном и А. Мадояном», — сказано в сноске. И то же в отношении «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, историка и писателя V века. Легко вообразить, сколь обстоятельные знания необходимы для работы с таким текстом, насколько добросовестным должен быть анализ любого документа. И эти необходимые качества автор книги демонстрирует с блеском.

От начальных вариантов к итогу, который мы, читатели, знаем как готовый эпос «Давид Сасунский», — так разворачивается авторский анализ, и перед нами возникает свод одного из величайших эпосов мира. Автор проводит нас по всем главным путям эпоса, иногда заглядывая и в закоулки (неприменно зажигая свет в тупиках и отвлечениях). Вместе с тем Л. Мкртчян нигде не задыхается в архивной пыли. Будучи ученым, исследователем, он остается еще и самим собой — нашим современником. Складу его мышления чужда кропотливая кокетливая «археологичность».

«„Давид Сасунский“, — пишет он, — эпос героический. Героизм — в том, чтобы не дать себя поработить, не дать себя унижить, в том, чтобы отстоять огонь своего очага — вечноезеленое дерево жизни. Такое понимание героического предполагает гуманизм. Смысл жизни и подвигов сасунских богатырей (армянских пастухов, землепашцев и строителей) хорошо объясняют найденные Давидом слова: „Доколе вы живы — не знайте войны...“».

Отнюдь не стремясь к поверхностному осовремениванию эпоса, автор тем не менее многократно находит в его тексте остро звучащие сейчас поэтические сентенции. Чего стоят слова Давида:

Кто из полководцев и войск уцелел,
Он всех их призвать велел и сказал:
«Вам всем дарую волю я!
Идите все туда, откуда вы пришли.
Идите по домам, живите, как вы жили,
И дани с вас не нужно мне.
За жизнь мою молитесь и за души
Родителей моих!
Сидите дома у себя спокойно,
Не вздумайте ходить войною на Сасун!»

Это адресовано тем, кто только что был смертельным врагом! Благородство? Несомненно, но не только оно. За этими словами еще и народное неприятие войны, смерти, крови, что автор книги остро почувствовал в эпосе, где подобные мотивы выражены,

понятно, не с такой подчеркнутостью, как мы делаем в рецензии.

Так высвечивается многогранность тысячелетней философии народа, его миропонимания, которое в поэзии, а особенно в древних сказаниях, словно вырывается из глубин народной души. И мы сегодня явственнее слышим те древние голоса.

Л. Мкртчян даже словно бы стесняется широты своих интересов: «Раньше мне казалось, — пишет он, — что круг моих интересов узок. Теперь я знаю, что надо «копать» в одном и том же месте, чтобы докопаться до глубины, на которую ты способен. И все-таки я не умел и никогда уже не сумею сознательно ограничивать себя, свои интересы, чтобы не выйти за пределы основной своей темы — армянской литературы. Но если вдуматься, то окажется, что именно в интересах основной темы приходилось порой разбрасываться».

Цитата, которую я только что привел, лишена и тени лукавства. «...приходилось порой разбрасываться». Да он и будет разбрасываться. Книга начинается с «Давида Сасунского» и заканчивается заметками о романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Широкий диапазон! А в книге, кроме того, целый раздел о классиках русской литературы — М. Салтыкове-Щедрине, Достоевском, Толстом, Чехове. И конечно, автор не может пройти мимо проблем перевода (опять целый раздел). Понятно, что в наше время критику, занимающемуся своей родной литературой, никак не обойтись без опыта современной русской советской литературы и других братских литератур (в книгу включены статьи о Николае Тихонове, Марии Петровых, Кайсыне Кулиеве, Нодаре Думбадзе, Иване Драче).

Суть не в буквальных параллелях, сравнениях, которые приводит критик, как бы поверяя опыт армянской литературы опытом и авторитетом других литератур. Это было бы узкой полушклярской задачей для такого критика, как Левон Мкртчян. Каждый раз, как это уже было с Нарекаци или Ерзнкаци, он создает литературный портрет своего героя.

Сразу же признаюсь, что меня меньше удовлетворили портреты наших русских классиков. Возможно, сюда включены предисловия, написанные автором к соответствующим переводам классиков русской прозы на армянский язык. Не исключено, конечно, что ошибаюсь. Но впечатление известности материала не покидало меня при чтении. Хотя Левон Мкртчян и здесь остается верен себе, своему восприятию произве-

деня. Вот идет речь о Щедрине: «Прочитав «Господ Головлевых», долгое время испытываешь отвращение к уменьшительным и ласкательным суффиксам. В русской литературе нет, наверно, другого такого произведения, где бы речь так обильно, так густо была пересытана суффиксами. Какая-то эпидемия уменьшительно-ласкательных, зловещих суффиксов, проникших даже в словосочетания устойчивые: вместо «как у Христа за пазухой» — порченное — «как у Христа за пазушкой»...» О суффиксах сама по себе мысль известная, но пример уж очень хорош, и хорошо сказано автором об «уменьшительно-ласкательных, зловещих суффиксах» (разрядка моя.— А. К.).

Из одного этого уже видно, что Левон Мкртчян, пишущий по-русски, русский знает отлично. Мне неизвестно, писал ли он когда-либо стихи (кто не пишет в юности!), но статьи его овеяны воздухом поэзии. Именно в силу своей поэтичности мне представляется чуть ли не лучшим в книге этуод о Марии Петровых. Не о переводчице — в этом качестве мы ее хорошо знаем, — а о поэтессе, авторе очень сильных, в ряде случаев потрясающих стихов. Левон Мкртчян обнаруживает острейший поэтический слух, то и дело цитируя Петровых...

Я думала, что ненависть — огонь,
Сухое, быстройдышащее пламя,
И что промчит меня безумный конь,
Почти лета, почти под облаками...
Но ненависть — пустыня. В душевной
в ней
Иду, иду, и ни конца, ни края,
Ни ветра, ни воды, но столько дней
Одни пески, и я трудней, трудней
Иду, иду, и, может быть, вторая
Иль третья жизнь сменилась на ходу.
Конца не видно. Может быть, иду
Уже не я. Иду, не умирая...

Стыдно признаться, что я, русский критик, по-настоящему узнаю Марию Петровых из статьи Левона Мкртчяна. Да, мне известно, что она много переводила, в том числе армянских поэтов. Но лишь с помощью армянского критика я открыл для себя прекрасную русскую поэтессу.

Немало интересного сказано у автора и о других писателях. Не правда ли, неожиданно: «Дочитав роман Айтматова, историю жизни Буранного Едигея, я подумал о Павле Корчагине. Есть что-то крепкое, корчагинское в Едигее Жангельдине. Жизнь Едигея — она ведь тоже пример того, как закалялась сталь». Это неожиданно. И начинаешь задумываться. Сначала над простым: да ведь Корчагин и Едигей — люди близкого возраста. Жили, конечно, далеко друг от друга, но дышали одним воздухом — озон-

ным воздухом революции. Хотя различий между ними много, определяемых хотя бы тем, что Едигей прожил долгую жизнь и вторая ее половина пришлось на другое время, но люди они и в самом деле родственные.

Тонко замечено, что в стихах Николая Тихонова живут сегодняшний день и мечта и будни всегда одухотворены у него мечтой. К сегодняшним спорам о положительном герое, о доле (или дозе?) романтизма в нашей литературе эти слова — своего рода ключ. Естественная слитность будничного, земного с мечтой, некой возвышенностью духа, стремлением «с марсианскою жаждою творить» — в этом не только один Тихонов, но, возможно, и тот синтез, о коем так тоскует сегодня критика.

Особый раздел в книге составили статьи и выступления Левона Мкртчяна о проблемах перевода. Чисто познавательный интерес здесь представляет сугубо литературоведческая статья «Армянский народный эпос в русском переводе». Снова «Давид Сасунский». Рассказано о том, как полный русский перевод сводного текста эпоса был осуществлен к его 1000-летию в конце 30-х годов такими мастерами, как В. Державин, А. Кочетков, К. Липскеров и С. Шервинский. Наглядно видишь, что истинно художественный перевод — высокое искусство угадывания единственно уместного слова. Таково творчество мастеров. Подмастерья, тем паче ремесленники, те просто переводят с любого языка на сберкнижку, чем немало профанируют переводческий труд. Но автор имеет дело с высокими образцами. В свое время А. Твардовский, говоря о переводах Роберта Бернса С. Маршаком, сравнил отличный перевод баллады «Джон Ячменное Зерно», сделанный Багрицким, с переводом той же вещи Маршаком (лучшим, по мнению А. Твардовского, что он убедительно и доказал), и это был блистательный пример сопоставления хорошего с превосходным. В такого рода сравнениях есть и угадывание самой тайны поэзии, чуда родного слова, его могучих возможностей. Левон Мкртчян следует именно этой традиции.

Не скрою: при чтении этой статьи мне было трудно избавиться от мысли, что она написана специалистом для специалистов. Увлечутся ли ею просто читатели? Но и то нельзя отринуть: так или иначе подобные статьи есть теоретическая, а в какой-то мере и практическая база все расширяющейся деятельности переводчиков. Замкнутых литератур давным-давно нет. И быть не может. «Перекрестное опыление» стало нор-

мой жизни и развития всего мирового литературного процесса. «Да придут к нам благородные мысли со всех сторон...» — назвал свою книгу критик. И назвал не потому, что именно проблемы перевода его больше всего волнуют. Нет. Его прежде всего интересуют проблемы взаимообогащения литера-

тур, современного звучания, казалось бы, древних текстов.

Неизменно озабочен он тем, чтобы благородные мысли все прибывали и прибывали с разных сторон.

А. КОНДРАТОВИЧ.



КНИГА ОБ АЛЕКСЕЕ КОЛЬЦОВЕ

Николай Скатов. Кольцов. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1983. 287 стр.

«С ним родилась его поэзия, — писал Белинский всего четыре года спустя после смерти Алексея Кольцова, — с ним и умерла ее тайна».

Среди расчисленных светил русской поэзии Кольцов — как своеобразная комета, то появляющаяся, то на время почти исчезающая с поэтического небосклона. Были периоды ярчайшего свечения, были периоды, когда «комета Кольцова» едва различалась среди звездных скоплений новомодных поэтических школ, но потом интерес к его личности и стихам неизменно разгорался с новой силой.

Судьба Кольцова необычна.

Сын воронежского крестьянина, выбившегося в купеческое сословие, двадцатилетний юноша, поэт-самоучка, чьи поэтические опыты вызывают снисходительно-вежливое любопытство губернской элиты и восторженное поклонение гимназической и семинарской молодежи, случайно знакомится с другом, моложе себя, юношей, столичным студентом. По совету этого нового знакомого навещает Москву и как-то сразу, без особых усилий входит в литературную среду, попадает в поле зрения молодого Белинского. Вскоре выходит первый сборник Кольцова, изданный усилиями Станкевича и Белинского, и «губернский пиит», «прасол» оказывается в центре литературной полемики, вызывая горячие похвалы одних рецензентов и недовольное ворчание других.

Интересно сопоставить оценку, которую дал Кольцову Белинский, с его же оценками других поэтов в то же примерно время. В марте 1835 года Белинский пишет о «Коньке-горбунке» Ершова, в октябре — о стихах Баратынского, в ноябре — о стихах Бенедиктова, а в декабре — об Алексее Кольцове.

Стихам Баратынского критик выносит приговор весьма суровый. Широкоизвестный отзыв Белинского о поэзии Бенедиктова еще более жесткий. Новый кумир петербургских салонов был низвергнут критиком со своего картонного пьедестала, что называется, в одночасье. В оценке сказки Ершова Бе-

линский тоже строг и нелюбезен. Тон размышлений Белинского о Кольцове совсем другой. Кольцов, по мнению Белинского, «владеет талантом не большим, но истинным, даром творчества не глубоким и не сильным, но неподдельным и не натянутым, а это, согласитесь, не совсем обыкновенно, не весьма часто случается».

«Поспешим же встретить нового поэта с живым сочувствием, с приветом и ласкою», — обращается критик с призывом к читающей публике. Большую часть стихов первого сборника он находит «положительно и безусловно прекрасными».

Редко какая первая книга оценивалась так высоко и так восторженно. Если учесть, что эти высокие слова сошли с пера самого замечательного ценителя русской литературы, чрезвычайно скупого на похвалы литераторам вообще, а поэтам в особенности, станет ясно, каким новым поэтом предстал Алексей Кольцов перед русской критикой и читающей публикой.

Дань восхищения самобытным талантом поэта отдали и Пушкин, и В. Одоевский, и даже насмешливый Вяземский. Вся передовая русская критика сочла своим долгом сказать доброе слово о художнике, в стихах которого зазвучали голоса ветровых степных пространств России.

Посмертные оценки Кольцова еще более восторженны, чем прижизненные. Чернышевский писал, что с приходом Кольцова и Лермонтова в литературу «все прежние знаменитости померкли перед этими новыми». Некрасов ставил Кольцова в ряд с Пушкиным, Крыловым, Жуковским и другими светилами русской поэзии. Салтыков-Щедрин называл Кольцова пополнителем Пушкина и Гоголя.

Казалось бы, лучшей судьбы и пожелать невозможно. Между тем при более обстоятельном знакомстве и с прижизненными и с посмертными отзывами о стихах Кольцова все отчетливее проступает какая-то двойственность в подходе к его поэзии.

С одной стороны, «весь ряд современных

писателей, посвятивших свой труд плодотворной разработке явлений русской жизни, есть ряд продолжателей дела Кольцова», а с другой — «поэзия Кольцова — это деревня нашей литературы», ей «недостает всесторонности взгляда».

С одной стороны, Кольцов дал «нашей поэзии новую и чрезвычайно плодотворную точку опоры» (обратите внимание: не поэтам деревенской темы, а всей поэзии!), а с другой — «исторически закономерная ограниченность».

В этой двойственности оценок сказывалась (и до сих пор сказывается) непрочитанность творческой биографии Кольцова, слишком старательное следование тем или иным привычным стереотипам.

Все то, что поначалу воспринималось как высокая похвала, как восхищение подвигом жизни, стало со временем восприниматься как ограниченность таланта. И прежде всего отметим здесь почти гербовую печать на книге судьбы Кольцова: «Поэт-прасол». В устах Белинского это звучало как указание на творческое мужество, на недюжинность характера человека, сумевшего в весьма неблагоприятных обстоятельствах реализовать свои творческие возможности, стать настоящим, самобытным поэтом. В устах последующих исследователей «поэт-прасол» воспринималось скорее как указание на то, что не надо искать широты и высокой духовности там, где творит самоучка, пусть даже и выдающийся по таланту, все творчество которого «сплошь представляет собою песню пахаря».

Н. Скотов немало страниц в своей книге отводит тому, что можно определить как становление личности поэта. «Вечная стезя русских самородков — самообразование» показано автором на большом фактическом материале. Алексей Кольцов выработал в себе не просто умелого стихотворца, но и подготовленного и мыслящего художника, знающего, по выражению Л. Леонова, на какой полке стоят все главные книги мировой литературы.

В манере поведения Кольцова была эта черта — приbedняться по части образования. В письмах он не раз сетует на свою «провинциальность», на неполноту своей литературной подготовки, на бедность знаний, вообще на какую-то второсортность. Но было бы большой ошибкой все эти самобичевания принимать за чистую монету и только на их основании определять степень образованности и подготовленности Кольцова. При все видимой непосредственности и простоте его поэзия — это поэзия высочайшего мастерства, развитого художественного вку-

са, поэзия естественности, которая достигается лишь соединением природного таланта с выучкой, знанием, опытом.

«В каждом слове бездна пространства» — так определил Гоголь одно из главных достоинств поэзии Пушкина. Пространством слова прежде всего и отличаются поэты великие от невеликих, талантливые от способных. Возьмите «Слово о полку Игореве». Краткость его изумительна, краткость, соединенная с выразительностью, картинностью, точностью. Сравните оригинал «Слова...» с его многочисленными и в большей своей части талантливыми переводами. Там, где в оригинале стоит пять слов, переводчику приходится ставить десять, а то и более. Там, где в оригинале одна стремительная, как кипчакская стрела, фраза, переводчики выстраивают целые частоколы фраз.

Алексей Кольцов принадлежит к поэтам, слово которых обладает исключительной просторностью и вместительностью. Почти никогда в его стихе нет низкого, комнатного потолка. Почти никогда в стихе его нет той комариной точности, которая так полюбила некоторым нашим лирикам и в которой они видят главную панацею от всех литературных бед.

Слово Кольцова родилось под высоким степным небом, вместило в себя его окомы, его заревые сполохи, его мятущую ширь. Посмотрите, как просторны кольцовские описания окружающего мира:

В края дальние
Пойдет молодец:
Где вниз по Дону
По набережью,
Хороши стоят
Там слободушки!
Степь раздольная
Далеко вокруг,
Широко лежит,
Ковылем-травой
Расстилается!..

Здесь в каждом слове — многоверстные дали, и неохватность русского пространства передана поистине с покоряющей силой.

Или известное стихотворение Кольцова «Горе» («Ах ты, горе, горе, горе горькое! Где ты сеяно да где выросло?..») Жизнь человеческая, беды людские взяты так крупно, «вселенски», что для мелочной изобразительности уже не остается места. Поэт не конкретизирует, не привязывает чувство, настроение к бытовым подробностям жизни, а могучими ударами кисти пишет горе человека, в котором, как в степном пространстве мелкие пейзажные детали, растворяются мелкие людские печали и неурядицы.

Говорит ли Кольцов о любви или радости, о страдании или печали, говорит ли о смерти или старости, он всегда находит такие

слова и такие их сочетания, когда выявляются корневые, вековые сущности жизни.

Не случайно в думе «Великое слово», посвященной В. А. Жуковскому, мощь слова Кольцов определяет прежде всего способностью соединять в себе миры:

Могучие силы
Сомкнуло в миры,
И чудной, прекрасной
Повеяло жизнью.

Поэт не рисует, а как бы высекает из цельной глыбы свои народные типы и характеры:

С радости-веселья
Хмелем кудри вьются;
Ни с какой заботы
Они не секутся.

Их не гребень чешет —
Золотая доля,
Завивает в кольца
Молодецка удаль.

Я не знаю другого примера в нашей поэзии, когда эпическими, по сути, средствами создавался бы тончайший и глубоко личный мир лирического героя, когда жизнь конкретного человека, вобрав в себя столько «вселенского», оставалась бы конкретной человеческой жизнью, не утрачивала примет индивидуальности, времени и места.

Алексей Кольцов не боковая ветвь на древе русской поэзии, он ее ствольная часть. Вот почему попытки свести его влияние к влиянию лишь на «деревенских» поэтов представляются мне ошибочными.

Деятельный член действительности, по выражению Белинского, Алексей Кольцов выразил своим творчеством важнейшие стороны русской жизни, особенности национального характера, думы своего времени. И тем самым обеспечил своему слову настоящее долголетие и внимание широчайших читательских масс.

Не только поэты Некрасовской школы, а вся русская литература обязана Кольцову новым прочтением народной темы, новым уровнем осмысления народной жизни. Крестьянин Кольцова не только представитель определенного сословия, а представитель определенного народа во всей самобытности его склада характера, его психологии, его исторического бытия и житейского быта.

И литература не могла пройти мимо этих художественных открытий и завоеваний.

Валерий Брюсов в письме Андрею Белому (1905) сетовал на то, что, понадеявшись на личный вкус, тот среди лучших после Пушкина и Лермонтова поэтов назвал только шестерых — Некрасова, Тютчева, Фета,

Вл. Соловьева, Блока и Брюсова. «Нет, я решительно отказываюсь от чести быть в числе шести, если для этого должен забыть Кольцова, Баратынского, Бальмонта».

Брюсов в роли апологета Кольцова выглядит странно лишь для тех, кто настойчиво расставляет ограничители на материке поэзии Кольцова.

Мы теперь охотно признаем влияние Тютчева и Фета на всю современную поэзию. Пора признать и влияние Кольцова не только на Есенина, но и на Маяковского, не только на Демьяна Бедного, но и на Блока, не только на Твардовского, но и на Мартынова, не только на Исаковского, но и на Багрицкого, не только на Тряпкина, но и на Юрия Кузнецова.

Пора сказать, что исключение Алексея Кольцова из школьных программ обедняет эстетическое и гражданское воспитание наших детей. Мы вырастим целые поколения, которые не будут знать ни «Песни пахаря», ни «Леса», ни «Горькой доли», ни «Раздумий селянина», ни других гениальных песен Кольцова, сыгравших большую роль в духовном развитии русского народа.

Кольцов — это черный хлеб нашей духовности, нашей гражданственности. А, как известно, черный хлеб нужнее всего для здоровья человека.

На эти размышления натолкнула меня книга Николая Скатова «Кольцов», во многом по-новому осветившая и судьбу и творчество поэта. Еще раз подумалось, как важно стирать время от времени «случайные черты» с лица художника и возвращать его читателям не полузабытой диковинкой, а живым явлением, созвучным и своему и всем последующим временам.

Поэтическая комета Кольцова опять возшла на небосклоне нашей литературы. И это новое возвращение Кольцова нуждается в новом слове о нем, в новом осмыслении его поэтики, его наследства. Книга Николая Скатова, вышедшая в свет к 175-летию со дня рождения Алексея Кольцова, — хороший пример этого обновленного, освеженного знания его творчества.

Прежде всего необходимо отметить сочетание в книге «Кольцов» строго научного подхода к творчеству поэта с умением рассказать о его судьбе занимательно, заинтересованно. Н. Скатов ни в чем не поступился научностью ради оживления своего рассказа, ради беллетризации горестных страниц жизни Кольцова. Интерес читателя автор поддерживает не с помощью литературных приемов, а широтой привлечения документального материала, во многом впервые вводимого в читательский обиход.

Алексей Кольцов рассматривается не как одинокая, экзотическая, страдающая фигура нашей поэзии, а как художник, тесно связанный со всей передовой русской литературой, с духовными исканиями своего времени. Он не сторонний наблюдатель, а страстный, подчас ярый участник литературной и идейной борьбы 30-х годов XIX века. С особым вниманием прослежены в книге связи Кольцова с московскими и петербургскими литературными кругами. Многие в литературной жизни столиц ему не нравились: претила самолюбивая суэта одних, сибаритство других, снисходительность третьих.

Утвердившийся в кольцеведении штамп, что поэт изнывал от тоски в своей степной дикой глуши и расцветал лишь в литературном мире Москвы и Петербурга, рушится на страницах книги Н. Скатова под ударами многочисленных фактов. На проверку оказывается, что круг близких Кольцову людей

в обеих столицах, по словам самого Кольцова, сводился всего к двенадцати человекам.

Не столько Петербург и Москва влекли к себе Кольцова, сколько жажда воли, жажда русских просторов, без которых он не мыслил для себя счастья. «Если б воля — поехал бы по России, проездил бы хоть год. Вот что всей душой хотел бы я», — писал он Белинскому незадолго до смерти.

Со страниц книги Н. Скатова Кольцов встает как человек страстных порывов, то юношески восторженный, то скорбный «раб пространства», жаждущий все увидеть, познать, пережить, передумать, дать всему имя и облик. Жизнь его обрывается на скаку, но ветер, который бил ему в лицо, опанул его бессмертные песни, и они веют на нас запахом степи, весны, гроз, запахом жизни.

Виктор КОЧЕТКОВ.



Политика и наука

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

Т. С. Мальцев. Думы об урожае. В 2-х томах. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 1983.

Нужно было видеть, как пахари, комбайнеры, животноводы читали у нас на Южном Урале в середине лета 1982 года журнал «Коммунист», пересказывая друг другу содержание одной из статей. Что привлекло людей в разгар страды к серьезному научно-теоретическому журналу? «Слово о земле-кормилице» курганского хлебороба, народного академика Т. С. Мальцева.

Помню, как однажды я услышал в передаче областного курганского радио озабоченный голос. Выступавший говорил о земле, о лесе, о зверях и птицах. Об этом на селе постоянно толковали мужики, встречаясь у выгона, старики на завалинках, женщины у селпо... А потом диктор назвал имя: Терентий Семенович Мальцев. Имя мудреца из зауральской деревни Мальцево хорошо известно в нашей стране. Колхозник, ученый, дважды Герой Социалистического Труда. Он наш современник, и мы не устаем удивляться тому, с какой проникновенной озаренностью видит, чувствует Мальцев землю и труд земледельца.

И вот теперь, много лет спустя, передо мной двухтомник «Думы об урожае», изданный в Челябинске. Здесь собрано лучшее из того, что было написано этим удивительным человеком почти за шестьдесят лет его творческой жизни, — размышления о способах

сева, пахоте, селекционной работе, об отношении крестьянина к своему труду, полю, родине...

Мальцевская мысль сильна и глубока прежде всего тем, что она есть мысль народная, выстраданная тысячелетним опытом жизни. «Не тот пахарь, который пашет, а тот, который любит свою пахоту, — говорит Мальцев, обращаясь к молодежи. — Пахать многие могут, а любоваться не всякий способен. Это к любой работе относится...»

Судьба Терентия Семеновича не баловала: и возносили, и бранили, и объявляли лжепророком. И не потому, что Мальцева окружали одни завистники да враги, а потому, что в деле своем он заглядывал далеко вперед, утверждал свои идеи, смысл и значение которых открывались большинству много позже.

«Начиная с 1930 года, — вспоминает Мальцев, — с первого года организации колхоза, 19 лет подряд меня каждую весну позорили за поздний сев. И каждую осень тоже 19 лет подряд отмечали за урожай. Я привык к этому, и когда позорили, не особенно печалился, и когда отмечали, не особенно радовался, зная, что весной снова будут позорить».

Став в 1930 году колхозником, Мальцев

внес в общественный фонд 16 пудов отборной пшеницы «цезиум-111». Такого сорта семян зауральские крестьяне еще не знали. Его Терентий Мальцев вывел на собственном опытном участке еще до колхозной жизни. Новый сорт пшеницы полностью оставили на семена, сложив в отдельном амбаре. Тут-то и случилось непредвиденное. В деревне появился уполномоченный из района, обнаружил отборное зерно и приказал отправить его на приемный пункт в счет обязательных хлебопоставок. Терентий Мальцев в это время работал на поле...

«До Шадринска побольше двадцати километров,— рассказывает Терентий Семенович об этом случае,— я туда бегом. На приемном пункте колхозники разгружают последнюю подводку. Бросился в склад — пшеница еще не перемешана с другим зерном. Попросил ссыпать ее в отдельный угол. Это и сделали. На другой день поехал в Свердловск, в областные организации, и добился: вернули колхозу Цезиум. Весной высеяли пшеницу, а осенью больше тысячи центнеров свезли на элеватор. Много семян продали окрестным колхозам».

Глеб Успенский, подводя философскую основу под все то, что делает в России земледелец, заключал: смысл и назначение земледельческого труда в нем самом, в его бесконечной повторяемости из года в год. В этом счастье крестьянской жизни, ибо постоянная привязанность к земле нужна человеку не только для того, чтобы он кормил семью, но и чтобы не «избаловался», не разучился жить и работать, как жили и работали его предки... Как и Г. Успенский, Терентий Семенович призывает к тому, чтобы человек был привязан к земле: «Творить хлеб по-настоящему можно лишь тогда, когда принадлежишь ему всем сердцем, отдаешься всей душой, жизнью. Любовь к земле не приходит сама по себе, она начинается вроде бы с малого — с любви к своей семье, к своему дому, к селу, к школе, а приводит к большому и великому — к осознанию любви к Родине и исполнению долга во имя Родины». Да, человек должен быть привязан к своему полю, иначе ничего он не получит от него, и Мальцев не раз повторяет это.

При обсуждении в нашей стране проекта Продовольственной программы высказывались мысли, что-де следует дефицит рабочих рук на селе пополнить за счет городского жителя, создать на деревне все необходимые условия, не уступающие городским, что вот тогда-то и повалит городской житель трудиться на поле и ферме и появятся в стране и хлеб, и масло, и мясо.

«Слышал я и такие предложения,— пишет Мальцев,— будто дома желающим трудиться в сельском хозяйстве надо дарить в их полное распоряжение, освобождая и от квартплаты, которая, как известно, ничтожно мала и скорее даже символическая по сравнению с общественными затратами на содержание жилья. Думаю, что это излишнее иждивенчество». Земле не нужно снисхождения, ей нужна любовь земледельца и его полная самоотдача. Только тогда вознаградит земля тучным колосом, когда почувствует, что человек отдает ей всего себя, признает ее власть над собой. Вот здесь-то и сходятся мысли Г. Успенского, идеолога крестьянства прошлого века, и Т. Мальцева — народного академика века нынешнего.

Хлеб, производство зерна были и остаются важнейшей политико-экономической задачей нашего государства. Понятно поэтому пристальное внимание к работе земледельцев партийно-хозяйственных органов, которые свои директивы строят на проверенных практикой разработках ученых. Нелегко было простому колхозному полеводу, не имеющему ученых степеней и званий, доказывать свою правоту. Мальцев не просто выслушивал критику. Он упорно защищал свои идеи, в то же время тщательно перепроверял их на практике. «Личные неудачи с ранними посевами и явились причиной поисков других, лучших сроков сева. Уже с 1923 года в своем хозяйстве я стал переходить на более поздние сроки. Затем через организованный сельскохозяйственный кружок, широкие опыты со сроками сева, с испытанием и размножением раннеспелых сортов пшеницы поздние сроки сева стали быстро перениматься соседями. Еще до создания колхоза у нас в селе почти все крестьяне рано не сеяли...»

Рассказывая о собственной технологии возделывания почвы и выращивания зерновых, зауральский хлебороб одновременно объясняет, почему и как пришли к этой технологии крестьяне из колхоза «Заветы Ленина». И вот тут-то читатель понимает: следовать за Мальцевым в земледелии — это не значит слепо копировать его приемы на своих полях, в своих районах. Нужно делать то, чего требует твое поле. В этом суть мальцевского аграрного учения, и каждому новому поколению земледельцев предстоит постигать ее заново, чтобы на своем поле быть хозяином, а не сторонним наблюдателем, нанятым работником.

«Кому не знакома такая картина. Приедет в колхоз какой-нибудь уполномоченный, заметит в хозяйстве какие-то неполадки и говорит колхозникам:

— Вы же хозяева, почему такое допускаете?

Они обычно отвечают:

— С чего вы взяли, что мы хозяева? Делаем то, что нам скажут.

И председатель колхоза на такое отвечает тем же, чем и колхозники, что и он и правление тоже не хозяева. Как же так?

Земля передана колхозу по акту на вечное пользование, колхоз и должен решать, как ее выгоднее использовать не только для себя, но и для государства...

Многое меняется в жизни, только власть земли неизменна, земля по-прежнему щедра, но требовательна и строга к своему пахарю. Насущной проблемой земледелия считает Мальцев повышение интереса сельского работника к труду:

«Сегодня благополучие колхозников и специалистов мало зависит, а можно сказать, совсем не зависит от результатов урожая... Гарантированная заработная плата делает их равнодушными к результатам их труда. Иному человеку все равно, какой будет урожай, так как он свое уже получил... А видя такое отношение их к работе, и работающие люди иногда теряют прилежность».

Майский (1982) Пленум ЦК КПСС, принявший Продовольственную программу СССР, наметил, в частности, развитие и та-

кой прогрессивной формы труда в сельском хозяйстве, как бригадный подряд. И хотя новая форма организации труда внедряется не так быстро, как хотелось бы нам всем, проблема отношения сельского труженика к земле поставлена во всеобщем масштабе и выход из нее будет найден.

Велик вклад Мальцева в земледельческую науку. Им разработана и применена безотвальная система обработки почвы, продуманы севообороты на зауральских полях, проделана большая работа по выведению новых перспективных сортов зерновых культур. Мальцев не только ученый-практик, он воспитатель — едва ли не во всех его статьях, выступлениях есть слова, обращенные к молодежи, к тем, кто сегодня приходит трудиться на колхозные и совхозные поля. А таких выступлений немало — за свою жизнь Мальцев написал 15 книг и брошюр, более 150 статей...

Нам еще трудно по-настоящему оценить все то, что написано и сказано народным академиком. Это дело будущего. Но уже сейчас ясно одно: главная идея мальцевского учения, обращенного к земледельцу, в том, чтобы он трудился творчески, жил в согласии с природой.

В. ХАРЬКОВСКИЙ.

Челябинск.



СТРАНА, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

Э. Хайнрих, К. Ульрих. Вражда с первого дня. Три десятилетия провокаций против ГДР. М. «Прогресс». 1983. 223 стр.

В. Абызов, Г. Брок. ГДР: будни и праздники. М. Политиздат. 1984. 126 стр.

П. А. Абрасимов. 300 метров от Бранденбургских ворот. Взгляд сквозь годы. М. Политиздат. 1983. 352 стр.

В год тридцать пятый истории нашей республики я нашла на прилавках книжных магазинов советской столицы три новых книги о ГДР. Одна из них написана немецкими публицистами Э. Хайнрихом и К. Ульрихом, хорошо знакомыми у нас в ГДР каждому, кто читает газету «Нойес Дойчланд». Тема этой книги — тайная война против ГДР, которую вело на протяжении всех послевоенных лет другое германское государство. Впрочем, почему вело? Ведет и сейчас. После того как Бонн признал нашу республику, изменились, да и то частично, лишь формы этой войны. Раньше через наши границы с ФРГ и Западным Берлином чаще переправлялись агенты со взрывчаткой, теперь — с идеологической контрабандой. Раньше нарушения границы оправдывались тем, что это-де вовсе не граница, а демаркационная линия. Теперь в бонн-

ских правительственных документах и реакционной прессе границу называют внутригерманской, то есть чем-то вроде границы между Баварией и Баден-Вюртембергом или, скажем по аналогии, между Московской и Тульской областями. В действительности же это граница между суверенными государствами.

Вот почему книга «Вражда с первого дня» остается, к сожалению, очень актуальной, хотя написана за несколько лет до того, как вышла здесь, в Москве. В особенности актуальны ее разделы, посвященные психологической войне Бонна против ГДР. Первые десятилетия вражды, о которой пишут Э. Хайнрих и К. Ульрих, отмечены попытками задушить ГДР политически (доктрина Хальштейна предписывала другим государствам под страхом боннских санкций воздерживаться от признания ГДР) и

экономически (торговый бойкот, диверсии, вербовка наших технических кадров **стоили** нам многих десятков миллиардов марок). Теперь острее повернуто на душу, на образ мысли и социальные чувства каждого из моих сограждан. Вытеснить идеалы патриотизма, интернационализма, гуманизма; взрастить или реанимировать националистическую кичливость, потребительское отношение к жизни, анархические или, в последнее время, пацифистские установки — вот стратегия неутрачивающей (а после прихода к власти консерваторов получившей новые импульсы) боннской вражды к ГДР. Вражды, у которой в политическом языке есть синоним — реваншизм, то есть курс на восстановление рейха, кое-как замаскированный болтовней о «воссоединении» немцев и даже об их «свободе» (как будто бы рейх был когда-либо олицетворением свободы!).

Демонтаж нашего социалистического сознания пытаются провести, используя в первую очередь ту границу, которую нельзя перекрыть шлагбаумом, — границу в эфире. Наша территория насквозь простреливается западногерманскими и западноберлинскими радио- и телестанциями. Западный Берлин, как отмечают Э. Хайнрих и К. Ульрих, обладает таким потенциалом радио- и телепередач, которому может позавидовать любое развитое государство с населением раз в десять побольше. Каждая из этих передач адресована не столько жителям самого Западного Берлина, сколько аудитории в ГДР.

Раньше с антенн срывались прямые призывы к мятежу против «власти СЕПГ». Теперь тон иной. Диктор больше не употребляет слова «зона» или «Центральная Германия» (намекая на то, что есть еще «Восточная» — польские и советские земли). Теперь они научились выговаривать три буквы — «ГДР». Но все передачи построены на посылке, что есть «настоящая», «подлинная», «вечная» Германия — ФРГ, а есть нечто временное, искусственное, внешнеисторическое — ГДР. И каждый настоящий немец должен на Запад глядеть с надеждой, а на Восток — с grimасой страха и отвращения.

Еще один участок этого не всегда заметного, но постоянного, усердного подрыва идейно-психологической основы нашей социалистической государственности — личные контакты. Они, разумеется, неизбежны — у многих моих сограждан есть родственники или близкие друзья на Западе, ведь население обоих германских государств произошло из общего этнического чрева. Определенная нормализация отноше-

ний с начала 70-х годов привела к тому, что посещения с Запада стали исчисляться миллионами. Если бы «вражде с первого дня» пришел конец и ядовитая ее атмосфера перестала отравлять мышление многих западногерманских и западноберлинских граждан, вопроса бы, как говорится, не было. А так тетя Эмма из Мюнхена или дядя Густав из Гамбурга нередко везут с собой к нам не только сигареты «Астор» взрослым и жвачку с привкусом ананаса детям, но и мешанину слухов, сплетен, предрассудков и иллюзий, без которых мы предпочли бы обойтись. Это загрязнение нашей духовной среды тоже планируется и учитывается противниками.

В книге Э. Хайнриха и К. Ульриха, написанной еще до смены правительства в Бонне и общего поправления политики ФРГ (связанного, а частности, и с размещением в этой стране новых американских ракет), не проанализировано нынешнее оживление реваншизма на Рейне. Теперь руководящие деятели западногерманского государства вновь без обиняков заявляют о том, что «германский вопрос» остается открытым, а «воссоединение Германии», то есть ликвидация моего государства, — на повестке дня. Трудно допустить, что в Бонне планируется какое-то повторение «дня икс», попытки путча и интервенции, предпринятой 17 июня 1953 года. Предпосылок для этого нет, морально-политическое единство нашего народа прочно. Разговоры о «германском вопросе», «проблеме границ», «воссоединении» ведутся пока что главным образом для «внутреннего» употребления, в интересах консолидации правоэкстремистских и откровенно реваншистских сил, их сплочения вокруг нынешнего боннского правительства, испытывающего немалый нажим демократического антивоенного движения. В отношении же граждан ГДР прорабатывается такой вариант: пусть государственная граница остается пока неизменной, а вот граница идеологическая и культурная не будет с нею совпадать, пройдет на несколько сот километров восточнее. Пусть у гражданина ГДР пока остается паспорт с молотом и циркулем, лишь бы на производстве и в быту он все больше уподоблялся бундесбюргеру.

О провалах этой стратегии в книге Э. Хайнриха и К. Ульриха говорится немало. В ее несостоятельности советский читатель убедится, если познакомится с нашей повседневной жизнью. Такую возможность предоставляет книга «ГДР: будни и праздники» — совместный труд советского писателя и журналиста В. Абызова и его коллеги из ГДР Г. Брока. Они написа-

ли живой, темпераментный репортаж, в котором доскональное знание нашей жизни сочетается с умением почерпнуть из моря житейского то, что наиболее интересно именно советскому читателю.

ГДР предстает здесь страной со своими проблемами и трудностями, но полной энергии, хорошо организованной, устремленной в будущее. Такая она и есть в ее тридцать пять лет. Помнится, когда наша республика отмечала свое двадцатилетие, ее изображали на плакатах улыбающейся девушкой. Пока еще мне не привелось видеть плакатов к тридцатипятилетию, но у женщины, которая умеет следить за собой, и в тридцать пять нет ни малейших признаков увядания. Впрочем, государства развиваются по иным законам: они вечно молоды и полны сил, если в них заложена правильная социальная программа.

В. Абызов и Г. Брок ведут свой репортаж, построенный преимущественно на диалоге, из заводских цехов, с полей сельскохозяйственных кооперативов, из клубов, приводят читателя и домой к своим собеседникам.

Западные средства массовой информации в последнее время пустили в оборот миф о «ячеечном государстве», по которому граждане ГДР ведут якобы двойную жизнь: на глазах у начальства — одна, а в своих четырех стенах, в своей «ячейке» — совсем другая. На собраниях — правильные речи, дома — брюзжание. В конторе — «Нойес Дойчланд», на домашнем телеэкране — завлекательная западная картина. В цехе — имитация трудового творческого поиска, а дома в кресле — мучительные размышления о том, как раздобыть голубую с розовыми разводами кафельную плитку для ванной.

Лучшее опровержение подобных инсинуаций — факты. В книгу В. Абызова и Г. Брока не могли войти самые свежие из них, в том числе беспрецедентный для Запада подъем экономической жизни страны за предъюбилейный год. Но авторы сумели убедительно показать высокий накал нашей производственной деятельности, которого в условиях «ячеечного государства» и раздвоения личности просто не могло быть.

Мне кажется, советскому читателю будет небезынтересно и бесполезно поближе познакомиться с формами проявления трудовой и социальной активности, получившими у нас большое распространение. Я имею в виду неоплачиваемый добровольный труд по благоустройству своего дома, улицы, поселка, города. От субботников в СССР эта работа отличается своим посто-

янством: ее выполняют из месяца в месяц, а бывает — и каждую неделю. В. Абызов рассказывает о молодой чете, получившей квартиру в старом доме, лишенном удобств. Пять-шесть лет спустя здесь появились и ванны, и санузлы, и лифт. «Все сами! Вместе с другими жильцами!» В деревне Фалькенбах все от мала до велика строили по выходным дням здания магазина-универсама, зубоучебного кабинета, пожарного депо, затем осушили низину и построили стадион с переклассным футбольным полем и трибунами, возвели спортзал. Вот так! Построили и возвели, не ждали, пока государство найдет деньги, выделит фонды, спустит план, пришлет строителей.

В беседах с моими советскими друзьями мне приходилось подчас слышать, что многое хорошее в ГДР объясняется врожденными качествами немца: его дисциплинированностью, трудолюбием, бережливостью, способностью к организации. Нельзя, конечно, отрицать, что особенности нашего исторического развития, наших природных условий веками принуждали народ к упорному труду и самоограничению. Иначе было никак не прожить. Но верно и другое: заложенные в национальном характере качества могут получить в одном социально-историческом контексте знак плюс, в другом — знак минус. Когда один из боннских лидеров как-то стал рассуждать, что «мы, немцы, самые дисциплинированные, самые организованные, самые, самые, самые...», другой, западногерманский же, оппонент бросил в ответ: «Конечно, кто же еще мог так наладить работу в Освенциме!» Жестокое, но справедливое напоминание. Можно добавить, что традиционные национальные ценности в той же ФРГ переживают явный упадок, девальвацию. В языке западногерманской молодежи прочно укоренилось слово «ляйстунгсфервайгерунг», что означает примерно «отказ от свершения». Лень, ничегонеделание, жизнь вне трудового коллектива возводятся в высшее благо, в жизненный принцип. Почему? Да потому что власть денежного мешка с его спутниками — нечеловеческой эксплуатацией, с одной, и безработицей, с другой стороны, — опрокидывает сложившуюся веками пирамиду традиционных добродетелей. У нас в ГДР этого, конечно, не происходит, ибо труд, социальная добропорядочность вознаграждаются материально и морально, вписаны в общий гуманистический фон нашей жизни, сплавлены с нашей культурой, нашим мировоззрением.

Тут мы очень многому научились у на-

ших советских друзей. Эта тема затронута и в книге В. Абызова и Г. Брока, но гораздо глубже и шире разработана в историко-публицистическом исследовании П. А. Абрашимова «300 метров от Бранденбургских ворот». Имя автора хорошо знакомо каждому гражданину ГДР: в общей сложности восемнадцать лет он возглавлял советское посольство в Берлине. На газетных страницах, экранах телевизоров, на митингах советско-германской дружбы, а многие и на приемах в советском посольстве — монументальном доме, расположенном в трехстах метрах к востоку от Бранденбургских ворот, — видели этого советского дипломата, известного, в частности, своим вкладом в урегулирование вопроса о статусе Западного Берлина.

Его книга не только о событиях и людях, связанных с деятельностью автора на дипломатическом поприще. П. А. Абрашимов впервые встретился с немцами не за столом переговоров и не за банкетным столом. В годы войны он был одним из руководителей партизанского движения в Белоруссии. Немецкие захватчики нанесли тяжелый ущерб его родному краю, жестоко пострадала и его семья.

Тем большее впечатление произвели на меня сдержанный тон этой книги, свойственное ей органическое соединение интеллекта и эмоций. В ней использованы как бы две точки зрения — очевидца, деятельного участника быстротекущих событий и вдумчивого историка, охватывающего умственным взором ретроспективу и перспективу.

Исходный рубеж размышлений автора об истоках братства наших стран — последние годы XIX века, когда революционная социал-демократия России установила прочные связи с немецким рабочим движением. Он прослеживает и развитие отношений между народами, и развитие отношений между государствами. Эти две линии прежде редко шли параллельно, еще реже сближались, разве что в период Рапалло, когда правящие круги Германии после поражения в первой мировой войне под угрозой международной изоляции пошли на укрепление сотрудничества с советской Россией. Только создание ГДР слило воедино волю народа и политику правительства в русле братской дружбы с Советским Союзом, советским народом.

Этот исторический экскурс — в первой части книги П. А. Абрашимова. Ее вторая часть посвящена развитию отношений между ГДР и СССР. Обе части связаны единым

сюжетом — рассказом об истории здания на Унтер-ден-Линден, в трехстах метрах от Бранденбургских ворот. Но есть и внутренняя связь между ними: логика истории, предопределившая победу другой Германии.

Как и все советские люди, П. А. Абрашимов не забывал об этой другой Германии даже в самые тяжелые годы войны. В Советском Союзе знали и верили, что фашисты и немецкий народ — не одно и то же. В Советском Союзе знали, что гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. К нему вернется совесть, он прозреет.

С глубоким, хотя и сдержанным волнением написаны страницы о героине-партизане Фрице Шменкеле, сменившем сизую шинель фашистского солдата на прожженную у костра телогрейку. Таких было, увы, не так уж много. Мы это знаем. Тем дороже нам о них светлая память.

Другая Германия, воплощавшаяся в деятельности В. Пика, В. Ульбрихта и других политических лидеров рабочего класса, в подвигах антифашистов-подпольщиков, среди которых был и Э. Хонеккер, в творчестве И. Бехера и Б. Брехта, обрела в ГДР свой родной дом. И прочность этого дома в немалой степени обусловлена тем, что у него есть такой фундамент. В этом дополнительный залог необратимости перемен на нашей земле, сколь лихорадочно ни искали бы способов повернуть наше развитие вспять недруги.

Отношения между нашими странами — осуществленная мечта многих замечательных русских и немцев прошлого, которым представлялись совершенно противоположными и глубоко прискорбными враждебные отношения между Россией и Германией. Когда-то И. С. Тургенев подарил своему немецкому другу Фарнгагену фон Энзе (писателю, историку, дипломату, воевавшему под русским знаменем с Наполеоном) стихотворение:

Да будут русской речи звуки
Для вас залогом, что года
Пройдут — и кончится вражда;
Что, чуждый немцу с колыбели,
Через один короткий век
Сойдется с ним у той же цели
Как с братом — русский человек..

Пророчество сбылось. 7 октября 1949 года в Берлине была провозглашена Германская Демократическая Республика.

Рята ШИК.

ГДР.

КОРОТКО О КНИГАХ



МИХАИЛ ГОДЕНКО. Избранные произведения в 2-х тт. М. «Художественная литература». 1983. Т.1, 559 стр. Т.2, 453 стр.

Геолог, находя мощный пласт, находит месторождение. Место рождения писателя порой определяет и его творческий пласт. Произведения Михаила Годенко — пример последовательного творческого освоения места рождения — степного Приазовья. Ему посвящал свои стихи и поэмы Годенко-поэт, ему посвящает свои повести и романы Годенко-прозаик.

Постичь большое в малом, общее через частное... Не о судьбе одного Михаила Супруна из украинского местечка Белые Воды повествует, к примеру, роман «Минное поле», — о судьбах тысяч моряков Балтийского флота, тысяч людей, защитивших родину в годы Великой Отечественной.

Героический переход кораблей Балтфлота из Таллина в Кронштадт, взрывы авиабомб, буруны торпед, пылающие суда — все это читатель видит как бы фрагментарно глазами минера Михаила Супруна. Некогда ему рассматривать панораму происходящего — он ставит минные заграждения, спасает тонущих, сорвав бушлат, гасит горящий брезент, которым накрыты мины... Короткие, лихорадочно короткие взгляды, но они, как отдельные кадры движущейся киноленты, складываются в живую, цельную, незабываемую картину.

Многому научила война Михаила Супруна. И главное — не отступать перед опасностью, не обходить стороной, оставлять людям чистый фарватер.

Герои романа «Зазимок» — Костя Говяз, Юхим Гавва, Микита Перехват и Найден Будяк — ровесники и, по сути, земляки Супруна. Но если в «Минном поле» описание детства и юности героя было как бы своеобразной прелюдией к основным событиям, то в «Зазимке» оно выходит на первый план; соединяющиеся в органическое целое детали будничного труда и быта довоенного колхоза рождают образ времени с его острым драматизмом социальных противоречий, борьбы старого и нового, с неукротимым оптимизмом созидания будущего. Юные герои романа воспринимают мир как своего сверстника. Потому так широко распаивается он перед ними, потому так

важно и радостно для них любое участие в общем деле, будь то уборка кукурузы, или агитпоходы, или молотьба.

«Разве есть на свете чтонибудь интереснее молотьбы? Ее можно сравнить разве что со свадьбой. Тут, как и на свадьбе, все расчитано, все расставлено с умом. Каждый на своем заданном месте, каждый со своей сноровкой, со своим понятием дела, со своей вольной волей. Без своей воли нельзя, потому что бывают всякие непредвиденные повороты. Молотьба, как и свадьба, шумна, горяча, мила и вместе с тем, как свадьба, утомительна».

Особую прелесть роману, как, впрочем, и другим произведениям Годенко, придает естественное сочетание лиризма, истинно народного юмора авторского повествования и живой, сочной речи персонажей.

Роман «Зазимок» напрямую не рассказывает о войне (первая часть заканчивается на пороге огненного лихолетья, действие второй происходит спустя двадцать лет), но и не обходит ее стороной. Война — и это характерно для Годенко — становится суровым экзаменом гражданской зрелости, мериллом человека, испытанием его духа. Автор ставляет своих героев серьезно задуматься о своем жизненном пути, о личной ответственности за каждый свой шаг, за судьбы других людей.

Этими размышлениями пронизана и повесть «Полоса отчуждения». Не время действия, не место, не композиция, не стиль даже, а именно философская, психологическая основа роднит это произведение с другими в творчестве Годенко. «Разве можно осудить человека жесточе, чем сам он себя осудил? Какую бы муку для меня ни изобрели, она все равно будет бесконечно малой, не искупающей вины». Так размышляет человек после автомобильной катастрофы. Случайной — по излишней самоуверенности, по лихости. И не случайной — потому что эта самоуверенность и лихость не минутные, а давно ставшие нормой жизни. Под счастьем понимал герой повести престиж и преуспевание — служебное, материальное. Дорогой ценой — здоровьем близких людей — платит он за свое прозрение.

О любви к отчизне, родному народу, о верности долгу, отваге и чести — роман «По-таенное судно». М. Годенко показывает

жизнь целой династии сельских тружеников — создателей, воинов. Испытания лишь закаляют подобных людей, крепко стоящих на родной земле. Она сильна ими, а они сильны ею...

Как-то на вопрос «Издательства писателей в Ленинграде» об исходных материалах художественного произведения А. М. Горький ответил: «Пользовался преимущественно материалом автобиографическим, но — ставил себя в позицию свидетеля событий, избегая выдвигаться как сила действующая, дабы не мешать самому себе, рассказчику о жизни». Этот горьковский принцип исповедует и Михаил Годенко. А рассказывая о жизни родного края, писатель, по сути, рассказывает о жизни всей страны, всего нашего народа.

Алексей Бархатов.



ЮРИЙ ХАЗАНОВ. Мой марафон. Рассказы и повесть. М. «Детская литература». 1983. 128 стр.

Знаменитую реплику Станиславского, обращенную к актерам: «Играть для детей нужно точно так же, как для взрослых, только лучше», чуть изменив, постоянно адресуют и писателям. Афоризм этот стал общим местом едва ли не большинства статей о детской литературе. Между тем к литературе он вряд ли применим. В том-то и дело, что писать для детей следует совсем не так, как для взрослых. «Дон Кихот», «Робинзон» и «Гулливер», приспособленные для детского чтения, отличаются от полных, «взрослых» изданий этих книг вовсе не тем, что авторы переложений «улучшили» Сервантеса, Свифта и Даниэля Дефо. И Николай Заболоцкий, пересказавший для детей «Гаргантюа и Пантагрюэля», написал эту свою книгу отнюдь не лучше, чем Франсуа Рабле свою: он написал ее иначе.

Если и есть какой-то реальный смысл в применении формулы Станиславского к литературе, то он сводится к тому, что с ребенком не надо сюсюкать. С ним надо говорить серьезно.

Юрий Хазанов, автор рассказов и повестей для детей, это умеет. Я бы даже выразился так: он говорит о предметах, из которых человек не вырастает. О проблемах, которые в полной мере сохраняют свое значение для человека, давным давно уже вышедшего из детского возраста.

Вот, скажем, автор затевает со своим читателем разговор о ценностях подлинных и мнимых. О том, как важно и не просто найти их водораздел. Тема, понятно, серьезная. Но как решить ее, обращаясь к читателю, которому едва минуло десять лет?

Юрий Хазанов выбрал, на мой взгляд, единственно верный, единственно возможный путь. Он шел к решению задачи, отталкиваясь не от темы, а от некоей психологической реальности, от того, что может лежать в пределах опыта ребенка, подростка.

Два мальчика увлекаются стрельбой, оба мечтают о первенстве. Но одному довольно того, что он будет считаться чемпио-

ном, другому важно быть им. Выясняется это посредством предельно простого, даже прямолинейного сюжетного хода: один из героев рассказа просит своего более меткого товарища в порядке дружеской услуги подменить мишени. Обман быстро обнаруживается, и судебская коллегия принимает решение: результаты не засчитывать, дисквалифицировав обманщика до совершеннолетия, а его товарища отстранить от соревнований и тренировок на год.

История не сложна и откровенно назидательна. Однако это не унылое назидание, а подлинный рассказ с достоверной и художественно убедительной пластикой.

«Гриша взял ружье, приставил приклад к плечу, прижался щекой к полированному дереву, почувствовал запах нагретого металла, машинного масла...» Казалось бы, эти ощущения — мелочь, пустяки. Но именно из таких «пустяков» и сплетается художественная ткань повествования, и именно плотность и прочность этой ткани создают атмосферу достоверности; потому-то в конце концов и веришь, что этому мальчишке дорог и важен сам процесс стрельбы, а не его престижный результат.

На примере одного этого рассказа видно, что Юрию Хазанову присуще едва ли не главное качество, необходимое писателю, в том числе детскому: нравственная, педагогическая задача не существует для него сама по себе, она следствие и вывод задачи пластической, художественной.

Б. Сарнов.



ВИТАУТЕ ЖИЛИНСКАЙТЕ. Вариации на тему. Юморески и иронические рассказы. Перевод с литовского Б. Залесской и Г. Герасимова. М. «Советский писатель». 1983. 256 стр.

Смех сближает. Эта мысль А. Толстого давно стала аксиомой. И чувство юмора можно безбоязненно отнести к числу общественных чувств, то есть связующих человека с человеком.

Юмор — это и своеобразная точка зрения. Та точка, проходя через которую зрение становится острее, резче. Писатель-юморист замечает отклонение от нормы в том, что для иных выглядит привычным.

Витауте Жилинскайте смеется. И в первую очередь над теми, кто смертельно любит себя, чрезмерно заботясь о своем здоровье, сбалансированном питании, спортивной форме, бесстрессовом существовании, сулящем долголетие. Автор «Вариаций на тему» смеется над женственностью мужчин и повсеместным мужением слабого пола. Как бы отталкиваясь от устоявшегося сочетания «женщины и вино», она называет один из рассказов «Мужчины и капуста». Рассказ пронизан жалостью и состраданием к сильному полу...

Юмор призван не только смешить. Среди его задач — поиск истины. Литовская писательница в этом поиске прибегает к приему от противного, разглядывая с комическим недоумением нормальное

явление как некую аномалию. Так, повествуя об алкоголе, писательница высмеивает трезвенника и призывает всех дружно поднимать на смех эту белую ворону («Душа общества»). Говоря о жадности, от всей души потешается над рохлей, дающим взаймы («Должок»). Дон Кихотом назван герой рассказа «Сражение с Мельницей», который отважно вступает в борьбу без шансов на победу, а его житейски цепкий противник носит красноречивую фамилию — Мельница.

Персонажи Жилинскайте нередко наделены одними и теми же недостатками или прибегают к одинаковым уловкам в надежде что-то выгадать. Врач и больной поражены одним недугом («У врача»); несколько семей, спасаясь от праздничного беспокойства, спешат предупредить визиты знакомых и чуть свет отправляются в гости («Вот это праздник!»).

В рассказе «Деловые люди» выведены муж и жена. «Ко дню рождения он сделал жене соболя, а она сделала ему дубленку. Каждое лето всеми правдами и неправдами делают они себе по путевке на курорт». Обоим трудно поверить, что рядом могут жить те, кто не «делает дела». Значит, они «делают дела» тайно, думают супруги, приглашая в гости школьного учителя, которому только и «хотелось бы сделать своих учеников людьми». «Сделать... людей?... Ах, вот в чем дело! — Гостям все стало ясно, и они с уважением поглядывали на учителя... Хозяйка положила ему в тарелку жирную ножку... — Кушайте... Кушайте и делайте!»

Деловые люди не обошли своим вниманием даже мифологических героев. Деловой тренер, наблюдая за работой Сизифа, заявил: «Ну, брат, поздравляю: тебе чертовски повезло. Отныне я буду твоим тренером». С тех пор Сизиф, став одним из участников соревнования «спортивное втаскивание камня», изменился: воспитал в себе спортивную злость, тщеславие.

Добродушный юмор нередко переходит у Жилинскайте в смех негодующий. Тут уже не просто чувство юмора — скорее чувство сатиры. Каленые ее стрелы попадают и в творческий цех. Жилинскайте саркастически изображает прием в гильдию критиков юного подмастерья с печатью «ранней мудрости» на челе. Достается от нее и киношникам, любителям экранной патоки; и тем газетчикам, которые безоглядно доверились штампам; и участникам многочисленных «круглых столов», где «сама тема беседы столь округла, что круглее и не бывает», и где, по кислому замечанию Жилинскайте, «лишь граненые кусочки сахара... нарушают общую гармонию».

На протяжении многих веков юмор (особенно в книжном его воплощении) считался мужской привилегией. Писательниц-юмористок можно пересчитать по пальцам. И достойно уважения умение Витауте Жилинскайте, не теряя женственности, вести на общественной арене поистине мужские бои, сражаясь острым словом за достоинство человека, против его недостатков.

Александра Баженова.

Саратов.



В МИРЕ ЛЕСКОВА. Сборник статей. Составитель Виктор Богданов. М. «Советский писатель». 1983. 367 стр.

Литература, посвященная творчеству Лескова, невелика: несмотря на мировую известность «Левши», «Очарованного странника» и других произведений, значительная часть написанного Лесковым редко привлекала внимание критики. Однако появление ряда работ, приуроченных к недавнему юбилею писателя, заметно откорректировало бытовавшее отношение к Лескову как к художнику, чье творчество якобы стоит особняком в русской классической литературе. Авторы коллективного сборника «В мире Лескова», подготовленного кафедрой русской литературы Литературного института имени М. Горького, исходят, как указывает его составитель, из представления об «одноприродности лучших лесковских созданий русской классики».

Одна из особенностей рецензируемого сборника — стремление осмыслить наследие Лескова в широком общественно-культурном контексте: К. Кедров рассматривает отражение в творчестве Лескова фольклорно-мифологических мотивов; Е. Лебедев выявляет в тексте произведений Лескова традиции прозы XVIII века; влиянию лесковского сказа на стилистические искания русской прозы XX века посвящена работа Вл. Гусева. Многие исследователи сосредоточивают внимание на проблеме взаимодействия творчества Лескова с различными жанровыми течениями русской литературы XIX века. Как правило, лишь для так называемых антинигилистических романов Лескова находят параллель в сходных по идейной направленности произведениях Ключников, Писемского, Достоевского. Между тем, как показано в работе В. Богданова, художественные принципы первых произведений Лескова формировались под воздействием творчества писателей демократического лагеря — Н. Успенского, Решетникова, Левитова. Хочется выделить статью Е. Пульхридовой, в которой творчество Лескова анализируется в связи с современной ему массовой беллетристкой. Помимо того, что значительный интерес представляет рассматриваемый исследователем материал, работа имеет и методологическое значение, так как разрушает представление о непродоходимой пропасти, разделяющей классику и «проходную» литературу, и наглядно демонстрирует их активное, хотя и не всегда очевидное взаимовлияние в реальном литературном процессе.

Вообще авторы не замыкаются в узком кругу ставших хрестоматийными созданий Лескова. Это особенно относится к работе В. Хализева и О. Майоровой: исследуя концепцию праведничества у Лескова, авторы привлекают обширный пласт публицистики писателя, рассеянной по страницам периодики и никогда не переиздававшейся. Добросовестность в работе с источниками оказывает положительное влияние на теоретические построения и

делает предлагаемую концепцию особенно убедительной.

В истории литературы не раз случалось, что долгое молчание, окружавшее некоторые произведения, закрепляло те во многом односторонние критические мнения, которые высказывались при их появлении. Начало всестороннего, научного изучения романов Лескова «Некуда» и «На ножах» положено сравнительно недавно, однако уже можно говорить об определенных результатах. Хотя эти произведения еще не получили в современном литературоведении сколько-нибудь определенной эстетической оценки, вряд ли сегодня можно отказать роману «Некуда» в праве называться литературным произведением, а ведь именно так, выражая общее мнение шестидесятников, отозвался о романе Щедрин.

Обычно сравнение романов «Некуда» и «Бесы» исчерпывается их тематической близостью. Ю. Селезнев стремится выйти за рамки сближения, справедливо утверждая присутствие в произведении Лескова положительного идеала. Но вот желание Ю. Селезнева видеть его олицетворение в образе Ильи Муромца (основанное, как замечает сам автор, на «проходной фразе» героя), а также сопоставление положительных образов «Некуда» и «Бесов» кажется спорным. Впрочем, затрагивающая важные проблемы статья Ю. Селезнева заслуживает самостоятельного обсуждения.

В отличие от предыдущих аналогичных изданий — сборников, посвященных творчеству Пушкина, Достоевского и Толстого. — сборник «В мире Лескова» имеет раздел публикаций. Биография Лескова изучена пока еще недостаточно, и появление неизвестных ранее воспоминаний современников о писателе несомненно будет встречено с большим интересом. Публикуемые тексты сопровождаются краткой, но содержательной вступительной статьей и подробным комментарием, выполненным А. Романенко на уровне, полностью отвечающем требованиям, предъявляемым современной филологической наукой.

Критерий строгой научности последовательно выдержан в абсолютном большинстве материалов сборника.

Александр Носов.



А. МИГУНОВ. Судьба поэта. Литературно-критический очерк о жизни и творчестве С. В. Смирнова. М. «Московский рабочий». 1983. 115 стр.

В очерке о жизни и творчестве С. В. Смирнова документальный, мемуарный и литературно-критический материал дан в едином сплаве. И вырисовывается облик нашего современника, участника строительства первой очереди московского метро, добровольца Панфиловской дивизии, поэта и гражданина. Напряженные поиски, самоотверженный труд, всепричастность —

вот что характерно для «гвардии поэта», как называют Сергея Васильевича Смирнова однополчане-панфиловцы. И он имеет право на это высокое звание.

«Прибыл к нам на фронт человек без воинских документов, без путевки, без направления, а просто так, потому что сердце его рвалось в бой в солдатские окопы, — приводит в книге воспоминания бывшего панфиловца гвардии полковника П. В. Логвиненко А. Мигунов. — Явился и говорит, что он хочет бить врага. По его документам здоровья подчистую и не может служить в рядах Советской Армии. Показал он свой паспорт, сказал, что он поэт, хочет быть рядом со всеми. И мы приняли Сергея Васильевича Смирнова в свои ряды. Выдали ему красноармейскую книжку, оружие и котелок. И стал он, как все, бойцом».

Вместе с воинами прославленной дивизии шел поэт по дорогам войны — от города Холм Калининской области на Великие Луки, Новоржев, через всю Латвию до седьмых волн Балтики Шел, сражаясь «штыком и пером», познав все тяготы военной жизни, постигая душу солдатскую. Об этом подробно рассказано в книге А. Мигунова. Особое внимание автор уделяет анализу стихотворений, написанных С. Смирновым в боевом походе, в землянке, у солдатского костра. Эти небольшие по объему стихотворения сильны глубиной патриотических чувств, мощным зарядом эмоционального воздействия, нередко выразительным соединением комического, трагического и героического. Как, например, в стихотворении «Котелок», ставшем популярной песней:

Обронил я во время похода
Котелок на одной из дорог.
Налетевшая сзади подвода
Исковеркала весь котелок...

Бывалый боец исправляет его, и это символично, ведь «для война все достижимо, лишь бы только „варил котелок“!».

В книге «Судьба поэта» рассмотрены идейно-художественные особенности стихов Смирнова, его лирико-эпических поэм «Свидетельству сам», «Сердце и дневник», «Неизвестный — известен».

Поэзия С. В. Смирнова возвращает нас к незабываемым страницам истории. Быть верным правде жизни, справедливо отмечает автор книги, творческий принцип Смирнова, который позволяет поэту вести доверительный разговор с читателем, писать просто и искренне.

Н. Гайдукова.



ЛИДИЯ ЯНОВСКАЯ. Творческий путь Михаила Булгакова. М. «Советский писатель». 1983. 319 стр.

Его равнодушие ко всяким условностям, насмешка над бытием сильно уверенных в себе людей, точное и едкое знание человека — все это примечательно для читателя. Самый недогадливый очень скоро остано-

вится, чтобы перевести дух, ибо узрит... сатану. В романах бывает всякое, а вот сатана там попадает редко. В «Мастере и Маргарите» сатана никуда не намерен скрываться, нет, он именуется себя Воландом, и облик узнаваемый, мифистифельский, и повадки. Но странное дело, замечает в своей книге Лидия Яновская, его никто не узнает, кроме главных героев, кроме Маргариты да Мастера, потому что никто из столкнувшихся с Воландом в романе больше так не причастен к чуду — «к подвигу самоотречения, чуду творчества, чуду любви». Это наблюдение литературоведа объясняет нам, почему читательское ожидание «жутких» сцен, связанных с «квалификацией» Воланда, далеко не всегда оправдывается. «Дух зла и повелитель теней» оказывается не лишним привлечением персонажем, все карательные «мероприятия» которого встречают понимание в душе читателя. Они направлены не столько против тех героев, кто творит явно неправые дела, сколько против тех, кто хотел бы сотворить, но выжидает или боится; кто толкает на них других, оставаясь неподсудным земным юридическим законам. Те же, кто страдал и томился, встречают в Воланде всемогущего покровителя.

Таково нравственное равновесие художественного мира М. Булгакова. Лидия Яновская его хорошо передает в своей книге, прежде всего обращая к alter ego писателя — Мастеру, Турбину, Максудову и другим героям булгаковских произведений. Повышенное внимание, естественно, уделено Мастеру, чей образ, по выражению автора книги, «оставляет ощущение потрясающе искреннего, полного и глубокого самораскрытия художника», а кроме того, является оригинальной булгаковской трактовкой «Голгофы творчества». Анализ характера главного героя «закатного романа» М. Булгакова позволяет исследовательнице приблизиться к пониманию личности его автора.

На многих страницах автор занят скрупулезным сопоставлением фактов, имен, дат, заново приобщая нас к каждому крупному произведению Булгакова. Книга скорее склоняется к биографическому жанру, чем к жанру исследования. Но за биографическими подробностями проступают черты творческой манеры писателя. Лидия Яновская широко использует выводы, наблюдения И. И. Виноградова, М. О. Чудаковой, В. Я. Лакшина, Н. П. Утехина, И. Ф. Балзы и других исследователей-булгаковедов. Она умело располагает факты в их последовательности, точно комментируя каждый и расставляя вехи для дальнейшей работы

над материалом: это, мол, заслуживает первостепенного внимания, здесь вот намечается такая-то проблема, а тут надо еще подумать... Впрочем, иногда при чтении книги возникает впечатление вторичности: о творческом пути Булгакова, предвосхищая ряд наблюдений Яновской, весьма квалифицированно говорила М. О. Чудакова несколько лет назад.

Тем не менее книга Лидии Яновской побуждает нас о многом поразмышлять. О судьбе художника, закономерностях его творчества, героях произведений, о литературе, театре, об истории. Здесь часто бывает так: противоречие, проблема, требующие аналитического подхода, увидены, но прямо не названы автором. Узнавание и продолжение доверены читателю. Вехи для такого сотворчества читателя с автором представлены точно.

В. Немцев.

Куйбышев.



АЛЕКСАНДР ТИХОМИРОВ. Белый свет. Книга стихотворений. М. «Современник». 1983. 94 стр.

Когда летом 1973 года была опубликована первая книга стихов тридцатидвухлетнего Александра Тихомирова «Зимние каникулы», он работал лаборантом в Прутско-Днестровской археологической экспедиции. Жена Саши, писатель Лидия Медведникова, прислала пачку его книжек прямо на место раскопок.

Выход первой книги — всегда большое событие для поэта. На этот раз настоящим большим праздником выход книги стал и для сотрудников экспедиции. Все радовались этой солнечной, светлой, как и сам Саша, книге с таким скромным названием, все предвещали ему большой путь в жизни и поэзии. Кто мог предвидеть, что не пройдет и восьми лет, как эта жизнь из-за трагической случайности внезапно оборвется!

«Зимние каникулы» да несколько подборок стихов — вот и все, что успел опубликовать при жизни Александр Тихомиров. Он был застенчив и не умел пробивать. И вот теперь — посмертный сборник «Белый свет», любовно составленный вдовой и друзьями поэта и очень хорошо оформленный издательством «Современник».

У Александра Тихомирова была редкая способность радоваться и весенней капели, и яг্রে солнечного луча в зеленых листьях,

и ценю птиц, и запахам, краскам родной земли, которую он любил беззаветно, и удаче друга, и хорошей картине, и интересным находкам на раскопках... Своей радостью он щедро делился с друзьями и читателями.

Пожалуй, больше всего А. Тихомиров писал о природе. Особенно запоминается яркая, удивительная по наблюдательности и выразительности, ритмической гибкости поэма с нарочито длинным, почти бюрократическим названием «Времена года, или Календарь сезонных сведений по многолетним наблюдениям метеорологической станции города Калуги». Строки поэта, посвященные природе, поражают непосредственностью сердечного отклика на ее жизнь, чистой тона:

Бежит речушка, по лесу кружа,
И ей самой, должно быть, наслажденье,
Что до того прозрачна и свежа,
Как музыка эпохи Возрожденья.

И путь ее не тем ли облегчен,
Среди коряг на отмели песчаной,
Что ясному закону подчинен
Любой ее изгиб случайный...

Поэзия была для Тихомирова смыслом и сутью существования, способом восприятия и запечатления действительности, средством общения с людьми и природой.

Жизнь его, однако, шла отнюдь не гладко и не безоблачно. Боль пережитого звучит нередко даже в самых радостных, самых светлых его стихотворениях. Одно из них заканчивается такими строчками:

Как будто не ведала совесть
Страданий, сомнений, утрат...

Печально, иронично и светло это стихотворное завещание поэта, обращенное им к жене, и такая концовка поражает.

Александр Тихомиров любил углубляться в историю, ища в ней прежде всего примеры высокой самоотверженности и благородства:

Так Клио славная
Тебя берет сама
Наследником не лжи,
Не инквизиций,
Но благородства, чести и ума!

Эта влюбленность в историю, как и все его влюбленности, деятельная и поэтичная, влекла поэта в археологические экспедиции, в работы по реставрации древнерусских памятников архитектуры. И никакие трудности не пугали, наоборот:

Ну, конечно, тут работы...
Силы мало? Так горни!
От субботы до субботы,
От зари и до зари!

И когда А. Тихомиров провозглашал: «Убрана светлая нива — слава земле и труду!» (так начинается одно из его стихотворений) — то он имел на это право не только как поэт, но и как непосредственный участник созидательного труда.

Г. Федоров,
доктор исторических наук.



ВЛАДИМИР ЖУКОВ. Избранное. Стихотворения, поэмы. М. «Современник». 1983. 397 стр.

Есть в «Избранном» поэта-фронтовика Владимира Жукова маленькое стихотворение, написанное в 1944 году:

Ты не ходи на побережье,
не жди меня из грез и снов.
С мечты, как с мачты, ветер срежет
обрывки алых парусов.

Зеленоватую пучину
не заклинай и слез не лей.
Все будет проще — не по Грину —
в солдатской участи моей.

Без притязаний стихотворение, неброское и, однако же, как мне думается, программное, содержащее формулу авторского творчества. Потому что все стихи Жукова — исповедальный рассказ о том, как проще (и трагичней!) это было: война...

Просто у целого поколения тогда все только начиналось, да так и не началось. «Где-то сразу за июнем» война срезала у ровесников Жукова даже не мечту, но юность. А потом, войдя в силу, расплосовала и налаженный быт и саму жизнь: «Вот только комья в сапогах, зуд под рубахой — надоели... Да ключья порванных шинелей — как наши души на кустах». И поколению, которому едва минуло двадцать, но в котором живы остались лишь несколько счастливых из каждой сотни, можно было уже в сорок пятом написать послесловие, простое: «От Москвы до Эльбы во земле сырой наше поколение выровняло строй».

А на земле оно этот строй сомкнуло.

Погиб друг Жукова поэт Николай Майоров, сам Жуков, не раз тяжело раненный, уцелел. Так судьба рассчитала на живых и мертвых всех, кто воевал. Либо — либо. Жизнь — смерть. В контрастных кадрах этой черно-белой ленты алые романтические паруса неизбежно обесцвечиваются. На войне как на войне.

Нет, радость, любовь, счастье, «Грин-ландия», если хотите, в стихах Жукова, конечно, не тускнеют. Исчезает другое: флер,

дымка, туман, полутона сомнений. Хорошо ли, что исчезают? Как когда.

Цельность — качество редкое, точно беспримесный металл. И одновременно, как всякое целое, имеет свои границы, выход за которые грозит утратой ориентиров, душевной смутой. Мир после войны — это испытание «за чертой», особенно для тех, кто поневоле успел узнать лишь одну логику — логику боя, лишь одного врага — в прорези прицела. Отсюда рукой бывает подать до разочарований, непонимания, до тоски по былой ясности, по «альтернативе баррикады», что в литературе, к стати, отражено (ну хотя бы в толстовской «Гадюке»).

У Жукова эта, быть может, даже типическая для послевоенных лет сердечная маета прорывается в «Избранном» не часто:

Никого я в жизни не обманывал
и в строке душой не покрывил...
Почему же, вглядываясь заново
в жизнь свою. — утрачиваю пыл?

Потому что, уточняет лирический герой, там спешил, здесь запоздал, там злобой дня подменил подлинную современность, здесь вместо гневного слова соловьем заливался. Признание горькое, честное. И тревожное. Но настораживает не само покаяние, не открытый список «грехов», а итоговое их «отпущение»: «Город мой родной, мое Иваново, от святых могил и до стропил, не кривил душой я, не обманывал, — значит, верил, если говорил».

Однако это ведь не ответ! Такой верой можно оправдать что угодно. И только в «час пик», в час боевой тревоги, поэт становится прав вполне, прикладывая к жизни мирной единственную для него меру — высшую, военной поры:

А надо жить прямой и проще,
лукавых слов не говоря...

Владимир Жуков — поэт-однолюб, верный одной страсти. одной теме — военной. В этом его сила. Порой яростной своей бескомпромиссностью, высоким духовным напряжением лирический герой Жукова напоминает сурового бойца с вошедшего в историю плаката «Чем ты помог фронту?». «Скажи по правде: что ты делал, когда стреляли на войне?» — так заканчивается одно из жуковских стихотворений. Автор его, прошедший финскую и Отечественную, имеет право задать подобный вопрос. А адресован он, по сути, всем, потому что несет в себе более широкое содержание, чем может показаться на первый взгляд: призыв стать в строй, занять позицию. Ту,

что под пулями удержало в свое время поколение 40-х. Любая другая сегодня, когда мир снова в опасности, будет ослаблена, не годится.

А. Белорусец.



ИЗ ПОЭЗИИ НИДЕРЛАНДЦОВ XVII ВЕКА. Перевод с нидерландского. Л. «Художественная литература». 1983. 304 стр.

Художественный подъем в Нидерландах, дорогу которому на рубеже XVI и XVII веков открыла буржуазная революция, способствовал расцвету поэзии, этому чувствительнейшему инструменту отображения «роковых минут» человечества. Развивая ренессансные традиции, традиции Петрарки и его последователей, поэзия Нидерландов как равная вошла в семью западноевропейских литератур: многие нидерландские поэты приобрели известность, причем в самых разных странах.

Познакомились с их творчеством и в России. Так, Йоста ван ден Вондела, «славного голландского стихотворца, или Виргилия тамошнего», упоминал еще Сумароков в своей «Эпистоле о стихотворстве». Однако, несмотря на мировую славу, поэзия Вондела и его собратьев по перу долго оставалась закрытой для широкого русского читателя. В переводе на русский их стихи фактически впервые зазвучали лишь в томах Библиотеки всемирной литературы «Европейские поэты Возрождения» и «Европейская поэзия XVII века». Антология «Из поэзии Нидерландов...», куда вошло все лучшее из напечатанного в БВЛ, развернула панораму вширь и вглубь: золотой век нидерландской поэзии представлен 28 именами, более чем 200 стихотворениями.

Восприятие незнакомых нам поэтов далекого XVII века облегчается тем, что мы уже как бы обжили художественное пространство великой голландской живописи того времени, и прежде всего полотен Рембрандта. В стихах, как и в живописи, ясно видно, как две параллельно развивающиеся эстетические системы — барокко и классицизм — «борются за души» нидерландских поэтов, каждый из которых берет на вооружение те или иные принципы для выражения своей образной концепции.

Якоб Катс создает пространные, уравновешенно-подробные описания предметов повседневного обихода и эпические зарисовки картин природы, словно предназначенные для чтения в долгие зимние вечера. Борения мятущейся души, страстное желание

почти основы бытия звучат в стихах Иеремиаса де Деккера, как бы поднявшегося над сиюминутным, проповедующего жизнь «в расчете на вечность». При чтении стихотворения Гуго Гроция «Преимущества зимы» перед глазами встают радостные пейзажи Брейгеля, а миниатюры поэта «Домашние орудия...» вызывают в памяти голландские натюрморты, трогательные лиризмом, стремлением передать зримую прелесть материального мира во всех его деталях.

Произведения, собранные в книге, написаны не только по-нидерландски: здесь и стихи неолатинистов, продолжающих ренессансные традиции Эразма Роттердамского, и поэма родоначальника фризского литературного языка Гисберта Япикса. Переведены все они любовно, с желанием приблизить к нам простую, духовно содержательную жизнь далекой эпохи. Вместе с Ю. Конновым, украсившим книгу изящными, тонко стилизованными гравюрами, переводчики сумели создать ту атмосферу художественной достоверности, которая делает этот томик стихов живой книгой истинной поэзии.

Наталья Булгакова.



ВЛАДИМИР ЛАРИН. *Лондонский дневник.* М. Политиздат. 1983. 223 стр.

«Тэтчеризм» — политический неологизм последних лет. Имя далеко не каждого деятеля может стать знаком, символом какого-то явления. Для того чтобы понятие «тэтчеризм» в Англии возникло и утвердилось, нужна была особая рода психологическая атмосфера в стране. Источники этой атмосферы — хронический кризис в британской экономике и спекуляции на нем консерваторов. Маргарет Тэтчер, ее окружение, близкая к консерваторам пресса (а это крупнейшие буржуазные газеты) не один год внушали британцам, что им нужен «подлинный лидер», политик с «твердой рукой». Только он-де и способен прервать поразившую Англию череду экономических и прочих неурядиц.

Роль такого лидера и взялась сыграть М. Тэтчер.

Провозглашенный ею курс был, понятно, во многом противоположен тому, который проводили лейбористы, но отличался и от курса прежних консервативных правительств. Ныне ставка делалась на капитализм в его наиболее чистом виде — частную

инициативу, конкуренцию, свободный рынок. Частному бизнесу отдавалось явное предпочтение перед государственным. Такая экономическая стратегия предполагала серьезную ломку отношений, сложившихся в Англии за послевоенный период. В целом это был сдвиг вправо во всех аспектах экономической, политической, социальной жизни, новый этап в наступлении на интересы и права трудящихся. «Тори стремятся к моральному обновлению общества, — писал журнал «Нью стейтсмен», — или, более точно, рабочего класса, который они считают ленивым и алчным».

Книга В. Ларина посвящена Британии эпохи «тэтчеризма», то есть конца 70-х — начала 80-х годов. Речь в ней идет о проблемах политической борьбы в Англии, ее внешнеполитическом курсе, о многих других сторонах британской действительности. Одна из главных особенностей «Лондонского дневника» — сплав обобщений и выводов с яркими впечатлениями очевидца. Автор сумел увидеть сегодняшнюю Англию в сцеплении ее политических противоречий и социальных катаклизмов.

Британия с ее резко выраженным социальным неравенством являет одно из наиболее несправедливых обществ в мире. Тори взяли курс на то, чтобы усилить процесс расслоения. Если во времена лейбористов существовавшее фактическое неравенство затушевывалось хотя бы на словах, то неоконсерваторы открыто предают равенство анафеме, провозглашая неравенство «двигателем прогресса». В результате такой политики число безработных в стране перевалило за трехмиллионную отметку, в то время как прибыли транснациональных компаний возросли. В целом же «тэтчеризм» не принес позитивных перемен в экономике. За последние три года Англия сползла с двенадцатого на четырнадцатое место по уровню конкурентоспособности среди капиталистических стран.

Почему же в таком случае правительству Тэтчер удалось удержаться у кормила власти?

Отвечая на этот непростой вопрос, автор убедительно анализирует и слабость, разобщенность лейбористской оппозиции, и, что особенно важно, общую идеологическую обстановку в стране. На настроениях английского обывателя сказывается многолетняя травля профсоюзов, страх оказаться безработным, террор скачущих цен. С первых дней прихода к власти консерваторы подстегивают эти страхи, манипулируют общественным мнением «ради того, чтобы создать в стране такой психологический климат, когда

можно было бы осуществлять трудно реализуемые в нормальной обстановке акции».

Именно этой цели содействовала фолклендская карательная экспедиция Лондона. «Маленькая победоносная война» нужна была Маргарет Тэтчер и ее соратникам для того, чтобы вызвать волну шовинизма, сыграть на ностальгии по утраченной империи. «Усилия правительства в духе «тэтчеризма», — пишет В. Ларин, — внесли в общественное сознание элементы перекося, которые мешают многим людям воспринимать международную обстановку во всех ее реальностях». В силу этого консерваторы и победили на выборах 1983 года.

Чем, однако, острее, взрывоопасней становится обстановка в мире, тем больше людей в Англии излечиваются от иллюзий. Свидетельство тому — нынешний размах антиракетного движения на Британских островах, нежелание миллионов англичан жить под сенью американских «першигов» и крылатых ракет.

Э. Чепоров.



КИМ БАКШИ. Судьба и камень. М. «Изобразительное искусство». 1983. 230 стр., илл.

Рецензируемую книгу можно рассматривать в известной мере как продолжение другой книги К. Бахши «Орел и меч», вышедшей в 1971 году. Темой ее была история создания армянского алфавита и сложившаяся на основе его рукописная книга — знаменитые армянские манускрипты, ныне бережно хранящиеся в Матенадаране, а в прошлые века испытывавшие на себе те же тяготы и злоключения, которые выпали на долю армянской нации. О нераздельности драматических судеб самой Армении, ее культуры и искусства, выдающихся армянских историков, ученых, поэтов, зодчих, художников рассказывается и в новой книге К. Бахши. Рассказывается в характерной для этого писателя живой, раздумчивой, окрашенной лирической интонацией манере и вместе с тем с научной основательностью.

В «Судьбе и камне» автор, опираясь на некоторые свои прежние выводы и суждения, обращается к более широкому кругу историко-художественных явлений и новому материалу. Он рассматривает не только средневековые рукописи и миниатюры (одна из самых интересных глав посвящена анализу миниатюр гениального Торося Рослина, недавно подаренных Матенада-

рану), но и древнюю армянскую архитектуру и современную живопись Армении. Есть в книге и другие темы (природа Армении, быт, традиции, уклад жизни). Но подлинный герой книги — сама история армянского народа в ее драматических поворотах.

Под углом зрения исторической драмы, вызванной разделом Армении между Восточной Римской империей и сасанидской Персией (IV век), размышляет К. Бахши о средневековой армянской архитектуре. Она богато представлена и сегодня на армянской земле. Как и манускрипты с их немеркнущими миниатюрами, зодчество средневековья относится к вершинным — мирового уровня — достижениям творческого гения армян. Кроме того, архитектура была их духовным орудием в борьбе за национальную самобытность и самосохранение. «Не столько меч и тысячные армии, не столько храбрость полководцев и искусство дипломатов спасли армянский народ от исчезновения, сколько слово, мудрость, книга да... благородный тесаный камень», — пишет К. Бахши.

Автор понимает и тонко чувствует архитектуру как искусство. Но не стремится в своем анализе передать то, что обычно интересует только искусствоведов, нюансы формы, фактуры, пространства и конструкции. Его задача — с помощью слова, идущего от любви к Армении и преклонения перед талантливостью, добротой и мудростью ее древнего народа, оживить каменные творения, наполнить их голосами людей и дать зазвучать под их сводами музыки, которая когда-то звучала и была даже записана (хазы), но пока что, увы, не расшифрована.

Одновременно К. Бахши жаждет донести до сознания читателя то, что сам глубоко прочувствовал: «...строить в Армении было не просто делом, требующим сил, средств, профессионального умения и зодческого таланта, это часто было занятием героическим и даже безнадежным. Самые величественные сооружения — они же и самые беззащитные. Храм, как книгу, не накроешь плащом и не ускачеши с ним на коне от врага. И строители решали не просто, какой поставить купол, как перекрыть пространство, на что опереть арки, они ставили порой на камень свою жизнь... Поистине судьба и камень были неразделимы!»

К сожалению, рассказ об архитектуре оказался расплывчатым по разным главам книги, что несколько ослабило его. Отдельные авторские суждения представляются не всегда убедительными, наивными, когда

речь идет о причинах упадка армянского зодчества в период после XIV века.

«Судьба и камень» ориентирована на современность, хотя материал, относящийся к древней армянской культуре, в ней и преобладает. К. Бакши размышляет о сегодняшней Армении как бы с вершин ее великого культурного прошлого — ведь оно до сих пор живо в армянском народе.

Свою книгу К. Бакши называет лирическим путешествием. Ее можно было бы назвать и книгой размышлений. Уверен, что читатель получит истинное удовольствие. А главное, он сумеет лучше понять характер братского армянского народа, вместе с которым, как говорит автор, «с юга на территорию нашей страны узким языком заходит прамир».

Анатолий Мазаев,
кандидат искусствоведения.

★

ОЛЕГ МОРОЗ. Свидание с кометой. М. «Советская Россия». 1983. 267 стр.

«Не мир нужно подгонять под узкую мерку разума... а раздвигать и расширять границы разума, чтобы сделать его способным воспринять такой образ мира, каким он является в действительности». Именно эти слова Ф. Бэкона вспоминаются невольно, когда закрываешь последнюю страницу книги Олега Мороза. Ибо в семнадцати сюжетах, собранных в ней, автор и попытался как можно шире взглянуть на многомерный, постоянно изменяющийся мир.

Ядерная физика и телепатия, компьютерная техника и биология, контакты с внеземными цивилизациями и педагогика — вот далеко не полный перечень тем этих очерков. Вероятно, все мы не однажды в жизни задумывались: откуда это взялось — хрупкая стрекоза и ночная звезда, полевая ромашка и, наконец, сам человек. Взрослея, мы открывали мир и получали ответы на множество вопросов о происхождении Вселенной и разума. Однако человека всегда будет отличать способность удивляться. Книга «Свидание с кометой» и построена на этой способности разума.

Известный популяризатор науки профессор А. И. Китайгородский как-то поделил вопросы, стоящие перед исследователем, по степени важности на четыре группы: вопросы, на которые есть ответы; вопросы, на которые можно ответить; вопросы, на которые еще нет ответа; вопросы, на которые нельзя ответить. Причем характер во-

проса зависел от существования или отсутствия основного научного закона — генерала-закона — и логической цепочки доказательств. В книге О. Мороза рассказывается о явлениях, к которым могут быть приложены вопросы всех четырех групп.

В частности, интересен сам по себе такой вопрос: в какой срок возникла Вселенная? И потрясающий ответ из книги «Свидание с кометой»: за три минуты и сорок шесть секунд. «Вначале был взрыв», — утверждает американский физик, лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг. От этого первичного взрыва протовещества и излучения до образования сложных атомных ядер прошло всего около четырех минут. «Кирпичи» нынешнего мира были сформованы. Прошло примерно еще десять миллиардов лет — и на крохотном островке во Вселенной появилось разумное существо, которое и спросило: в какой срок возник мир?..

Осознав бесконечность и множественность миров, человек задал следующий вполне логичный вопрос: одиноки ли мы во Вселенной? Последние исследования самых авторитетных ученых убеждают нас: встреча с «братьями по разуму» практически невозможна. Слишком много объективных факторов должно для этого совпасть в пространстве и времени. О. Мороз передает ощущение современного человека, осознавшего значение информации о невозможности воспетого фантастами контакта: «...во мне началась какая-то подспудная работа, засело и стало расти какое-то смутное беспокойство. В конце концов я понял, в чем тут дело: с давних пор, едва ли не с раннего детства, я привык считать само собой разумеющимся, что таких планет, как Земля, населенных разумными существами, во Вселенной бесчисленное множество...» И вот, оказывается, это совсем не так.

И все же надежда на встречу, на рукопожатие не оставляет нас. Не от того ли в последнее время значительно возросло число разнообразных гипотез о внеземном происхождении жизни на нашей планете? В очерке «Свидание с кометой», давшем название всей книге, О. Мороз подробно рассматривает гипотезу английских ученых Ф. Хойла и Ч. Викрамзинга. Согласно ей, около четырех миллиардов лет назад Земля соприкоснулась с кометой, содержащей простейшие организмы. Англичане, развивая гипотезу, добавляют, что внеземные биологические вторжения никогда не прекращались, принимая формы вирусных или бактериальных инфекций, поражающих нашу планету с разной частотой. А в очерке «Летающая тарелка» рассказывается об аво-

мальных явлениях в атмосфере, которые как раз благодаря стремлению человека к контакту отождествлялись в последние годы со следами разумной инопланетной деятельности.

В этих очерках автор склоняется к выводу: наша земная цивилизация уникальна в обозримом большом космосе. Какой же ответственностью перед будущим должен обладать современный человек, чтобы сберечь огонек разума, не дать погасить его взрывной волне термоядерного удара! В книге О. Мороза многие проблемы естественных наук как раз и рассматриваются в этой плоскости — ответственности ученого перед человечеством за результаты своих исследований. Пожалуй, нет ни одного очерка, который не был бы пронизан беспокойством о возможных последствиях стремительно нарастающих открытий во многих областях науки и техники.

Взвешивая все за и против, О. Мороз думает о том времени, «когда нравственные, моральные принципы человека сделаются настолько высоки, а его отношения к дру-

гому человеку, его суверенитету настолько уважительно, что из лексикона вышадет слово «война». Только тогда окончательно обозначится черта, отделяющая человека как существо, наделенное высшим разумом, от его предков».

А пока надо учиться понимать не только высокий космос, но в первую очередь космос человека. В этом понимании ключ к завтрашней гармонии людей с природой и себе подобными. Об этом и размышляет автор в «Свидании с кометой».

Остается добавить, что написана книга в необычной для научно-художественной литературы форме — это беллетризованные, с героями и авторскими ремарками «сцены из жизни», в которых затрагивается очередная проблема науки или техники. Затем к сюжету дается комментарий в виде диалога автора книги со специалистом. Такая непринужденная форма помогает читателю быстро и точно уяснить смысл проблемы, а солидный комментарий — ее детали.

В. Сухнев.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Черненко. Народ и партия едины. Избранные речи и статьи. 496 стр. Цена 1 р 20 к.

А. Турсунов. Беседы о Вселенной. («Беседы о мире и человеке») 111 стр. Цена 15 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Белаяев. Храни меня, любовь земная. Лирика. 159 стр. Цена 70 к.

Т. Нурмагамбетов. Там, где горел очаг... Рассказы. Перевод с казахского. 189 стр. Цена 55 к.

В. Шукшин. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. 702 стр. Цена 2 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Бараташвили. Дорога к вам. Стихи. Перевод с грузинского. 119 стр. Цена 50 к.

М. Дудин. Поле притяжения. Проза о поэзии. 399 стр. Цена 1 р. 70 к.

С. Ханим. Избранное. Стихи, поэмы. Перевод с татарского. Предисловие Р. Мустафина. 319 стр. Цена 1 р. 60 к.

«РАДУГА»

А. Босне. Избранные стихотворения. Перевод с французского. 184 стр. Цена 1 р. 30 к.

З. Домино. Пора по домам, ребята. Роман. Перевод с польского. 282 стр. Цена 1 р 50 к.

Современная сальвадорская поэзия. Сборник. Перевод с испанского 271 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

П. Панченко. Избранные произведения в 2-х тт. Перевод с белорусского. Т. 1. Стихотворения, поэмы. 1936—1960. 271 стр. Цена 1 р. 70 к.

И. Рабин. Избранное. Перевод с еврейского. 527 стр. Цена 2 р. 10 к.

М. Сервантес. Назидательные новеллы. Перевод с испанского. 423 стр. Цена 4 р. 40 к.

«СОВРЕМЕННОК»

С. Иванов. Из жизни Потапова. Роман. 285 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ю. Нагибин. Река Гераклита. Рассказы, повести. 270 стр. Цена 1 р. 70 к.

Я. Ухсай. Дед Кельбук. Поэма. Перевод с чувашского. 149 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Афонин. Письма из Юрги. Повести. 335 стр. Цена 1 р. 40 к.

И. Куцевский. Николай Негорев. Роман и маленькие рассказы. 400 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Шагалов. Олег Куваев. («Писатели Советской России») 190 стр. Цена 25 к.

«ИСКУССТВО»

Контурсы будущего. Перспективы и тенденции развития средств массовой коммуникации в художественной культуре. 238 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Мацнин. На темы Гоголя. Театральные очерки 375 стр. Цена 2 р.

Проблемы наследия в теории искусства. 300 стр. Цена 2 р. 40 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Алексин. Повести. 335 стр. Цена 2 р. 30 к.

А танец легко плывет по поляне... Датские народные баллады в переводе В. Потаповой. 128 стр. Цена 40 к.

С. Писахов. Сказки. 64 стр. Цена 15 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

М. Ибрагимбеков. История с благополучным концом. Рассказы, повести, пьеса. Баку «Язычь» 597 стр. Цена 2 р. 70 к.

А. Крашенинников. В ясную погоду. Рассказы, повесть. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство 192 стр. Цена 55 к.

П. Куусберг. В разгаре лета. Капли дождя. Романы. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 512 стр. Цена 1 р. 90 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806. ГСП Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 25.07.84 г. Подписано к печати 03.09.84 г. А 02528
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать Объем 17 п л (23,8 усл. печ л.)
26,84 уч.-изд. л. Тираж 379.000 экз. (1-й завод 1—199.000 экз.) Зап. 2771.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

*В 1985 году
редакция журнала «Новый мир»
предполагает опубликовать:*

романы, повести, рассказы Ч. Айтматова, В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Быкова, Д. Гранина, В. Дудинцева, В. Крупина, В. Маканина, В. Орлова, Г. Пряхина, а также роман американского писателя У. Стайрона «И поджег этот дом»;

стихи В. Бокова, Л. Васильевой, А. Вергелиса, Е. Винокурова, Р. Гамзатова, А. Дементьева, Н. Доризо, Ю. Друниной, В. Жукова, А. Кешокова, Л. Мартынова, А. Межирова, С. Михалкова, Д. Муддагалиева, Б. Олейника, А. Преловского, В. Сальева, Б. Слуцкого, В. Соколова, В. Сорокина, Н. Суршинова, В. Цыбина;

очерки, статьи А. Злобина, Г. Лисичкина, В. Пальмана, Ю. Черниченко, дневники Мариэтты Шагинян, воспоминания советских военачальников;

литературно-критические статьи, обзоры И. Дедкова, Л. Аннинского, А. Бочарова.

Подписка на журнал «Новый мир» принимается без ограничений всеми предприятиями «Союзпечати» в отделениях связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.